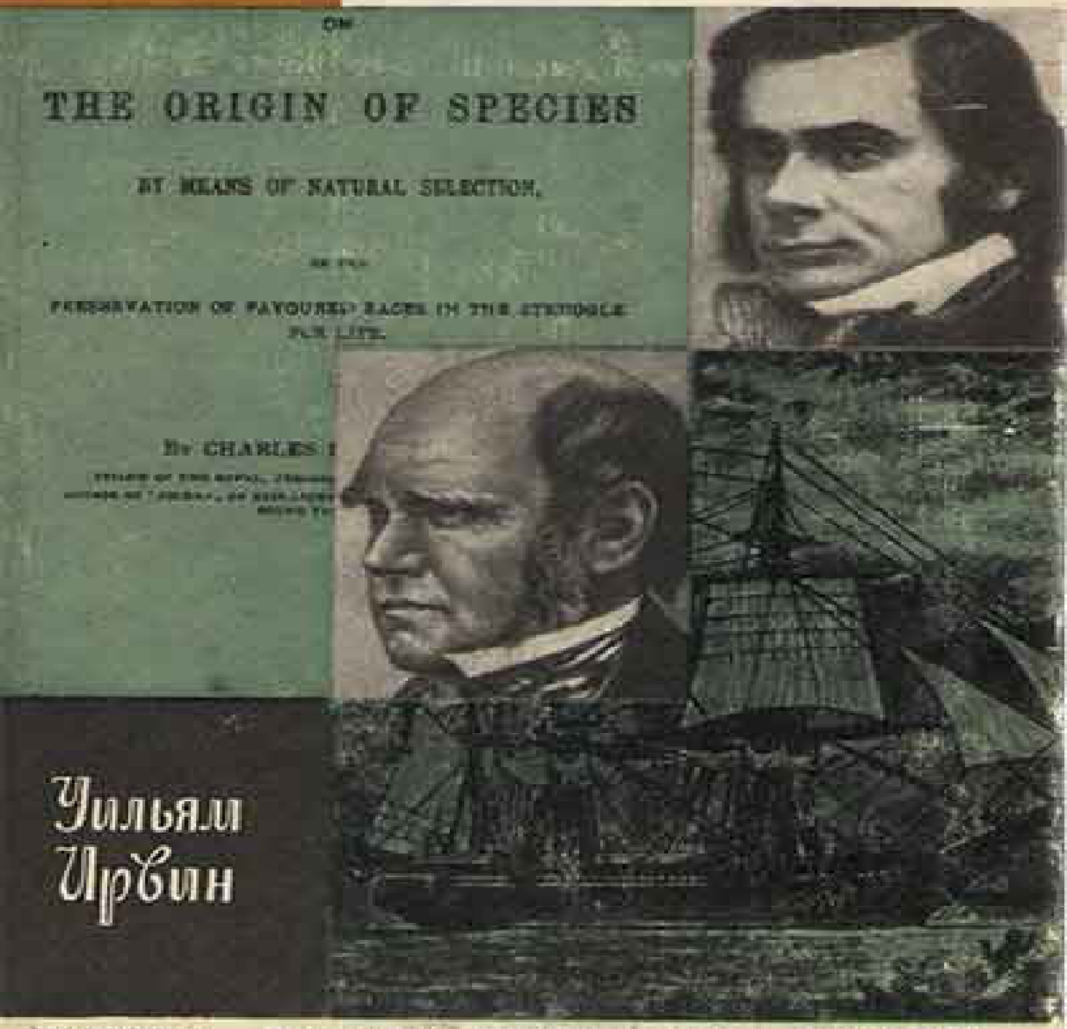
ДАРВИН и ГЕКСЛИ



Уильям Ирвин

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В книге рассказывается о жизни и деятельности двух великих английских биологов: основателя эволюционной теории Чарлза Дарвина и крупнейшего борца за дарвинизм Томаса Гексли. Повествование основано на глубоком изучении документальных материалов и разворачивается на широком историческом фоне.

APES, ANGEIS, AND VICTORIANS
DARWIN, HUXLEY, AND EVOLUTION
William Irvine
Meridian Books
The World Publishing Company
Cleveland and New York
Fifth edition, 1967.

Послесловие И. А. Рапопорта
Примечания Е. Э. Казакевич

Художники Ю. Арндт, М. Папков

- Уильям Ирвин
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
  - ЧАСТЬ ВТОРАЯ
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19

- ПОСЛЕСЛОВИЕ
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40

- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84

- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128

- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172

- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216

- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260

- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267

Уильям Ирвин
Обезьяны, ангелы и викторианцы
Дарвин, Гексли и эволюция

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1
РЕВОЛЮЦИЯ В УЧЕБНОЙ АУДИТОРИИ

Какой вопрос с безапелляционностью, небрежной и оттого вдвойне поразительной, поставлен ныне перед обществом? Вопрос таков: что есть человек — обезьяна или ангел? Милорд, я всецело на стороне ангелов.

Бенджамин Дизраэли[1]. (Из речи, произнесенной в Оксфорде в 1864 году)

В июне 1860 года в Оксфорде открылся съезд Британской ассоциации содействия науке. Наука, впрочем, чувствовала себя здесь достаточно неуютно, и так же неуютно чувствовал себя здесь профессор Гексли. Под сенью этих сонных шпилей ему неизменно представлялось, будто он попал в средневековье, а к средневековью профессор Гексли не благоволил. Он подозревал, что научные воззрения в Оксфорде так же прочно застыли в неподвижности, как заросшие плющом стены здешних домов, а умы пустынны и дремотны, как эти своды и эта ленивая сельская тишина. Лаборатория профессора Гексли помещалась в самой сердцевине девятнадцатого века, на Джермин-стрит, узкой магистрали делового Лондона, кипучей и неуемной, как дух самого профессора Гексли.

Оксфорду, в свою очередь, было тоже весьма неуютно с

людьми, подобными профессору Гексли. Оксфорд, правду сказать, просто зашел в тупик, разрываясь между своим недавним трактарианским[2] прошлым и будущим, принадлежащим науке. Позади, с переходом Ньюмена в католичество, разверзлась бездна консерватизма; впереди зияла пучина либерализма, рожденная ересями многотерпеливого и скрупулезного мистера Дарвина. Здравомыслие положительно теряло почву под ногами. Правда, здравомыслие обычно все-таки удается отстоять. В конце концов, когда к ереси примешаны обезьяны, в ней определенно ощущается нечто смехотворное.

Сам мистер Дарвин был тяжело болен и на съезде присутствовать не мог — так уже случалось, впрочем, и при обстоятельствах еще более важных; тогда его представляли Джозеф Гукер[3] и сэр Чарлз Ляйелл[4]. Уже слагались легенды об этой особенности мистера Дарвина: многозначительно отсутствовать в минуту решающих событий, к которым он самым непосредственным образом причастен. Минуло ровно полгода, как вышло в свет его «Происхождение видов». Разумеется, дарвинизм был притчей во языцех. И разумеется, он стоял на повестке дня.

На секции «Д» с докладом «О первопричинах раздельнополости растений в свете работы мистера Дарвина „Происхождение видов“» выступил оксфордский профессор Добни.

Председатель предложил Гексли высказаться, но тот счел за благо воздержаться от обсуждения предмета разногласий перед «широкой аудиторией, где над рассудком с прискорбной неизбежностью возобладало бы чувство». Вслед за тем поднялся величайший анатом своего времени сэр Ричард Оуэн[5] и объявил, что «желает подойти к вопросу с позиций философа». Иными словами, как и в анонимной статье, опубликованной несколько месяцев назад, сэр Ричард намерен был наносить удары, надев личину научной беспристрастности. «Существуют факты, — продолжал он, — которые дают нам возможность составить определенное суждение о том, велика ли доля истины в теории мистера Дарвина». Он утверждал, что, «если сравнить мозг гориллы с человеческим, обнаруживается больше различий, чем при сравнении его с мозгом самых низших и наименее родственных ей из четвероруких».

Тут Гексли встал с места, сказал, что «решительно и полностью опровергает» слова Оуэна, и, торжественно пообещав изложить в ином месте причины, оправдывающие такой необычный образ действий, снова сел. Его слова прозвучали как вызов на дуэль; ни одно прямое опровержение, пусть даже самое

убедительное — а таковое тоже в надлежащий срок появилось на дочтенных страницах «Журнала естественной истории», — не могло бы произнести большего действия.

С этой минуты фронт борьбы меж Дарвином и его противниками обозначился четко. В пятницу, в соответствии с повесткой дня, царило перемирие, однако в воздухе роились слухи. Генеральное наступление духовенства ожидалось в субботу, когда ученый из Америки — лицо отчасти постороннее — должен был сделать доклад на тему «Развитие научной мысли в Европе в связи со взглядами мистера Дарвина». Епископ Оксфордский вооружался в своем шатре, а Оуэн нашептывал ему на ухо о тайных слабостях неприятеля. Гексли, не ведая, что завтра в учебной аудитории определится высокая миссия, уготовившая ему в жизни, решил не становиться свидетелем вражеских наскоков. Он очень устал и рвался в Рединг, где его ждала жена. В полемических способностях епископа он не сомневался, а симпатии большинства были явно не на стороне дарвинистов. В пятницу вечером ему встретился на улице многажды поруганный ученый-эволюционист Роберт Чеймберс[6] и на слова Гексли, что нет «мысла оставаться и «получать тумаки от епископа», ответил такой отповедью и такими упреками в дезертирстве, что тот воскликнул:

— Помилуйте, если вы так смотрите на вещи, я готов прийти и разделить общую участь.

Возможно, учебным аудиториям не так уж редко случается бывать тихими колыбелями революций, но решающие события обычно разыгрываются в иных местах. Субботний день 30 июня 1860 года был исключением. Лекторий музея не мог вместить всех собравшихся, и они перешли в более просторный зал, куда набилось человек семьсот. Вдоль окон в ярких легких нарядах расположились дамы; в руках их трепетали платочки. Лица духовного звания, зычно выражая свое одобрение епископу, заняли средние ряды, а позади горсточка старшекурсников ждала минуты, чтобы поддержать малоизвестных поборников «обезьяньей теории». На сцене среди прочих сидели ученый из Америки доктор Дрэпер[7], епископ, Гексли, Гукер, Леббок[8] и председательствующий на секции старый учитель Дарвина Генсло.

Доктор Дрэпер был существом нудным — обстоятельство тем более прискорбное, что именно он очутился в центре этой волнующей дискуссии, ибо почел должным подойти к жгучему вопросу современности с самой опасной и неудобной стороны. Американский акцент сообщал его громоподобным, хотя и довольно отвлеченным, обличениям странное своеобразие. «Как

сейчас слышу американский говор доктора Дрэпера, — пишет один из очевидцев, — когда он вопросил в своем вступительном слове:

— Так неужели мы представляем собою случайное скопление атомов?»

Однако, если бы доктору Дрэперу посчастливилось сочетать в себе дар Уэбстера[9] и гений Эмерсона[10], он и тогда был бы воспринят как постороннее лицо. Не тяжеловесные заокеанские умствования требовались собравшимся: собравшиеся успели уже почуять запах крови.

Доктор Дрэпер рокотал свое добрый час; потом открылись прения. Ясно было, что скуки здесь больше не потерпят. За девять минут порывались говорить три оратора, и никому из трех говорить не дали. Один вознамерился было внести поправки в теорию Дарвина, пользуясь примерами из математики:

— Допустим, что точка А — человек, а точка Б — обез*иа*на…

Его мгновенно заглушили воплями:

— Обез*иа*на!..

Кто-то принялся громко требовать епископа. Тот любезно уступил очередь профессору Билу и затем, источая полнейшее благодушие, взял слово.

Епископ Уилберфорс, снискавший широкую известность под прозвищем «Скользкий Сэм», принадлежал к числу людей, у которых под влиянием отличий и похвал еще на студенческой скамье что-то безнадежно застопорилось в нравственном и интеллектуальном развитии. Весь последующий путь его был чередой успешно решенных задач, одна легче другой, и теперь, пятидесяти четырех лет от роду, он являл собой недалекого, грубовато-добродушного весельчака, умеющего приспособиться к обстоятельствам и выступить с зажигательной речью перед малоразборчивым скопищем людей. Почти всем, что было прочного в его житейском арсенале, в том числе убежденностью в своем праве витийствовать об ученых предметах, он был обязан спесивости, свойственной студенту, идущему первым по математике.

Под уверенный и бодрый басок оратора Гексли наблюдал, как в зале ощутимо растет враждебность к дарвинистам. Как тут дашь противнику достойный отпор? Смешно пытаться за десять минут пересказать «Происхождение видов», изложить теорию и доказательства. Но Гексли был не из тех, кого невыгодная обстановка повергает в уныние. К тому же он с удовлетворением отметил, что епископ, хоть и нашпигованный подсказками Оуэна, в сущности, не ведает, о чем вещает. Тем не менее, умело играя на общераспространенной склонности считать вздором все новое,

он расправлялся с дарвинизмом, так упоенно изощряясь в плоском острословии и сарказмах, так смачно и изобретательно толкуя ни о чем, что ему явно начинали поддаваться даже трезвые мужи науки. Наконец, опьяненный успехом, он с деланной любезностью обратился к Гексли и пожелал узнать, кому тот обязан честью происходить от обезьяны — своему деду или бабке?

Это его погубило. Он пробил брешь в броне, прикрывавшей его пустоту. Гексли хлопнул себя по колену и, к изумлению важного соседа-ученого, негромко воскликнул:

— И предал его господь в руки мои.

Под восторженный рев зала, средь моря трепещущих белых платочков епископ опустился на место. Теперь послышались крики: «Гексли!» По знаку председателя Гексли встал, высокий, сухопарый, узкоплечий, в долгополом черном сюртуке и высоченных крахмальных воротничках. В лице его не осталось ни кровинки, глаза и волосы были черны, как смоль, длинные губы дерзко, воинственно выпячены. Его манера держаться, угаданная безошибочным чутьем хорошего актера, была в той же мере исполнена серьезности и спокойного достоинства, в какой манера епископа — развязной веселости. Он сказал, что находится здесь единственно в интересах науки и пока еще не услышал ни одного убедительного довода из уст противников его подзащитной. Теория Дарвина, говорил он, есть нечто гораздо большее, чем гипотеза. Она — лучшее из выдвинутых до сих пор объяснений истории биологических видов. Мимоходом отметив очевидное невежество епископа в науках, связанных с обсуждаемой проблемой, Гексли ясно и сжато изложил суть основных положений Дарвина, а под конец еще более серьезно и спокойно заметил, что не устыдился бы признать своим предком обезьяну, зато счел бы «постыдным родство с человеком, употребляющим незаурядное дарование на то, чтобы затемнять истину».

Эффект был потрясающий. Враждебно настроенная аудитория наградила его почти такими же овациями, как епископа. Одна из дам в сей критический миг обнаружила свою чувствительность тем, что (прибегая к выражению, первоначальный смысл которого ныне утрачен) лишилась чувств. Епископ, сам того не ведая, уготовил себе мученический конец и пал под градом собственных низкопробных издевок, внезапно обратившихся против него самого. Адвокат дарвинизма совершил это убиение с великолепной, артистической простотой, стерев ортодоксальность в порошок меж жерновами фактов и правды, этой высшей добродетели викторианской[11] эпохи.

Затем встал Джозеф Гукер и собрал небольшой гербарий на

могиле, где покоилась отныне научная репутация епископа. Уилберфорсу нечего было ответить. Заседание объявили закрытым. Гексли поздравляли многие, в том числе и духовные лица, на удивление искренне и сердечно. По дороге домой Гексли сказал Гукеру, что этот случай заставил его изменить свое мнение о практической пользе ораторского искусства и что он будет отныне всячески в нем совершенствоваться и пытаться побороть свое отвращение к нему. Гексли был не чужд романтической утонченности — во всяком случае, настолько, чтобы воображать, будто ему претит выступать с публичными речами. Подлинные его чувства в, те минуты выдает другая фраза, принадлежащая ему же:

— Я сдерживался… и не брал ответного слова, пока от меня того не потребовали — а уж тогда дал себе волю.

Так книга, написанная другим, решила судьбу Гексли, и молодой профессор-палеонтолог, нежданно открыв в себе несомненные воинские таланты, сделался признанным борцом за науку в одну из самых драматических минут ее истории. Он отстаивал эволюцию по Дарвину, ибо видел в ней применительно к жизни на Земле научную истину такого же значения и масштаба, как теория Ньютона применительно ко вселенной, ибо в теории Дарвина, и это главное, таилось обещание того, что, познав законы своего бытия, человек с помощью науки, возможно, сумеет когда-нибудь сделать свою жизнь целесообразной и упорядоченной.

Он не сомневался, что его победа над епископом есть победа света над мракобесием. Со свойственным ему оптимизмом он не верил, что свобода науки может достаться лишь ценой известных духовных жертв, что нелепая теория о сотворении мира может служить важным источником душевной энергии, что она может каким-то образом быть связана с устойчивостью современных ему нравов. Положим, добро не совершается без себялюбивых побуждений, но и из этих побуждений, считал он, наука способна дать куда более определенные и веские основания творить добро, чем религия. Конечно, он был слишком занят, чтобы разработать собственную научную этику. Его этические взгляды были прямым следствием его миссии полемиста и общепринятых нравственных воззрений его века. Нет выше чести для мыслителя и духовного вождя, чем искать истину; нет долга священней, чем нести эту истину людям. Если судить, исходя из таких правил, епископ вполне заслужил свою участь. Для борьбы с викторианским богословием Гексли призвал на помощь викторианские понятия о нравственности.

У Дарвина богословие обычно вызывало несварение желудка… Не сходство вкусов и характеров и даже не постоянное и близкое общение роднит судьбы этих двух людей. В исследованиях Дарвина куда большее участие, чем Гексли, принимали Гукер и Ляйелл. Тиндаль и Пиенсер принимали куда большее участие, чем Дарвин, в сражениях, которые вел Гексли. Дарвина и Гексли объединяет совместное первенство в создании великой традиции. А также идея, которую один разработал, а другой защищал. Дарвин — это спокойный, медлительный замысел; Гексли — блистательное свершение. Дарвин творил историю; Гексли двигал ее вперед.

2
НАУЧНАЯ ОДИССЕЯ

С естественным для биолога интересом к наследственности Гексли отмечает в «Автобиографии», что получил от отца вспыльчивый нрав, упорство и артистические способности, а от матери — живость восприятия, которую сам, по-видимому, ценил превыше всего; и не напрасно, потому что вместе с любовью к ясности, впоследствии ставшей для него мерилом истины, а заодно и достоинств стиля, она составляет самую основу его ума и характера. Ясность и живость восприятия наделили его хладнокровием, твердостью, уверенностью в себе. Он был всегда готов к бою. Никогда не колебался, никогда не изменял себе. По сути дела, это был не кропотливый исследователь, а скорей человек действия, вдохновенный практик. Он быстро и много читал, охотно и красноречиво выступал, свободно и с блеском писал. Он был наделен бесспорными достоинствами почти так же щедро, как Маколей[12], и почти так же великолепно отвечал требованиям своего времени. Он, опять-таки как Маколей, отличался скромностью в оценке своих достоинств, но и отдавал себе должное, относясь весьма серьезно к своим обязанностям и к миру, в котором жил. По правде говоря, ему были свойственны и некоторые недостатки Маколея, однако в более умеренной форме. Гексли был менее склонен делать из себя и своих добродетелей образчик для массового производства. Он, надо полагать, не ощущал столь сильной потребности в том, чтобы в голове его парадным строем шествовали шеренги готовых мыслей на все случаи жизни. Он был, вероятно, терпеливей в поисках идеи, в единоборстве с проблемой. И, безусловно, не отступал

перед трудностями. Метафизика была для него родной стихией. В этом он отличался от Маколея и походил на Вольтера. Он обладал Вольтеровой воинственностью, его жадным любопытством к фактам и теориям, его неистребимым, но зачастую преисполненным духа отрицания и недоверчивости здравым смыслом, рождающим порой невосприимчивость к широким и дерзновенным замыслам.

Как бы то ни было, бесспорные достоинства рано привели его к бесспорному с викторианской точки зрения успеху. Он родился в 1825 году в городишке Илинге, неподалеку от Лондона, поступил в илингскую школу, где учительствовал его отец. Школа, однако, давно уже захирела и мало что могла ему дать, кроме наглядного урока борьбы за существование да дружбы с одним из драчунов-мальчишек, бывшим врагом, которого впоследствии сослали на каторгу в Австралию. Когда ему пошел одиннадцатый год, семейство переехало в Ковентри, и глава его стал директором захудалого банка. Тем, в сущности, и запомнилось для Тома школьное обучение.

Зато он ходил в церковь. Война Гексли с религией, в сущности, война братоубийственная, ибо этот человек был прирожденный проповедник, и церковная кафедра была, пожалуй, единственной трибуной, с которой он не произносил своих проповедей. В раннем детстве предметом его восхищения был местный священник, и как-то раз, надев свой фартучек задом наперед наподобие стихаря, маленький Гексли в подражание своему кумиру произнес на кухне проповедь перед прислугой. Спустя немного времени ему довелось, сидя в церкви, услышать темные, полные ужаса упоминания о неких скептиках и неверных. Лет в двенадцать он начал незаметно отходить от истовой веры и отходил все дальше, захваченный потоком стремительного — сперва беспорядочного, а затем все более систематического — чтения, который, неуклонно набирая силу, мчал его всю жизнь и сделал одним из самых образованных викторианцев. «Дня ему было мало, — пишет его современник, — поэтому он имел обыкновение… зажигать свечу еще до рассвета и, накинув на плечи одеяло, читать в постели «Геологию» Хеттона[13]. По-мальчишески он отдавал предпочтение громким именам и звучным названиям, начиная с «Истории цивилизации в Европе» Гизо[14] и кончая «Рассуждением о необусловленном» сэра Уильяма Гамильтона[15], и не просто пробегал страницы глазами, а усваивал всерьез. Он начал замечать, что сельские священники чаще всего не в ладах с грамматикой и открывают рот главным образом затем, чтобы обнаружить почти во всем, кроме библии, полнейшее невежество. Понемногу он так возненавидел длинные

проповеди, что в зрелые годы один вид стихаря внушал ему неодолимое «желание уязвить облаченную в него духовную особу».

Наконец все обрело ясность, и как раз благодаря статье Гамильтона о «необусловленном», которая подвернулась ему в одном из старых номеров «Эдинбурга». Сэр Уильям с позиций скептического рассудка дотошно подрывал основы познания, скованного условиями и границами, а затем, руководствуясь уже не рассудком, но интуицией, возносил до высот безусловно неограниченного шотландскую пресвитерианскую церковь. Церковь Гексли отринул, а скептицизму открыл свои объятия. К пятнадцати годам он, возможно не без тайных опасений, увидел, что сам недалек от того, чтобы называться скептиком и неверным, и полные ужаса обличения священника вполне к нему применимы. И все же священник оставил в его душе неизгладимый след. Если вообразить, что бывают неверующие христиане, то Гексли до конца дней своих оставался образцовым христианином викторианского толка. В нравственной стойкости, приверженности к житейским добродетелям и подозрительности к богословским изощрениям он не уступил бы самому благочестивому евангелисту. Высокая красота научного метода служила ему оправданием, он сомневался со страстной искренностью глубоко убежденного человека.

Лет в тринадцать он испытал прозрение более зловещего свойства. Две его старших сестры вышли замуж за врачей, так что Том стал проводить немало времени в обществе медиков. Из книг он уже кое-что знал о строении человеческого тела и теперь решил пойти со своими новыми друзьями на вскрытие, скорее всего происходившее в какой-нибудь типичной для тех времен душной и темной сельской анатомичке. Вот как описывает этот случай Хустон Питерсон:

«Внезапно он оказывается в одной комнате с обнаженным человеческим трупом. От запахов покойницкой и вони медицинских снадобий у него спирает дыхание. С внутренним трепетом он смотрит, как на теле делают первый большой надрез. Вот открылись легкие и сердце, потом желудок, кишки. Быстро, безжалостно работают ланцеты. Прозекторы делают свое дело привычно, буднично. Роняют серьезные замечания, порой обмениваются шуточками. А маленький Гексли все стоит — и не какие-нибудь минуты, а часа три, — стоит, удовлетворяя свою болезненно обостренную пытливость».

Сразу же после этого он «впал в какую-то странную апатию», настолько тяжелую, что отец отослал его к друзьям в Уоркшир. Там мальчик быстро поправился, но с тех пор всю жизнь страдал

приступами какой-то необъяснимой боли и «ипохондрическим расстройством пищеварения». Несмотря на отсутствие явных симптомов, он был твердо убежден, что «перенес нечто вроде отравления». Как бы то ни было, он, бесспорно, испытал жестокое душевное потрясение. Все еще веруя в бога и в бессмертие души, он в пору отрочества, когда так обострена восприимчивость, лицом к лицу столкнулся с физической смертью во всем ее кровавом и тошнотворном обличье. Очевидно, он вообразил себя на месте трупа. Выздоровление было возвратом к жизни.

«Помню, как по приезде ясным весенним утром я встал с постели, неуверенными шагами подошел к окну и распахнул его настежь. Казалось, на крыльях ветерка ко мне возвращается жизнь, и по сей день запах дыма, какой плыл тем ранним утром над фермой, слаще для меня, чем «трепет ветра, скользящий над фиалками».

Мистер Питерсон утверждает, что воинственность Гексли была следствием невротического расстройства, возникшего под влиянием страха от столь раннего и близкого соприкосновения с бездыханным человеческим телом, точно так же, как свойственные ему в дальнейшем вспышки раздражительности и благородного негодования, вероятно, объяснялись нервным напряжением, проистекавшим от неусыпного чувства долга. Так или иначе, во многих проявлениях его бесстрашия или твердости перед лицом неведомого ощущается скрытая тревога. Быть может, избиение епископов было для него средством отвлечься. Быть может, он хотел заставить епископов и архидиаконов взглянуть в лицо жуткой действительности, как когда-то взглянул он сам. Подобно Марксу, он считал, что религия — это опиум.

Но, конечно же, нельзя в одном эпизоде искать ключ к пониманию всей жизни Гексли. В век горячечной веры в личное бессмертие он оказался узником вселенной, где царят неопределенность и смерть. Он переживал утрату веры гораздо тяжелей, чем думали многие. Уже в 1847 году, первом году его *длительного плавания на «Рэттлснейке»,* он писал: «„Ich kann nichts anders! Gott hilfe mir!“[16] Мораль, религия — все смешалось для меня, стало сплошным сумбуром, чем меньше о них рассуждать, тем лучше. Лишь в сфере разума я могу найти свободу и простор для применения способностей, которыми обладаю». А в 1849 году рядом с этой записью он сделал приписку: «Лучше ли обстоит со мной дело сейчас? Разве что самую малость».

Однако сложные отношения с религией не привели Гексли к серьезному душевному надлому. Замену религии он нашел для себя у Карлейля[17] и у него же, как признавал сам, перенял

сострадание к неимущим, приверженность к труду, ненависть к мошенникам всех мастей, а также страсть к немецкому языку и литературе.

Возможно, не кто иной, как Карлейль, пробудил в юноше вкус к словесности. И все же неудивительно, что Карлейль не смог всерьез увлечь столь блестящее дарование на стезю литературы. Гексли слишком мало занимала извечная писательская тема: человек. Человек мог интересовать его как физиологический механизм, как своеобразный вариант человекообразной обезьяны, как социальная единица, как гражданин, наконец, как тонкий аппарат для обнаружения научной истины, но как личность, как человеческое существо по-настоящему не интересовал никогда. При всей своей способности к дружбе и сердечной привязанности Гексли в плане психологическом оставался по преимуществу равнодушен к людям. Собственная особа и та не представляла для него интереса. Редко случается, чтобы у обладателя столь живого и точного пера так мало нашлось что сказать о себе даже в письмах глубоко личного свойства. Это небрежение к человеку и сообщает налет сухости, клинической стерильности его упругому, полному юмора слогу. Писать всегда было для него средством, никак не целью. Писать — значило совершенствоваться в искусстве быть ясным, искусстве полемизировать, которым он стремился овладеть ради своих целей ученого и философа.

В детстве Гексли мечтал стать инженером-механиком, но возможности учиться не представилось. Зато он приобрел от своего зятя, доктора Кука, кое-какие познания в медицине, и, когда в 1841 году его родители переехали в восточный район Лондона Ротерхайт, он поступил в обучение к доктору Чэндлеру, окружному врачу, который практиковал в докерских кварталах. Здесь он впервые столкнулся с безбрежным океаном нищеты в знаменитых лондонских трущобах, о которых читал у Карлейля. Только в жизни картина оказалась еще внушительней. И хотя было бы преувеличением сказать, что она потом преследовала Гексли, словно навязчивый кошмар, все же он запомнил ее навсегда.

Медицина вначале ему не нравилась, и он отводил душу за чтением великого множества книг по самым разным предметам, от химии до древней истории. Обладая врожденными способностями к языкам, он постоянно совершенствовался в знании французского, немецкого, итальянского. У доктора Чэндлера он проработал год, а там был взят в ученики к своему зятю, доктору Скотту, и переехал к нему в северную часть Лондона. Здесь, живя под присмотром своей любимой сестры Элизабет, он стал проявлять к медицине уже больше интереса.

Однажды по дороге в библиотеку Хирургического колледжа, пробираясь, как обычно, по узким улочкам лондонских джунглей, он увидел объявление о публичном конкурсе по ботанике, победителям которого присуждались медали. Записываться казалось смешно: его соперники были старше, с университетским образованием. Но все-таки он стоял, с вожделением глядя на афишку, и кто-то рядом сказал:

— Что ж, может быть, и вы отважитесь?

Он отважился. Вскоре он уже занимался с девяти утра до полуночи, а то и до рассвета. Наконец настал день конкурса. Девять часов он лихорадочно писал, затем последовала еще более долгая и мучительная лихорадка ожидания. И Том поразил все свое семейство. Он завоевал вторую премию — серебряную медаль. Весь дальнейший путь его был вымощен золотыми медалями, но ни одна из них не сверкала так ярко, как та, серебряная.

Вскоре ему была присуждена стипендия на медицинском отделении при Черинг-кросской лечебнице. Здесь он вновь с мальчишеским азартом пустился без руля и ветрил на поиски вселенской истины, но к нему поспешил на выручку его учитель, профессор анатомии, и сумел не только покорить его воображение, но и дать ему твердый жизненный курс. Этой титанической личностью был бледный, сухонький человечек, который читал лекции «с потупленным взором, теребя пальцами цепочку от часов». Все, что он говорил, было бесстрастно, четко, логично, строго выверено, все свидетельствовало об обширных и точных познаниях. «Совершенно в моем вкусе», — писал Гексли. От Уортона Джонса он усвоил строгий научный метод поисков истины, которым предавался с таким рвением, что его окно, где, как в раме, вечно виден был один и тот же силуэт, студенты прозвали «Вывеска Головы над Микроскопом». Не устояв перед таким напором, истина в конце концов уступила. Девятнадцати лет от роду Том сделал самостоятельное открытие и в первой своей работе, представленной в «Медицинскую газету», сообщил о существовании у корня человеческого волоса оболочки, известной и поныне под названием «слой Гексли». Любопытно, что многочисленные погрешности в изложении пришлось править Джонсу, так как Гексли «терпеть не мог писанины и не желал себя утруждать ради нее».

Трехлетний курс обучения в Черинг-кросской лечебнице завершился экзаменом на степень бакалавра медицины и золотой медалью по анатомии и физиологии. Для Хирургического колледжа ему еще не вышли года. Он пошел служить на флот и скоро был назначен военным врачом на судно «Рэттлснейк». В

1847 году этот двадцатишестипушечный фрегат получил задание разведать и нанести на карту рельеф берегов северо-восточной Австралии — района, в то время почти не исследованного. Врачебным обязанностям Гексли должен был уделять лишь малую часть своего времени. Остальное отводилось на научную работу, какая представится ему важной. Уортон Джонс снабдил его методом. Флотская служба на спартанских условиях снабдила неограниченным досугом и неисчерпаемо богатым природным музеем.

Девятнадцатый век в смысле путешествий во имя научных открытий был, бесспорно, эпохой не менее героической, чем Возрождение, — в смысле открытий географических. Без водолазных колоколов, без вертолетов и плавучих лабораторий, оснащенные чаще всего лишь таким простым компасом, как совесть ученого да здравый смысл, Гумбольдт[18], Дарвин, Гукер, Гексли, Уоллес, Геккель[19] — целая плеяда великих людей — уходили в далекое плавание, и морские волны были для них волнами безбрежных возможностей, где всякий талант и всякое проявление силы духа приносили неслыханно богатый улов. Каждый из них проверялся — и, пожалуй, очень точно — в бескрайних морях осуществимого. Каждый возвращался со славной добычей, а один — Дарвин — с высокого гребня неизведанных вод теории успел в трудовом и несколько прозаическом волнении уловить взглядом дали собственного, им открытого Великого океана. Среди этих степенных, многодумных конкистадоров Гексли, совсем еще юный, был далеко не последним, хотя он-то отправился не только на поиски истины, но и неведомых стран, на поиски своей судьбы. Он нашел жену, выявил почти все свои таланты, включая литературный, и едва не открыл самого себя.

В это знаменитое плавание со сложным исследовательским заданием Королевский британский флот снарядил отборный экипаж и очень дряхлую посудину. Молодой капитан Оуэн Стэнли, сын епископа и брат прославленного настоятеля Вестминстерского аббатства, был человек доброжелательный, деятельный, усердный; мечтатель, обуреваемый стремлением стать великим ученым и великим исследователем. Он располагал многочисленным штатом тонографов, специалистов по магнетизму и другим отраслям знания, включая натуралиста Макджилливрея[20] — рьяного, хоть и не слишком сведущего, собирателя коллекций и знатока туземных языков. Впрочем, в неизъяснимой мудрости своей Британский королевский флот, несомненно, решил, что избыток сверкающего новизной оборудования способен лишь принизить и обесславить героев. А

потому весь личный состав в количестве ста восьмидесяти человек был втиснут в тихоходный, неуклюжий деревянный парусник, из тех, что среди моряков более известны как «фрегаты-ословозы». Научных приборов для биологических исследований почти не было, а когда капитан Стэнли по совету Гексли подал прошение, чтобы экспедицию снабдили справочниками на сумму в сто фунтов, в ответ последовало нерушимое и величавое молчание.

Гексли был потрясен, увидев, как тесен, душен и зловонен утлый мирок, в котором он очутился. Первое впечатление от экипажа, как ни блистал он знатоками своего дела, было, что свет не видывал такого количества тупиц и невежд, собранных вместе. После скверного ремонта нижнюю палубу «Рэттлснейка» с начала и до конца плавания заливало водой. Самым современным из справочников, какими располагал Гексли, была Бюффонова *«Suites»*[21], лаборатория его ютилась где-то в углу штурманской рубки; спальней, чуланом и библиотекой служила каюта приблизительно таких же размеров, как камера пыток времен Людовика XI: в ней даже повернуться было не просто, а о том, чтобы выпрямиться во весь рост, не могло быть и речи. И что самое обидное, морские волки «Рэттлснейка» обращались с Гексли как с чудаком, которого не стоит принимать всерьез. Если ему приходилось на часок-другой отлучиться с палубы, можно было не сомневаться, что оставленные на рабочем месте образцы будут бестрепетной рукой выброшены за борт, как нечто несовместимое с флотскими понятиями о чистоте и порядке. Правда, каютка была целиком в его распоряжении. Правда, океан дарил ему свои просторы, а морской воздух — живительную бодрость. Мадейра, Рио и Маврикий были прекрасны; капитан Стэнли — отзывчив и всегда рад помочь. Гексли начинал корить себя за несправедливость. Да и морячки, в конце концов, очень неплохой народ. Кое-кто из офицеров прямо-таки внушал расположение…

По тщательно продуманному, им самим разработанному плану ему полагалось бы препарировать моллюсков и лучистых, изучать коралловых полипов, искать паразитов в глазах и жабрах рыб, собрать по предложению профессора Оуэна как можно больше образцов мозга рыб. А получилось так, что он ничего не собирал. Чтобы стать хорошим собирателем, ему в отличие от Дарвина недоставало терпения и присущей коллекционерам стяжательской жилки. Не было у него и дарвиновской всеобъемлющей и неустанной наблюдательности. Чтобы подхлестнуть его, возбудить его любознательность, требовались частные проблемы, а такие неизбежно оказывались в пределах его

медицинских познаний. Вот почему он выполнял только анатомическую часть задуманных исследований, побуждаемый неизменной своей страстью к ясности и «тягой механика… постигнуть сущность конструкции».

Одним из главных достижений Гексли за время этого плавания было то, что он внес некоторый порядок в хаос зоологии беспозвоночных, особенно в систематику моллюсков, кишечно-полостных и оболочников. Под сверкающим покровом океана, скрытые, точно шапкой-невидимкой, своей прозрачностью, двигались и увертывались друг от друга эти в большинстве своем крошечные причудливые существа. Прозрачные, они были сущей находкой для ученого, лишенного тонких инструментов: часть их удавалось исследовать не препарируя. Немалой победой была классификация аппендикулярий — мелких и замысловатых океанских жителей, которые строят студенистые ловушки для микроскопических растений. В их тайну оказалось бессильным проникнуть даже зоркое око великого Иоганна Мюллера[22]. Гексли представил веские доводы в пользу того, что аппендикулярий следует отнести к оболочникам, одна ветвь которых, как выяснилось впоследствии, самым неожиданным образом связана родством с позвоночными. Впрочем, в те преддарвиновские времена организмы во всем, что касалось их строения, не имели ни прошлого, ни будущего. Метод Гексли как нельзя лучше соответствовал четкому, теоретическому типу его мышления: он пытался сквозь густой лес частных приспособлений добраться до «архетипа», некой обобщенной структуры, которая была бы исходной для всех существующих видов данного класса. Излишне пояснять, что такой «архетип» не что иное, как эволюционный прототип, короче — вариант дарвиновской теории общего прародителя, только при статичном подходе.

Вот какие открытия были сделаны на борту корабля. А в Сиднее Гексли по чистой случайности открыл также, что на свете существуют балы, танцы и барышни. И в частности, он открыл мисс Генриетту Хисорн, свояченицу одного из видных коммерсантов города Сиднея — мистера Фаннинга. Гексли полюбил ее чуть ли не с первого взгляда, с тою решимостью и душевной силой, которые так подкупают нас в викторианцах. Мисс Хисорн оказалась особой не менее сильной духом, и очень кстати, потому что помолвка их длилась семь лет. Разумеется, они согласились бы ждать и вечно, причем их верность любви означала лишь верность здравому смыслу — до того они подходили друг к другу, схожие во многом, разные же лишь настолько, чтобы найти в другом силу, которой не хватает

самому, и восхититься ею. Оба были умны, деятельны и образованны. Оба любили природу, искусство и книги. Оказалось даже, что Генриетта училась в немецкой школе, говорила на милом его сердцу немецком языке, знала его любимых немецких писателей. Он никак не мог определить, красива ли она, хоть и подозревал, — нисколько, впрочем, о том не печалясь, — что нет. Она была лучше чем красива: очень светлая блондинка, бледненькая, маленькая, хрупкая, словно созданная для того, чтобы ему, черноволосому, высокому, быть ей сильным и нежным покровителем. Он был честолюбив, неуравновешен, страдал приступами хандры, будто нарочно затем, чтобы ей быть всегда ровной и чуткой, ободрять, дарить сочувствие. Она существо тонкое, немножко наивна, неопытна, сентиментальна, зато он умудрен опытом, твердо стоит на земле, и любая трудность ему по плечу. Словом, сознательно или безотчетно, но, полюбив друг друга, они поступили так разумно, что самой Джейн Остин[23] не нашлось бы к чему придраться.

Роман, подобный этому, возможен был только в эпоху, когда всевластен этикет, когда камелия или кружевной платочек красноречивей всяких слов. Генриетта запомнила все до мельчайших подробностей и уже в глубокой старости написала о некоторых лучших минутах живо и свежо — так юная девушка могла бы поверить своему дневнику то, что случилось сегодня. Их с Томом представили друг другу, когда бал подходил к концу. Он тут же пригласил ее на танец, но ее зять счел нужным вмешаться. Сестра Генриетты, с которой девушка приехала на бал, уже пошла за ее шалью.

— Ничего, — сказал мистер Гексли, — мы еще встретимся, и тогда не забудьте, что первый танец за мной.

Они действительно встретились, и Том танцевал с ней первый танец. С тех пор всякий раз, как он входил в зал, она думала: «А вот и этот чудесный доктор!»

«Что это был за волшебный вечер! — вспоминает она в старости о другом бале. — Когда я уезжала, он попросил красную камелию с моего корсажа, а когда мой ненаглядный скончался, я ее нашла, она хранилась среди его бумаг! С пометкой „Первая“».

Однако любовь пресна, когда не встречает невзгод. Увеселения, которыми сопровождалась стоянка «Рэттл-снейка» в порту, должны были увенчаться грандиозным праздником, устроенным самим экипажем: днем прогулка на один из островов, а вечером танцы на борту корабля. Вот наконец и чудесное событие, но чудесного доктора нет как нет. «Все твердили, что прелестно провели время, — писала годы спустя старая дама, — а я — я изнывала душой, мне все казалось постылым. Я стала

думать, что ничего не было, что это только мое воображение или просто, может быть, так всегда поступают моряки».

На другой день у себя в спальне — Нетти только что кончила одеваться, уже позвонил гонг к завтраку — она услышала цокот копыт по мостовой. Неужели он?.. Ах, ее прическа! Ее туалет! Когда она довела свою наружность до требуемого совершенства и сошла вниз, завтракать уже кончили. В гостиной сидели семь человек, и — о диво! — среди них доктор Гексли. Сперва доктор Гексли избавился от четырех из ненужных шести: вызвался сопровождать Генриетту и еще двух девиц во время прогулки на соседнюю ферму. Затем он отделался и от двух девиц. «Поскольку трех рук в его распоряжении не было, а предложить двум по одной руке, оставив третью ни с чем… было бы вопиющей несправедливостью», он предложил лишь одну руку и предложил ее Генриетте.

По дороге его спутница поскользнулась, ступив на сломанный сук. Он убрал сук с дороги и прибавил:

— Вот так я желал бы устранять все препятствия с нашего жизненного пути.

«У него были поразительные глаза, — вспоминает она, — от сильного чувства они горели так ярко, что, казалось, обжигали огнем». Он сумел даже объяснить, отчего не явился на пикник. Ему было приказано участвовать в научной экскурсии, и он не успел вернуться вовремя.

Теперь, с точки зрения Гексли, дела обстояли просто и хорошо. Они помолвлены. Скоро он добудет себе состояние, и они поженятся. «Я говорю Нетти, чтобы она готовила себя к тому, что не сегодня-завтра станет *Frau Professorin*[24], — писал он сестре, — а она свято верит, как верила бы, думаю, даже если бы я сказал, что буду премьер-министром». Пожалуй, он немало бы удивился, если бы узнал, какие мысли порой приходят на ум его Нетти — отчасти как раз потому, что он был исполнен такой гипнотической решимости и отваги. Как ни глубока была ее любовь, ее вера, минутами ее охватывали сомнение и страх, что она дает этому властному, своевольному существу поглотить себя без остатка. «Вы вытягиваете из меня сокровенные мысли и чувства — и самым деспотическим образом присваиваете их, — писала она ему впоследствии, — и между тем, быть может, именно за это я еще крепче Вас люблю. Да Вы и есть деспот, и, когда нельзя повлиять иначе, Вы покоряете силой». Больше того, вера ее в «госпожу профессоршу» тоже была отнюдь не так беззаветна, как он воображал. Она вовсе не была убеждена в безграничной практической целесообразности сочинения статей, посвященных медузам и сальпам. «Я очень смутно представляла

себе… каким образом описание морской твари может принести ему славу или как-то помочь добиться положения, которое даст нам возможность жениться».

А потом, после трехмесячной стоянки в Сиднее, «Рэттлснейк» ушел к северу выполнять свое задание: наносить на карту внутренние воды Большого Барьерного рифа и искать проход в Индию через Торресов пролив. Короче говоря, на неповоротливом деревянном паруснике и с помощью посыльного суденышка проследить хитросплетения обширных, как видимых глазу, так и подводных, лабиринтов Кораллового моря. Нечто вроде попытки с завязанными глазами провести верблюда сквозь игольное ушко, да не одно, а великое их множество, причем кара за малейшую оплошность — смерть; воистину тяжкая пытка опасностями и скукой.

Нередко гребная лодчонка отправлялась обследовать какую-то бухту или небольшой залив и пропадала на несколько суток. Нередко исследователи высаживались на берег по нескольку человек и шли в глубь суши, как сделали это Гексли и судовой натуралист Макджилливрей на унылом острове Фаис. Каждая такая вылазка была долгим испытанием, требующим неусыпной бдительности — впрочем, на Фаисе дикари не появлялись. По большей же части «Рэттлснейк» томительно мотался взад-вперед под безоблачными и жаркими небесами или, никак не решаясь хотя бы спустить шлюпку, бесцельно торчал близ манящих, загадочных под темным покровом джунглей берегов, вечно немых и, говоря словами Конрада[25], «будто бы шепчущих: приди и узнай».

В этом плавании, впрочем, Гексли некогда было разглядывать берега и предаваться томлению. Его заинтересовали медузы, а прибрежные воды восточной Австралии изобиловали этими созданиями. Случай был в своем роде единственный, так как наиболее нежные экземпляры через несколько часов становились непригодны для исследования, и важно было непрерывно пополнять их запасы. Теперь Гексли собирал материал для самой известной из работ, написанных им на «Рэттлснейке»: «О строении и родстве семейства медуз». В ней он показывает, что медузы родственны не лучистым вроде морских звезд или морских ежей, а группам, чрезвычайно с ними несхожим, таким, как полипы и сифонофоры, которые тоже развиваются из двух основных оболочек, внешней и внутренней. В конце статьи он чуть ли не вскользь замечает, что принцип строения архетипа у медузы тот же, что и у куриного эмбриона. Биологу в те дни просто нельзя было сделать открытие, чтоб не столкнуться вплотную с эволюцией. Но Гексли еще мыслил о фактах

девятнадцатого века категориями восемнадцатого.

Пробыв месяца три в море, «Рэттлснейк» возвратился в Сидней. Том обосновался у Фаннингов, под одной крышей со своей Нетти. Это, однако, не помешало ему закончить работу о медузах, которую капитан Стэнли направил затем в Королевское общество.

Во втором плавании к северу «Рэттлснейк» находился девять месяцев, испробовал путь до берегов Новой Гвинеи и Луизиады, а оттуда сопровождал до Рокингемского залива барк «Тэм О'Шентер», с которого высадились тринадцать человек, чтобы обследовать северо-восточную часть Австралии вплоть до Кейп-Йорка. Начальник этой экспедиции Эдмунд Кеннеди успел довольно близко сойтись с Гексли и предложил ему отправиться с ним, что Гексли непременно и сделал бы, если б это не запрещалось правилами службы. Когда пришла пора снова поднять исследователей на борт, «Рэттлснейк» отрядил свое посыльное судно «Брэмбл» обменяться с Кеннеди условными сигналами. Но сигналов с берега не последовало. «Брэмбл» прождал десять дней и вместе с «Рэттлснейком» взял курс на Кейп-Йорк. Опять никаких вестей о Кеннеди. Так о его судьбе ничего и не знали вплоть до четвертого захода «Рэттлснейка» в Сидней. Лишь тогда стала известна страшная правда о том, как экспедиция продиралась сквозь практически непроходимые заросли. Провиант был на исходе, люди заболевали один за другим. И все-таки Кеннеди шел вперед. С ним шли еще трое, а под конец — всего один: его верный чернокожий слуга Джеки. И вот у самой цели, можно сказать, прямо на виду у поджидавшего их судна, Кеннеди закололи копьями туземцы. Джеки едва унес ноги. Из двенадцати белых спасли со временем только двух. Флотский устав, распоряжавшийся судьбою Томаса Гексли, на сей раз обернулся для него благом.

Третий поход к северу привел Гексли в самое сердце Кораллового моря. Здесь открывались ни с чем не сравнимые возможности для изучения кораллов, занимавшего видное место в составленной им программе исследований. Здесь на каждом шагу молчаливо манили к себе острова, увенчанные зеленью джунглей, окольцованные белой кипенью прибоя, — неведомая жизнь, дикие племена, первобытная культура, только наблюдай! А он то и дело оставался сидеть у себя в каюте, жалуясь на жару и отказываясь сойти на берег. Иногда ему хотелось заснуть и не просыпаться до конца плавания, в другие минуты он чувствовал себя «как тигр, которого только что изловили и заперли в клетку».

Несомненно, что он впал в затяжную депрессию. Сколько

можно судить, за ним всю жизнь водилась такая странность: приливы рабочей горячки чередовались с приступами сонной подавленности. Вот и сейчас: сначала месяц или больше в Сиднее, упорная работа над статьей о медузах, все время приподнятое настроение, оттого что рядом, в этом же доме, живет Нетти. А потом, в разлуке, в одиночестве, наступила реакция. Скоро ему предстоит расстаться с Нетти, может быть, на несколько лет. Он просил ее руки, но когда-то еще он займет положение, которое даст ему возможность жениться? О научных работах, отосланных в Англию, пока ничего не слышно. Неужели они совсем не стоят внимания? Неужели ему не по плечу стать ученым? Там, на родине, большой мир Лондона, мир великого, истинно важного, — он ждет, его необходимо завоевать и не только ради собственных практических надобностей, но ради благоденствия чудесной, светловолосой девушки с правдивыми глазами, ради того, чтобы она могла им восхищаться… А тут сиди как в ловушке, жарься и парься посреди океана.

Чувство ответственности и досада, что планы рушатся, подогревали его честолюбие и вместе с тем пробуждали неуверенность в себе. Он жаждал доказать, на что способен, и в то же время побаивался соперничества. И, естественно, отдавал должную дань раздумьям о суетности людского тщеславия. Так, после одного из многодумных бдений на палубе под луной он писал:

«Это огромное море — Время, а мелкие волны — превратности и случайности жизни. Борта корабля — Тяготы, и лишь при столкновении с ними вспыхивают и лучатся светом малые водяные твари. Они — люди. При штиле они бы не светились. Взгляните, вон там один покрупней; он сияет, словно огненная рукавица. Это какой-то великий завоеватель. Он блестит целую минуту — вот вам Слава, — а затем, как и прочие, уступает темноте. Сколь же доблестен тот, кто не порывается стать великим!»

Научная работа напоминала об отосланных рукописях, которые, казалось, постигло забвение, и он спасался от этих мыслей, уходя в литературу, занимался итальянским, читал «Божественную комедию».

Океанское путешествие протекает в микрокосме и в макрокосме, на тесной посудине и на широком просторе; и часто бывает, что первая становится куда более чуждой тебе, чем второй. До сих пор Томаса Гексли в основном занимал макрокосм. Микрокосм воспринимался лишь как мелкая неприятность. Теперь же неприятность разрослась до таких размеров, что вызвала к жизни несколько красочных описаний:

«Сомневаюсь, чтобы ум человеческий способен был вообразить что-нибудь более унизительное и гнусное, чем такое положение, когда сто пятьдесят мужчин упрятаны в деревянный ящик, и их, как нас сейчас, шпарит горячей водой… Нижняя и средняя палубы совершенно не проветриваются; своеобразный раствор человечины в пару заполняет их без остатка и окружает иллюминаторы зловещим ореолом. Жара такая, что спать невозможно, и единственная моя забава — наблюдать за тараканами, кои изволят пребывать в состоянии чрезвычайного и радостного оживления».

Что всякий корабль — это маленькая плавучая деспотия, окруженная пустотой; что люди способны растворяться в пару, а едкая кислота их чудачеств язвит все сильней, и проявляются эти чудачества все резче, открывая целый сонм сложных и колючих индивидуальностей и наводя на любопытные умозаключения, — все это в долгих и мучительных раздумьях третьего похода Гексли понял достаточно ясно. То было, однако, умение видеть факт, но не его подоплеку; восприимчивость без проницательности. Да и что за надобность ему была понимать людей! Он руководил и распоряжался имя. Когда он был самим собою, он чувствовал себя и действительно был таким сильным, что не имел никаких причин ломать себе голову, завистливо доискиваясь, в чем источник силы других; к тому же, как ни молод, как ни удручен заботами он был в ту пору, им явно восхищались все достойные восхищения люди на судне.

После возвращения в Сидней и встречи с Нетти хандры у него в значительной мере поубавилось. А последнее плавание к северу рассеяло ее окончательно. На сей раз в качестве объекта исследования он предпочел медузе человека. При столкновениях путешественников с местными жителями нередко разыгрывались маленькие фарсы, довольно-таки забавные, а впрочем, достаточно напряженные и опасные. Так, однажды некий рослый детина, получив в обмен на груду бататов топорик, от восторга сгреб Гексли в охапку и, кружа словно в вальсе, прошелся с ним добрую четверть мили. Гексли норовил направить его поближе к деревне, чтобы как следует рассмотреть хижины. В другой раз толстяк матрос внезапно обнаружил, что со всех сторон окружен дикарями; он умудрился отвлечь их внимание, лишь когда роздал им все, во что был одет, и, рискуя испечься заживо на солнце, откалывал перед ними импровизированный танец, пока не подоспела подмога.

Самым своим плодотворным с познавательной точки зрения приключением, хотя бы отчасти, Гексли был обязан Макджилливрею, его осведомленности по части языков и

представлений аборигенов. У коренных австралийцев считалось, что белые люди — это духи усопших в новом воплощении. Во время длительного пребывания вместе с Гексли у дружелюбных обитателей острова Маун-Эрнест Макджилливрей сумел убедить старика по имени Пауда в том, что он — дух его недавно скончавшегося тестя. Пауда тотчас исполнился откровенности и гостеприимства. Тогда Макджилливрей жалостно взмолился, чтобы ему дали повидаться с дочкой и с внучками — дело в том, что своих женщин островитяне куда-то упрятали и не показывали. После множества клятвенных заверений, что все останется тайной, старичок наконец повел двух белых к своему семейству, где их приняли нежно, хоть и не без примеси суеверного страха. Через сорок лет, ополчась против демонологии и анимизма в библии, Гексли пространно говорил об этом поучительном примере людской доверчивости.

В его путевых заметках нет систематического отчета о жизни туземцев. Чтобы составить такой отчет, ему недоставало выучки. Местных языков он не знал. Еще не был выработан единый метод классификации цвета кожи и обмера черепов. Гексли пытался стать антропологом до того, как была по-настоящему создана антропология. И все же он усердно и добросовестно делал что мог: рассказывал об отдельных эпизодах, описывал людей, их жилища, челноки, утварь, сопровождая изложение меткими, точными зарисовками — к этому у него был необычайный дар. Его схематический набросок челнока с выносными уключинами представляет собой настоящий образец достоверности в графике. Во всем прочем антропологические изыскания Гексли страдали тою же нехваткой душевной прозорливости, какая позже, хоть и в меньшей степени, отличала его критическую деятельность в области социальной и политической, — и невольно склоняешься к мысли, что дикари возбуждали в нем скорей чувство юмора, чем стремление по-человечески их понять. Впрочем, такой вывод был бы несправедлив. Пусть Гексли не слишком принимал их всерьез и, как многие другие викторианцы, считал их детьми, но он, по крайней мере, всегда видел в них человеческие существа. Отдельным проявлениям грубой силы и несдержанности папуасов нужно противопоставить «их неизменно ласковое отношение друг к другу, их доброту к своим женщинам, чистоплотность, их совершенство в полезных ремеслах, опрятность жилищ… а также упорство в труде и изысканность вкуса, о которых свидетельствуют их многочисленные резные изделия».

Во время четвертого похода перед путешественниками простер свои зеленые, окутанные дымкой берега громадный остров-континент Новая Гвинея, «отрезанный от общения с

цивилизованным миром больше даже, чем Китай, — писал Гексли, — и столь же, если не более, богатый редкостями и диковинками». А в один прекрасный день низко стелющиеся туманы и густые облака внезапно расступились, и изумленным взорам мореходов представилась величественная цепь синих гор, доселе неведомая людям, а отныне названная именем капитана. Однако сам Оуэн Стэнли, правда, не менее их взволнованный и по-прежнему снедаемый жаждой стать великим исследователем, предпочитал отсиживаться в безопасности на борту корабля, а если и совершал вылазки, то робко и с оглядкой. Он был слишком исполнен сознания своей ответственности, чтобы зря подвергать риску подчиненных, и слишком гуманен, чтобы допустить пальбу по местным жителям, хотя бы в целях самозащиты.

На деле же мир Стэнли распался как карточный домик в тот самый миг, когда он готовился его открыть. Три года, пока он вел свой утлый и тесный деревянный ковчег сквозь парные воды и крутые лабиринты Кораллового моря, сделали честолюбивого молодого идеалиста-капитана запуганным, вечно раздраженным, хвастливым неврастеником-буквоедом. Вся обстановка на судне переменилась; главным занятием экипажа стало разбираться в загадках личности капитана. Приговор Гексли в то время был прост.

— Трусость, — объявил он после очередного проявления непомерной осмотрительности в отношениях с туземцами. — Чего он добивается, этот субъект? По-моему, нет другого способа убедить его, что его жалкие телеса находятся в безопасности, как только сложить все луки и стрелы на палубе, а всех людей — связанными на берегу.

Беда грянула, когда «Рэттлснейк» снова взял курс к югу, на Сидней. Капитана сразил полный упадок духа. Даже поправляясь, он был нетверд рассудком, бредил, без умолку говорил о величии славы, которая ждет ученого-исследователя. Он вынужден был вручить себя попечению доктора Томсона, и командование судном принял лейтенант Юль. В марте 1850 года, через месяц после прибытия в Сидней, капитан скончался. Он не взбирался на вершины горной цепи Оуэна Стэнли, зато, по крайней мере, выполнил свою задачу: открыл широкий и глубокий путь через Коралловое море и Торресов пролив.

Когда окончился наконец четвертый поход, Гексли сделал заключительную запись в своем дневнике:

«Если бы кто-то взялся написать историю моей души за это время <пока я путешествовал>, она оказалась бы куда больше насыщена переменами и борьбой, чем история внешних событий, да только кто возьмется? Я сам, единственный подходящий

летописец, слишком тесно в ней замешан…

К тому же я лишен таланта писать о подобных предметах… Я не склонен к самоизучению, и если не даю своим мыслям пищи вполне осязаемой, они разбредаются куда попало».

Да, открыть самого себя ему удалось не более чем капитану Стэнли — открыть реки Новой Гвинеи. Он обозрел раздольные пространства очевидного, но ни на шаг не продвинулся вверх по течению.

7 мая 1849 года Нетти Хисорн записала поздно вечером в дневнике:

«Нынче утром я проснулась в печали. Никак не верилось, что дорогого Хэла здесь больше нет, однако горечь вчерашнего расставания еще слишком была жива, чтобы оставить место для сомнений. Я силилась подавить свое горе и, когда он уехал, испугалась, что не выказала при разлуке довольно чувства, зато… после его отъезда… оно прорвалось со всем неистовством отчаяния — такая невыразимая мука пронзила меня…

В ушах еще шелестят прощальные милые слова: „Храни тебя бог, родная“. Я чувствую, как меня обвила его рука, другою он потрепал бедняжку Снэпа, попросил ради него обходиться с собачкой поласковей — последний бесценный поцелуй — и вот он вскочил на коня и (ах, как скоро!) скрылся из виду».

3
ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ

Гексли возвратился в Англию, заранее настроив себя на разумную терпеливость. Он был скромен в своих расчетах: блестящий и умеренно оплаченный успех в умеренно короткое время — не более того. Для начала все складывалось недурно. Обе работы, отосланные на родину с «Рэттлснейка», были опубликованы и успели уже получить определенное признание, в особенности со стороны Эдварда Форбса[26], профессора Государственного горного училища, сердечного человека и талантливого геолога. Правда, у него была романтическая слабость — считать, что особенности распределения видов в растительном и животном мире объясняются исчезновением континентов. По рекомендации Форбса и сэра Ричарда Оуэна Гексли получил в Британском военно-морском министерстве полугодовой отпуск с возможностью продлить его потом до года. Да, Гексли был разумно умерен, зато Британский королевский флот оказался лишь весьма умеренно разумен. На издание остальных материалов, собранных во время плавания на «Рэттлснейке», он соглашался предоставить Гексли время, но, вопреки своим широковещательным посулам, ни в коем случае не деньги. Тщетно высокопоставленные лица ходатайствовали за Гексли перед другими высокопоставленными лицами даже внутри самого министерства — никаких сдвигов. Британский королевский флот, эта непостижимая абстракция, то ли по халатности, то ли из вражды оставался непреклонен.

А тут его разумные расчеты постиг новый удар. Если за познания в области классики еще как-то платили, то за познания

в области естественных наук платили только в самых редких случаях. Классика вещь необходимая, на ней взращивают джентльменов и выкармливают духовенство; естествознание же требуется лишь для некоторых прикладных и достаточно низменных профессий. А потому, подобно крикету и футболу, оно в значительной мере оставалось занятием любителей, из коих самым знаменитым был сэр Чарлз Ляйелл.

«Зарабатывать на жизнь наукой нет ни малейшей возможности, — пишет Гексли сестре. — Мне все не верилось, но это так. В Лондоне существуют четыре, самое большее — пять должностей по зоологии и сравнительной анатомии, которыми можно прокормиться. Оуэн, ученый с европейским именем, уступающий в известности одному Кювье[27], получает как профессор триста фунтов в год — то есть меньше, чем иной банковский чинуша!»

Чтобы поправить собственное положение, Гексли понадобилось бы чуть ли не перестроить всю интеллектуальную жизнь Англии. Со временем он преуспел и в том и в другом, но в ту минуту мало что мог поделать. Оставалось только сердиться и ворчать. Он начинал подозревать, что с ним ведут нечистую игру.

Меж тем, словно в насмешку, на него со всех сторон сыпались почести. В свои неполные двадцать шесть лет он был избран членом Королевского общества и через год, опередив многих других, превосходящих его и по возрасту, и по количеству работ, награжден Королевской медалью. А главное, он был сразу же принят в среде самых выдающихся ученых Англии, обедал с такими людьми, как Ляйелл и Ричард Оуэн, и с приятным изумлением удостоверился, что сэр Ричард способен не хуже простого смертного подымить сигарой и спеть «совсем по-свойски» застольную песню.

«Все это я принимаю как должное, — пишет он, — хотя, признаться, бываю на каждом шагу изрядно поражен». Он был неимоверно поражен и обрадован. Да и могло ли быть иначе в двадцать шесть лет, при всей рассудочности его надежд! Когда Форбс сообщил, что он «подходит для Королевского общества», Гексли «отвечал с таким видом, словно ровным счетом ничего особенного не произошло», зато после «вышагал полгорода, блуждая в возбуждении туда-сюда по лондонским улицам». Какова выдержка! Так владеть собою перед лицом столь лестных доказательств признания!

Ринувшись в борьбу, он вдруг в какую-то минуту впал в юношескую восторженность, предаваясь безудержно возвышенным и весьма превратным рассуждениям о складе собственной натуры. Он пылал честолюбием и при этом мог

писать своей сестре:

«Хуже всего, что я совершенно лишен честолюбия… Не работать я не могу… но, будь у меня 400 фунтов в год, я никогда не допустил бы, чтобы под тем, что мною сделано, появилось мое имя». Он обожал схватки врукопашную, волнение многолюдной толпы и при этом мечтал «работать втайне, быть только голосом, свободным от всех личных побуждений, которыми движимы были даже лучшие». «Настоящая радость, высший восторг заключены в чувстве самосовершенствования — в ощущении силы и растущего единения с великим духом абстрактной истины». С подозрительной настойчивостью он твердил, что у него нет другой заботы, как только держать марку, «не запятнать себя скверной ханжества, дутой учености и своекорыстия», и страстно отрицал, что добился чести стать членом Королевского общества путем интриг. Правда, в другом случае он с подкупающей откровенностью объявил, что идет на заседание Британской ассоциации «потрубить о себе, подчиняясь необходимости». Конечно, Гексли не был ни интриганом, ни лицемером. Его высоконравственные порывы были очень искренни. Да, он мог предусмотрительно издавать трубные звуки в собственных интересах, но ведь он же потом героически трубил во все трубы и в интересах Дарвина. Себе он прокладывал путь вперед почти инстинктивно, однако своему идеалу служил по сознательному выбору.

В 1851 году, на съезде Британской ассоциации в Ипсуиче, Гексли познакомился с даровитыми молодыми учеными своего поколения — в частности, с Гукером и Тиндалем[28].

Джозеф Далтон Гукер, выходец из самого избранного круга потомственных ученых Англии, родился на свет с альбомом для гербария в одной руке и томиком Линнея — в другой. Жизнь его представлялась блистательным и вместе с тем предопределенным свершением. Он исправно выполнял задания, поставленные перед ним отцом, сэром Уильямом, и другими: пускался в рискованные экспедиции — вначале в Антарктику, затем на Гималаи; собирал образцы, накапливал ученость и искушенность в житейских делах, оставаясь, как прежде, тяжелодумом с несколько заземленным воображением, и в тридцать два года без особого удивления обнаружил, что он — один из талантливейших ботаников Англии. Единственным его грешком был горячий нрав, единственным проявлением слабости — склонность порицать тот же изъян в своем новом приятеле.

Тиндаль был существом, сотканным из сложностей и противоречий, и посвятил немало времени их научному изучению и поэтическому описанию. Это был тот же Гексли, только более

утонченный, лишенный основательности и веса. Он был одновременно менее последователен и более логичен, порывист и сдержан. Он в полной море обладал как ирландской широтой души, так и ирландской способностью ревниво отстаивать свои права. К себе он относился в высшей степени серьезно, а юмор проявлял лишь в виде бурной и неуклюжей шаловливости. Его бесстрашие, моральное и физическое, доходило до безрассудства. Его умение хранить верность было беспредельно и сочеталось с почти женской силой привязанности и мягкостью обхождения, отчего он смог стать другом на всю жизнь таким разным людям, как Карлейль и Фарадей. Из преклонения перед Карлейлем он не только читал немцев, но и учился в Марбурге и Берлине, где успел сделать открытия в области магнетизма и теплового излучения. Если Гексли стал политиком науки девятнадцатого века, то Тиндаль сделался ее рыцарем без страха и упрека. Его популярные работы написаны в известном смысле даже ясней и проще, чем у Гексли, но они уже, поверхностней и зачастую перерождаются в легковесные воспевания природы. Было почти неизбежно, что эти двое сделаются близкими друзьями.

Тогда же у Гексли завязалась еще одна знаменательная дружба, с Гербертом Спенсером[29], в то время — помощником редактора лондонского «Экономиста» и одним из самых замечательных людей, каким когда-либо доводилось сочинить добрую дюжину трудов по философии. Отец с младых ногтей приучил его во всем доискиваться до причин, и Спенсер очень рано нашел причину остаться милым чудаком, избрать себе холостяцкую долю и безраздельно предаться страсти теоретизировать обо всем, что бы ни привлекло его цепкий, рысий взгляд. Его увесистая «Автобиография» свидетельствует, что он подходил к себе не менее серьезно, чем к мирозданию, и умел не менее исчерпывающе и многосложно себя толковать. Приобретая знания по преимуществу самоучкой — как тому ни противились снедаемые педагогическим рвением его отец и дядя, — Спенсер усвоил многое из науки и ни слова из греческого; он изобретал (с большим или меньшим успехом) всевозможные усовершенствования — от инструмента для измерения скорости локомотивов до летательных аппаратов; сменил несколько профессий — от школьного учителя до проектировщика мостов. Теперь он постепенно осваивался с сидячим образом жизни и не лишенной приятности миссией объяснять все на свете.

Свои способности и вкусы он определял методом исключения, бесстрастно перебирая одно занятие за другим. Он несколько раз пробовал свои силы в опере, однако не мог

примириться с такой несуразицей, как то, что действующие лица должны не просто действовать, но и распевать при этом дуэты и трио. Пробовал стать вегетарианцем и воздержался по той единственной причине, что на вегетарианских кормах его стилю угрожало худосочие. Как-то раз Джордж Элиот[30] удивилась, почему это у него при такой усиленной мыслительной работе совсем не видно морщин на лбу.

— Это, наверно, оттого, что я никогда не бываю озадачен, — ответил Спенсер.

Он обладал почти автоматической способностью к индукции. В своей «Автобиографии» он рассказывает, что факты накапливаются у него в мозгу до тех пор, пока сами послушно не сложатся в обобщение. Как же было такому человеку не взяться за объяснение вселенной!

В 1852 году на съезде Британской ассоциации Спенсер услышал блистательный доклад Гексли об океанских гидроидных, а затем использовал кое-какие из приведенных им фактов в своей работе «Теория популяции, выведенная из общего закона плодовитости, у животных», и один экземпляр преподнес Гексли. Молодые люди определенно произвели друг на друга впечатление.

Статья Спенсера о популяции была даже более значительной, чем представлялось Гексли. В ней излагалась теория социальной эволюции, основанная на положениях, очень близких к принципу естественного отбора. «С самого начала, — пишет Спенсер, — непосредственной причиной прогресса являлась плотность популяции». И опять:

«Ибо в обычных условиях безвременно погибают те, в ком меньше всего способности к самосохранению, а отсюда с неизбежностью следует, что выживают и дают продолжение роду те, в ком способность к самосохранению проявляется с наибольшей силой, то есть отборная часть поколения».

В «Лидере» за тот же год Спенсер опубликовал «Гипотезу развития», в которой присоединяется к гипотезе биологической эволюции, выдвинутой Ламарком. Часто он заводил по этому поводу споры со своим новым другом-ученым, но неистощимая изобретательность Спенсера уравновешивалась резко критическим подходом Гексли; результатом было длительное и дружественное несогласие.

Они быстро сблизились. В известном смысле то была дружба между заполненностью и вакуумом. Спенсер усиленно мыслил, дабы в голове его никогда не переводился материал для умозрения. Гексли мыслил не менее усиленно, дабы в его голове не оставалось никакого места умозрению. Гексли был начинен

фактами. Спенсер — начинен идеями, которые вопияли о фактах. Однажды в беседе о природе трагического кто-то помянул имя Спенсера.

— Ха! — вскричал Гексли, — …трагедия в Спенсеровом представлении — это дедукция, умерщвленная фактом.

В 1858 году ради того, чтобы жить поближе к Гексли, Спенсер переехал в Сент-Джонс Вуд.

А тем временем высокопоставленные лица продолжали ходатайствовать за Гексли перед другими высокопоставленными лицами вплоть до премьер-министра, казалось бы, настроенного благосклонно, — и все равно Военно-морское ведомство оставалось непоколебимо в своей двойственности. Оно предоставило Гексли еще два шестимесячных отпуска, признав, что вплоть до издания книги его следует освободить от дальнейшего прохождения службы, но наотрез отказывалось предоставить необходимые для издания средства, которые со временем позволили бы ему вернуться к вышеупомянутой службе. По истечении срока Гексли вновь подал прошение об отпуске и денежном пособии. В ответ пришли четыре письма — одно грозней другого, — предписывающие ему безотлагательно прибыть на военное судно «Иллюстрос». По счастью, к этому времени его слава начала приносить хоть и умеренный, но доход. Он получил кой-какую работу в «Вестминстерском обозрении» и в издательстве научных пособий, так что на жизнь ему теперь хватало. Поэтому он распростился с военной службой, и Королевское общество, у которого до сих пор руки были связаны ограничениями устава, тут же выделило Гексли требуемую сумму.

Все так, но ему еще предстояло найти себе должность профессора, меж тем как профессуры в английской науке тогда почти не существовало. Шли годы, появлялись вакансии — в Торонто и Абердине, в Корке, в Лондонском королевском колледже. Ведущие ученые его области упорно рекомендовали Гексли на каждое освободившееся место, а назначения столь же упорно получали родные и знакомые господ политиков. Он уже терял надежду устроиться в Лондоне. Научные светила увещевали его не отказываться от блестящего будущего, которое непременно ждет его в столице, но не мог же он вечно оставаться многообещающим юнцом и накапливать академические почести в финансовой пустоте. Рано или поздно он должен либо жениться на Нетти, либо освободить ее от данного ему слова. Может быть, в конце концов, наука и женитьба попросту несовместимы? Он начал подумывать, не отказаться ли ему от науки.

Наконец в отчаянии он воззвал к самой Нетти:

«Бывают минуты, когда мне нестерпима самая мысль о том,

чтобы оставить нынешние мои занятия, когда я убежден, что это было бы отступничеством по отношению к моему долгу, трусливым дезертирством, а бывает, что я отдал бы истину, науку и все свои чаяния за то, чтобы очутиться в твоих объятиях… Я знаю, какой путь правилен, но совершенно не представляю себе, каким мне идти; помоги мне… ибо есть лишь один путь, который сулит мне надежду и успокоение».

Месяц проходил за месяцем, а ответа все не было. Разумеется, почта идет медленно. Он это понимал. Но он также понимал, как трудно женщине, живущей в такой дали, в совершенно ином мире, постигнуть его дилемму. Он едва не решился уехать врачом в Австралию. Но нет, медицина слишком тесно соприкасается с дорогой его сердцу научной работой. Нужно ехать овцеводом, лавочником. Кончилось тем, что он осознал всю вздорность этих планов и нашел в себе мужество принять решение. «Мой жизненный путь избран, — писал он. — Я *никуда* не уеду из Лондона». И действительно, для него столичная обстановка была ничуть не менее важна, чем для какого-нибудь сочинителя или сановника XVIII века. Наука в его понимании означала не столько вдохновение в уединенной тиши, сколько споры и дискуссии, политическую игру и действие. Лондон, утверждал он, это «самое главное место на земле, центр вселенной». Но Нетти он писал и другое: «Будь спокойна, доверие, которым ты меня облекла, когда я тебя покидал, — право выбирать за нас обоих — не обмануто». Не была обманута и его вера в нее. Вскоре пришло долгожданное письмо, ободряющее и сочувственное.

Теперь, когда он. набрался решимости переупрямить судьбу, она, правда не без яростных вспышек протеста, сделалась тою раболепной старушонкой, какой обыкновенно становится по отношению к людям, созданным повелевать. В 1854 году Эдвард Форбс возглавил кафедру в Эдинбурге и настоятельно рекомендовал Гексли в качестве своего преемника на должность профессора естественной истории и палеонтологии в Государственном горном училище. Гексли получил один из Форбсовых лекционных курсов, а затем по наследству и второй, после того как его «новый коллега внезапно стал жертвой своего рода нравственной колики, то есть вбил себе в голову, что ему якобы не справиться с профессорскими обязанностями, и подал в отставку». В том же году Гексли предложили целый ряд временных лекционных курсов, а также работу в Геологическом управлении, которая скоро стала постоянной.

Судьба, однако, улыбалась ему не без иронии. Вскоре, после того как Гексли заботами самого Форбса стал его преемником, ему как члену совета Королевского общества пришлось

участвовать в присуждении Королевской медали. Гукер, выдвинутый первым, получил его горячую поддержку. Следующим был выдвинут Форбс. Гексли заявил совету, что, по его мнению, две такие кандидатуры не должны исключать друг друга и что он будет голосовать за обоих. В письмах к Гукеру и Форбсу он с отличающей его смелостью и прямотой объяснил свое поведение, причем Гукеру даже прибавил, что «дорого бы отдал за возможность обеими руками голосовать за Форбса». Медаль присудили Гукеру. «Ваш образ действий, — ответил Форбс, — есть самое подлинное проявление дружбы, какое только бывает на свете». И в конце прибавил: «Итак, милый Гексли, я полагаю, Вы достаточно хорошо меня знаете, чтобы допустить мысль о том, что я обижен или завидую. Вы, я и Гукер мыслим слишком одинаково». Гексли берег это письмо среди самых заветных своих сокровищ, тем более что не минуло и года, как Форбс умер.

Еще не успев прийти в себя от первого потрясения после смерти друга, Гексли получил предложение занять освободившееся место в Эдинбурге. Жалованье составляло тысячу фунтов, но обязанности были нелегкие, да к тому же он ведь решился никогда не покидать Лондон. Уверившись теперь уже окончательно, что он не уедет, лондонское начальство предложило ему те же условия, что и в Эдинбурге. Путь благородства начинал окупаться самым отрадным образом.

Незадолго до того, как Гексли занял должность в Горном училище, отец Нетти решил вернуться с дочерью в Англию. Гексли полагал справить свадьбу в начале лета. Когда наконец после шестилетней разлуки он снова увидел Нетти, его ждал удар: она была тяжело больна. За год до отъезда из Австралии, во время утомительной прогулки на недавно открытый рудник, она сильно простудилась и попала в руки эскулапа той школы, что рекомендует пускать кровь и потчевать каломелью. Чуть ли не в последнюю минуту ее спас медик более современных взглядов. Пользуясь своим врачебным званием, Гексли повел ее под видом одной из своих пациенток к знаменитому лондонскому коллеге и потом наедине спросил, каково его мнение.

— Даю ей полгода жизни, — изрекла знаменитость.

— Не знаю, полгода или нет, — выпалил Гексли, — только ей все равно быть моей женой.

Знаменитый врач был вне себя от возмущения. Так беспардонно попрать негласный и надежный заговор молчания, предписываемый профессиональной этикой!

К счастью, другой известный врач заменил смертный приговор более мягким, предсказав больной очень медленное

выздоровление. Твердо решив во что бы то ни стало вырвать для себя хоть несколько месяцев счастья, влюбленные поженились очень скоро, в июле 1855 года, когда Гексли еще не завершил свой первый многотрудный лекционный курс. Несмотря на тревожные прогнозы, новобрачный до того повеселел, что с трудом подавлял желание визжать и кукарекать прямо в аудитории. В августе молодые совершили свадебное путешествие в Тенби, в Уэльс. Миссис Гексли была еще так слаба, что муж на руках носил ее на пляж и обратно и ухаживал за ней как опытная сиделка.

— Un vraimari![31] — восхищенно заключила француженка-горничная.

Из мира науки хлынули поздравления. «Надеюсь, женитьба не вызовет у вас расположения к праздности, — писал Гексли его новый друг Чарлз Дарвин. — Боюсь, что счастье дурно отражается на работе». А Гексли чуть ли не в это самое время писал Гукеру вот какие письма:

«Сколько можно судить, мы здесь определенно видим движение по направлению к земле. Стволы деревьев находятся в нормальном положении, их корни внедрились и слой плотного голубого глинозема и переплелись в нем».

Нет, Дарвин еще не знал своего нового союзника. Для Гексли искушение таилось не в праздности, а в работе сверх меры и суровом самоотречении. В жене и детях он нашел величайшее счастье, и значили они для него ничуть не меньше, чем наука, а между тем он так редко бывал в их обществе, что имел обыкновение называть себя постояльцем.

«Не успела я выйти замуж, — писала Нетти, — как сразу попала в научную атмосферу: его занятия, его друзья, книги, лекции, которые он читал, а я посещала… Это было откровение, оно облагораживало мир, в котором я жила, сделав все вокруг непривычно интересным и полным чудес». Едва ли это было откровение христианского толка. До замужества она молилась, чтобы в сердце Хэла проникла вера. Прошло время, и она стала причислять себя к агностикам. И все-таки до конца своих дней не переставала благодарить бога за все, что было возвышенного и чистого в их с Хэлом жизни. Во всяком случае, они обрели религию друг в друге.

Как ни чудесен и непривычен был для Нетти мир науки, она увидела, что кое-каким его тонкостям она еще может сама поучить Хэла. Когда они приходили домой со званого обеда или вечера, он имел обыкновение расспрашивать, что она думает о тех или иных его ученых собратьях. «Про одного я сказала, что он скряга, другого аттестовала иначе».

— Боже ты мой! — восклицал ее супруг после очередной точной оценки. — Что я, на колдунье женился? И откуда ты это знаешь?

Этого он, пожалуй, так и не разгадал.

Лестным для Нетти было почтительное восхищение бобыля-философа. Как большинство холостяков, Герберт Спенсер не мог подавить в себе осторожный, но игривый интерес к женщинам, в особенности когда они благополучно замужем. Он был бы способен даже на увлечение, ежели б только нежные размышления о прелестях дамы не сменялись всякий раз трезвыми размышлениями о ее кармане. Родственные души еще кой-когда попадались ему в сем далеком от совершенства мире, родственные кошельки, увы, нет. Что же касается молодой миссис Гексли, здесь ни о кошельке, ни об увлечениях речи быть не могло, и потому Герберт Спенсер с удовольствием настроился на прочные и дружеские отношения. Она звала его к обеду, и Спенсер, если он видел, что ему не грозит опасность «неприятных ощущений в голове» или приступов «сердечной слабости», принимал приглашения, рассыпаясь в замысловатых любезностях.

Женитьба не только не расположила Гексли к праздности, а, наоборот, ввергла в немыслимый водоворот кипучей деятельности. Рассеяв его неуверенность, создав ему твердыню надежности и любви, она как бы отверзла шлюзы новой энергии, так что он взвалил на себя бремя воистину геркулесовых трудов и победоносно свершал их. Помимо постоянных лекций, которые Гексли с февраля по июнь читал семь-восемь раз в неделю, он прочел в январе дополнительный вечерний курс, вел несколько полных систематических курсов для рабочих, провел в 1856–1858 годах цикл Фуллеровских чтений в Королевском институте, прочел целый ряд лекций на отдельные темы. Многие из них, рассчитанные на видных ученых, сановников, литераторов, требовали специальных изысканий и кропотливой подготовки. Кроме того, он продолжал вести собственные исследования, писал статьи и отзывы о научных книгах для журналов, перестроил работу Музея практической геологии применительно к запросам студентов и совместно с Гукером и другими разработал для Британского музея подробный план экспозиции до естественной истории, много лет спустя осуществленный и Южном Кенсингтоне. В виде отдыха он исполнял свои обязанности по части Геологического управления в Тенби, а когда слишком уж донимали головные боли, расстройство пищеварения, упадок сил и тому подобные викторианские немочи, отправлялся в Альпы и лазил по горам, следствием чего явилась работа о ледниках, написанная в сотрудничестве с

Тиндалем.

Вечером в канун 1857 года, когда жена его лежала и соседней комнате, готовясь произвести на свет их первенца, Гексли в духе торжественного посвящения строил планы на будущее.

«1856—7–8 должны по-прежнему быть „Lehrjahre“[32], с тем чтобы я мог полностью овладеть основами гистологии, морфологии, физиологии, зоологии и геологии, написав по каждой из этих наук монографию. Тогда я встречу 1860 год с основательным запасом знаний, готовый к любым исследованиям в каждой из этих областей.

Как этого достигнуть, заранее определить невозможно. Нужно будет использовать всякий случай, какой представится, даже под страхом навлечь на себя упреки в бессистемности.

В 1860 году я смогу смело рассчитывать на пятнадцать-двадцать *„Meisterjarhe“*[33], и при широте охвата, какую обеспечат мои познания, за этот срок можно будет, я думаю, наметить новое, более верное направление всей биологической науки.

Разить всяческих шарлатанов, невзирая на звания и чины; задать более благородный тон в науке; явить пример презрения к мелким личным разногласиям, терпимости ко всему, кроме лжи; оставаться равнодушным к тому, признают сделанную работу твоей или нет, лишь бы она была сделана, — приду ли я к этой цели? 1860 год покажет».

Этот поразительный замысел оказался не только осуществимым, но и пророческим: были правильно предугаданы и 1860 год, и упреки в бессистемности. Он внес вклад в каждую из перечисленных наук. Он пользовался всяким случаем, всякой возможностью исполнить задуманное, особенно в полемике вокруг учения Дарвина в 1860 году, и уж тут определенно взялся за работу с полным или почти полным равнодушием к тому, признают ли, что она сделана именно им. Он в самом деле задал более высокий тон в науке и шарлатанов крушил так же яро, как Гладстон[34] синекуры и излишества. По сути дела, он жил соответственно изречению Карлейля: не ведая самого себя, но ведая, что творит.

Как многие хорошие лекторы, Гексли поначалу читал довольно посредственно. Первую свою попытку он предпринял в двадцать семь лет перед одной из самых напыщенных, монументально-накрахмаленных аудиторий Королевского института; начал в страхе божьем, а закончил с искренней убежденностью, что до слушателей донесено каждое слово.

«Когда я взглянул в зал и увидел сплошь одни лица, мне стало, сознаюсь, весьма не по себе. Теперь я вполне понимаю, каково человеку, когда его собираются повесить, и лишь

настоятельная необходимость остаться не позволила мне сбежать…

Минут десять я не совсем ясно сознавал, где я и что я, но постепенно привык и мало-помалу совершенно овладел как собой, так и своею темой».

Несмотря на это, он все-таки получил два критических письма — одно от «рабочего человека», второе — от некоего мистера Джодрела, впоследствии основателя Джодрелского лектория в Лондонском университете. Гексли рекомендовали не «сыпать словами без передышки, особенно специальными терминами», не «лететь вперед сломя голову при изложении нового и незнакомого материала», не «читать лекцию в разговорном тоне, подходящем для горстки студентов, сбившихся вокруг кафедры, но не для большой аудитории». Что касается его манеры держаться, то и она, оказывается, была на первых порах чересчур напряженной, а временами просто воинственной. Гексли сделал на этих письмах пометку: «Полезные советы» — и всегда держал их под рукой как напоминание.

Однако даже чувство страха перед аудиторией лишь означало для него, что он не успокоится, пока не достигнет мастерства, а то, что он достигнет мастерства, было неизбежно для человека такой молниеносной сообразительности и ясного ума, такой взыскательной самодисциплины и всесторонних познаний. В те времена исход событии и столкновений еще решали слова и доводы. Хорошо говорить — значило обладать властью и внушать уважение, а говорить как Гексли — значило быть Гектором среди троянцев, славным героем в затяжных войнах мнений. Гексли такой удел принимал с восторгом. И все же каждый человек — пленник своих талантов. Таланты Гексли заставляли его слишком уж много времени проводить на поле брани. Мирные ремесла выше ремесел войны.

Любопытный образчик популярных лекций Гексли представляет собой лекция «Об образовательной ценности естественноисторических наук», прочитанная в Сен-Мартинс-Холле в первый многотрудный и суматошный год преподавания. Очевидно, она была написана второпях и оттого довольно рыхла по построению. И все равно стиль повсюду четок, динамичен, изложение выпукло, многие места западают в память. Именно здесь встречаешь знаменитое высказывание о том, что наука есть отточенный и упорядоченный здравый смысл, и другие, менее известные, но столь же яркие и своеобразные:

«Для человека, не искушенного в естественной истории, прогулка по сельским местам или берегу моря подобна посещению галереи, наполненной дивными творениями

искусства, из коих девять десятых обращены к стене. Преподайте ему начала естественной истории, и вы снабдите его каталогом тех шедевров, которые достойны быть повернуты и открыты взору».

Как видно, в двадцать девять лет Гексли уже нашел свой слог.

Не менее значительна лекция и по содержанию. Автор ее предстает перед нами в ту пору теистом, романтиком и последователем Карлейля. Он ратует за науку не только из интеллектуальных и практических побуждений, но также из этических и эстетических. Наука есть не только дисциплина ума, но в равной мере и дисциплина духа, так как, обучая нас внимательно наблюдать природу и верно о ней судить, она помогает нам оценить оо эстетически. Короче говоря, здесь видна склонность отождествлять красоту природы с научной истиной, а то и другое считать средством врачевания душевных ран:

«Исключите из программы физиологические науки, и вы навсегда оставите студента слепым… к богатейшим источникам прекрасного в божьем творении; лишенным веры в живой закон — в порядок, обнаруживающий себя посредством бесконечного разнообразия и изменения, — той веры, которая могла бы смягчить и умерить период отчаяния, какой неизбежно наступает при искреннем интересе к социальным проблемам».

Упоминание о социальных проблемах существенно. В другом месте Гексли делает резкий — почти в выражениях «Прошедшего и настоящего» Карлейля — выпад против той философии, «которая представляет мир как некую невольничью галеру, приводимую в движение морями слез ради чисто утилитарных целей».

Та же направленность выступает еще более отчетливо в другой его лекции, прочитанной в 1856 году: «О естественной истории, как отрасли знания, научной дисциплине и могучей силе». Здесь он заявляет без обиняков, что «природа — не механизм, но поэма». Там, где учение Кювье о «корреляции частей организма» — иначе говоря, о согласованности гомологических структур — бессильно объяснить анатомию животных, биологи, вероятно, вынуждены искать принцип высшего порядка, «опирающийся не только на чистый рассудок, но в не меньшей степени на эстетическое чувство». Недаром мы видим, как красоты природы отвечают нашему чувству прекрасного, ведь и сама природа происходит от «благотворной работы в условиях физического мира разума того же рода — хоть и превосходного по степени, — что и наш собственный». Как видно, Гексли, по крайней мере на время, поддался риторическим и трансцендентным восторгам Карлейлева теизма.

Лекция «О естественной истории» представляет собой любопытное сочетание осмотрительного здравомыслия и безудержного романтизма. Гексли трезво поддерживает то направление индуктивной логики, которое опровергает доктрину Кювье о возможности восстановить целый скелет по одной косточке, и тут же очертя голову попирает всякую логику ради эстетического чувства. Он до небес превозносит духовную благотворность науки, а вслед за этим холодно предостерегает, что можно накликать Немезиду, если появится чересчур много мыслителей с одним набором нравственных устоев для науки и другим — для повседневной жизни.

Не исключено, что, делая эту мудрую оговорку, Гексли имел в виду своего прославленного современника сэра Ричарда Оуэна, занимавшего в то время пост директора Хантеровского музея и широко известного как «английский Кювье». На первых порах сэр Ричард был сама доброта, способствовал награждению молодого судового врача разными знаками отличия, не раз писал в Адмиралтейство, отстаивая его интересы. И все-таки Гексли, повинуясь внутреннему чутью, держался настороже. Английский Кювье был так ужасающе вежлив! Он улыбался такой ужасающе натянутой улыбкой! К тому же о нем шла дурная слава в научных кулуарах. Похоже, что этот человек был охотник до экспериментов над своими собратьями-учеными, и притом с наклонностью к садизму и мистификациям.

В 1852 году Гексли по совету Форбса обратился к Оуэну за рекомендательным письмом.

«Я… не получил никакого ответа — был, разумеется, изрядно взбешен… Мы встретились — я собирался пройти мимо, но он меня остановил и самым елейным и милостивым голосом произнес:

— Я получил вашу записку — *так уж и быть,* письмо вы получите.

Эта фраза и скрытая в ней снисходительность были предельно „трогательны“ — я почувствовал, что еще минута, и я его поколочу, — поэтому я только поклонился и пошел дальше. Кончилось все тем, что я получил *„самую горячую и убедительную рекомендацию, какую только можно дать“*. …Отныне и навсегда отказываюсь от всяких попыток постигнуть этого человека».

Ясно, что в Оуэне сочетались черты тирана и примадонны: он обожал власть и славу. Он помогал подающим надежды молодым людям, пока они не начинали подавать слишком уж много надежд, и приветствовал новые идеи, пока они не расходились с его собственными. Гексли в короткий срок стал подавать непомерно большие надежды, а к 1856 году и идеи у него стали

неподходящие. Еще в 1852 году он писал своей сестре, что, если его статья о морфологии моллюсков попадет в руки одного «сугубого благожелателя», она никогда не увидит света. «Необходимость этих мелких тактических уловок мне отвратительна до крайности, — прибавляет он. — …Как я мечтаю о том, чтобы можно было доверять людям без оглядки». Гексли слегка смахивал на блестящего боевого генерала, который терпеть не может войны.

Война же, конечно, была неотвратима. В последних своих работах Гексли ожесточенно нападал на Кювье, этого бога-покровителя сравнительных анатомов, и возбудил повсюду немало священного ужаса — не столько самими нападками, сколько их ожесточенностью. Он допустил чудовищную, непростительную ошибку, тягчайший по викторианским понятиям проступок — он погрешил против хорошего тона. Сам Дарвин, который вот уже много лет занимался тем, что чинно и благопристойно подрывал основы вселенной по Кювье, счел должным написать своему молодому другу кроткое, но укоризненное письмо. Оуэн во всеобщей шумихе участия не принимал, но, как главный наследник Кювье, по всей вероятности, решил, что все деяния Гексли — от лукавого. Ведь он уже провинился однажды, отрекшись от Кювье и отстаивая бога. Скоро ему предстояло совершить еще более вопиющую провинность: отречься от бога и отстаивать Дарвина.

В 1856 году сэр Ричард Оуэн перешел из Хантеровского в Британский музей. Вскоре после этого, получив разрешение пользоваться лекторием Горного училища, он стал именовать себя профессором палеонтологии этого учебного заведения. Это был прямой удар по Гексли, который, хоть и не проявлял вначале особого интереса к ископаемым, постепенно, в связи со своей преподавательской деятельностью и работой в Геологическом управлении, все больше становился палеонтологом. Горное училище попросило Оуэна дать объяснение своему поступку. Когда тот никаких вразумительных доводов привести не смог, Гексли порвал с ним всякие личные отношения.

И тут Оуэн сам предал себя в руки неприятеля, став жертвой собственной плутоватой ортодоксальности. Дело в том, что костям в те времена придавалась богословская значимость, они как бы олицетворяли собой последний бастион на пути долгого отступления. В XVII веке было признано, что Земля — не центр материального мира. Неужели в XIX придется признать, что человек, с точки зрения анатомии, не уникален? Где человеку обрести уверенность в существовании бога, если бог не снабдил его никакими вещественными доказательствами

предпочтительного к нему расположения? Гёте оказал религии дурную услугу, обнаружив в человеческом лицевом скелете общую с обезьянами межчелюстную кость. Оуэн, судя по всему, надеялся спасти души людей, обнаружив в человеческом черепе большие участки костного покрова, не существующие ни у одного другого животного. Действительно ли он верил, что их открыл, или только притворялся в назидание прочим смертным, — остается неясным, ибо работа, представленная им в 1857 году Линнеевскому обществу, не только по своему благочестию, но и по своей двусмысленности вполне могла потягаться с тридцатью девятью догматами англиканской церкви[35]. В одном месте он подчеркивал, что человек и обезьяна, вплоть до последнего сухожилия и плюсны, поразительно сходны. В другом месте утверждал, что человек так не похож на обезьяну и вообще ни на кого, что его следует выделить в особый подкласс класса млекопитающих. В своем рвении Оуэн дошел до «грубейших элементарных ошибок в анатомии человеческого мозга», но его огромный престиж заставил умолкнуть инакомыслящих.

Заставил, но ненадолго. Если сэр Ричард оказался не способен взглянуть в лицо им же установленным фактам, за него был вполне готов это сделать Гексли. Он успел раскусить этого человека. Оуэн обладал громадными познаниями, был силен в мелочах, но умел «работать лишь в пределах конкретного, от одной кости к другой». Во всем, что касалось широких обобщений, он был сентиментален, напыщен и недалек — слишком хилый Голиаф, чтобы противостоять столь грозному Давиду. Гексли владел всеми честными видами оружия в арсенале полемики. У Оуэна же мало что было за душой, кроме двуличия, уверток, злобного нрава, отличного умения разбираться в подробностях и непомерного авторитета — сомнительные преимущества б борьбе не на живот, а на смерть.

— Пусть он остережется! — заключил Гексли.

Исподволь пробив очередью коротких статей несколько дыр и трещин в оуэновской репутации, Гексли в своей лекции «О теории черепа позвоночных», прочитанной в Королевском обществе в 1358 году, предпринял массированное наступление по всему фронту — с тщательно обдуманной жестокостью — в тот самый день, когда председательское место самолично занимал английский Кювье. Гексли показал глубочайшие несообразности и нелепости излюбленного утверждения Оуэна, что череп у позвоночных является продолжением позвоночника, и потом сформулировал более веские выводы, основанные на эмбриологических исследованиях. Сравнительные анатомы приняли их почти сразу же. Гексли в этом случае избрал тот

самый путь, который потом дал ему возможность не только разбить наголову Оуэна, но и открыть новую эпоху в науке своим знаменитым произведением «Место человека в природе». Борьба с оуэновской богословской анатомией увела его от Карлейля и готовила к приятию Дарвина. А времени для приготовлений оставалось немного.

4
СКАЗКА ПРО ПРИНЦА-НЕДОТЕПУ

Признаться, поражение Оуэна было бы, наверно, воспринято куда острей, если бы сразу вслед за ним не произошло еще более захватывающего события. 18 июня 1858 года, на другой день после того, как Гексли прочел свою блистательную лекцию, Чарлзу Дарвину, затворнику и автору ряда основательных и трудоемких книг и статей, пришло с Малайского архипелага письмо чрезвычайной важности. Оно было написано Альфредом Расселом Уоллесом и содержало краткое изложение теории, объясняющей происхождение видов и их приспособление к условиям внешней среды посредством естественного отбора.

«Никогда не приходилось мне видеть совпадения более разительного, — писал Дарвин своему другу сэру Чарлзу Ляйеллу. — Будь у Уоллеса мой рукописный черновик, относящийся к 1842 году, он и тогда не мог бы составить лучшего извлечения! Даже термины его и те сейчас стоят у меня как названия глав… Итак, все мое первенство, к чему бы оно ни сводилось, разлетится в пух и в прах, хотя книга моя, если она вообще будет чего-то стоить, от того не обесценится».

Слова по обыкновению далеко не выражали того, что он чувствовал. И слава богу! Не хватало еще, чтобы кто-нибудь заметил, как болезненно он принял то, что его опередили. Ляйелл, кстати, предупреждал, что так может случиться. «Я воображал, что обладаю слишком возвышеннной душой, чтобы это могло меня задеть, — писал Дарвин Джозефу Гукеру, — но оказалось, что я ошибался и вот теперь наказан».

Пожалуй, всерьез Дарвин никогда не допускал мысли о такой

возможности. Он был так поглощен своей работой, так медленно продвигался вперед. Столько времени отнимала у него слабость и вялость, он так легко огорчался, заболевал. Он так медленно читал, так медленно писал, даже думал так медленно! Он *все* время чувствовал, что отчаянно отстает, как черепаха, когда, вкладывая все силы в каждый последующий шаг, она неистово поспешает ползком к недосягаемым горизонтам. Откуда у такого человека найдется время на то, чтобы подумать об окружающем мире? Да и много ли приятного в таких мыслях! Дарвин был джентльмен и потому боялся обращать на себя внимание; он был человек больной и потому сторонился праздного любопытства толпы. Как можно выступить перед целой страной с теориями, не только скандальными с точки зрения традиционной биологии, но кощунственными с точки зрения религии и викторианских приличий?

Он знал, как все это будет, — ведь его воззрения отчасти уже просочились наружу.

— Вы принесете больше вреда, чем десяток естествоиспытателей пользы, — ворча л его старый друг Фоконер[36]. — Вы уж, я вижу, и Гукера успели сбить с пути и изрядно испортить.

Постепенно, как с чем-то должным, он свыкся с мыслью о том, что его ждет неодобрение, даже презрение со стороны далекой от естественных наук родни, у которой до сих пор он почитался любимцем.

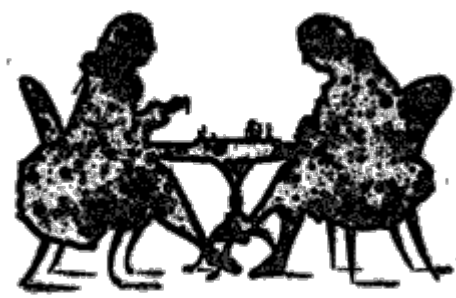
По ряду причин он укрылся от внешнего мира и почти забыл о нем. Его уже опережали в малозначащих открытиях, не слишком этим трогая. «Это теория Э. Форбса, — писал он Аза Грею[37] в конце геологической дискуссии, — которую, смею, впрочем, прибавить, за четыре года до того, как ее опубликовал он, изложил я». И он продолжал медленно, но верно делать свое дело, проверяя каждое обобщение бессчетным множеством фактов. И не было в мире человека, который так наслаждался бы фактами: «Вчера несколько часов пробыл в Лондоне с Фоконером, он прочел мне великолепную лекцию о возрасте человечества… У него есть в распоряжении отменные факты; чего стоит хотя бы крупный коренной зуб триасового периода». Факты были его утехой и развлечением, но серьезным делом и постоянной заботой были для него идеи об эволюции, которые за эти двадцать с лишним лет развили его самого, быть может, не меньше, чем он развил их. Можно было подумать, что идеи растили вокруг себя мозг…

— Ба, да у него форма головы стала совсем другая, — заметил его отец, впервые увидев его после плавания на «Бигле».

Отец у него был мастер замечать подобные вещи.

Чарлзу не раз суждено было открывать золотые россыпи в поисках песчинки; с оглядкой шел он, повинуясь своему чутью, и натыкался на самые невообразимые и диковинные чудеса. Самой обычной его реакцией на пережитое было благовоспитанно-изумленное восклицание. Самые обычные выражения в его письмах такие: «я был озадачен» и «я был в совершенном недоумении». Короче говоря, как истый англичанин, Дарвин набрел на гениальность и величие ненароком.

Его молодые годы протекали вполне обыденно и благополучно, совсем как в народной сказочке про принца-недотепу. В роли короля, его родителя, выступал доктор Роберт Дарвин, мужчина исполинских размеров, деятельный и внушительный. Он царил в любом обществе, как гора царит среди равнины, и почти неизменно запершая труды дневные двухчасовой речью, обращенной к своим оробевшим в благоговении чадам. Не мудрено, что четверо его детей постоянно чувствовали на себе всевидящее око своего могучего наставника.



Дед Чарлза Дарвина Эразм (справа) играет в шахматы с сыном.

Сыну он не был склонен давать поблажки, чем довел его до состояния незлобивой и ласковой, но постоянной виноватости. Каролина, старшая сестра Чарлза, которая стала присматривать за ним после безвременной смерти их матери, принялась за его воспитание «слишком уж ретиво». «Столько лет прошло, а я все ясно помню, как, входя к ней в комнату, спрашивал себя: „Интересно, за что она сейчас мне будет выговаривать?“» Бойкая и хорошенькая Каролина, как видно, считала своим долгом остаться старой девой, дабы принять на себя заботы по отцовскому дому.

Среди такого избытка нравственной строгости Чарлз рос застенчивым, несколько даже отсталым ребенком, склонным к

взрывам безотчетного непокорства. Он мог ловко воровать фрукты из отцовского сада и иногда отдавал их мальчишкам постарше за то, что они преклонялись перед его умением быстро бегать. Он любил собак, с самых ранних лет глубоко чувствовал прелесть живой природы и был одержим страстью собирать всякую всячину, от монет и печаток до тритонов и жуков.

В годы учения он, чтя семейные традиции, старался не ударить в грязь лицом, ибо невежество и праздность у них в роду при всем достатке и всей изысканности не жаловали. В школе он учился на совесть, но без особого рвения. Студентом-медиком в Эдинбурге не утруждал себя серьезными занятиями, уверенный, что отец так или иначе оставит ему порядочное состояние. Правда, он недолюбливал медицину. Болезненно впечатлительный, он не мог заставить себя присутствовать на операции. К тому же он находил эдинбургских менторов людьми до крайности скучными. Отчаявшись, отец подал ему мысль поступить в Кембридж и посвятить себя духовной карьере. Испросив совета у чуткой, а впрочем, послушливо-ортодоксальной совести, Чарлз согласился, предвкушая такую будущность не без гордости, хотя, возможно, и не без тайного протеста. Терпеливо и благодушно воскрешал он для себя из мертвых греческий язык, а от подробной, убедительной аргументации «Оснований» Пейли[38] получил подлинное удовольствие. Впрочем, охотиться на бекасов и собирать жуков было все-таки не в пример приятней.

— Тебя ничто не занимает, — раздраженно бросил ему отец. — Все охота, да собаки, да все бы крыс ловить — сам оскандалишься и семью опозоришь.

Доктор Роберт Дарвин, отец Чарлза.

А между тем добродушный молодой истребитель бекасов обращал на себя внимание. Каким-то непостижимым образом он сумел расположить к себе своего дядюшку, немногословного и делового Джозайю Веджвуда, потомственного владельца фарфоровой фабрики; сам великий сэр Джеймс Макинтош[39] соблаговолил его отметить:

— Что-то в нем есть, в этом юноше, чем-то он мне любопытен.

Правда, Чарлз жадно внимал речам великого человека, но недаром же сэр Джеймс слыл одним из первых краснобаев Англии. В умении скучать Чарлзу свойственна была та же избирательность, что и в умении проявлять интерес. В этом смысле его горькие жалобы на эдинбургских преподавателей, у которых эрудиция совсем вытеснила рассудок, звучали многообещающе. Да он и в других отношениях обещал многое. Он был, например, замечательно меткий стрелок. Физически неловкий, он обладал даром вдохновенной сосредоточенности, помогавшей ему преодолевать природные недостатки. В разгар увлечения охотой он имел привычку тренироваться дома перед зеркалом, чтобы увериться, что всегда держит ружье в правильном положении. Кроме того, он питал ненасытную страсть к таблицам, выкладкам и прочим непритязательным атрибутам достоверности. Стрельба без точного учета всех попаданий и промахов превращалась в сущую муку. Собирание жуков, начатое без намека на интеллектуальную пытливость, понемногу развивало наблюдательность, обогащало практическими сведениями. Благодаря этому увлечению он стал со временем неразлучным спутником Дж. С. Генсло[40], кембриджского профессора ботаники, так что преподаватели обыкновенно называли его «этот, который ходит хвостом за Генсло». Так, шагая в науку по веселой тропинке дружбы, он попутно накапливал знания по зоологии, ботанике, геологии.

Ему и в голову не приходило, что наука может каким-то образом оказаться не в ладах с его верой. У знакомых ему ученых в этом смысле все обстояло вполне благополучно. Так, Генсло — не только профессор ботаники, но и священнослужитель — был непогрешимо правоверен и однажды признался Чарлзу, что очень горевал бы, если б в Тридцати девяти догматах изменили хоть единое слово. Седжвик[41], профессор геологии, без устали, трудился также на духовной ниве, славясь здравомыслием и изощренностью в умении примирять несовместимые стороны своей деятельности. У Чарлза не было причин сомневаться в церковных догмах. Он сомневался только в себе.

«У нас был откровенный разговор о посвящении в духовный

сан, — писал его однокашник Дж. М. Герберт, — мы коснулись вопроса, который задает при рукоположении епископ. Веруешь ли, что ты движим духом святым, и т. д. И он, помнится, спросил, могу ли я ответить утвердительно, а когда я сказал, что нет, заключил: „Вот и я — нет, стало быть, мне нельзя в священники“».

Сомнения эти — отклик чуткой совести на недостаток религиозного рвения и приверженности к церкви — никогда не принимали достаточно острой формы, чтобы толкнуть его на прямые действия. Чарлз стрелял бекасов, собирал жуков, постукивал молотком по камням и верил в бога. Но преимущественно стрелял бекасов. «В ту пору, — писал он через много лет, — я счел бы чистым безумием пропустить ради геологии или иной науки первые дни охоты на куропаток».

В 1831 году он благополучно получил свою степень в Кембридже. О посвящении в духовный сан ни он, ни его отец больше не заикались. Дело в том, что Чарлз прочел «Путешествие» Гумбольдта и теперь мечтал о тропических лесах и о поездке хотя бы на Канарские острова. И надо же было случиться, чтобы именно в это время Генсло рекомендовал его как естествоиспытателя на английский бриг «Бигль» — скорлупку водоизмещением в 242 тонны, которая на пять лет уходила в плавание в основном для того, чтобы обследовать берега Южной Америки. Вот оно, приключение, достойное Гумбольдта, — Канарские острова, сущий рай! Правда, сначала его не отпускал отец. А капитану Фицрою чем-то не понравилась форма его носа. Но даже эти препятствия были устранены. Дядя Джозайя по собственному почину прислал его отцу письмо, советуя отпустить племянника. Чарлз, немало преуспевший в мотовстве за годы жизни в Кембридже, попытался утешить отца:

— Надобно редкое искусство, чтобы на «Бигле» расходовать более того, что получаешь.

Доктор Дарвин усмехнулся.

— Что же, ты у нас, говорят, большой искусник.

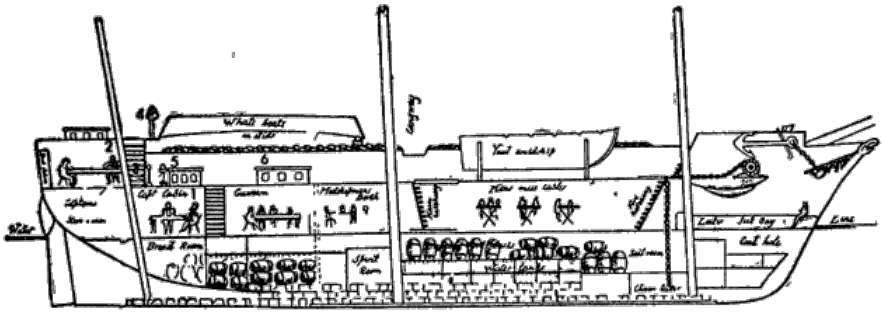
И дал свое согласие.

По приезде в Плимут Чарлз должен был два месяца дожидаться «Бигля». И как раз тогда впервые серьезно занемог.

«Я был подавлен сознанием, что на столь продолжительный срок покидаю родных и друзей, к тому же и погода стояла невыразимо унылая. Меня мучило сердцебиение и боль в сердце, и я не первым среди юных невежд, оснащенных лишь зачатками медицинских познаний, был уверен, что у меня сердечная болезнь. Врачу я не показывался, боясь услышать, что не гожусь для путешествия, а я был намерен ехать во что бы то ни стало».

Можно смело сказать, что в те дни у него скорей всего никаких неладов с сердцем не было, потому что за время плавания оказалось, что он обладает необыкновенной физической выносливостью.

Когда 27 декабря 1831 года «Бигль» вышел в море, Чарлз Дарвин был на борту.



«Бигль» в разрезе. Цифрой I обозначено место Дарвина в капитанской каюте.

Плавание Дарвина, бесспорно самое знаменитое из великих путешествий первооткрывателей, было во многих отношениях наименее героическим. Ничего особенного, если взглянуть со стороны: морская болезнь, тоска по дому — и тихий симпатичный молодой человек, по всей видимости задавшийся целью упрятать в склянки весь Южно-Американский континент. Однако внутренне он переживал нечто небывалое, потрясающее, грандиозное, как создание палаты общин или развитие кабинетной системы правления. Тем более что успех его был тоже счастливым итогом союза меж талантом и случайностью. Дарвин выгадал даже от своего невежества, так как оно, по крайней мере, было глубоким и всеобъемлющим. Над ним в отличие от Гексли не тяготело бремя основательной медицинской подготовки, ограничивающей поле его исследований медузами и сальпами. Он откапывал великанов-мегатериев так же храбро, как вскрывал морских червей. Он размышлял о континентах так же непринужденно, как о мелких кристаллах. А время приспело как раз такое, когда требовалось мыслить широко. Главное же, он был не слишком сведущ в богословской, доляйелловской геологии катаклизмов. Генсло напоследок посоветовал ему купить книжную новинку, первый том «Основных начал геологии» Ляйелла, внимательно прочесть и ни в коем случае не верить. Чарлз купил, прочел и поверил. Он вовсе не собирался верить, но первый же клочок земли, который он увидел, — Сант-Ягу в архипелаге Зеленого Мыса — неопровержимо подтвердил, что

Ляйелл прав. Чарлз сошел на берег и открыл новую геологию.

В длинной, тонкой, непрочной цепи, ведущей к «Происхождению видов», «Начала», может быть, самое важное звено. Ляйелл научил Дарвина не только мыслить в области геологии, но и мыслить вообще. От него Чарлз научился наблюдательности в высшем смысле слова — мышлению, создающему и проверяющему гипотезы. И еще он узнал, как нужно строить гипотезы. Другими словами, он стал видеть природу логичной, последовательной, внутренне обусловленной. Лишь по самым важным и торжественным случаям ее следует, по выражению кардинала Ньюмена, «сводить к заданной схеме». В прочих случаях ее всегда следует «выводить из первоначальных физических причин». И наконец, он усвоил генетическую, или эволюционную, точку зрения, ибо из всех естественных наук исторический метод тогда шире всего применялся в геологии.

Высшие прозрения его южноамериканского путешествия почти все связаны с геологией. Поднимаясь по долине реки Санта-Крус, где весь западный горизонт загромоздили убеленные снегами Анды, Дарвин был ошеломлен догадкой, что лава, венчающая могучие утесы, была, вероятней всего, извергнута вулканами из глубин моря. А ведь горы служат олицетворением вечности! О более молодой и высокой горной цепи Кордильер он пишет прямо-таки со снисходительностью. Время — вот что по-настоящему поразило его воображение; время, зримо указанное медлительными часами геологии, песком и камнем. А время для викторианского мышления было то же, что святой дух для средневекового богословия: невидимое присутствие, которое делает возможными любые чудеса. Пусть только невозможное совершается постепенно, упорядоченно, в достаточной мере объективно — и оно становится вполне вероятным.

Какое же это «невозможное» так взволновало Дарвина? У него в голове, надо сказать, тоже совершалось нечто вроде геологического процесса, так как он обладал мышлением, которое Уолтер Бейджот[42] в своем очерке «Сэр Роберт Пил» назвал «наносным». В таком мозгу мысль созревает до того медленно, что поначалу чудится, будто ее почти и нет, а потом начинает казаться, что она была там всегда. За время долгого путешествия на «Бигле» крохотные песчинки, фактов мало-помалу откладывались на дне дарвиновского сознания, образуя весьма тревожные напластования мысли.

Создание этих отложений можно широко проследить по его письмам, записным книжкам, а также первому и второму изданию «Дневника», который он вел во время плавания. В путь он отправлялся, вероятно, без каких-либо твердых, заранее

сложившихся воззрений относительно видов. Второй том «Начал» Ляйелла — Чарлз получил его в Монтевидео в 1832 году — отрицал эволюцию ввиду разрозненности и противоречивости геологических данных. Останки позвоночных встречаются уже в древнейших горных породах. С другой стороны, книга изобиловала указаниями на естественный отбор и приспособление к окружающей среде. Больше того, автор изложил тщательно разработанную, доказательную теорию геологической эволюции. Но если горы и долины могут эволюционировать, то отчего не могут растения и животные? В дарвиновской библиотечке на «Бигле» имелся и Кювье, допускавший определенную преемственность растений и животных на протяжении земной истории и пытавшийся объяснить эту преемственность чередованием многократных сотворений мира и светопреставлений в соответствии с законами науки. Каждая геологическая эпоха знаменуется катаклизмом, сметающим все существующие формы жизни, и новым «творческим актом», поставляющим свеженький их комплект, но по улучшенным образцам.

Теория эта была всеми чтимой доктриной, эволюция же — сомнительным домыслом, потому что первую отстаивал Кювье, а вторую — Ламарк. Кювье во всем был таков, каким надлежит быть ученому; Ламарк — каким ему быть не надлежит. Ламаркова химия была анахронизмом, его физиология — музейной диковинкой, его общая теория за исключением нескольких вдохновенных идей — чем-то средним между поэзией и пророчеством. Химия Кювье была строго современна; палеонтология была его личным детищем, но вместе с тем серьезно обоснованной наукой; его общая теория при своей очевидной мелодраматичности была осторожным видоизменением Аристотеля в свете новых данных об отложениях в бассейне Сены и в Альпах. И между прочим, она допускала туманный, но душеспасительный компромисс с пророком Моисеем. Кювье взял стародавнюю идею и разработал ее в духе современности и скептицизма; Ламарк выдвинул современную идею и разработал ее в духе старомодной наивности. Словом, не так уж удивительно, что в первом издании дарвиновского «Дневника» о биологических вопросах говорится преимущественно языком Кювье.

И все-таки похоже, что он принимал Кювье на особых условиях. Образцом критического духа ему служил Ляйелл. Кювье, по-видимому, был просто непререкаемый авторитет как в научной, так и в богословской области. А Дарвин был слишком консервативен, чтобы решительно стряхнуть с себя любое

устаревшее влияние, и поэтому на «Происхождение видов» так или иначе наложили свой отпечаток не только Ляйелл, но Кювье, Ламарк, Книга Бытия и даже Пейли.

Факты тем временем подспудно, незаметно складывались в идею. Вскоре после высадки на землю Южной Америки он обнаружил неподалеку от Байи окаменелые кости гигантского мегатерия. Кости этого вымершего животного были перемешаны с морскими раковинами, «тождественными тем, какие существуют ныне», как он писал Генсло. Но тогда, значит, катастрофы Кювье сметают не все дочиста. Они не вяжутся с фактами. Путешествуя по континенту, Чарлз замечал, что в сходных условиях соседствуют родственные виды. По теории Кювье это не означало ничего, зато по теории эволюции получалось, что единый тип распространился по большому пространству и с течением времени изменился, приноровляясь к различным условиям окружающей среды. Кроме того, Дарвин обратил внимание на то, что по западную и по восточную стороны Анд растительность существенно несхожа, хотя почва и климат приблизительно одинаковы. С чего бы создателю вводить столь резкие различия по ту и другую сторону горной преграды? И еще Дарвина глубоко поразило близкое сходство между видами существующими и видами, принадлежащими к предыдущей геологической эпохе; и он уже теперь предположил, что вымирание может означать гибель в борьбе за существование.

Самые поучительные уроки преподал ему Галапагосский архипелаг. Это было как бы путешествие в биологическое прошлое. «Окруженные черными лавами, безлистные кустарники и гигантские кактусы», огромные ящерицы и черепахи, вытеснившие колоссов-млекопитающих, казались подлинными обитателями минувшего мира. Ландшафт наводил на мысли об эволюции, а факты — те просто требовали ее. Особенности распространения видов в здешних местах делали теорию «творческих актов» смехотворной. Каждый из островов изобиловал видами и разновидностями, присущими именно ему, но родственные виды и разновидности как на архипелаге, так и по соседству, на материке, отличались друг от друга в зависимости от величины разделяющих их естественных преград. Можно, конечно, допустить наличие некой «созидающей силы» с безудержным пристрастием к соблюдению местных особенностей или необъяснимой тягой к ненужной работе, но разве не основательней было предположить, что при географическом разъединении у потомков общего прародителя различия усугубляются путем эволюции? Еще не покинув островов, Дарвин заметил, что его данные «подрывают идею устойчивости видов».

Отныне этот вопрос уже «преследовал его неотвязно».

Многие считают, что вывод напрашивался сам собой, потому что с ересью, проповедующей биологическую эволюцию, Чарлз Дарвин был знаком еще с тех пор, как подростком прочел дедову «Зоономию»[43]. Но ведь в те времена вывод об эволюции напрашивался сам собой решительно во всем. А Чарлзу и помимо этого было над чем подумать. Долгое плавание на «Бигле» стало для него порой творчества, уходом пророка в пустыню, ученого — в свою лабораторию. В это напряженное время возникли, пусть хотя бы в зародыше, все важные идеи, какие он выдвинул за свою жизнь. Развить их все он попросту не успел. Главные его достижения относились к области геологии: смелая, принципиально новая история Южно-Американского континента и не менее смелая теория роста коралловых рифов и островов.

Во всяком случае, Дарвин был не такой человек, чтобы из-за ереси обречь себя на скандальную известность; по крайней мере, до тех пор, пока неспешно, мало-помалу не проникся убеждением, что скандальная известность, равно как и сама ересь, совершенно неизбежна. В начале путешествия он еще искренне верил в бога и на потеху моряков обыкновенно разрешал все вопросы нравственного порядка цитатами из библии. И цветок примулы на речном бережку отнюдь не воспринимался им просто как латинское название совокупности растительных клеток. После, когда он уж давным-давно вернулся из тропиков и успел убедиться, что природа кровожадна, зубаста и клыкаста, он по-прежнему мыслил о создателе в категориях идиллических прелестей сельской Англии. Мало того, мечты его тоже с прежней покорностью текли по руслу отчих наставлений. «В далеком будущем, — писал он своей сестре Каролине, — я неизменно вижу уединенный домик сельского священника, он чудится мне даже за стволами пальмовой рощи».

Но шли месяцы, и благолепное видение это незаметно менялось. Вначале стерлись охота и рыбная ловля, и на их место явились научные занятия. Когда-то первая в охотничьем сезоне куропатка была таким событием, что он из-за дрожи в пальцах едва ухитрялся перезарядить ружье. Теперь же первый день охоты не шел «ни в какое сравнение с находкой превосходных костей ископаемых, которые почти что человечьими словами повествуют о минувшем». А пробродив от зари дотемна на холодном ветру по высокогорным тропам Анд, он почти «всю ночь не смыкал глаз», размышляя о геологических исследованиях, которые произвел за день. Удивительной своей одержимости он предавался с мальчишеским восторгом и непосредственностью, и это сообщало ей, по крайней мере в его глазах, налет некой

предосудительности. Он пытался оправдать геологию перед самим собой и перед своим отцом — застенчиво, как некогда оправдывал охоту на бекасов. И неудивительно! Геология, как он признавался своему другу Фоксу в письме из Рио, «сродни азартным играм. Как только придешь, сразу прикидываешь: „А ну-ка, что за камушки?“ И восклицаешь про себя: „Три против одного, что не первозданные, а третичные“; да вот пока что я все проигрываю». В зрелые годы ему казалось забавным черпать сведения об изменчивости видов из разговоров с голубятниками в деревенских пивнушках.

Месяцы слагались в годы, и тихий домик священника стал уже терять четкость очертаний. И заслонили его не пальмовые рощи, а груды совсем не библейских костей. Постепенно Дарвин научился умерять свой пыл по отношению к Тридцати девяти догматам. Он уходил в плавание, цитируя священное писание, а возвращался, мягко оспаривая его в беседах с набожным капитаном Фицроем. Неприметные сдвиги в его представлениях о видах таинственным образом сопровождались неприметными сдвигами в представлениях о христианстве. Размышлять об эволюции — значило задумываться о сотворении мира и его неизменности. Задумываться об этике, религии, о библии, природе и боге. И о том, что подумают положительные, серьезные ученые, а также его отец и дядя Джозайя о нем самом.

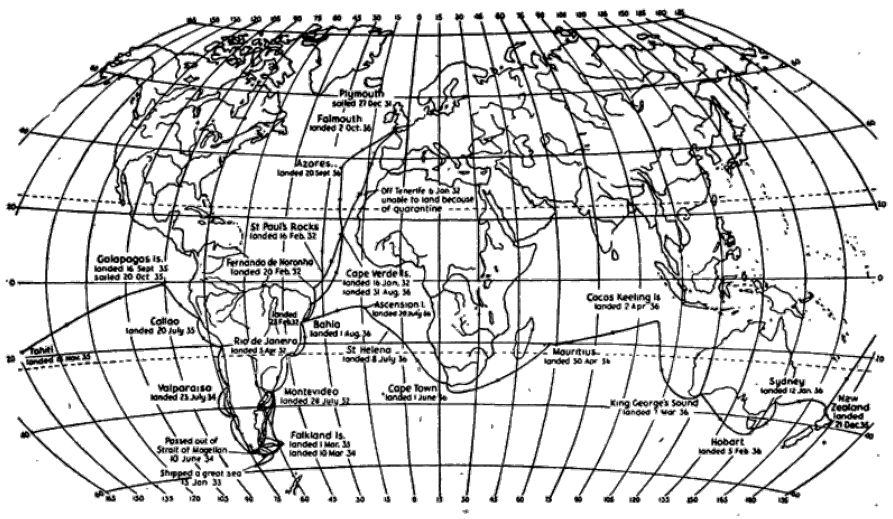
И странная штука: выяснялось, что это его замечательное времяпрепровождение — настоящая и ценная работа. Генсло на все лады расхваливал его письма и коллекции. Седжвик и того пуще: побывал у его отца и предсказал Чарлзу будущность незаурядного учёного. Прочитав письмо, в котором сообщалась эта новость, Чарлз, по собственным его словам, «пустился еще усерднее лазить по горам острова Вознесения, оглашая вулканические склоны стуком геологического молотка». Быть может, в конце концов он и правда станет таким человеком, что отец сможет гордиться им. И честолюбие, и чувство вины были, как подчеркивает доктор Дуглас Хаббл, в какой-то мере вызваны у него отношением к отцу, и, несомненно, честолюбие смягчало вину, она, в свою очередь, подогревала честолюбие, а то и другое вместе широким, плавно изогнутым мостом пролегло от покаянного охотника на бекасов до великого гения биологии.

Однажды на Сант-Ягу, спасаясь от безжалостного солнца, Чарлз укрылся в тени уступа и предавался раздумью о геологическом строении острова, выразительном и таком понятном, и тут его трепетом восторга пронзила мысль, что можно ведь и написать о геологии тех мест, где он побывал. Вот и готовая книга! А потом Фицрой упросил его почитать вслух из

своего «Дневника» и объявил, что это стоит напечатать. Вот и вторая книга! Уединенный домик священника отодвигался все дальше в будущее.

Однако пятилетнее плавание редко слагается из одних вдохновенных порывов и открытий. В такой безмерности времени и пространства не обходится без однообразия, бездеятельности, одиночества и даже лишений. «В Америке повсюду такой размах, — писал Чарлз Фоксу, — одни и те же образования простираются от пяти до шестисот миль без малейших изменений — для эдакой геологии надобны семимильные сапоги». Ему случалось по десяти часов кряду не слезать с седла; случалось, когда провиант бывал на исходе, курить самодельные сигары, как какому-нибудь гаучо, чтобы не так сосало под ложечкой. Все реже приходили письма — разве что от близкой родни. А друзья по колледжу тем временам находили себе место в жизни. Фокс вот женился. «Я совсем состарюсь к тому времени, как приеду, — писал Чарлз, — куда уж будет такому старцу подыскивать себе женушку».

Уже и паруса прохудились до дыр, и размочалился такелаж, и Чарлза с друзьями все сильней одолевали мечты о доме. Разлука с Англией была подобна смерти, медлительной и долгой. «Я ненавижу каждую волну в океане, — писал он Фоксу, — ненавижу люто; а впрочем, вам, видевшим лишь прибрежные зеленые воды, этого не понять вовек». Жизнь моряка — нелепый парадокс. Моряк уходит в море, чтобы потом, возле уютного камина, рассказывать невероятные истории, а когда эти невероятные истории с ним разыгрываются, он только и говорит об уютном камине.



Путь, пройденный «Биглем».

Возвратившись в 1836 году в Англию, Дарвин убедился, что пророчество Седжвика уже сбывается. О нем были наслышаны и относились к нему, серьезно разные обремененные делами, занятые люди. Конечно, объявив, что его коллекциям нет цены, они поначалу были слишком уж обременены делами и заняты, чтобы внимательно ознакомиться с этими коллекциями, но прошло немного времени, и он уже работал над костями ископаемых и заспиртованными насекомыми совместно с некоторыми из виднейших ученых Англии. Он был принят в Королевские общества, геологическое и зоологическое, и вскоре сделался членом совета первого и секретарем второго. Через много лет, вспоминая о годах, проведенных в Кембридже, он писал: «Помню, один из моих друзей, тоже завзятый охотник, Тернер, увидел, как я занимаюсь своими жуками, и сказал, что в один прекрасный день меня примут в члены Королевского общества, — и какой же несуразицей показалась мне такая мысль». Внезапно поняв, в каком он долгу перед капитаном «Бигля», Дарвин написал Фицрою, что их путешествие определило всю его судьбу.

Доктор Дарвин ни единым словом не помянул блекнущий домик священника. То ли по собственной доброй воле, то ли по воле обстоятельств он изменил своим прежним намерениям, объясняя это тревогой о здоровье сына. В Южной Америке Чарлз перенес затяжное и жестокое заболевание, диагноз которого доктор Дарвин, как ни изучал симптомы и последствия, не мог поставить. Тем не менее он объявил, что по состоянию здоровья Чарлзу не следует поступать на постоянную службу. Постепенно Чарлзу становилось все хуже, так что, в сущности, целых сорок лет его терзали «слабость, быстрая утомляемость, головные боли, бессонница, обморочные ощущения и дурнота». Со временем малейший отход от привычного распорядка жизни стал грозить несчастьем. Получасовой разговор с незнакомым человеком мог повлечь за собой бессонную ночь. Один час в церкви мог вызвать головокружение и тошноту. Большую часть жизни он проводил на диване, восстанавливая силы после коротких промежутков, когда он работал или двигался. В минуты утомления ему даже книжку удержать в руках становилось не под силу. И хуже всего, что внешне он выглядел крепышом. «Все твердят, что у меня чудесный, цветущий вид, — с обидой писал он Гукеру в 1849 году, — почти все думают, что я притворяюсь, — правда, Вы к таким не принадлежали никогда».

Доктор Дуглас Хаббл убежден, что он притворялся или, во

всяком случае, что это недомогание объяснялось причинами психического характера, было вызвано особенностями окружающей обстановки и, по милой иронии, главным образом как раз самим эскулапом-родителем, озадаченным болезнью сына. Холодное, угрюмое тиранство доктора Роберта Дарвина привело к тому, что у него в гнезде выросли «хмурые, неудовлетворенные дочери и неврастеники сыновья». В своем старшем сыне Эразме он до такой степени подавил всякую волю, что тот оказался ни на что не способен, кроме безропотного прозябания в холостяцком одиночестве, а у Чарлза на всю жизнь осталась болезненная потребность в ласке и нежности, которая побуждала его жену окружать его чрезмерной заботой, а его самого превратила в неизлечимого ипохондрика. Биографы Дарвина единодушно сочувствовали его многолетним страданиям и дивились, как это он мог провести столь обширные исследования, работая лишь по два часа в день. И при всем том, прочитав дарвиновскую переписку, невольно ощущаешь, что для его занятий нездоровье было очень кстати; оно давало ему возможность сосредоточиться, ни с чем не считаясь, избегать всего, что могло отвлечь внимание, начиная от официальных обедов и кончая чтением философских и религиозных книг. Уже на склоне лет он объяснял одному священнику, как из-за физической слабости все время чувствовал, что ему «непосильны глубокие раздумья о самом сокровенном, чем может быть полна душа человеческая». Доктор Хаббл полагает, что недуги Дарвина были не только злом, но и определенно приносили пользу: «Неспокойными бессонными ночами деятельный мозг его мог без помех вынашивать обобщение, а наутро за два часа наблюдений и записей гипотеза подвергалась трезвой проверке и работа за день была завершена».

Доктор Хаббл допускает, что до некоторой степени болезнь Дарвина могла объясняться и наследственным предрасположением. Автор другого тонкого диагноза, доктор Уолтер С. Альварес, особо подчеркивает именно этот фактор, находя у Дарвина астению, или «физиологическую неполноценность». Нервное напряжение подчас проявляется в виде нарушений внутреннего характера и, если верить доктору Альваресу, может быть следствием неустойчивости нервной системы, близкой к психическому заболеванию. Обыкновенно это наблюдается в семьях, где есть случаи сумасшествия или других серьезных психических расстройств. У Чарлза дед по отцовской линии, Эразм, «сильно заикался и имел другие странности». Его дядя, тоже Эразм, кончил жизнь самоубийством; отец заикался и страдал повышенной возбудимостью; брат — подчас с юмором —

жаловался на умственное переутомление, слабость и провалы памяти. Со стороны матери две тетки отличались чудачествами, а дядя, Томас Веджвуд, страдал приступами депрессии, «почти неотличимыми от безумия».

Вскоре по приезде в Англию Чарлз навестил своего кумира. Чарлзу Ляйеллу было тогда лет сорок. Состоятельный сельский дворянин, ставший ученым, красивый, осанистый, он любопытным образом сочетал в себе шотландскую расчетливость с щедрой увлеченностью и бескорыстной преданностью науке, хрестоматийную рассеянность и отрешенность ученого с приветливостью и открытым, общительным нравом. Он удивил Чарлза своим неподдельным интересом не только к его странствиям, но и к его взглядам. Зашла речь о коралловых островах. Ляйелл уже дал им объяснение: он считал, что это кратеры потухших вулканов. Беда только, что во многих случаях не удавалось обнаружить никаких свидетельств вулканической деятельности, и, кроме того, коралловые отложения уходили на такую глубину, где живые кораллы существовать не могут. Чарлз несмело изложил собственные соображения. Да, разумеется, при жизни кораллы находились на мелководье, но по мере того, как отложения росли вверх, дно океана очень медленно опускалось.

Ляйелл был весь внимание. Он задавал осторожные вопросы. Доказательства Чарлза были убедительны, как и сама его теория. Неожиданно Ляйелл вскочил со стула и, восторженно пофыркивая, принялся расхаживать по комнате. Какая чудесная простота! Совершенно правильное объяснение, куда убедительней его кратеров! И к тому же — возможность истолковать природу возвышений и впадин по всему Тихому океану. И снова Чарлз простодушно удивился. Он и не подозревал, что сделал такое важное открытие. И еще он заметил, что Ляйелл относится к биологической эволюции гораздо терпимей, чем можно было предположить по его «Началам геологии». Герои науки редко выдерживали в глазах Чарлза испытание личным знакомством. Великий ботаник Роберт Броун[44], с которым он познакомился как раз перед отплытием «Бигля», до смешного боялся сказать лишнее слово о своих открытиях. Гумбольдт — Чарлз встретился с ним на званом завтраке после, возвращения в Англию — был совсем не по-геройски оживлен и болтлив. А вот Ляйелл — тот успешно выстоял на своем пьедестале много лет, хоть и ему не раз грозила опасность потерять равновесие и рухнуть вниз. Чарлз надолго сохранил благодарную память о том, сколько дали ему «Начала геологии». Он находил все больше причин ценить практическую

умудренность Ляйелла и потом, когда дарвинизм начал превращаться в целое государство в мире науки, с обширными и независимыми деловыми связями, любовно величал его своим «министром финансов». Однако Чарлз с его наметанным глазом наблюдателя никогда не был большим поклонником шотландских и общежитейских добродетелей. «Ляйелл слишком ценил положение человека в свете, и это представлялось мне самым уязвимым его местом. Он имел привычку как вопрос, первостепенной важности обсуждать с леди Ляйелл, стоит ли принять то или иное приглашение». Возможно, Чарльзу казалось отчасти нелепым, что Ляйелл, строго ограничив себя всего тремя приглашениями в неделю, заранее, «словно великую награду, предвкушал, что в преклонном возрасте позволит себе чаще выезжать по вечерам».

Как молодой человек из хорошей фамилии и достаточно значительный, к нескончаемому своему удивлению, сам по себе, Чарлз сталкивался со многими видными людьми своего времени: литераторами, политическими деятелями, учеными. Перед дарованиями Дарвин благоговел редко, чаще огорчался, когда могучее дарование сочеталось с серьезными недостатками. Он больше ценил таланты в людях, которые были к тому же и джентльменами, людьми свободомыслящими, человеколюбцами. И потому Маколею отдавал явное предпочтение перед Карлейлем. Маколей говорил не так много, зато всегда здраво и по существу. Славным, без затей, человеком был Джордж Грот[45], и Чарлза покоробило, когда Карлейль однажды назвал «Историю Греции» Грота «зловонной трясиной без единого всплеска одухотворенности». Правда, в тот раз он решил, что Карлейль отпускает свои издевательские шуточки больше ради красного словца.

И напротив, он питал свойственный англичанину вкус к беззлобным чудачествам. Любил, к примеру, графа Стенхоупа[46], добродушного, прямолинейного старика, всегда одетого в коричневое, под цвет лица, и твердо верящего в то, что все прочие считали совершенно неправдоподобным.

— Что вы возитесь с геологиями да зоологиями? — спросил он как-то раз у Чарлза, — Бросьте вы эту чушь, займитесь-ка лучше оккультными науками.

Чарлз потом берег в памяти эту жемчужину целых сорок лет.

5
ПРЕДНАМЕРЕННЫЙ РОМАН

12 ноября 1838 года Чарлз признался Ляйеллу: «Пишу, движимый необоримым желанием первым сообщить Вам с миссис Ляйелл благую и еще недавно совсем неожиданную весть о том, что я имею счастье в скором времени вступить в брак». Если на мысль об эволюции Дарвин напал случайно, то к мысли о женитьбе его привела логика. Более чем за год до этого события и, казалось бы, при полном отсутствии в поле зрения подходящей особы он набросал некоторые соображения по сему далекому от науки предмету. Среди преимуществ женатого человека перечислены: «…дети (если даст бог), постоянная спутница (и друг на старости лет), услады музыки и женского щебетания». Среди недостатков — «*ужасающая потеря времени;* если детей будет много, необходимость добывать хлеб насущный; стычки из-за уединенного образа жизни». Но, рассуждает он, «что за смысл работать, не зная сочувствия близких и дорогих друзей? А кто нам в старости близок и дорог, как не наши родные?» И заключает: «Боже мой, подумать страшно: проведешь всю жизнь как рабочая пчела; работа, работа — и в конце концов ничего. Нет-нет, это не годится. Вообразить, что до конца будешь влачить дни свои в закоптелом, нечистом лондонском доме… Только представить себе: на диване милая, ласковая жена, жаркий огонь в камине, книги, быть может, когда-то и музыка — сравнить эту картину с тоскливой действительностью Гр. Марлборо-стрит.

Жениться, жениться жениться. *Q. E. D*»[47].

Жену Чарлзу так или иначе предстояло взять из Веджвудов. В их семье исстари так повелось. Вот и его сестра Каролина,

невзирая на родительское неудовольствие, в 1837 году уступила давнишнему и ненавязчивому ухаживанию Джозайи Веджвуда-младшего и вышла за него замуж. Ему было сорок два года, ей — тридцать семь. Его мать мечтала, чтобы это произошло еще тринадцать лет назад. Женитьбой на девице из семьи Веджвудов Чарлз мог проявить свое уважение и любовь к дяде Джозу, нежность к тетушке Бесси, а кстати, и остаться верным своей привязанности к имению Мэр, где прошли самые его светлые дни, где жили так весело и широко, не то что в сумрачном и нелюдимом Шрусбери. Что могло быть логичней, чем перенести частицу Мэра в свое ученое затворничество? Задумывался ли он о наследственности, возможной у потомков одного из Дарвинов и одной из Веджвудов, судить трудно. Несколько лет спустя он высказывал опасения насчет «наследственной хилости» у своих детей, но, может статься, имел в виду лишь своих собственных родичей.

Оставался всего один вопрос: какая из подходящих ему по возрасту барышень Веджвуд свободна? К счастью, свободна была всего одна: Эмма, тридцати лет от роду и, стало быть, на год старше его. С детских лет Веджвуды и Аллены, люди сдержанные, скупые на похвалу, отзывались о ней лестно: «миленькая», «хорошенькая» и, что важней всего, «с чудесным характером». Жизнь ее была «полна событий» в том лишь смысле, какой вкладывает в эти слова Уайлд, говоря о Сесили Кардью[48]. В пять лет она ошеломила всех тем, что прочла от корки до корки «Потерянный рай». В десять перенесла коклюш и поднялась с постели «еще более ровной и незлобивой, чем прежде». В двенадцать ее прозвали «мисс Кое-как» за равнодушие к нарядам и способность устраивать вокруг себя «ералаш», и в этом качестве она пребывала даже после замужества, так что Чарлз, для которого стараниями взыскательного отца порядок сделался едва ли не органической потребностью), был вынужден мириться с хаосом за пределами своего кабинета.

В восемнадцать лет Эмма стала красивой девушкой среднего роста с величавой, грациозной осанкой. Ее серые большие глаза смотрели спокойно, доброжелательно, твердо. У нее были чудесные каштановые волосы, прямой носик, свежий цвет лица, а высокий лоб и волевой подбородок выдавали ум и характер. С молодыми людьми она держалась непринужденно и открыто, но уверенный, решительный тон, какой ощущается в ее письмах, должен был среди салонной галантной болтовни производить слегка пугающее впечатление. Как раз в то время тетя Джесси со своим мужем, историком Сисмонди, повезла Эмму и ее сестру Фанни в Женеву, а вместе с ними — их молодого дальнего

родственника Эдварда Дрю в тайной надежде, что он окажется подходящей для Эммы партией. Немногословные упоминания о молодом человеке в письмах Эммы ровны и бесстрастны, как заметки вивисектора о поведении кролика под ножом. К брезгливому и комическому ее отчаянию, Сисмонди, чья чуждая англичанам неуемность приводила в изумление все семейство, вздумал наставлять ее в искусстве завлекать мужчин. Прошло месяца три, и Эдвард влюбился в девицу франко-швейцарского происхождения, которая была на несколько лет старше Эммы и куда менее привлекательна.

В Англии жизнь Эммы вошла в обычную для девушки ее круга колею: балы, театры, концерты. Развлекалась она от души, хоть и достаточно своеобразно. Время от времени замужние сестры делали отчаянные, но безуспешные намеки насчет ее туалетов и украшений. По-видимому, о том, как надо одеваться, Эмма твердо знала лишь то, что ничего об этом не знает. «Если тебе случится зайти в галантерейную лавку, — писала она одной из сестер, — сделай одолжение, возьми три ярда не особенно красивой ленты на перелицованную соломенную шляпку. Какой цвет, совершенно все равно, лишь бы не соломенный». Шли годы. Появлялись маленькие племянники и племянницы, слегла мать. Эмма, реже стала выезжать на балы, смирила свой живой нрав, погрузившись в прозаические заботы сиделки и домоправительницы.

В этот критический миг — а он словно нарочно совпал с приездом в Англию Чарлза — судьба в образе доброго десятка заговорщиков из рода Веджвудов и из рода Дарвинов круто повернула ее жизнь. «Этот брак старались за нас устроить буквально все, — признавалась потом Эмма своей любимой тетке Джесси, — так что мы ничего не могли бы поделать, даже если бы сами вовсе не желали пожениться». Хорошо, что оба давно и серьезно нравились друг другу. Пожалуй, несмотря на сугубо теоретический подход Чарлза к сердечным делам, на картине, которая мерещилась ему за стволами пальмовой рощи, была и Эмма; в ее же письмах с возвращением Чарлза из южноамериканского небытия определенно появились нотки, каких не мог вызвать ни один из других молодых людей. Почти в одно и то же время к ней должны были нагрянуть ветряная оспа и Чарлз; к болезни Эмма готовилась с отличающими ее спокойствием и невозмутимостью, к прибытию Чарлза — с волнением, которое не так-то легко удавалось скрыть.

Разумеется, не обошлось без трудностей. Чарлза пугало, что он отталкивающе некрасив, что слишком эгоистически предан своим отшельническим привычкам; Эмма, со своей стороны,

тревожилась, поладят ли они насчет театра, который она обожала, а он терпеть не мог. Кроме того, от него, конечно, не могло укрыться, что при всем своем уме она была явно равнодушна к сокровенным загадкам природы. Ей не внушали поэтического чувства ни редкостные жуки, ни страусы, ни мегатерии. Ее, прямо скажем, интересовали не диковинные животные, а самые обыкновенные, и по причинам тоже обыкновенным. К счастью, этот ненаучный интерес Чарлз разделял, а кроме того, был неравнодушен к музыке, и в особенности к игре на рояле — первому наслаждению по-настоящему талантливой пианистки Эммы. Когда у людей уже так много общего, можно смело надеяться, что потом будет еще больше. А главное, они любили. «Такого искреннего, прозрачного как стекло человека я еще не встречала, — писала Эмма тете Джесси. — Всякое слово его — это действительно то, что он думает. Он на удивление ласков, очень мил со своим батюшкой и сестрами и нрава самого прелестного».

В ноябре 1838 года, отбросив в одно прекрасное воскресенье обычные страхи, Чарлз приехал в Мэр и сделал Эмме предложение. Это была «…полная неожиданность, — с приличной для девицы скромностью пишет Эмма, — я-то думала, нынешняя наша дружба так и будет тянуться год за годом и кончится скорее всего ничем».

Ее согласие было для него такой же неожиданностью, как для нее — его предложение, и день прошел в радостном изумлении. Старый Джозайя, когда ему сказали, прослезился. Отцы обменялись письмами, полными чувствительных поздравлений и трезвых подробностей денежного свойства. А тетка, Джесси Сисмонди, прислала Эмме письмо с тактичными советами все на ту же старую тему:

«Будь всегда одета со вкусом, даже если это повлечет за собой известные расходы; не пренебрегай маленькими ухищрениями, оттого что вышла за человека, который якобы стоит выше таких пустяков, как приятная внешность, и не обращает на них внимания. Нет мужчины, который не обращал бы на них внимания… Я могу сказать это даже про своего подслеповатого мужа. Во всем, что касается до убора и украшений, вкус у мужчин почти неизменно хорош. Сами они подчас о том не догадываются, потому что их редко призывают в судьи, но предоставь им выбор, и они всегда укажут что-то простое и красивое».

Давно уже нагадав Эмме по руке, что ей суждено быть за Дарвином, тетка Джесси радовалась, что этот суженый — Чарлз, а не Эразм, чьи странности так усилились, что стали у Дарвинов

притчей во языцех. «Видя, что Чарлз никак не сдвинется с места, хотя мы с Фэн строили об этом предположения и надежды всякий раз, как приходило письмо из Мэра, — пишет она, — я начала побаиваться, как бы его не опередил Эразм».

Чарлз и Эмма решили поселиться в Лондоне. Поэтические изъявления взаимной благодарности и уверения в в том, что один недостоин другого, сменяются в их письмах прозаическими заботами и беспокойством, что не удастся подыскать себе дом. Усердней Чарлза вел поиски Эразм, но под конец и он с шутливым отчаянием признал себя бессильным, предложив брату подписывать все письма Эмме словами «твой навеки безутешный». И повел Чарлза в гости к Карлейлям. Как-то при случае великий Томас весьма лестно отозвался об Эмме, и потому на сей раз все колкости его Чарлз нашел уморительными, а вот его Дженни, которая из-за истерического хихиканья не могла внятно произнести двух слов, показалась ему ломакой с дурными манерами. Узнав, что предстоит встреча с Ляйеллом, Эмма стала серьезно подумывать, не взяться ли ей за «Основные начала геологии». Чарлз искренне уговаривал ее не пускаться на такую крайность. «Уверяю тебя, геологии ты в будущем хлебнешь предостаточно».

Он и так не раз уже задумывался о том, как подействует на душу Эммы столкновение с новой наукой. Она незыблемо веровала в апокалипсис. Признаться ли ей в своих сомнениях? Он обратился к отцу, который слыл в округе врачевателем недугов не только телесных, но и душевных, в особенности когда души бывали женские.

«Отец, — писал он после многих лет супружеской жизни, — советовал мне тщательно скрывать мои сомнения, ибо знавал, по его словам, случаи, когда подобные вещи оборачивались очень плачевно для супругов. Все идет хорошо, покуда у жены или мужа не расстроится здоровье, а там женщина порой начинает терзаться страхами о спасении души супруга, причиняя этим страдания ему самому».

Очевидно, он послушался родительского совета. Правда, спустя несколько лет он был принужден во имя науки время от времени делать тайное достаточно явным.

Занятый по горло своими коллекциями, «Дневником», хлопотами о доме и устройством житейских дел, Чарлз обнаружил, что ни о чем, кроме Эммы, долго думать не способен, но даже это ему по разным причинам делать не удавалось. «Что может сказать человек, который целое утро сидит и строчит про сов и ястребов, потом выскакивает из дому и, как потерянный, блуждает по улицам, высматривая заветные слова „Сдается

внаем“? А затем, когда стало ясно, что сказать он может очень немало и уже не одна страница изведена на то, чтобы это сказать, умиротворенно заключает: „Как досадно тесна бумага, душенька моя Эмма“».

Эмма хвасталась тетке Джесси, какое у нее богатое приданое, и уверяла дядю Сисмонди, что будет часто привозить Чарлза в Швейцарию, но это после, а сейчас он слишком занят. Вышло так, что он всегда был слишком занят или нездоров — он так и не доехал до Швейцарии.

Но вот, наконец, на Гауэр-стрит им попался такой дом, что лучше не придумаешь. Снаружи довольно неказистый, внутри же такого выдающегося безобразия, что даже Эмма мягко обмолвилась об этом в одном из своих писем. Чарлз его окрестил «Коттедж Попугайчик» за гамму красок в гостиной и часто потом посмеивался, вспоминая, с каким бестрепетным и блаженным равнодушием они с Эммой на заре супружеской жизни созерцали нагромождение скверной мебели на фоне чудовищных обоев.

Дом был снят еще до свадьбы и некоторое время пустовал. Чарлз не выдержал искушения. Уложив камни и кости в неимоверно тяжелые ящики и чемоданы, он переехал один и стал коротать дни, работая над записями по геологии, храбро высиживая по вечерам в гостиной и мечтая о том времени, когда рядом будет жена, а в камине — пылающий огонь. Между тем ему уже, пришлось столкнуться с таинствами семейных трапез, материализованными в свадебных подношениях. «Старый добрый мой друг Герберт, — писал он Эмме, — прислал… тяжеловесное орудие из серебра, каковое именует Форфикулою (что по-латыни значит ухотвертка); я думал, им выуживают из воды морских языков и камбалу, но Эразм утверждает, будто оно предназначено для спаржи».

Он много раздумывал о своих будущих обязанностях, то принимая серьезные решения исправиться, то весело предрекая себе упадок и разложение.

«Сегодня по пути из церкви ко мне заходили Ляйеллы, — писал он Эмме, — ибо Ляйелла распирало от геологии и он чувствовал потребность излить душу… Мне было просто совестно за себя… полчаса чистой геологии, и здесь же изваянием долготерпения сидит бедняжка миссис Ляйелл. Мне положительно недостает навыков бессердечного обращения с женским полом. Никаких свидетельств раскаяния в Ляйелле я не углядел; надеюсь, что со временем и во мне очерствеет совесть: кажется, большинству мужей это дается без труда».

И под конец с беспокойством, но и с оттенком удовлетворения отмечает, что уродство гостиной стало меньше

бросаться ему в глаза.

Венчание состоялось 29 января 1839 года в Мэре. Достигнуть счастья можно было, лишь пройдя сквозь устрашающие врата церковного обряда. С приближением часа экзекуции у Чарлза обнаружились обычные недуги. «Последние два дня в Лондоне, когда я особенно жаждал покоя, — писал он Эмме, — мне очень досаждала жестокая головная боль, которая не прекращалась два дня и две ночи, так что я уже усомнился, соизволит ли она вообще меня отпустить и дать мне жениться».

Впрочем, Чарлз, конечно, не думал сдаваться на милость победителя — и головная боль утихла, словно убоявшись яростной тряски в вагоне. Новобрачные сразу укатили на Гауэр-стрит, где Эмма на другой же день «утвердилась в своих правах», не дрогнув перед стряпухой и отчитав ее за недоваренную картошку. Чарлз, наоборот, несколько медленней осваивался с повседневными мелочами только что обретенного семейного счастья. Однажды утром, рассеянно просматривая почту, он повертел в руках письмо и с недоумением осведомился, кто такая миссис Чарлз Дарвин. Ревностно блюдя верность своим возвышенным обетам, он, несмотря на частые болезни, исправно бывал в концертах и театрах и даже делал вид, будто получает удовольствие от выездов за покупками.

А меж тем в отдалении глубокомысленно судили и рядили о будущности Эмминого замужества многочисленные ее тетки. Все сходились на том, что у нее, уж во всяком случае, хватит выдержки и здравого смысла, чтобы быть счастливой. «Душевному здоровью ее можно позавидовать, радость и горе переживаются ею в должных пропорциях, и ничто не может лишить ее способности радоваться тому, что естественно доставляет нам радость». Интересно, размышляла Фанни Веджвуд, какой эффект произведет Эмма в лондонском обществе, если это слово «уместно в применении к подобной простоте и безыскусственности».

Конечно, ни Эмма, ни Чарлз вовсе не тщились блистать в свете, и все же, имея в авангарде весьма представительного дворецкого, а в тылу вполне сносную кухарку, они отважились дать несколько обедов для родственников и для ученых коллег Чарлза. Если Эмма в подобных случаях и испытывала какие-то тревоги, то отнюдь не за свою родню. Далекие звезды научной галактики при ближайшем рассмотрении оказывались прискорбно тускловаты. Как-то вечером к ним были званы Фиттон, Генсло, Ляйелл и Роберт Броун.

«Перед обедом нам пришлось какое-то время сидеть и дожидаться доктора Фиттона, что само по себе ужасно; к тому же,

по-моему, одного мистера Ляйелла уже довольно, чтобы заморозить любое общество: он всегда разговаривает еле слышно, и другие, подлаживаясь к нему, тоже начинают шептаться. Мистер Броун, которого Гумбольдт называет „гордостью Великобритании“, до того застенчив, что как будто мечтает забраться поглубже в себя и совсем исчезнуть; впрочем, несмотря на два таких тяжких жернова — я имею в виду крупнейшего ботаника и крупнейшего геолога Европы, — все прошло гладко, без сучка и без задоринки. Миссис Генсло обладает отменным голосом, резким и пронзительным, что оказалось большим подспорьем, а миссис Ляйелл способна говорить почти без умолку. Мистер Генсло был очень рад встрече с мистером Броуном, у великих ботаников нашлось, о чем побеседовать. Чарлз, когда все кончилось, был в полном изнеможении и сегодня, как и следовало ожидать, чувствует себя неважно».

На Эмму, как и на Чарлза, очень нетрудно было нагнать скуку, и это свойство в сочетании с прямодушием, откровенностью и возрастающей год от года серьезностью производило внушительное впечатление. Раз, когда кто-то спросил, как ей нравится «Королева Мария» Теннисона[49], она с убийственной небрежностью ответила:

— Ну хоть не такая тоска, как Шекспир.

Хотя в начале замужества Эмма давала себе слово интересоваться работой супруга, она скоро убедилась, что наука ей определенно и безнадежно скучна. Чарлза это не смущало, скорей забавляло, и он любил вспоминать, как на одном съезде Британской ассоциации жена в ответ на его слова: «Боюсь, что тебе это кажется очень нудным» — возразила:

— Не больше, чем все остальное.

У Эммы столь многое вызывало скуку, а у Чарлза — скуку или перевозбуждение, что вскоре они незаметно подчинили свою жизнь очень мирному и очень твердому распорядку — от той минуты, когда они сидели в креслах после завтрака и поглядывали на часы, и до той, когда праздно сидели в качалках после обеда (Чарлз в состоянии, близком к удару). Не слишком ли однообразен он был для Эммы? Чарлз порой задавал себе этот вопрос. Для себя-то он не мог желать ничего лучшего. При таком образе жизни, надежно охраняющем его покой, он даже к Лондону проникся приязнью. Здесь было «так славно», совсем не то, что в унылой сельской глуши.

Однако размеренное течение домашней жизни неизбежно нарушают бурные всплески. В 1839 году появился на свет Уильям Эразм Дарвин, в 1841-м — Энн Элизабет. Как часто теперь Чарлз сидел, в отчаянии укрощая строптивую фразу, а под боком на

диване лежал укутанный заболевший малыш. В Мэр и Шрусбери летели тревожные письма о промоченных ножках и теплой одежде к зиме, а главное, о том, что маленький Уильям выговаривает не все звуки и, как с ним ни бейся, настойчиво утверждает, что его зовут «Вийи Дайвин». Однажды Эмма вместе с семейством Генсли Веджвуда решила устроить детям развлечение и повезла их в пантомиму.

«Сперва показывали нечто невыразимо кровопролитное и громоподобное, причем на подмостках стояла виселица, и я подумала, что дело плохо: Бро будут сниться страшные сны… Как только дело доходило до пальбы или на сцене появлялся главный комический герой — церковный сторож с багровой физиономией, — Эрни, которому этот сторож внушал не больше доверия, чем любой из злодеев, прятал, бедненький, голову ко мне в колени… Меня поразила бесконечная наивность их вопросов, даже Сноу был не лучше других:

— А их понарошку убили?

— А тот злой дядя, он правда плохой?..

Первая пьеска кончилась тем, что в крепость ворвалось неприятельское войско и чуть ли не поголовно всех героев перестреляло, к великому нашему облегчению».

Время шло, и становилось ясно, что Лондона, как ни крути, им не вынести. Особенно томилась по загородному покою Эмма. В те неспешные дни, когда люди и поезда еще не привыкли торопиться, искать его было недалеко. Тоненькими щупальцами железных дорог расползалась цивилизация XIX века по необъятной стоячей сельской тиши. После недолгих поисков Чарлз обнаружил в кентской деревушке Даун поместительный трехэтажный дом, сложенный из кирпича и оштукатуренный. Дом был квадратный, непритязательный, без затей, зато на первом этаже была гостиная и большая столовая с широкими, во всю стену, окнами на солнечную сторону, а за окнами по покатому косогору вольно раскинулся цветущий лужок, радуя глаз своими яркими красками. Места здесь были довольно унылые: «безводные, необитаемые долины, сумрачные холмы, изредка одинокий тис в живой изгороди; то тут, то там белые меловые карьеры». Зато природа вокруг отличалась замечательным разнообразием дикой растительности. От имения было четверть мили до деревни Даун, десять миль до железной дороги и при этом всего каких-нибудь шестнадцать миль до Лондона, который по временам дымным маревом вставал на горизонте. Чарлз видел, как удобно жить в таком месте, откуда можно в пятницу под вечер без долгих сборов нагрянуть к Эразму в Лондон — послушать каверзные витийства Карлейля, позавтракать у

Ляйелла, побывать на заседаниях ученых обществ — и в понедельник вернуться в пасторальную благодать.

За дом и прилегающий к нему участок в восемнадцать акров владелец хотел две с половиной тысячи фунтов. Эмма была в нерешительности, но Чарлзу Даун очень пришелся по душе, тем более что другие имения стоили гораздо дороже. Своей сестре Сьюзен, которая никогда не уставала вникать в прозаические подробности его болезней и денежных дел, он писал письма, обильно уснащенные соображениями «за» и «против». И разумеется, при этом чувствовал себя виноватым. «Просто удивительно, как это вы с отцом проявляете столько интереса к Дауну, да еще охотно входите во все глупые мелочи, которые я вам сообщаю. Ваша участливость ко всему, чем можно порадовать других, всегда наполняет меня восхищением и завистью». «После стонов и воздыханий» он предложил за дом две тысячи двести фунтов, взяв деньги у отца. Владелец согласился, и поздней весной 1842 года Дарвины водворились на новом месте. Чарлзом на какое-то время овладела беззаботная веселость, омрачить ее не могли даже расходы на всяческие переделки. «Эмме как будто здесь нравится, — писал он, — а Додди (его сын Уильям) целых два дня пребывал на седьмом небе».

По мере того как росло семейство Дарвина, дому тоже предстояло вырасти до внушительных размеров. Отныне и навсегда все путешествия Чарлза совершались лишь в область познания и все — подле даунского камина. Что еще нужно человеку для полного счастья? Но, к сожалению, он был не из тех, кто умеет хранить покой, когда все спокойно. Вскоре его опять обуяли тревоги — о своем здоровье, о дороговизне перестроек, об обязанностях перед своей быстро увеличивающейся семьей и, вероятно, о том, что он не в состоянии будет зарабатывать деньги, если иссякнут его доходы. Когда Чарлз поведал своему отцу, что боится «погибели и разорения», то получил вместо сочувствия выразительное «вздор и чепуха»; в ответ на жалобу сына, что у него «ужасно немеют кончики пальцев», гороподобный оракул из Шрусбери тоже не проявил особой жалостливости, оборвав Чарлза суховатым:

— Хм, вот как… скажите… ну да, невралгия… совершенно верно, она самая.

Эмма так никогда не отвечала. У нее был свой подход ко всем, с кем она близко соприкасалась: успокаивать, потакать; иной раз это мягкосердечие заводило ее в такую даль от викторианских устоев, что она склоняла собственных чад на добрые дела подкупом. Во всяком случае, сетования Чардза всегда возбуждали в ней любовь и сострадание, а не осуждение

или подозрение в мнительности. «Без тебя я в минуты нездоровья чувствую себя совсем несчастным… — писал Чарлз из Шрусбери. — Мне не терпится быть с тобой, под твоим попечением — тогда мне ничто не страшно». Так чувствовал не он один. «К Вашей матушке, — в глубокой старости писала Генриетта Гексли одной из дочерей Дарвина, — мне постоянно хотелось забраться под крылышко. Я не знаю другой женщины, которая умела бы так утешать». Доктор Хаббл тоже отмечает в Эмме «преданность к болящим, эту фамильную черту всех Веджвудов». Когда Эмма и Чарлз поженились, «идеальная сестра милосердия вышла замуж за идеального больного».

6
МОЛЛЮСКИ И БОГОХУЛЬСТВО

Почти сразу же после возвращения в Англию Чарлз стал готовить свой «Дневник» к печати. Пересмотрев разнообразные наблюдения, сделанные им во многих областях науки, он сильнее прежнего уверовал в преимущества гипотезы о превращении видов. Правда, ей противостояло великое множество седовласых авторитетов. И хоть работу над «Дневником» он закончил только в 1837 году, когда уже достаточно далеко продвинулся в своих раздумьях об эволюции, показательно, что здесь он о них не обмолвился ни словом, а лишь убрал наиболее откровенные свидетельства былой своей приверженности креационизму[50].

«Дневник» вышел в свет в 1839 году как приложение к двухтомным «Запискам» Фицроя. «Я — автор книги, — писал Дарвин Генсло. — Доживу до восьмидесяти лет, и все не перестану дивиться такому чуду». Еще больше он дивился тому, что книга имела несомненный успех. Спрос на нее не прекращался, и в 1845 году потребовалось второе издание. Благодаря своим обширным и красочным наблюдениям из жизни растений и животных, блестящему анализу геологии Южно-Американского континента и исчерпывающему изложению сформулированной Дарвином теории происхождения коралловых островов «Дневник» стал достойным преемником «Путевого дневника» Гумбольдта и, в свою очередь, вдохновлял потом других ученых-исследователей.

Несмотря на постоянные болезни, Дарвин в 1842 году подготовил к печати свои «Коралловые рифы», а в 1844-м — «Геологические наблюдения на вулканических островах». Обе

работы были приняты восторженно, а дарвиновское толкование проблемы коралловых рифов считают самым верным и по сей день. Перечитав «Рифы» вновь через семь лет, Дарвин с подкупающей непосредственностью воскликнул:

— Поражаюсь собственной точности!

Все это время он много писал и для научных журналов. В 1846 году он опубликовал свои «Геологические наблюдения в Южной Америке, или третью часть изысканий по геологии, сделанных во время плавания на „Бигле“», и приступил к фундаментальному труду об усоногих рачках. На чилийском побережье ему попалась своеобразная их группа, которую пришлось выделить в особый подотряд. Вначале он не подозревал, что потратит на изучение усоногих восемь лет; но нового рачка нельзя было понять, не изучив досконально уже известных, а Дарвин с грустью убедился, что усоногих рачков до сих пор понимали очень превратно.

Может показаться, что при хроническом несварении желудка нетрудно найти себе более приятное дело, чем сидеть и терпеливо расчленять тысячи, мелких зловонных обитателей моря; а между тем с течением лет занятие это сделалось в семье Дарвина чем-то до такой степени привычным и неизбежным, что один из малышей, рожденный на свет, когда работа была в самом разгаре, спросил об одном из их соседей:

— А где он режет с рачков?

Новые познания уводили в дебри классификации, к бесплодным сложностям терминологии. Письма Дарвина дышат благородным негодованием, когда он корит за тщеславие ученых (в том числе и себя в молодые годы), которые называют какой-либо вид своим именем на том лишь основании, что сами его открыли.

Были у него и свои радости. «Просто наблюдать» уже доставляло наслаждение. Он пишет Фицрою, что «последние две недели изо дня в день напряженно работал, анатомируя существо родом с архипелага Чонос и размером с булавочную головку, и готов провести таким образом еще месяц, чтобы каждый день лицезреть все новые красоты строения». Были и странные факты, способные доставить радость человеку с пристрастием к странным фактам.

«На днях мне попался любопытный образчик, не гермафродит, а однополый: у самки — обычные для усоногих раков признаки, а в обеих створках ее раковины — два карманчика, и в *каждом* содержится по крохотному супругу; первый раз вижу такое, чтобы у особи женского пола непременно имелись два мужа».

Это был не просто любопытный факт. В другом письме Дарвин с понятным волнением человека, сделавшего открытие, объясняет:

«Мне никогда не постигнуть бы этого, если бы моя теория происхождения видов не убедила меня, что гермафродитный вид чередой едва заметных изменений должен переходить в вид двуполый, а тут как раз такой случай, ибо у гермафродитов мужские органы начинают отмирать и потому возникают готовенькие самцы».

Только стоят ли факты, пусть даже столь необычные, восьми лет жизни? «Не сомневаюсь, — с оттенком грусти пишет Дарвин, — что сэр Э. Булвер-Литтон[51]имел в виду не кого-нибудь, а меня, когда вывел в одном своем романе профессора Лонга, написавшего два толстенных тома о моллюсках-„блюдечках“». С годами он, пожалуй, стал понимать насмешника Литтона, но в то время, очевидно, считал, что рачки того стоят. Гексли, с присущим ему восторженным отношением к подвигам научного усердия, был согласен, что стоят.

«Дальновидный отец Ваш, — писал он спустя много лет Френсису Дарвину, — поступил как нельзя более мудро, когда обрек себя на годы терпеливого труда, какого стоила ему книга об усоногих раках…

Мне всегда представлялось замечательным проявлением его научной прозорливости и его мужества то, что он увидел, как необходимо приобрести такую выучку, и не побоялся положить на это столько труда».

Сэр Джозеф Гукер ему вторит: «В своей деятельности биолога Ваш отец различает три ступени: просто собиратель в Кембридже; собиратель и наблюдатель — на „Бигле“, зрелый естествоиспытатель — после и только после работы об усоногих раках».

Непрерывной чередой сменяли друг друга под микроскопом рачки, а сам наблюдатель тем временем сутулился и лысел, на его лице пролегли глубокие морщины. Родились еще три дочки — Мэри, Генриетта, Элизабет, — и еще два сына — Джордж и Френсис.

А там стало сдавать здоровье у старого доктора Дарвина. Непререкаемый медик и всегда-то отличался дородством, а в последние годы сделался до того тучен, что, потянув однажды на весах 336 фунтов, решил больше не взвешиваться никогда. Прошло еще несколько лет, и он без посторонней помощи уже с трудом поворачивался в постели с боку на бок. Облаченный в старомодные бриджи, в сюртук с широкими лацканами, он большей частью сидел в саду в своем кресле на колесах, печально

глядя на кусты и фруктовые деревья, в которых, бывало, находил столько утехи. Кончилось время прочувствованных двухчасовых наставлений с разбором того, что произошло за день, отчасти потому, что теперь ничего не происходило. Он и не хотел, чтобы происходило. Все больше он ограждал себя от переживаний и воспоминаний, которые стали для него непосильны. Его память и его чувства не утратили своей остроты и держали его точно зубья капкана. Он не мог забыть ни одной даты и каждый год вновь переживал смерть каждого из своих старых друзей. Чарлз предложил было, чтобы он хотя бы выезжал ради моциона, раз не может ходить пешком.

— В Шрусбери нет дороги, с которой не связано у меня какое-нибудь тяжелое событие, — отвечал отец.

При всем том он еще бывал бодр и энергичен. Он еще мог выходить из себя. Свежи и нетленны остались в памяти пожилых его детей лютые бури отцовского гнева, хотя с Чарлзом доктор Дарвин за последние годы очень сблизился. Их объединял интерес к людям, общая склонность посудачить. Оба отличались наблюдательностью и мгновенным интуитивным восприятием, исключающим надобность рассудочного анализа. Доктор предрекал будущее старых своих пациентов. Чарлз сообщал последние новости из жизни лондонских научных обществ. Он был куда снисходительней, чем Гексли, к земным слабостям ученых олимпийцев и не без удовольствия рассказывал о страсти Бакленда[52] к шумной известности, о вспыльчивости и резкости Фоконера и безудержном преклонении Мурчисона[53] перед чинами и званиями.

У самого Чарлза дела со здоровьем обстояли так худо, что, вероятно, сидя подле отца в Шрусбери, он не раз гадал, кому из них двоих суждено уйти первым. У доктора Дарвина оставалась одна надежда: что конец наступит сразу. Порой они подолгу сидели молча, и тогда Чарлз делал записи о своих усоногих рачках или читал мадам де Севинье[54], в которую, следуя вместе с братом Эразмом галантному обыкновению ценителей словесности, совершенно влюбился.

В октябре он виделся с отцом в последний раз. Престарелый доктор скончался в ноябре — внезапно, как и желал того. Печальную весть сообщила его дочь Кэтрин. «Пошли тебе бог утешение, Чарлз, голубчик, — писала она, — он тебя так любил». Дочь Чарлза Генриетта, которая была тогда совсем маленькой, вспоминает, как она «очень перепугалась и горько расплакалась» от жалости к отцу. Едва получив эту весть, Чарлз отправился в Шрусбери, но чувствовал себя так скверно, что не принимал участия в похоронах и отказался стать душеприказчиком отца и

распорядиться немалым его состоянием.

За эти годы умственный кругозор Дарвина отнюдь не замкнулся в створках раковины усоногого рачка. Рачки, как легко заметить из всего сказанного, явились отчасти подготовкой к изучению гораздо более важной темы, отчасти же, возможно, способом от нее уйти. Темой этой была, конечно же, эволюция.

Никого не удивило бы, если б теорию эволюции изложил Гексли. Почти всех, кто знаком с фактами, несколько удивляет, что это сделал Дарвин, а иные умники, начиная с Сэмюэла Батлера[55] и кончая Жаком Барзеном[56], стараются доказать, что лучше было бы ему этого не делать. У Гексли талантов хватило бы на две жизни. Он мыслил, рисовал, говорил, писал, вдохновлял, возглавлял, вел переговоры и воевал на тысяче фронтов против сил земных и небесных — и все это с небрежной и профессиональной легкостью акробата, который держит на своих плечах сразу десять человек. Он все знал, и все делал, и был для своего времени целым направлением, целой эпохой. Он был, короче говоря, обильно наделен роскошными дарами гения. Дарвин едва располагал самым необходимым. Он медленно читал, особенно на иностранных языках. Не умел рисовать. У него были неловкие, неуклюжие руки, а интерес и доверие к эксперименту подчас сочетались в нем с непостижимой небрежностью и беспомощностью. Он придавал большое значение научным приборам, однако собственные его приборы были чаще всего грубо сработаны и ненадежны. Родные дети озадачили его, доказав, что один из его микрометров отличается от другого. Он был не способен выступить с речью и так боялся показываться на людях, что в 1871 году, когда венчалась его дочь, едва высидел в церкви. «Он любил говорить, — вспоминает она, — что ему не хватает находчивости, чтобы вести с кем бы то ни было споры», а его речь завлекала его в такие непролазные дебри вводных предложений, что он начинал спотыкаться и часто доходил до полной невразумительности и бессвязности. На бумаге он излагал свои мысли достаточно четко и своеобразно, но это удавалось ему лишь после мучительных и долгих исправлений, и, берясь за перо, он шутливо ворчал, что «из всех возможных способов построить фразу непременно изберет самый худший».

Как мог такой человек избежать самой заурядной неудачи и тем более достичь грандиозного успеха? Каким чудом он мог сделать такое первостепенной важности открытие, как принцип естественного отбора, и довести до завершения долгий труд об эволюции живой природы? Пожалуй, отчасти хотя бы, ему удалось дать объяснение эволюции по той милой сердцу

англичанина причине, что искать объяснение эволюции было у Дарвинов семейной, традицией. Во всяком случае, — идея в нем созревала точно так, как складываются традиции: медленно, почти неотвратимо. Секрет свершенного им чуда в том, что оно, в конце концов, все-таки свершилось. Он верил фактам. Он видел проблему и чувствовал, что, если есть терпение и жажда истины, эту проблему можно решить.

В 1837 году он начал первую тетрадь записей по изменчивости видов. С той минуты он стал жить идеей — приличный, положительный человек стал жить вопиюще неприличной, ужасающей коварной идеей. А кончилось это тем, что тихий юноша из хорошей семьи, который жертвовал деньги на благотворительность, превратился в полуфанатика, полукрестоносца; что застенчивый, неуверенный в себе молодой человек обрел тайный источник твердости и сознание своей нравственной миссии; что открытая прямая натура, не утратив своего благодушия, обрела некую таинственность.

«Помню, — говорит Гексли, — как во время первой своей беседы с мистером Дарвином я со всею категоричностью молодых лет и неглубоких познаний высказал свою уверенность в том, что природные группы отделены друг от друга четкими разграничительными линиями и что промежуточных форм не существует. Откуда мне было знать в то время, что он уже многие годы размышляет над проблемой видов, и долго потом меня преследовала и дразнила непонятная усмешка, сопровождавшая мягкий его ответ, что у него несколько иной взгляд на вещи».

Сначала Дарвин никого не посвящал в свою тайну, хотя жена не могла ее не знать и, как предсказывал старый доктор Дарвин, трепетала, размышляя о спасении души своего мужа. Очень рано он открылся Ляйеллу, который выслушал его сочувственно, хотя понадобилось двадцать лет, чтобы обратить его в новую веру. В 1844 году с боязливой настороженностью заговорщика Дарвин поведал о своей ереси Джозефу Гукеру, недавно возвратившемуся из антарктической экспедиции на «Эребе».

«Я почти убежден… что виды (это похоже на признание в убийстве) не остаются неизменными. Упаси меня бог от Ламарковых бредней о „тенденции к прогрессивным изменениям“, о „приспособлениях, постепенно порожденных волеизъявлением животных“, и тому подобного!.. Я, кажется, нашел (какова самонадеянность!) простой способ, каким виды тончайшим образом приспосабливаются к тем или иным условиям жизни. Сейчас вы издадите стон и подумаете: „На что же я тратил время, кому писал“. Пять лет тому назад и я на Вашем месте подумал бы так же».

Гукер отмел в сторону такие соображения, как соблюдение приличий, и попытался оценить эволюцию по достоинству. Начав с враждебности, он становился понемногу все податливей и, всегда настроенный критически, неизменно приходил Дарвину на помощь то с ценными сведениями, то с конструктивными предложениями. Для Дарвина он, по-видимому, оказался тем единственным человеком, споры с которым рождали удовлетворение и ясность, а не бестолковое замешательство в разгар дебатов и бессонные раздумья по их окончании.

Подобно многим милым и обаятельным, но больным людям, Дарвин как будто без особых усилий умел привлечь к себе на помощь друзей. Старинному приятелю по колледжу Фоксу он поручил наблюдать за полосатостью в окраске лошадей. Гексли сообщал все, что требовалось, об эмбриологии рыб, Аза Грей — об альпийских растениях Северной Америки, Гукер — о новозеландской флоре и многом другом. В более поздние годы дети помогали Дарвину иллюстрировать его книги, Гукер и Ляйелл выступали как его ходатаи перед лицом научного мира, Гексли же сделался его «полномочным представителем» и защитником от враждебных когорт епископов и архидиаконов. Дарвин добросовестно старался давать так же много, как получал. Старался он и не требовать многого; но его увлеченность захватывала его самого и заражала его друзей. «Как я надеюсь, что на Борнео Вы полазаете по горам, — писал он Гукеру, своекорыстно помышляя о своей теории распределения альпийской растительности, — как много любопытного это даст!»

Несомненно, стольких одаренных и блистательных людей влекла к такому отшельнику в первую очередь не его личность, а идея, верней — совокупность идей, которым предстояло совершить переворот во всех областях биологической науки. С дарвиновским учением нельзя было не считаться. Больше того, даже потом, когда вышло в свет «Происхождение видов», это учение продолжал творить Дарвин. В том и кроется сильнейшее доказательство его величия: он сам — не Уоллес, не Гексли или еще кто-нибудь, а он — был средоточием дарвинизма. Несмотря на болезни, на все недостатки, в нем была та широта взглядов, здравость суждений, сосредоточенность ума, которая удержала за ним первенство в огромной области его исследований. Он предвидел конечные выводы своей теории, хоть никогда не делал их поспешно.

«Если мы позволим себе дать полную волю воображению, — писал он в своей первой тетради за 1837–38 годы, — может вдруг оказаться, что животные — наши братья по боли, болезням, смерти, страданиям и бедствиям, наши рабы в самой тяжелой

работе, спутники в развлечениях — разделяют с нами происхождение от общего предка — и все мы слеплены из той же глины».

Может быть, Дарвин думал как раз столько, сколько надо великому мыслителю. Он часто повторял, что «нельзя стать хорошим наблюдателем, не будучи деятельным теоретиком», однако сам редко отходил далеко от фактов, сознавая, что если факты без идеи жалки и бесплодны, то идеи без фактов произвольны и недостоверны — своего рода безумство, зачастую вызванное причинами нравственного порядка. Он был занят скорее самой проблемой, чем ее решением, и потому мог спокойно пребывать среди фактов, покуда они сами волей-неволей не откроют ему свой смысл. «Терпение и труд» — этой мудрости он следовал так преданно, что подчас чувствовал себя обязанным приносить извинения за свою терпеливость.

Невольно чувствуешь соблазн усматривать в этих его свойствах лишнее свидетельство влияния отца — в его терпеливой настойчивости, в страстном желании снискать себе уважение и любовь, в неприязни к домыслам и тяге вновь и вновь обращаться за подтверждением к фактам, в ощущении непрочности, рожденном частыми и сокрушительными взрывами родительского гнева. Как знать, возможно, Дарвин оттого не обладал молниеносной сообразительностью и четкостью, присущей Гексли, что лишен был его уверенности в себе. У властных отцов сыновья обыкновенно поздней приходят к зрелости.

Не исключено, что Дарвин несколько преувеличивает, подчеркивая, с какой осторожностью он подходил к своей великой теме. «Я работал в истинно бэконовских правилах, — писал он, — никакой теории, просто набирал как можно больше фактов». На самом же деле все началось еще с наблюдений в Южной Америке, с вызванных ими серьезных подозрений. И с книг, в которых эволюция и естественный отбор были секретом полишинеля. Второй том «Начал» Ляйелла — это, в сущности, то же «Происхождение видов», только без дарвинизма, или, по крайней мере, без явного дарвинизма. Почти в той же последовательности, что и в «Происхождении», Ляйелл ставит те же проблемы: изменчивость, приспособление, повторение зародышем основных этапов эволюционного развития, важность географического распространения и данных геологии — все они тут, недостает лишь решений.

Мало того, Ляйелл тщательно рассмотрел теорию эволюции в том виде, как ее излагает Ламарк, но в конечном счете отверг, решив, что виды способны изменяться лишь в определенных,

строго ограниченных пределах. Породы домашних животных, приспособившиеся при содействии человека к окружающим условиям самого разнообразного характера, в высшей степени изменчивы; виды диких животных, привязанных каждый к своему месту обитания и своей среде, изменяются очень мало. Сходство зародышевого развития означает просто подобие в строении и системе. Главным образом, однако, в неизменности видов Ляйелла убедило относительное бесплодие гибридов. Ему, вероятно, требовалось, чтобы виды изменялись прямо у него на глазах. Вообще похоже, что весь свой запас самобытности и прозорливости он истратил на геологию, так же как Дарвин, позже и в меньшей степени, почти израсходовал свой запас на проблему естественного отбора. Что виды нередко бывают плодовиты почти безгранично, что они ведут друг с другом борьбу, что увеличение численности одного может вести к сокращению численности другого — все это Ляйелл видел; но он был одержим идеей — в известном смысле богословской идеей — о предопределенном равновесии и устойчивости в природе. «Всякому растению… — утверждал он, повторяя слова Уилка, — придано надлежащее насекомое, дабы сдерживать его изобильность и не давать размножаться до полного вытеснения других».

Был, впрочем, один факт, которым он не мог пренебречь. Птица дронт[57] вымерла раз и навсегда. Не признавая того, что вымирание подразумевает эволюцию, Ляйелл все же пытался объяснить его естественными причинами: виды, подобно отдельным особям, могут умирать от старости, либо, что более вероятно, могут исчезать в результате неблагоприятных изменений окружающей среды или же в борьбе с более удачливыми соперниками. (Можно представить себе, как заинтересовала Дарвина приведенная Ляйеллом цитата из швейцарского ботаника Альфонса Декандоля[58]: «Все растения данной местности… находятся в состоянии войны друг с другом. Те, что случайно первыми обосновались в определенной местности, имеют тенденцию, уже хотя бы по той причине, что пространство занято ими, вытеснять другие виды. Более крупные душат малых, долгожители сменяют тех, у которых век короче, более плодовитые постепенно становятся хозяевами местности, которой в противном случае завладели бы виды, размножающиеся медленней».)

Практические наблюдения в Южной Америке послужили для Дарвина катализатором, ускорившим со временем превращение повисших в воздухе фактов и мыслей Ляйелла в последовательную теорию. По тетрадям Чарлза видно, что он с

большим вниманием читал второй том «Начал», особенно главу, посвященную вымиранию. Он рассмотрел соображение Ляйелла, что жизненный цикл видов, возможно, предопределен заранее, но, вероятно, понял, что такое объяснение ничего не объясняет, ибо вскоре оно исчезает из его записей. Должно быть, его также не оставила равнодушным мысль о борьбе за существование. Если организмы вымирают, не выдержав борьбы за существование, то какова же природа этой борьбы? Один вид может быть вытеснен неродственным ему видом, но может быть вытеснен и собственной, более совершенной разновидностью. Еще в Южной Америке Чарлз обратил внимание на то, что местный малорослый страус быстро исчезает в условиях, благоприятных для более крупного его соперника. Получается, таким образом, что вымершие виды могут приходиться родичами или прародителями существующим. И вымирание, следовательно, может означать процесс усовершенствования или превращения видов.

Возможно, что значение домашних животных для проблемы видов Дарвин также постиг, читая Ляйелла. Так, на их примере можно увидеть, отчего родственные виды, скажем свинья и тапир, иногда очень мало напоминают друг друга. Очевидно, что промежуточных форм уже нет на земле. У себя в тетради Дарвин написал: «Противники будут говорить — *А вы их покажите.* Я отвечу — хорошо, если вы покажете мне все переходные формы между бульдогом и борзой».

Ну а как получаются разновидности вроде скаковых лошадей и голубей-турманов? Прилежно штудируются племенные книги, ведутся задушевные беседы с коннозаводчиками и голубятниками, и скоро в знании всех тонкостей, писаных и неписаных, Дарвин мог поспорить с каким-нибудь глубокомысленным коневодом или родовитым завсегдатаем ипподрома. Секрет разведения животных, несомненно, заключался в отборе желательных изменений, которые затем, накапливаясь из поколения в поколение, переходят в определенно выраженные признаки. Если домашние породы возникают в результате отбора, который производит человек, то, вероятно, виды могут возникать как следствие отбора, осуществляемого природой. Но как именно она его осуществляет?

Искусство голубятников подало мысль об отборе; проблема вымирания — мысль о борьбе за существование. Сколько времени пришлось бы Дарвину терпеливо плавать по океану фактов, чтобы без помощи извне соединить обе эти мысли? В десятке записей он стоит на пороге решения. К счастью, в эволюционных своих проявлениях природа вполне созвучна викторианской повседневности. В октябре 1838 года Дарвину случилось «ради

развлечения» прочесть «Принципы народонаселения» Мальтуса. Тайна была раскрыта.

По иронии судьбы то, что ускользало от его взгляда в беспощадной анархии природы, он ясно увидел в мнимо упорядоченной анархии «цивилизованного» мира. Мальтус подчеркивал два обстоятельства, и оба хорошо понимал Дарвин: безграничную способность человечества к размножению и ограниченность размеров и ресурсов нашей планеты. Мальтус рассматривал положение в негативном плане, показывая, как голод, болезни и войны сдерживают рост народонаселения. Дарвин принял позитивную точку зрения. А какие особи, спрашивал он себя, выживают и дают потомство у животных, имея в виду, что у них увеличение численности подавляется теми же причинами в еще большей степени? По-видимому, те особи, которых изменения сделали более приспособленными к окружающим условиям. Природа порождает избыток пробных образцов, а затем избавляется от наименее удачных, убивая их. Мальтус подал Дарвину мысль применить экономическую теорию конкуренции к новой области.

Итак, пригодная для работы теория была у него в руках, однако соблазны теоретизирования так пугали его, что до 1842 года он не решался доверить свои мысли бумаге, а когда решился, то лишь в виде легко стирающихся, недолговечных карандашных записей на тридцати пяти страницах. В 1844 году, однако, он уже подготовил изложение на двухстах тридцати одной странице, весьма полное и в начальной своей части во многом совпадающее с первой половиной «Происхождения видов»; здесь разбирается проблема отбора не только естественного, но и «бессознательного» и полового и содержатся почти все наиболее важные положения окончательного варианта теории. Все-таки, как он с удивлением обнаружил, кое-что здесь было пропущено — вопрос о том, почему особи одной и той же породы, изменяясь, начинают разниться и между собой. Ответ был таков: «Все преобладающие и размножающиеся формы имеют склонность приспосабливаться в естественном состоянии ко многим и чрезвычайно разнообразным типам местности». В поздние годы жизни он писал: «Я точно помню даже место на дороге, где, к радости моей, меня осенило решение; я ехал в коляске, и случилось это много времени спустя после того, как я поселился в Дауне». Очевидно, то было единственное его озарение, одинокая вспышка пророческого таланта. Записки 1842 года интересны тем, что в них особо выделены мутации, иначе — внезапные изменения; очерк 1844 года — тем, какая важная роль отводится внешним условиям в вопросе о происхождении

разновидностей.

Дарвина посещали в те дни минуты творческого восторга. Он, упивался — хоть и не без содрогания перед коварством законов логики — тем искусством, с каким совместил теорию естественного отбора со всеми шероховатостями эволюционных процессов. Больше того: он не мог не видеть, что его идеи, в случае если их признают, окажут громадное воздействие на современную мысль и науку. «Моя теория, — писал он в одной из ранних своих записных книжек, — вдохнула бы новый смысл в сравнительную анатомию современных и ископаемых форм: она привела бы к изучению инстинктов, наследственности, умственной наследственности, всей метафизики».

В такие минуты он остро ощущал неотвратимую безотлагательность своей задачи, настоятельную потребность в покое, свободе от всего, кроме одной всепоглощающей идеи своей жизни. Но кто и когда бывал свободен и спокоен? «Одиннадцать детей — святая Мария! Нешуточная забота на одну голову, — подавленно восклицает он в письме к своему бывшему однокашнику Фоксу. — Право же, я взираю на пятерых своих мальчиков как на нечто страшное, и сама мысль о выборе для них профессий мне ненавистна». Деньги были символом назойливой житейской деловитости, мучительной шаткости людского благополучия и обеспеченности; достаточно состоятельный и неизменно щедрый, Чарлз относился к деньгам с беспокойством и особой аккуратностью. Он проявлял бережливость в некоторых мелочах, иной раз совершенно бессмысленную — так, скажем, он имел привычку экономить бумагу. Он берег не только частично исписанные листы, но даже бросовые клочки и обрывки, полушутливо сетуя «на небрежную манеру швырять в камин бумажки, которыми зажигают свечу».

За всеми мелочными его тревогами стояли две большие: что у него не хватит сил завершить свой труд по изучению видов и что детям его не хватит сил содержать себя и жить нормальной, здоровой жизнью. «Если бы твердо знать, что у них сносное здоровье, — продолжает он в своем письме к Фоксу, — тогда бы еще не так было страшно, потому что нельзя не надеяться, что при нынешней эмиграции положение образованных, людей станет несколько лучше. Но у меня вечное пугало — наследственная хилость».

Пожалуй, ничто в такой мере не побуждало его изложить свою теорию на бумаге, как страх умереть, не закончив работу. И все-таки даже большой его труд 1844 года казался ему бедным и неполным отражением его изысканий. Сразу же по его завершении Дарвин написал своей жене письмо, трогающее глухо

ощущаемой в нем мольбою: он торжественно поручал ей пригласить в случае его смерти редактора, который за вознаграждение в четыреста фунтов подготовил бы его труд для печати. Работу следовало расширить, исправить, обосновать материалами, собранными в его библиотеке. Список желательных редакторов начиная с Ляйелла и кончая Гукером тоже трогательно велик. В 1854 году он сделал на обратной стороне пометку, что предпочтительней всех был бы Гукер.

Все это свидетельствует о том, что Дарвин едва ли рассчитывал увидеть, как примет его теорию мир. Оно и понятно: проблема была так необъятна, тесно переплеталась со столь многими областями науки, требовала исследования таких тонкостей и сложностей, что самый энергичный, работоспособный здоровяк мог бы отчаяться исчерпать ее за одну жизнь. «В самых дерзновенных моих мечтах, — писал Дарвин приблизительно в 1845 году, — мне видится только возможность показать, что у вопроса о неизменности видов есть две стороны, о большем я и не помышляю». И все-таки, даже если ему нельзя было сказать «да», он хотел сказать свое «нет» как можно более внушительно. А оставался еще безмерный, нравственно неотложный долг перед усоногими рачками. Гукер и собственная совесть внушили ему, что никто не вправе браться за проблему видов, не изучив и не описав предварительно множество частных случаев.

За годы от 1851-го до 1854-го он опубликовал в виде четырех монографий свою работу об усоногих рачках. Теперь ничто не мешало ему посвятить все силы эволюции. В любую минуту его кто-нибудь мог опередить. Ляйелл, с сомнением относясь к любой теории эволюции, все же настойчиво убеждал его немедленно издать хотя бы краткий очерк. Гукер этого не советовал. Он считал, что Дарвину не подобает предварять самого себя малозначащей и необоснованной статьей, а следует как можно скорей написать и опубликовать солидный, капитальный труд. — После недолгих сомнений и вялой попытки начать с очерка Дарвин решительно засел за книгу, по замыслу раза в четыре превышающую объемом «Происхождение видов».

Бежали годы. Росли кипы материала, все длинней становилась книга. Конечно, он старался работать как можно быстрее. По существу, он, как это часто бывает с медлительными людьми, все время жил в затяжном приступе тщетной и судорожной поспешности. Так, когда из разговора с Джоном Леббоком выяснилось, что недели три работы потрачены впустую, он с болью писал Гукеру: «Во всей Англии не сыскать такого злосчастного, бестолкового, тупого осла, как я, — плакать хочется

от досады на собственную слепоту и самонадеянность».

Было страшно, что его опередят, еще страшней — что его поднимут на смех: ведь его проблему своими сумбурными, при всей их оригинальности, домыслами успели дискредитировать Ламарк и «господин Рудимент»[59]. Нужно же было, чтобы нечто столь претенциозное досталось именно ему! Какой прискорбный парадокс! «Не раз я спрашивал себя, — писал он Ляйеллу, — не посвятил ли я жизнь пустому измышлению», а позже он очень удивился, обнаружив, что Гукер, кажется, крепче его самого уверовал в принцип естественного отбора. Никогда не случалось, чтобы, предлагая Гукеру или Ляйеллу свежую мысль, он не остерег их вначале: «Вам все это представится сущим вздором». Воображение его было сухим и строго прозаическим. Им владела идея экономности в теории. От прихотливых фантазий Форбса он физически заболевал. Сознавая, сколь уязвимы его собственные позиции, он был все же возмущен тем, как смело последователи Ляйелла позволяют себе рассуждать о пропавших континентах, и даже послал отцу современной геологии горячий протест, подкрепленный в дальнейшем письмами и огромным количеством фактов.

«Положите этому конец — не то, если только есть в преисподней особое место, где карают геологов, боюсь, мой великий учитель, что Вы в него угодите. Помилуйте, Ваши ученики потихоньку да полегоньку оставят позади всех приверженцев пресловутой теории катастроф, вместе взятых. Погодите, вы еще станете великим вождем катастрофистов».

Кроме прочих страхов, Дарвина мучило опасение, как бы его не приняли слишком серьезно разные очень серьезные люди. До его родственников постепенно дошло, что он готовит к печати пространное и ученое богохульство. Грозным должен был казаться священный их ужас — единое чувство родни, такой многочисленной и тесно спаянной, такой любящей и достойной уважения, как Веджвуды и Дарвины. Каков же будет священный ужас целой нации! И чем более сильное впечатление произведет книга, тем более исступленным и священным будет ужас. Наверное, по крайней мере, подсознательно ему хотелось отодвинуть решение этой мучительной дилеммы, а возможно, избежать ее вообще. «Я готов думать, что Ляйелл прав, и более обширной работы мне никогда бы не одолеть, — писал он Уоллесу, когда закончил «Происхождение видов». — …Мне думается, что в научной деятельности я почти исчерпал себя». Конечно, потом, когда «Происхождение» было уже набрано и он убедился, как поразило и потрясло оно людей, подобных Гукеру и Ляйеллу, он отчасти забыл свои страхи и нетерпеливо ждал,

какое впечатление оно произведет на мыслящего читателя. «Быть может, Вы сочтете меня излишне самоуверенным, — писал он Гукеру, — но я думаю, что моя книга найдет известное признание… среди ученых и людей, причастных к науке; а думаю я так оттого, что убедился по разговорам, как неожиданно велик интерес к этому вопросу».

Еще в 1855 году Дарвин обратил внимание на статью о видах Альфреда Рассела Уоллеса, напечатанную в «Анналах естественной истории». Идеи автора настораживающе близко совпадали с его собственными. «Мне мало приятна мысль о том, чтобы писать ради приоритета, — делился Дарвин с Ляйеллом, — но, разумеется, было бы досадно, если бы кто-то другой опубликовал мои идеи раньше меня». В мае 1857 года он получил от Уоллеса, который тогда находился на Целебесе, письмо с вопросами о разновидностях и выведении пород домашних животных. «Для меня несомненно, — ответил Дарвин, — что мы с Вами во многом думали одинаково и пришли к сходным в какой-то степени заключениям». Он отвечал дружелюбно, но с осторожностью, упомянув, что работает над вопросом о видах двадцать лет. В декабре того же года он получил от Уоллеса еще одно письмо с вопросами уже относительно географического распределения. «Соглашаясь с Вами в Ваших выводах… — ответил Дарвин, — я полагаю тем не менее, что ушел дальше Вашего, однако эта материя слишком пространна, чтоб стать частью моих предварительных выводов…» И вновь он упоминает о том, что проработал в этой области уже двадцать лет.

Следующее письмо Уоллеса, содержавшее знаменитую статью об эволюции и естественном отборе, произвело на Дарвина впечатление разорвавшейся бомбы. За одну-единственную неделю, больной, валяясь в малярийной лихорадке в джунглях полуострова Малакка, Уоллес шагнул от прежних своих позиций к самым последним выводам Дарвина. То, над чем Дарвин ломал голову, недоумевал, бился, работал как проклятый, с бесконечным трепетом, в бесчисленных муках, Уоллес исследовал и истолковал — с гораздо меньшим тщанием, но с точно тем же результатом — за какие-нибудь три года. Дарвин не мог не заметить, что знакомые идеи его молодой соперник излагает с несвойственными ему самому силой и четкостью.

Дарвин встретил удар с великодушием, но беспокойным, неуверенным великодушием — великодушием с оглядкой назад. «Не кажется ли Вам, что, прислав мне эту работу, он связал мне руки? — спрашивал он Ляйелла. — …Я скорей сожгу свою книгу, чем допущу, чтобы он или кто-либо иной подумал, будто я руководствуюсь недостойными побуждениями». Он начал было

письмо к Уоллесу с отказом от всех и всяческих претензий, но не мог его дописать; он был не в силах окончательно сжечь свои корабли. «Если бы можно было теперь, не уронив себя, выступить в печати, — делился он своими соображениями с Ляйеллом, — я бы заявил, что принужден опубликовать сейчас очерк… потому, что получил от Уоллеса краткое изложение основных моих выводов». Конечно, он презирал себя. «Милый, добрый друг мой, простите меня, — писал он в заключение. — Это — дрянное письмо, и продиктовано оно дрянными чувствами».

В эту не видную простым глазом, малопонятную для непосвященных трагедию жестокой насмешкой ворвалась грубая действительность. В дверь многодетного дома Дарвина постучалась скарлатина и в короткий срок унесла маленькую дочку. «Я совсем убит и ни на что не способен», — писал Дарвин Гукеру. И немного спустя: «Мне совершенно все равно, я полностью отдаю себя в руки Вам и Ляйеллу».

Ляйелл и Гукер сделали то, что предполагал сделать Дарвин. Пока он еще не оправился от горя и болезни, в Королевском обществе был зачитан доклад, содержащий статью Уоллеса и краткий очерк, написанный им самим. Тяжело нависла в воздухе сосредоточенная викторианская настороженность. Ляйелл и Гукер были тут же, на местах, они подтвердили, что этот шаг предпринят с их одобрения.

«Слушали с огромным интересом, — писал Гукер, — но предмет был слишком нов и слишком опасен, и приверженцы старой школы не могли ринуться в бой невооруженными. После заседания вопрос обсуждали крайне взволнованно; позиция Ляйелла и, в малой степени, пожалуй, моя, как его приспешника в этой операции, немного сдерживала почтенных сочленов, иначе они лавиной обрушились бы на Ваши положения. За нами было еще то преимущество, что мы хорошо знали и авторов, и предмет их исследования».

Уоллес заявил, что считает их действия на заседании Королевского общества более чем великодушными по отношению к нему, и благородно примирился с ролью луны на небосклоне, где солнцем был Дарвин. А тот, ободренный письмом Уоллеса, в скором времени уже просил его понаблюдать, как располагаются полосы в окраске лошадей и ослов. Но все-таки опять не удержался и в третий раз помянул, что впервые изложил на бумаге свои идеи ровно двадцать лет назад.

Теперь Дарвин взялся готовить краткую статью об эволюции для Линнеевского общества. Характерно, что, несмотря на железную решимость безжалостно выбрасывать каждое лишнее слово, он все же позволил ей незаметно разрастись до объема

увесистой книги. По-прежнему настаивая, что пишет лишь краткую и предварительную работу, по-прежнему замышляя более значительный труд в будущем, Дарвин писал самую главную книгу XIX столетия.

7
ГЛАВНАЯ КНИГА СТОЛЕТИЯ

Право же, никогда еще не бывало, чтобы человек, так осторожно начав с фактов, забрался в такие дебри теории, как Чарлз Дарвин. Он всячески уходил от разногласий, а разногласия, как порох, вспыхивали со всех сторон. Он умышленно избегал домыслов и предположений, а домыслы и предположения обволакивали его, как паутина. Больше того, самая осмотрительность его, строгость, презрение к необоснованным умозаключениям сделали его в викторианской Англии интеллектуальной и полемической силой, не знающей себе равных. Герберт Спенсер десятки лет безудержно предавался рассуждениям об эволюции, причем рассуждениям самого дерзостного свойства, не вызвав, однако, и десятой доли такого шума, волнений, преданности, злобы, вражды, как Дарвин. Великое исследование Дарвина явилось не только ядром научной мысли во многих и разных областях. Оно поставило его самого поперек течения почти в каждом из основных спорных направлений философии, этики, религии. Необходимость и свобода воли, действие по принципу механизма и самопроизвольность, дух и материя, реализм и номинализм относительность и Абсолют — эти старые вопросы вновь встали во весь рост и обсуждались в новом свете благодаря «Происхождению видов».

Как почти все на свете, эволюцию открыли — или почти открыли — греки. От Гераклита[60] и Анаксимандра[61] исходит предположение о том, что виды изменчивы; от Аристотеля — мысль о ступенях в развитии органических форм, о

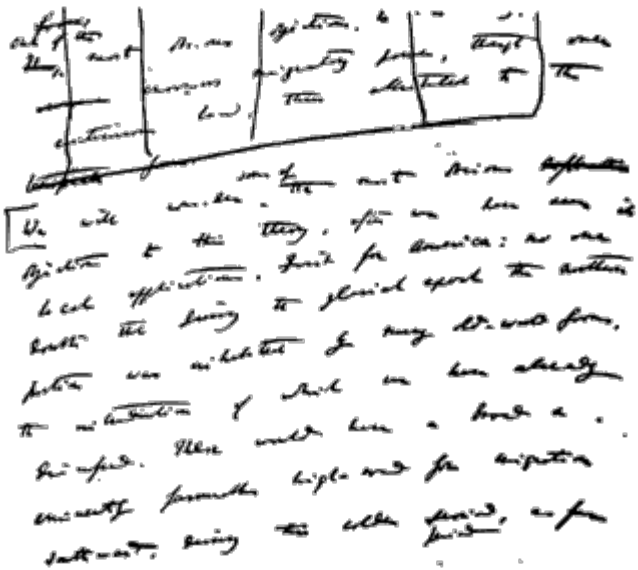
непрерывности в природе или незаметных переходах одного типа в другой, о развитии семени в растение как примере эволюционного процесса. От стоиков[62] и эпикурейцев[63], особенно от Лукреция[64], идет учение о том, что человек есть часть природы, и как таковой изначально не богоподобен и идилличен, а уж скорей звероподобен и дик.

Другое направление западной философии шло от Платона: за пределами изменчивого, недолговечного мира вещей находится подлинный мир непреходящих идей, пронизанный и объединенный идеей Блага, или Бога. Платонов Бог был самодостаточным Совершенством, обитающим обособленно от всего мира и в то же время вездесущим, низвергающимся в мир, чтобы дать реальное бытие мириадам задуманных им предметов и существ. В нем, короче говоря, воплощались, с одной стороны, единое, нераздельное, самоуглубляющееся и потустороннее, а с другой — различное, самораспространяющееся и естественное. Мыслители средневековья развивали обе эти концепции, но особенно выделяли первую. Более того, они вслед за Платоном мыслили не столько в категориях становления, сколько в категориях бытия. Злейшим историческим врагом эволюции была столь любезная логикам, моралистам и математикам тенденция Платона рассматривать вселенную как неизменный порядок, в котором явления действительности предусмотрительно остаются самими собой, а ум без помех о них размышляет.

Философы Возрождения подчеркивали бесконечную созидательную способность бога, необъятность вселенной, неисчерпаемое ее разнообразие. Мироздание, по их словам, есть великая «цепь бытия», в которой низшее и высшее связаны линейной последовательностью незаметных, постепенных переходов[65]. Вот только время положительно чинило неудобства. Если, как явствует из системы Платона, все действительное обусловлено некой извечной сущностью и изначальный план мироздания — просто соединение всех возможных сущностей, отчего тогда все возможное не существует одновременно? Короче говоря, принцип множественности взывал об эволюции, о временном измерении. Ему вторили данные эмбриологии и палеонтологии.

В XVIII веке Бюффон[66] впервые подошел к эволюции «с научных позиций». Животные, утверждал он, видоизменяются в ответ на изменения в окружающей среде, в образе жизни, а также повинуясь внутренней потребности, и передают затем эти изменения потомству с помощью наследственной памяти[67]. Бюффон — фигура во всех отношениях замечательная, являющая собой нечто вроде мастодонта, великолепного вымершего

исполина в области культуры, изумительное сочетание художника, джентльмена и ученого; ископаемое, бессмертно сохранившееся в литературе, дабы символизировать целые направления философии, переходы от одной эпохи к другой.



Часть одной из немногих сохранившихся рукописных страниц «Происхождения видов».

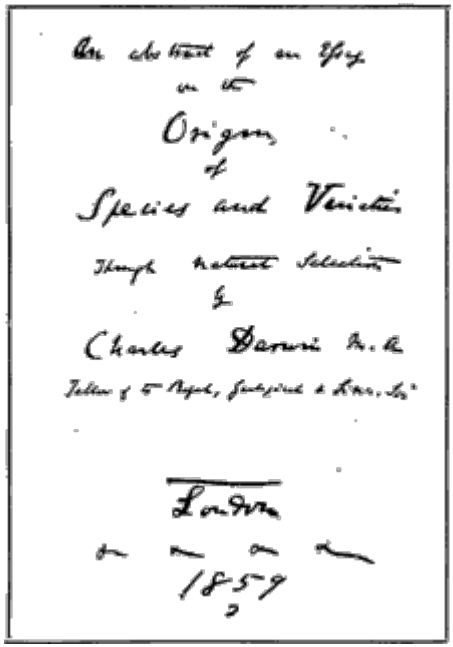
Доктор Эразм Дарвин, дед Чарлза (1731–1803), был тоже не менее замечателен. Острослов и заика, врач, сочинявший стихи о ботанике, изобретатель-механик, ходячая энциклопедия и покоритель женских сердец, он был по-своему так же значителен, как Бенджамин Франклин[68], своеобразен, как фарфоровая фигурка пирата в башмаках с красными каблуками и шляпе со страусовыми перьями. А между тем он вполне современен и для XX века; его эволюционные взгляды, хоть и возникшие в основном под несомненным влиянием Бюффона, явно заключают в себе фрейдистские тенденции. Животные эволюционируют и тем самым приспосабливаются к изменяющимся внешним условиям, реагируя на раздражители в категориях любви, голода, чувства самосохранения. Доктор Дарвин утверждал, что жизнь во всех ее проявлениях восходит к единому и очень простому организму, — тут он пошел дальше Бюффона, но уступал ему, объясняя наследственные признаки и повадки не столько бессознательной памятью или инстинктом, сколько сознательным подражанием. Его внук перечитал «Зоономию» дважды и был разочарован, обнаружив обилие идей при скудости фактов. Разумеется, идей тут целые россыпи, в том числе и весьма четкое изложение

теории полового отбора, разработанной далее его внуком.

Ламарк превосходит Эразма Дарвина в известности главным образом оттого, что у него убедительней подобраны факты. Как Чарлз Дарвин принял эволюцию прежде всего потому, что она объясняла географическое распределение, так Ламарк принял ее потому, что она объясняла сравнительное строение организмов. Вдохновленный, по-видимому, Аристотелевым принципом преемственности, он утверждал, что видов нет, а есть лишь отдельные особи. Тем не менее отдельные особи полезно группировать соответственно их строению, а строение определяется жизнедеятельностью. Органы возникают по мере надобности и развиваются в действии — в бездействии органы вырождаются и за ненадобностью отмирают.

Авторитет Ламарка среди ученых был подорван тем, что он объяснял слишком многое и пользовался при этом слишком устарелыми приемами. Само его истолкование природы жизни представляет собой странную смесь механицизма и витализма, в которой существенные признаки всего живого аналитически выводятся из простого движения неких метафизических флюидов или неземного огня. Среди церковников авторитет Ламарка был подорван его опрометчивыми рассуждениями, из которых вытекало, что человек тоже не свободен от бремени эволюционного прошлого. «Я пожирал Ламарка en voyage[69], — писал в свое время юный Чарлз Ляйелл. — Его теории доставляли мне больше наслаждения, чем любой роман». Однако, доказывая, что «человек мог произойти от орангутанга», Ламарк и в глазах Ляйелла пал до уровня милого сумасброда.

Между тем развитие романтизма — с его очарованностью природой, ностальгическим интересом к прошлому, с его способностью изумляться переменам, его восторгами по поводу изобилия и разнообразия жизни — уже заставило исследователей во всех областях науки мыслить категориями эволюции. Кант и Лаплас обнаружили ее в солнечной системе, Ляйелл — на поверхности земли, Гердер[70] — в истории, Ньюмен — в церковных доктринах, Гегель — в абсолютной идее, а Спенсер — почти во всем на свете.



Проект титульного листа «Происхождения видов», собственноручно составленный Дарвином. Дарвин включил в заглавие книги слова «извлечение из труда», впоследствии снятые по настоянию издателя.

Да и в области биологии эволюция, по существу, быстро становилась самой распространенной ересью в Европе. Какое-то время казалось, что в Англии ей суждено обрести ортодоксальность без особых кровопролитий — очень уж благоприятствовала тому политическая и духовная атмосфера конца 20-х годов прошлого века. Правящая партия тори навлекала на себя все большее недовольство; философский радикализм, логически вел к прозаичной утопии; сама наука преподносила свои великолепные открытия таким образом, что волнение от их новизны как бы уравновешивалось их внушительной благопристойностью, обещавшей надежное помещение капитала и основательный консерватизм.

Такое сугубо английское проявление научного такта было в значительной степени достижением одного человека, достойно представлявшего образование, науку, политическую деятельность и даже религию правящих классов. Человеком этим был, разумеется, Чарлз Ляйелл — «министр финансов» в стране науки, как называл его Дарвин, — Ляйелл, который никогда не позволял себе вступать в полемику, который всегда писал с глубоким сознанием значительности слова, начертанного авторитетной рукой. Признавая право на существование не только за истиной,

научной и богословской, но также за предрассудком и заблуждением, Ляйелл, как никто другой, подходил для сложной и деликатной роли: излагать простые факты в век пытливых поисков и растущих познаний. Со всею монументальной величественностью Гиббона[71] и без единой крупицы скрытой его мятежности Ляйелл показал в своих «Началах» неумолимое единообразие естественного порядка и геологической эволюции на всем протяжении обозримой земной истории. При этом, однако, он тщательно остерегался утверждать, что естественный порядок непременно действовал во все времена: пришествие человека было событием исключительным в сфере духа, хотя в физическом мире — едва ли. С сановным небрежением к логике он, подобно папе Александру VI, проводит черту прямехонько поперек мира природы[72], провозглашая эволюцию в сфере геологии и ботаники — и творца в сфере, где обитают человек и животные. Он не затрагивает космогонию иудеев, но описывает сходные с нею построения древности, которые, как он многословно подчеркивает, делают честь уму и нравственным воззрениям их создателей. Почти все, что он говорит, расходится со священным писанием, которое он, однако, опровергал с таким достоинством и тактом, что здравомыслящие англичане не могли ему долго противиться.

«Начала геологии» не вызвали особой бури. С трактатами объемом в шестьсот страниц это вообще случается редко. Была скорбь в стане уязвленных тори, были пристойные страдальческие вздохи со стороны духовенства. Было, как ни странно, горячее одобрение рядового читателя. Гарриет Мартино[73] заявляет, что после того, как прошла мода на романы Скотта, широкая публика среднего сословия «раскупала дорогое сочинение по геологии в пять раз быстрей, чем любой из самых популярных современных романов». В кулуарах Королевского геологического общества состоялась бурная стычка меж «дилювиалистами» и «флювиалистами»[74], но проходила она беззлобно и даже весело. За одно десятилетие новые идеи в существе своем были приняты. Ляйелл провел наступление науки так же мудро и с таким же чувством меры, как герцог Веллингтон[75] — отступление английской конституции от первоначальных ее основ.

К несчастью, либерализм выпустил на волю своих же палачей. Средний класс, придя после 1832 года к власти, с ханжеской косностью цеплялся за старую веру. Почти каждая выдающаяся фигура нового поколения, начиная с Гладстона и кончая Ньюменом, — это непременно ревностный христианин и догматический приверженец апокалипсиса. Почти в каждой

сколько-нибудь важной секте мерилом духовного, здоровья служила слепая вера в предание о сотворении мира, которому прямо противоречили факты науки.

В таких условиях наука едва ли могла вести наступление, пользуясь одною лишь тактичностью, хотя бы и сановной. Эволюция закрадывалась в сноски и приложения, как, например, в «Корабельном лесе и лесоводстве» Патрика Мэтью, или отваживалась выступать открыто, но анонимно, как в «Следах естественной истории творения» Роберта Чеймберса, но лишь затем, чтобы быть освистанной облаченными в стихарь геологами вроде Седжвика. Сам Ляйелл не вытерпел и пожаловался, что Моисеевы суеверия — это «злой гений нашей науки». Не один исследователь достиг славы и благ земных, «доказав» существование вселенского разума посредством тех самых научных открытий, которые позднее наглядно подтвердили, что вселенского разума не существует. Были и такие, кто доводил Ляйеллову политичную благопристойность до вопиющего лицемерия и непоследовательности. Надо сказать, что только после взрыва, произведенного дарвинизмом, стало очевидно, в какие пучины респектабельности способны погрузиться научные умы. Так в злобных и смятенных контратаках сэра Ричарда Оуэна и иже с ним с достоверностью определилось лишь то, что столпы правоверности сами отнюдь не верят в каждую букву Ветхого завета. Говорят, что в частных беседах Оуэн прикидывался сторонником эволюции; публично же он отстаивал идею актов творения в выражениях столь маловразумительных и туманных, что никто его не понимал, а в письмах к редактору «Лондонского обозрения» он не постеснялся заявить, что якобы раньше Дарвина разработал теорию естественного отбора.

Но пока в Англии даже атеисты блюли видимость приличий, над богословием разразилась гроза в Германии. Укрывшись — частично, во всяком случае, — в грозном троянском коне гегелевской философии, в евангелическую крепость проник Давид Штраус[76] и привел в смятение ее гарнизон, подвергнув святые чудеса такому сокрушительному текстуальному разбору, что, казалось, сам Новый завет обратился в оружие против официальной религии. И хотя Штраус опубликовал «Жизнь Иисуса» в 1835 году, Англия еще несколько лет оставалась неуязвимой в своих заблуждениях. Те, кто отваживался говорить, говорили темными намеками или сами были люди темные.

В 1838 году Чарлз Хеннел издал свое «Исследование об истоках христианства», в котором он, малообразованный торговец, неискушенный в тонкостях богословских благоприличий, рассказал о своем неверии просто и

чистосердечно, как прежде говорил о своей вере. Книгу приняли вполне спокойно. В 1840 году Г. Г. Милман[77], взятый уже на подозрение из-за своей «Истории иудеев», напечатал «Историю христианства», упорно, хоть и намеками, проводя на нескольких сотнях страниц взгляды, о которых Штраус и Хеннел объявили открыто, — и не сносил бы головы, если бы в последнюю минуту не прикрылся вынужденной ссылкой на вдохновение свыше.

В 40–50-х годах, однако, осторожные намеки уступают место смелым утверждениям. Наука набирала силу, религия хирела. С далеких вершин немецкой науки пришла весть, что Гельмгольц[78] математически сформулировал закон сохранения энергии, превратив, таким образом, вселенную в гигантскую бухгалтерскую книгу механических причин. Милль[79] в своей «Системе логики» дал толкование универсальной причинности со всею убедительностью большого авторитета и пятисот страниц тщательно обоснованного анализа. Конт[80] построил теорию прогресса, по которой ученые — это ревностные жрецы прогресса, научный метод — непременное его орудие, а научно управляемое общество — его неотвратимое завершение и конечная цель. Карлейль показал, что глубокое религиозное чувство может существовать отдельно от богословия — да и от религии в общепринятом смысле этого слова. А воздух был уже насыщен идеями эволюции. Вновь и вновь бешеная канонада клерикалов стирала в порошок Чеймберсовы «Следы естественной истории», и всякий раз они возрождались из пепла в возросшем могуществе исправленных и доработанных изданий.

Из нового поколения церковников немногие могли потягаться со своими предшественниками в таланте и никто — в ортодоксальности. Морис[81] отвергал первородный грех и искупление. Мартино[82] пошел еще дальше и отверг троицу. Баден Поуэлл[83] признал даже эволюцию и считал ее главным доводом в пользу божественного промысла. Паттисон[84] прошел весь путь от ньюменизма до агностицизма. А пока либералы погружались в скептицизм, консерваторы льнули к Вавилонской блуднице[85]. В 1845 году перешел в католичество Ньюмен. В ужасе содрогнулись протестанты за дубовыми панелями своих кабинетов, и полетели из неприступных, словно замки, настоятельских резиденций, из обнесенных рвами епископских дворцов повеления, предписания, громокипящие статьи, положившие начало церковному террору. Застыли с перьями наизготове джентльмены в гамашах, выжидая минуту, когда поднимет голову сатана. Вот так обстояли дела, когда в 1859 году вышло в свет «Происхождение видов».

«Избавьтесь на одну парламентскую сессию от своего

таланта, — советовал молодому Дизраэли после первой успешной его речи бывалый оратор Шейл. — Постарайтесь стать скучным… Приводите цифры, даты, выкладки». Дарвину такие советы не требовались. Никто, кроме, пожалуй, сэра Ричарда Оуэна, не мог пожаловаться, что «Происхождение видов» написано «слишком уж заумно». Оно не из тех сочинений, что, ослепляя блеском фразы и стройностью композиции, выведут целую науку из куска мела, целую философию — из кусочка протоплазмы. И не из тех, что соткут вселенную из двух-трех десятков сухих и многосложных слов или заставят десятком эпиграмм бессильно умолкнуть трубы богословского Иерихона. Нет, «Происхождение» стягивает на передний край факты, бережно укрыв парадоксы в тылу. Оно начинает с обыденного, прозаического и почти незаметно переходит к необъятному и загадочному. «Происхождение видов» — это долгое и обстоятельное рассуждение, в ходе которого автор, как бы даже нехотя, убеждает себя, что эволюция — это факт, а естественный отбор — его объяснение.

После спокойного, осторожного введения, в котором приводится краткий перечень основных идей, Дарвин начинает с основательных, внушающих доверие фактов, рассматривая коневодство и разведение голубей[86]. Отдельные особи домашней разновидности — возможно, оттого, что человек постоянно заставляет их сталкиваться с новой обстановкой, — отличаются друг от друга гораздо больше, чем дикие их сородичи. Они даже изменяются почти у нас на глазах. Как? Путем искусственного отбора. Фермер оставляет на племя лишь отборный скот. Искусный скотовод сознательно выводит такое животное, какое ему нужно. Зорко подмечая отличия, которые Дарвин, как он лукаво признается, «тщетно пытался уловить», фермер скрещивает те особи, которые отличаются от своих сородичей в желательном направлении, и продолжает это делать, накапливая у них из поколения в поколение благоприятные наследственные изменения, пока не окажется близок к цели или не достигнет ее.

Затем Дарвин показывает, что ученые-естественники резко расходятся во взглядах относительно того, что именно считать видом! В общепринятом смысле за этим термином стоит не более как туманное представление о различиях, подкрепленное столь же туманной теорией отдельного акта творения. Дарвин ищет более точного смысла в новом подходе к тем же данным. Любая традиционная классификация флоры и фауны показывает, что многочисленный род включает большее число видов, чем малочисленный, и соответственно крупный вид — большее число разновидностей, чем малый. Если виды есть результат актов

творения, это поразительное обстоятельство не имеет никакого значения; но если виды — это лишь ярко выраженные разновидности, а разновидности лишь зачатки видов, тогда оно означает, что в процессе эволюции разветвляются виды крупные и процветающие. Виды, насчитывающие большое количество особей, занимают обширные пространства. Сталкиваясь с большим разнообразием внешних условий, они, как правило, дают более богатую палитру индивидуальных различий, чем виды малочисленные.

Что же, они, подобно домашним породам, тоже развиваются быстрее и тоже путем отбора? Конечно же, Дарвин отвечает утвердительно и свой принцип отбора находит у Мальтуса:

«Лик природы представляется нам радостным, мы часто видим избыток пищи; но не видим или забываем, что птицы, беспечно распевающие вокруг нас, по большей части питаются насекомыми и семенами и, таким образом, постоянно истребляют жизнь; мы забываем, что эти певуньи или их яйца и птенцы, в свою очередь, истребляются хищными птицами и зверями; мы забываем, что если в известную минуту пищи имеется в изобилии, то нельзя сказать того же о каждом годе и каждом времени года».

Иными словами, порядок, заведенный в природе, есть многообразная борьба, при которой из-за ограниченности земных ресурсов изобильная жизнь строится необычайно сложно и взаимосвязанно; тут есть охотник и его жертва, паразит и хозяин, покровитель и его подопечный, пожиратель и пожираемый. Малейшая особенность, дающая преимущество в приспособлении, может позволить той или иной особи выжить, произвести на свет потомство и, передав это свое преимущество по наследству, укрепить положение своего вида.

Необходимость размножаться и непрерывный отбор заставляют виды разветвляться и приноравливаться, чтобы захватить себе «побольше самых разнообразных уголков во владениях природы». Так, растения все более изощренно и искусно приспосабливаются к многочисленным и несхожим условиям климата и почвы. Животные обретают либо силу и свирепость, либо быстрые ноги и чуткое ухо, либо медлительность и неуязвимость, а иные, приноравливаясь ко множеству различных условий существования, начинают проявлять сообразительность и гибкость. Жизнь слепо плодится, борется, умерщвляет, прокладывая себе путь к разуму и целесообразности. На автора явно производит впечатление не столько убийство, сколько движение вперед. «Вдумываясь в сущность этой борьбы, — замечает он, — мы утешаемся твердой

уверенностью, что война в природе знает минуты затишья, что в ней неведом страх, что смерть обычно приходит сразу, что сильные, здоровые, благополучные выживают и размножаются». Впрочем, сталкиваясь со столь типичным для его века противоречием, как «прогресс ценой страдания», Дарвин не всегда настроен так радужно. Порой и ему в полной мере доступно праведное негодование гуманиста на бога и людей из-за всего зла, какое совершается в мире.

Половое различие толкуется Дарвином отчасти как средство добиться разделения труда, отчасти как способ придать расе больше силы и стойкости путем перекрестного оплодотворения. Он излагает также в общих чертах свою теорию полового отбора. Самки отдают предпочтение самцам броской внешности, мужественным, неустрашимым, и потому самцы, наделенные всеми этими качествами, дают более многочисленное потомство, так что отбор идет в сторону еще большего внешнего великолепия, мужественности и свирепости.

Уже в «Происхождении видов» Дарвина преследует загадка наследственности и изменчивости. Если изменения порождают эволюцию, что порождает изменения? Он разбирает эту проблему в первой и второй главах и, наконец, подробно — в пятой. Рассуждения его осторожны и здравы, но вместе с тем неопределенны, а подчас и сбивчивы. Иногда его можно понять так, будто естественный отбор не только отсеивает изменения, но и является их причиной. Позже, получив за эту неточность выговор от Ляйелла и Уоллеса, он исправил многие места, но некоторые оставил даже в последнем издании. Вообще, он полагает, что изменения вызываются неизвестными особенностями наследственной природы организма, а кроме того, употреблением или неупотреблением органов, корреляцией частей организма и изменениями внешней среды. Домашние животные чрезвычайно изменчивы, потому что человек разводит их повсеместно и в разных частях света. Домашняя утка не может взлететь с земли, оттого что давно утратила необходимость и привычку пользоваться крыльями. Показательно, что птенцы ее сохранили способность летать. Короче говоря, в трактовке природы наследственности Дарвин нередко следует за Бюффоном или Ламарком. В лучшем же случае он просто сознается, что в этой области совершенно несведущ.

В главах шестой и седьмой[87] автор «Происхождения видов» отвечает на возражения — пока что он их чаще всего предугадывает, но в последующих изданиях уже называет имена своих противников. Здесь Дарвин неожиданно обнаруживает полемический талант. Растерянный, косноязычный, неловкий, в

присутствии победительно красноречивых людей вроде Гексли, он в нерушимой и многодумной тиши кабинета разит без промаха. По обыкновению обезоруживают его признания в собственной слабости. Он не скрывает, что возражения против его теории серьезны. И все же после долгих раздумий он в каждом случае приходит к удовлетворительному, как ему кажется, решению.

Его недруги часто утверждали, что, если виды и разновидности постоянно разветвляются, природа должна представлять собой непрерывную последовательность форм с почти неприметными оттенками различий, меж тем как на самом деле мы наблюдаем множество четко разграниченных видов, а промежуточные формы отсутствуют. Вовсе нет, отвечает Дарвин. Точно так же, как существует отбор среди отдельных особей, существует отбор и среди видов и разновидностей. Наиболее приспособленная порода распространится по окрестности и неизбежно вытеснит многие родственные ей разновидности, включая и родоначальную.

Далее следуют любопытные истории о чудо-растениях и чудо-животных, которые, как принято было считать, не могли возникнуть вследствие какого бы то ни было стечения счастливых обстоятельств. Как, скажем, мог естественный отбор произвести такой переворот, чтобы из плотоядного обитателя суши получился морской левиафан вроде кита? Неизбежно выходит, что первый шаг был шагом в сторону от приспособления. Как же это случилось? Ответ Дарвина в каком-то смысле анекдотичен: он приводит единственный пример с бурым медведем, который «часами плавает и, широко разинув пасть, не хуже кита ловит в воде насекомых». Убедительнее он объясняет случай с белкой-летягой, обращая внимание своих противников на все беличье семейство, которое от сравнительно тяжелых наземных животных переходит к более легким лазающим и затем к совсем легким. Еще вопрос: как можно пытаться объяснить естественным отбором появление такого чуда искусства и изобретательности, как человеческий глаз? Дарвин честно признается, что этот орган всегда приводил его в недоумение. Но все-таки он обсуждает возможный путь эволюции глаза на основе естественного отбора и ссылается на ученого-немца, который говорит, что, подобно микроскопу, телескопу или всякому оптическому инструменту, глаз человека, как и все в природе, очень далек от совершенства.

Еще одно возражение выдвинул Бронн, утверждавший, что многие признаки у растений и животных — в особенности те, которыми разновидности и виды отличаются друг от друга, — не находят себе явного применения и, таким образом, принцип

естественного отбора на них не распространяется. Дарвин отвечает, что как раз бесполезные признаки и надо считать особо важными в классификации, ибо, не затронутые процессом естественного отбора, они мало изменились и, следовательно, позволяют судить об отдаленном прошлом того или иного организма. Затем возражает Майварт[88]: малых изменений, говорит он, недостаточно, чтобы объяснить коренные сдвиги. Быть может, новые виды возникают сразу. Такому взгляду на вещи — а впоследствии нечто подобное высказывал и де Фриз[89] — противоречат, по мнению Дарвина, тонкие и малозаметные различия между многими видами и разновидностями, непрерывная последовательность в развитии, подтверждаемая эмбриологией, а также изумительная приспособленность многих органов к внешним условиям, едва ли возможная при возникновении новых форм путем внезапных изменений, или мутаций. Больше того, если подобные мутации и происходят, то порождают они никому не нужные «уродства». Дарвин всячески умаляет их значение.

Образование инстинкта он объясняет отчасти привычкой и внешними условиями, но главное — естественным отбором полезных изменений в поведении. Откуда взялся у европейской кукушки инстинкт класть яйца в чужие гнезда? Дарвин решает этот вопрос, опираясь на свой излюбленный метод: отыскивает следы той же особенности у родственных видов и подкрепляет свои доводы, показывая взаимозависимость инстинкта и строения организма. Во-первых, все известные разновидности кукушек, оказывается, кладут яйца не сразу одно за другим, а с перерывами в два-три дня. Из этого следует, что у американской кукушки, которая сама вьет гнезда, одновременно оказываются и еще недосиженные яйца, и уже вылупившиеся птенцы разного возраста. Эта трудность, по-видимому, и побуждает ее время от времени подкладывать одно из своих яиц в чужое гнездо. Австралийская кукушка представляет собою шаг вперед, правда, с некоторыми сдвигами в поведении: она кладет в чужое гнездо иногда одно яйцо, а иногда два-три. А европейская кукушка довела дело до логического завершения. Яйца у нее обманчиво мелкие; кладет она их по одному в каждое гнездо, зато птенец, едва появившись на свет, уже так крепок, что способен выкинуть из гнезда своих названных братьев и единолично пользоваться родительской заботой.

Но почему организм разнообразит свое поведение, особенно в затруднительных случаях, как у кукушки? Там, где речь заходит о разуме, Дарвину сказать нечего. Он не вступает в обсуждение вопроса о происхождении разума, как не обсуждает и вопрос о

происхождении жизни. Он просто утверждает, что поведению свойственно разнообразие. Немногие теоретики большого размаха так осмотрительно обходили столь обширные области неведомого или выказывали такую дальновидность в своих умолчаниях.

В главах с десятой по тринадцатую Дарвин рассматривает данные палеонтологии и географического распределения. Если летопись биологического прошлого сохранилась нетронутой в окаменелостях, отчего она не предъявляет нам ясных доказательств эволюции? Отчего не открывает непрерывную цепь от ныне существующих видов одного и того же семейства до их общего предка? В известной мере, говорит Дарвин, она такие доказательства предъявляет — со временем в связи с новыми открытиями ей предстояло предъявить их еще больше, — но ученые должны признать, что геологическая летопись чрезвычайно отрывочна и разрозненна. Органические останки, не успев еще внедриться в песок или галечник, обычно разлагаются и исчезают. Сохраняются лишь те, что оседают на дно мелкого водоема, которое по мере накопления осадка медленно опускается. При таком редком стечении обстоятельств действительно могут образоваться глубокие пласты отложений, богатых ископаемыми останками, однако впоследствии может случиться, что они столь же медленно поднимутся вновь и будут размыты. Так, палеонтологические формации большой важности, найденные в Англии, полностью отсутствуют в России и Северной Америке.

Неудивительно, таким образом, что геологическая летопись часто безмолвствует. Удивительно другое: что несвязные свидетельства ее на первый взгляд определенно говорят не в пользу сторонников эволюции. Отчего в какой-то формации откуда ни возьмись появляются новые виды? Отчего во всем мире очень схожие и близкородственные виды появляются в одних и тех же формациях и, стало быть, приблизительно в одну и ту же эпоху? Ответ, говорит Дарвин, таков: новый вид развивается на ограниченной, быть может, изолированной территории, а уж затем сравнительно быстро распространяется за счет своих отставших в развитии соперников. Геологическая же летопись предпочтительно сохраняет не обособленную первоначальную картину, а вездесущий fait accompli[90].

Две главы, посвященные географическому распространению, — великолепное свидетельство мощи ума Дарвина, его способности выводить из хаоса фактов обоснованный и доступный пониманию мир закономерностей. Распространение растений и животных на земном шаре он

объясняет, исходя из существования естественных преград и общности происхождения. Для сухопутных животных великой преградой являются водные пространства между Старым и Новым Светом. Для морских есть две основные преграды: между восточным и западным побережьем Тихого океана и между восточным и западным побережьем Американского материка. Многие виды, обитающие в воде по ту и другую сторону Панамского перешейка, родственны друг другу, потому что возникли и распространились до того, как перешеек разделил их незыблемой преградой.

Ни в главных, ни во второстепенных вопросах расселения автор не прибегает к красивым, но маловероятным домыслам об исчезнувших континентах. Океаны и материки Дарвин рассматривал с надежных позиций здравого смысла, исходя из предположения, что они были такими же, как теперь. Ища объяснений, он обращался к данным о прошлом и настоящем, исследуя с хитроумием заправского детектива множество случайных возможностей для переселения, и среди них — некоторые из самых гениальных изобретений природы в духе «ешь сам, а тебя съест другой». Так, например, семена может проглотить пресноводная рыба, она доставит их на побережье, там сама станет добычей морской птицы, которая перенесет их через океан и, наконец, выкинет в экскрементах на другом континенте. Семена могут переплывать моря на айсбергах, на древесных стволах, в комочках грязи, приставших к ногам перелетных птиц, или в останках птиц, чудом не тронутых рыбами. Бывает и так, что семена месяцами плавают в морской воде, не теряя способности к прорастанию. Одним из первых Дарвин дал объяснение и близкому сходству во всем мире островков высокогорной альпийской растительности, считая это сходство следствием всеобщей миграции растений из арктических областей во время ледниковых периодов.

Глава четырнадцатая посвящена проблемам классификации в растительном и животном царстве. Принцип общности происхождения вместе с сопутствующими ему понятиями расхождения и вымирания в процессе естественного отбора объясняет сходство эмбрионального развития и рудиментарных органов у животных и растений. С другой стороны, сходство по аналогии следует в первую очередь объяснять воздействием окружающей среды. Это сходство, порожденное тем, что организмы, не связанные тесным родством, одинаково приспосабливаются к внешним условиям. Рыба и кит не такие уж близкие родственники, однако в сравнительно недавнем прошлом оба приспособились к среде аналогичным образом. Несходство в

поведении родственных личинок также следует выводить из окружающих условий. Конечно, как и всякий зародыш, личинка — это как бы летопись исторического развития; но, чтобы добыть себе пропитание и воду и принимать участие в ходе этого самого развития, «летописям» приходится становиться на ножки и отправляться в путь-дорогу. Так у них возникают различия там, где естественно было бы ожидать сходство.

Заключение представляет собой любопытный образчик истинно викторианского сочетания осторожных утверждений и пламенной убежденности, глубокой искренности в науке и дипломатического расшаркивания перед религией[91], трезвого реализма по отношению к страшным фактам, существующим в природе, и туманного оптимизма перед грозным ликом неведомого. Дарвин еще раз заявляет, что твердо уверен в правильности своих теорий и предсказывает, что они еще принесут обильные плоды во многих областях знания. Он заключает:

«Таким образом, из борьбы, которая бушует в природе, из голода, из смертей прямо следует самый высокий итог, какой только можно себе представить, — образование высших животных. Сколько величия в этой картине: вот жизнь с ее различными проявлениями, которую творец первоначально вдохнул лишь в одну или немногие формы, — и вот, пока наша планета вращается согласно неизменному закону тяготения, из столь нехитрого начала возникло, развилось и продолжает развиваться бесчисленное множество самых прекрасных и изумительных форм».

Лейбниц, замечает Дарвин, осудил в свое время Ньютоновы «Начала» как угрозу для религии. Теперь такое осуждение стало анахронизмом. Дарвин хочет сказать, что подобного рода нападки на «Происхождение» тоже станут когда-нибудь анахронизмом. Что же, это справедливо. Обезьяний процесс в Теннесси сегодня был бы воспринят как анахронизм даже в самом Теннесси, но не оттого, что Дарвин признан оплотом религии.

Пожалуй, в смысле влияния на религию они с Ньютоном примерно равнозначны. Закон тяготения относится к механике и — поскольку в конечном счете философы не могут удержаться от сравнений — означает, что вселенная есть механизм. Закон эволюции касается живых существ и, соответственно, означает, что вселенная есть организм. Тут пока что преимущество, пожалуй, на стороне Дарвина: живая вселенная в большей степени, чем неживая, предполагает теплоту, родство, общность — проще говоря, божество. Но, с другой стороны, где есть механизм, там требуется и механик, в то время как организму,

казалось бы, не требуется ничего, кроме пищи и воды. Механизм может быть совершенным, меж тем как эволюции необходимо быть несовершенной, дабы во исполнение людских надежд идти вперед к совершенству; а мир Дарвина как раз изобилует лишь подобиями совершенной приспособляемости, а то и вообще невообразимо нелепыми сочетаниями вроде змей с бесполезными лапками, насекомых со сросшимися крылышками, птиц, не умеющих летать, млекопитающих, которые не умеют ходить. Наконец, дарвиновское истолкование эволюции механистично, но в нем отсутствуют почтительные намеки на существование творца, создавшего этот механизм. Естественный отбор представляет собой не гармонию, но столкновение и борьбу, и совершается не по математически точным расчетам некой невидимой силы, но, как нетрудно убедиться, путем грубого и произвольного отбора изменений, осуществляемого внешней средой. Дарвин обосновал романтическую концепцию Шеллинга[92] о природе как едином организме, и, как казалось многим, обосновал ее атеистически, в понятиях слепых случайностей и нетелеологического механизма.

Сам Шеллинг отмечал, что романтическая и несовершенная природа может быть творением Высшего Разума, пусть несовершенного и самодостаточного, но внутренне обусловленного и эволюционирующего. Однако многие, кто с легкостью уверовал бы в эволюционирующее божество, не могли поверить в бога, промышляющего случайной изменчивостью. Принять вселенную, подвластную эволюции, — да, охотно: но не такую, которая складывается наобум, словно игральные кости, брошенные небрежной рукой. По мере того как столетие шло на ущерб, дарвинизм вел себя в метафизике так же, как некогда вел себя в политике либерализм. Людей поражали не столько успехи биологического развития, сколько его несообразность, его издержки, бесцельные траты, борьба, страдания. «Передовые» мыслители либо становились агностиками, либо подобно Батлеру и Шоу приходили к признанию эволюционирующего божества, замешенного скорей не на Дарвине, а на Ламарке.

Сходство в судьбах либерализма и теории естественного отбора знаменательно. Предмет Дарвина был столь же английским, как его метод. История обитающих на земле существ получалась до странного похожей на историю викторианского общества, взятую крупным планом. Бертран Рассел, да и другие отмечали, что теория Дарвина — это «распространение принципа „laissez faire“[93] в экономике на животный и растительный мир». Кстати сказать, таким понятиям экономики, как полезность, давление народонаселения, предельная, рождаемость,

таможенные барьеры, разделение труда, прогресс и регулирующая роль конкуренции, усовершенствования в технике, — всем им можно найти соответствие в «Происхождении видов». Но не только им, а также и некоторым из основ английского политического консерватизма. Выявляя значение времени и наследственности, подчеркивая стойкость рудиментарных структур, постепенность изменений и медлительность эволюции, Дарвин дополнял теории Бентама[94] и Адама Смита на основе воззрений Гукера и Берка[95]. Строению вселенной оказались свойственны многие достоинства английской конституции.

С научной точки зрения работа Дарвина наиболее придирчивым критикам всегда представлялась не такой замечательной, как работа Ньютона, — гораздо менее точной, полной и убедительной. Несмотря на всю приверженность Дарвина к фактам, его иногда считают не более как отвлеченным созерцателем. Он строит свои доказательства, опираясь на пробелы в геологической летописи, а убеждает всяческими «я твердо верю» и «сколько можно судить после длительного знакомства с предметом». Объясняет он нечетко и вообще слишком много объясняет. В его теории слишком много случайного и в то же время окончательного. Он как бы объясняет не только, какие у кошки когти, но и зачем они ей, а это *«зачем»* сводится к тому, что они просто-напросто подспорье в борьбе за существование. Даже выбор слов у него наводит на мысль о том, что естественные причины, борьба за существование и кошачьи когти есть сами по себе телеологические истины в последней инстанции.

Частично подобное возражение объясняется тем, что теория Дарвина просто не доставляет такого эстетического удовлетворения, как теория Ньютона, что она не так красива. Ей недостает изящной точности математического решения. Она — прозаическая действительность науки, а не поэтическая ее истина. Впрочем, биологические обобщения по большей части и являются прозаической действительностью — они не так определенны, не так всеобъемлющи, как обобщения физики и химии. Во всяком случае, естественному отбору по сей день не подобрали более изящной замены. Дарвин, как выяснилось, был лишь поверхностно нечеток, а по существу, поразительно прав. Палеонтологи за это время узнали несравненно больше о биологическом прошлом, чем было известно ему. Они обнаружили в горных породах радиоактивные хронометры и получили куда более правильное представление о геологическом времени. Они подсчитали продолжительность жизни и

сравнительную численность вымерших родов и видов. Они вывели заключение относительно «скорости» эволюции, проследив, например, развитие такого крупного класса, как пресмыкающиеся, — от темных его истоков через «взрывы» адаптивной деятельности (иными словами, через периоды относительной устойчивости, сопровождаемые усиленной специализацией одних видов и устранением других, менее приспособленных) до быстрого упадка в борьбе с новыми соперниками. Некоторые из этих открытий Дарвин в общих чертах предвидел. В целом его ссылки на исследования будущего оправдались. Потомки обосновали его утверждения.

Больше того, «простенькие» его толкования не обесценились, в них лишь немного сместился центр тяжести и бесконечно усложнилась их подоплека. За изменчивостью разверзлись глубины менделизма[96]; за естественным отбором протянулись бескрайние лабиринты видообразования и дифференцированного воспроизведения.

По мнению Джулиана Гексли, настойчивость, с какой Дарвин подчеркивал значение мелких изменений, оказалась совершенно основательной. Многие ученые, включая деда Джулиана Гексли, считали, что такого рода изменения, пусть они даже полезны, могут затеряться в общей массе и исчезнуть.

Представляя себе наследственность не в виде сочетания (ср. разноцветные шарики), а скорей в виде смешения (ср. окрашенные жидкости), Дарвин очень серьезно столкнулся с этой проблемой утери полезных изменений. Он пытался найти выход из положения, допустив, что приобретенные признаки в известной мере наследуются и изменение внешних условий заставляет полезные признаки, выявляться чаще. Более чем через полвека после смерти Дарвина эти затруднения разрешил Р. Э. Фишер[97], когда, применяя принципы менделизма, выяснил, что мутантные гены могут неопределенное время храниться про запас, пока не окажутся полезными.

Исследование естественного отбора — это пример того, как верно может комар составить суждение о шкуре слона. Главная ошибка Дарвина состоит в мальтузианстве, которое делает столь безрадостной викторианскую экономику. Он отводит слишком большую и положительную роль смерти и истреблению, а также — в общем ходе самой эволюции — давлению населения. «Ихтиозавры вымерли за миллионы лет до того, как возникли морские свиньи и дельфины, — говорит профессор Джордж Г. Симпсон, — и все это время возможности для приспособления в этой зоне попросту не использовались». Современные ученые рассматривают естественный отбор не как один тонкий фильтр,

но как запутанную систему достаточно крупноячеистых сит. Он ежедневно и ежечасно подвергает тщательной проверке отдельные особи и устраняет непригодные, но он может также допускать, чтобы тысячами умерщвлялись и потенциально жизнестойкие особи. Это не столько эффектная борьба за существование, сколько прозаическое соревнование в разносторонней жизнеспособности. Побежденными оказываются не только те, чье потомство вообще не выживает, но и те, у кого оно оказывается малочисленным. Естественный отбор определяется совокупностью органических и неорганических условий, интенсивностью и характером борьбы, численностью, составом и устойчивостью популяции, а кроме того, строением генов, способом воспроизведения, особенностями роста и физиологией отдельных особей. Короче говоря, эволюция жизни определяется как сложной борьбой на широких просторах внешнего мира, так и беспорядочной игрой на крохотных шахматных полях мира внутреннего.

8
СМЯТЕНИЕ В УМАХ ОТЕЧЕСТВА

Небывалый шквал насмешек, издевок, ненависти, восторга, профессиональной зависти бушевал вокруг «Происхождения видов», а Дарвин был далеко, в сонной глуши Илкли, на лечебных водах. Он не откликнулся ни единым словом, да и не в его обычае было отвечать на удары. С течением лет кротость его стала легендарной. Светлоокий, сказочно пышнобородый мудрец, осененный покоем всеведения, исполненный непостижимой отрешенности, — это миф, подсказанный словоохотливому веку романтической кистью портретиста да затянувшимся молчанием газет. Даже после смерти Дарвина иные из его биографов, не считаясь с такими свидетельствами, как изданные письма, упорно воссоздавали его облик по преданиям и по содеянному. «У великого мыслителя, — пишет Дж. Т. Беттани, — заботливого главы семейства, отягощенного бременем новых дум и наблюдений и постоянным совершенствованием своего заветного труда, не было ни досуга для полемики, ни склонности к ней». К полемике, пожалуй, не было, зато почти ко всем иным видам противоборства — была.

Дарвин отличался и большой чувствительностью, и изрядным интересом к мнениям других. Похвала его окрыляла, хула повергала в сомнение и подавленность либо обрекала на муки негодования и бессонницы. Образность языка выдает силу его чувства. Так, когда один из ученых собратьев бросил его на растерзание богословам, он шутливо пожалел себя, изливаясь Гукеру: «Нет, сам он ни в коем случае не предаст меня сожжению, он только приготовит дрова и научит черных псов, как меня

поймать».

Превыше всего Дарвин был человек увлеченный — спортсмен, человеколюб, собиратель редкостных и удивительных жуков. Одним из увлечений его были факты; страсть к фактам, побуждая к действию могучий ум и неугомонную настойчивость, переросла в страсть к истине. Об отрешенности Дарвина можно скорей говорить, имея в виду его профессию, а не его темперамент. Сэмюэл Батлер был в какой-то мере прав, характеризуя его. Гораздо более прямой и открытый по натуре, Дарвин тем не менее действительно походил на Гладстона, сочетая в себе довольно-таки изощренный эгоизм и относительную невзыскательность. Ни Дарвин, ни Гладстон, какими мы их знаем, не были хладнокровными наблюдателями, которые видят все со стороны и ничего не прощают. Сущность Дарвина больше определяется самозабвенной преданностью, а не отрешенностью, теплотой, а не холодным прозрением.

По правде говоря, он уже не один месяц думал о том, как будет принята его книга. Он видел перед собой пример Ляйелла. Подобно Ляйеллу, он избегал прямой полемики и в своих высказываниях был верен английскому искусству сдержанности и корректности. Однако его книга в отличие от книги Ляйелла была потрясением основ. У него были причины опасаться самого решительного противодействия. В целом его борьба имела гораздо более личный характер, проводилась и тщательней и искусней — любопытное сочетание хладнокровного обдумывания и невольных уловок. Он заранее решил, что его труду ничто не угрожает, если удастся привлечь на свою сторону трех судей: Ляйелла, Гукера и Гексли. Трудно было сделать более точный выбор. И не в том дело, что это, как часто утверждают, были три величайших авторитета, каждый в своей области, связанной с проблемой видов (любому из них не уступил бы в известности тот же Оуэн), а в том, что это были люди гуманные, честные и дальновидные — прирожденные вожди, способные, однажды поверив во что-то, обратить в свою веру и других. К ноябрю 1859 года Дарвин сумел убедить Гукера и заставил Ляйелла сделать большой шаг на его коротком пути к эволюции. Это были победы не только научного, но и личного порядка. Нельзя забывать, что Дарвин был человек большого обаяния, с удивительной способностью увлекать других собственными делами и идеями.

Оставался Гексли. Случай был, надо сказать, тонкий. Дарвин понимал, как умен, ловок и бесстрашен этот молодой человек. Такой может быть опасным врагом, но еще более опасным союзником.

Каково было в то время его отношение к вопросу о видах?

Трудно объяснить, отчего не все даровитые ученые стали к середине XIX века приверженцами эволюции; трудней, чем сказать, отчего несколько ученых стали ее приверженцами. Конечно, никому не хочется признать, что ледник движется, пока он сам не может показать наглядно, как это происходит. Но почему Гексли, с его огромными познаниями, его быстрым прозорливым умом, дерзкой мыслью и презрением к традициям, — почему он не занялся этой великой проблемой? Самый блестящий из его трудов был нацелен прямо на нее. Он ведь тоже читал и Ламарка, и Чеймберса, и Ляйелла. На самом деле позиция его была характерна. Он отказался от своей веры в божественное сотворение мира, но эволюцию принять не мог. Обсуждая этот вопрос со Спенсером, он настаивал, что нет достаточных доказательств эволюции. Ни одна теория не может удовлетворительно объяснить все явления. А потому он до поры до времени укрылся в tätige Skepsis[98], по Гёте, и ждал, как будут разворачиваться события, но с таким чувством, что, может быть, в конце концов истина окажется все же в эволюции.

Эта неопределенность и раздвоенность во взглядах живо ощущается в неопубликованном его письме, написанном 25 июня 1853 года сэру Чарлзу Ляйеллу. «Наличие строгих и определенных границ между видами, родами и более крупными группами, — пишет он, — в моем представлении вполне вяжется с теорией трансмутаций. Иными словами, я полагаю, что *превращения* могут совершаться без *переходов*». Дальше он поясняет, что имеет в виду аналогию с химическими соединениями, которые внезапно и существенно меняют свойства, когда прибавляется или отнимается один-единственный атом. Вслед за этим он переходит к дотошному рассмотрению данных и, не обнаружив в них убедительных доказательств, ставит вопрос, имеющий самое прямое отношение как к эволюции, так и вообще к позиции ученого в науке: «Сколько понадобилось бы Вам доказательств, чтобы поверить, что было время, когда камни падали снизу вверх?..»

«А между тем, — продолжает он, — эта трудность ничто в сравнении с теми, которые нужно побороть, чтобы поверить, что сложные, живые существа сами себя создали (ибо именно к этому на языке науки сводится творческий акт) из неорганической материи».

Его заключение дальновидно и вместе с тем осторожно.

«Я никоим образом не предполагаю ни что гипотеза о трансмутации доказана, ни что-либо иное в этом духе, — но я рассматриваю ее как могучее орудие исследования… Надо только довериться ей, а она уж выведет нас куда-нибудь, меж тем как

другая точка зрения ничем не отличается от перепевов на тему последних причин…

Я хотел бы также настойчиво обратить Ваше внимание на то, что это крайне важный шаг в развитии униформизма, и, сделав его, мы пришли бы гармонии между палеонтологией и геологией земной поверхности».

Так отчего же Гексли сам не последовал собственным превосходным советам? Очевидно, он был вовсе не так благожелательно настроен к эволюции, как ему казалось. Он чрезвычайно враждебно отнёсся к чеймберсовским «Следам естественной истории творения», написал на них единственный отзыв, который сам признал слишком резким, а «Начала» Ляйелла, несмотря на только что приведенное здесь письмо, по-видимому, не произвели на него особого впечатления, хотя последовательные изменения в геологии показаны в этой книге с тем вниманием к фактам и тем здравомыслием, какими он в особенности восхищался. Перечитывая «Начала» почти тридцать лет спустя, Гексли поразился, обнаружив, до чего все в них наводит на мысль о дарвинизме. Когда человек недюжинных способностей не замечает очевидного, это обычно имеет глубокие корни. Ярым противником эволюции был его учитель Джонс, оказавший на него такое влияние в молодые годы. Тот же Джонс привил своему юному ученику собственную склонность смотреть на вещи скептически, и у Гексли, с его высокими нравственными устоями, эта склонность переродилась в нечто близкое к духовному аскетизму. С пуританской суровостью противился он обольщениям и соблазнам новых идей, хотя был к ним весьма неравнодушен. Воздерживаться от домыслов, стоять лишь на том, что абсолютно доказано, браться за самые скромные, самые будничные задачи — в этом был не только здравый смысл, но и высокий нравственный идеал. Быть может, не кого иного, как своего друга Гексли, имел в виду Дарвин, когда спустя много лет писал:

«Я не очень подвержен скептицизму — подобное настроение ума, как я склонен судить, вредит успехам науки. Для ученого желательна известная доля скептицизма, дабы избежать напрасной потери времени, но мне нередко встречались люди, которых это удержало от опытов или наблюдений, способных принести косвенную или прямую пользу».

Возможно, дело не только в том, что Гексли холодно относился к идеям широкого масштаба, — ему еще было недосуг ими заняться. Он тратил больше времени на то, чтобы «не отставать от них», нежели на то, чтобы их вынашивать. К тому же он уже столько наслушался споров о видах — и таких

беспочвенных споров, что предмет этот, по его собственным словам, донельзя ему наскучил. Деятельным, знающим людям вроде Гексли нередко скучны назревшие и гигантские проблемы; их должны решать терпеливые, смиренные люди вроде Дарвина.

Возможно также, что идея эволюционных сдвигов, заключающая в себе тенденцию смазывать очертания и разрушать четкие границы, была несозвучна резкой определенности мышления Гексли. Не случайно его так воодушевила идея архетипа в сравнительной анатомии. В сущности, по складу ума в нем было нечто родственное не только Платону, но и мыслителям XVIII века. Это заметно в его пристрастии к Беркли[99]и Юму[100], его пронизанном духом отрицания здравомыслии, его бескровном и малоподвижном рационализме, его обыкновении объяснять явления живой природы аналогиями, почерпнутыми из механики.

История его приобщения к эволюции — это, во всяком случае частично, история его крепнущей дружбы с Дарвином. Никогда, ни в ранние, ни в зрелые годы, он не был простым почитателем чужих доблестей, но всегда оставался независим, всегда настроен критически… Оценивая безжалостным глазом честолюбивого новичка наиболее выдающихся биологов, он в 1851 году писал: «Из Дарвина могло бы получиться нечто значительное, но лишь при хорошем здоровье». Позднее, но тоже в 50-х годах, они сошлись ближе, и Гексли несколько поколебался в своих убеждениях. «Когда на той неделе у Дарвина собрались Гексли, Гукер и Уолластон[101], — писал Ляйелл в 1856 году сэру Чарлзу Бенбери, — они (все четверо) скрестили копья из-за видов и зашли, мне кажется, дальше, чем каждый решился бы по зрелом размышлении».

По-видимому, Дарвин старался не столько просветить, сколько подготовить Гексли. Он понимал, что, если будет слишком откровенно делиться с ним своими идеями, молодой коллега способен затеять вокруг них безудержную полемику, прежде чем можно будет ввести в дело «Происхождение видов» с его броней непробиваемых фактов и тяжелыми орудиями веских доводов. Конечно, 1 июля 1858 года Гексли присутствовал на заседании Линнеевского общества, где были доложены две знаменитые работы, но и тогда волнение его было отчасти поверхностным. «Уоллес дал толчок, и Дарвин, кажется, разошелся не на шутку, — писал он в сентябре Гукеру, — я рад слышать, что мы наконец по-настоящему познакомимся с его взглядами. Предвижу свершение великой революции».

Но если идеи Дарвина не удивили Гексли, книга Дарвина потрясла его до глубины души. Кстати, она поразила даже Ляйелла и Гукера, хотя они-то, можно сказать, наблюдали, как

она создавалась изо дня в день. Мысль об отборе изменений в ходе борьбы за существование была общим местом викторианской философии, едва ли способным показаться блистательной находкой умному человеку в разговоре или кратком обобщении. В «Происхождении» же эта мысль обрела величие благодаря беспредельной изобретательности, мужеству или даже отчаянной отваге, и сверхъестественной целеустремленности, с какой она применяется к огромному количеству фактов и проблем; ибо величие самого Дарвина отчасти в том и состояло, что он — по-своему осторожно, по-своему прозаично — сумел безоговорочно и до конца принять свою участь первооткрывателя. Гексли отложил книгу в сторону со смешанным чувством благоговения и досады.

— Не додуматься до этого — какая же неимоверная глупость с моей стороны! — вскричал он.

А между тем «это» объясняло почти что все. Оно предоставляло ту самую рабочую гипотезу, которой не хватало Гексли. «С тех пор как девять лет тому назад я прочел статьи Карла Бэра[102], — писал он Дарвину, — ни одна работа по естественной истории не производила на меня такого громадного впечатления». С течением лет Дарвин вырос в его глазах еще больше. Вот уже Бэра сменил Гарвей, Коперник, а там и Исаак Ньютон…

Как только у Гексли спала с глаз пелена скептицизма и он покончил с немногими заблуждениями бюффоновского или ламарковского толка, он с обычной для него быстротой схватил сущность новых идей и новых фактов, сразу увидев такие проблемы и такие их следствия, которые вряд ли когда-нибудь приходили в голову самому Дарвину. Даже не прочитав еще «Происхождения», он понял, что теория естественного отбора будет неполной без теории, объясняющей причины изменчивости. Все еще размышляя над «превращениями без переходов», он, как впоследствии де Фриз, почувствовал, что со многими трудностями, такими, скажем, как отсутствие переходных форм, будет легче справиться, если в основу эволюции положить не столько мелкие изменения, сколько крупные и внезапные — короче говоря, мутации. В чем-то предвосхищая Менделя, он видел также, что мутациям, как и вообще явлениям наследственности, можно найти объяснение, исходя из представлений о дискретных единичных факторах. Он осознал и то, к чему Дарвин пришел лишь позднее: эволюция не обязательно подразумевает прогресс; развивая это положение в одной из ранних своих лекций, «О постоянных типах», он до того еще, как «Происхождение» было напечатано, уже ответил на одно

из возможных возражений. С другой стороны, он настойчиво утверждал, что искусственный отбор не доказывает существования отбора естественного. Строго говоря, Дарвин не доказал, что естественный отбор действительно происходит — скорей, что он должен происходить. Великая заслуга его, по мнению Гексли, состояла в том, что он дал простую и удобную рабочую гипотезу для решения важнейших проблем биологической науки, причем такую гипотезу, которая не нарушала ляйелловского принципа униформизма. Беспристрастным наблюдателям следовало подвергнуть ее самому серьезному рассмотрению с позиций «деятельного скепсиса».

Но, несмотря на весь свой скепсис, Гексли быстро развил бурную деятельность. Уже в 1858 году он начал проявлять признаки воинственности, выдавая эволюцию на пробу в лекционных залах и заключая свои письма зловещими постскриптумами. Когда «Происхождение» вышло в свет, он сразу же понял, какая вокруг него разыграется битва. «Надеюсь, — писал он Дарвину, — Вы ни в коем случае не позволите себе негодовать или огорчаться из-за всех наветов и передержек, какие, если я только не ошибаюсь, теперь на Вас посыплются». И в конце письма прибавил: «Я уже точу свои когти и клюв, чтобы быть наготове». За полгода до этого подобное заявление могло встревожить Дарвина не меньше, чем встревожило бы его противников, но теперь, после той травли, которой он подвергся, даже в этом беззлобном человеке закипал гнев.

Да, Англия перезрела как осенний плод, и все-таки к «Происхождению» она была ужасающе неподготовлена. Оно повергло умы отечества в смятение, как призрак Банко — Макбета. «Происхождение» с неизбежностью протягивало нить аналогии от природы к человеку и сделалось своего рода антибиблией. И подобно тому как библия столько лет считалась трактатом по биологии и геологии, так «Происхождение» сделалось трактатом религиозным и этическим, а со временем также политическим и социологическим. Сами ученые не знали, как на него отвечать — то ли с позиций науки, то ли с позиций богословия, — и нередко в совершенном неистовстве высказывали самые непоследовательные и противоречивые суждения. Редко случалось научному бесстрастию подвергаться столь суровому испытанию и столь бесславно из него выходить. То вдруг какой-нибудь зоолог объявлял, что готов прочесть эту книгу, но ни за что ей не поверит. То восторженный этнограф кричал, что в ней нельзя изменить ни одного слова, но ни единого нельзя и принять. «Ляйелл, — писал Гукер, —

положительно не в силах от нее оторваться». И однако, тот же Ляйелл жалобно упрашивал Дарвина ввести в книгу хоть самую капельку промысла божьего, хоть «крупицу пророческой благодати». Юэл писал, что эта книга слишком внушительна, чтобы критиковать ее поверхностно, однако не разрешил, чтобы хоть один ее экземпляр хранился в библиотеке оксфордского Тринити-колледжа. Великий математик сэр Джон Гершель[103] был уязвлен не столько безбожием, таящимся в самой основе естественного отбора, сколько мелочной неряшливостью, которая приписывается им матери-природе. «Не закон, а сплошное вкривь да вкось», — грозно изрек он, нагнав страху на оторопевшего Дарвина. Х. К. Уотсон[104]написал Дарвину, что он произвел величайший переворот в биологии XIX века, и в то же время огорчил его, прислав пожелтевший оттиск в подтверждение того, что сам высказывал очень похожие мысли уже много лет назад. Ф. Э. Грей считал, что «Происхождение» — это тот же Ламарк, и ничего больше, и решительно не мог понять, чего ради подняли столько шума.

«Происхождение видов», как уже говорилось, побудило кой-кого из самых маститых ученых удариться в чистейшее богословие, хотя, где тут кончалось религиозное рвение и начиналась профессиональная зависть, подчас определить нелегко. Многие возражения происходили от неверного представления о том, что такое теоретический метод. Естественный отбор нельзя увидеть в действии. А раз так, он-де не более как пустое измышление. Впрочем, в более специфическом смысле камнем преткновения был сам естественный отбор. Казалось, что он подменяет разумный порядок и целесообразность в природе случайностью или, как представлялось некоторым, чисто механическим процессом. Строго ограничив свои богословские суждения рамками примечаний, Гершель в своей «Физической географии Земли» заявил, что ему лично нисколько не претит мысль о том, что посредством научных законов вселенский разум объективно и безлико творит свое дело. Но ни вселенский разум, ни такое осмысленное устройство, каким является органический мир, никоим образом нельзя рассматривать как порождение случая. Да, естественный отбор — остроумная гипотеза, но, разумеется, к ней нельзя относиться серьезно. В ней упущен изначальный и решающий фактор. Американец Аза Грей, горячий и искренний дарвинист, придерживался того взгляда, что естественный отбор вовсе не означает господства случайности, а, напротив, есть воплощение слепой необходимости, совершенно несовместимой с теизмом, если только не считать, что сами изменения протекают

по предначертанному руслу.

Дарвин в своих письмах парировал эти нападки с величайшим терпением, показав, между прочим, что, когда того требуют обстоятельства, он не отступит и перед метафизикой. Естественный отбор нельзя увидеть в действии? Конечно. Закон тяготения тоже нельзя. Его выводят из результатов. Досталось от Дарвина и астроному Гершелю, которому понадобилось так много промысла божьего в биологии и так мало в астрономии. Впрочем, Гершель вообще брюзга. Когда Аза Грей с надеждой заговорил о том, не могут ли изменения направляться кем-то стоящим над миром, Дарвин был само сочувствие, сама готовность понять. Но что поделаешь, когда очевидно, что чем больше в изменчивости божественного промысла, тем менее правдоподобен естественный отбор. Мало того, изучение домашних животных убедило его, что изменения совершаются без всякого предначертания свыше. Ну какой интерес богу потакать людям в такой блажи, как выведение голубя-дутыша или голубя-турмана? Когда нужно было отстоять целостность собственных принципов, Дарвин не медлил, но и не спешил углубляться в область богословия. Он был очень рад, если кто-нибудь из лиц духовного звания подтверждал теизм его книги, но сам не склонен был этого делать.

В эпоху, когда о религии толковал каждый, когда атеисты не уступали в догматизме церковникам, а агностики писали толстые труды о своем неведении, Дарвин до конца дней не изменял тактичной и благоразумной сдержанности. Он боялся оскорбить сокровенные чувства верующих и считал, что его религиозные взгляды — это его личное дело, как для других викторианцев — их собственность. Когда на него слишком уж наседали, он нервно ссылался на то, что слишком нездоров, слишком занят, слишком стар, наконец, чтобы размышлять о религиозных вопросах, или отговаривался тем, что это не его область, что он над такими вещами глубоко не задумывался и ничего достойного внимания сказать не может. Но, понятное дело, когда столько людей вокруг него так много об этом говорили, он не мог не задумываться на сей счет хотя бы чуточку, а может быть, и очень основательно. Под конец жизни он высказался откровенно в «Автобиографии».

Как обычно, он рассматривал предмет исследования — в данном случае самого себя — в развитии. Его религия истаяла перед лицом науки; это была борьба «на выдержку», такая постепенная, что он, по собственным словам, «даже не огорчился», когда все было кончено, и вряд ли заметил, что гром уже прогремел. Вскоре после возвращения в Англию, все еще колеблясь меж эволюционной и богословской биологией, он обнаружил — и, несомненно, с изумлением, — что стал

совершенным скептиком в отношении апокалипсиса. Его представления о прогрессе, об эволюции — и как следствие его гуманизм — сыграли тут решающую роль. Он увидел, что священные книги и мифология составляют непременную часть эволюции каждого народа. «Ветхому завету можно доверять не более, чем священным книгам индусов», не только оттого, что «мировая история в нем явно искажена», но и оттого, что «бог наделен чувствами мстительного тирана». Он отвергал христианские чудеса, потому что они были слишком похожи на чудеса в преданиях других народов, основывались на сомнительных и противоречивых свидетельствах и шли вразрез с униформизмом, усвоенным им от Ляйелла. Он отрицал также божественность Иисуса и сомневался в превосходстве христианской этики. «Прекрасна мораль Нового завета, и все же едва ли можно отрицать, что совершенство ее до известной степени связано с тем толкованием, какое мы ныне даем метафорам и аллегориям». Определенно, Дарвин до мозга костей проникся духом прогресса. Френсису Гальтону[105] в письме, не помеченном датой (но, очевидно, относящемся к 1879 году), он писал: «От общепринятых религиозных верований я отказался почти самостоятельно, в результате собственных размышлений».

Еще много лет потом он как бы в силу привычки держался расплывчатого теизма. Однако естественный отбор довершил то, что было начато эволюцией. Вопрос стоял таким образом, что надо было сделать выбор между случайностью и предначертанием, точней, между методом естественного отбора, с одной стороны, и его результатами — с другой. Если делать упор на том, что достигнуто, вселенная — физическая, эстетическая и нравственная колыбель человека — предстанет перед нами столь стройной и изумительной, что нельзя не усмотреть в ней творение разума, подобного нашему. Если же делать упор на случайных изменениях и борьбе за существование, тогда она представится нам не слишком счастливым итогом определенного стечения обстоятельств. Но ведь ясно, рассуждал Дарвин, что метод наложил свой темный отпечаток на достигнутое. И потому так же ясно, что вселенная не может быть осуществлением чьего бы то ни было замысла, если, конечно, не допустить, что жук-пилильщик задуман нарочно и исключительно затем, чтобы пожирать живых личинок, а кишечный глист — для того, чтобы селиться в кишечнике своей жертвы. Под конец Дарвин ставит неизбежный для гуманиста вопрос: чего больше в мире — страданий или счастья? И придумывает оптимистический ответ. В борьбе за существование приятное всегда побудительная сила и путеводная звезда успеха, меж тем как неприятности — а они

сами по себе в ограниченных дозах небесполезны, — оказывают вредное, угнетающее действие, если испытывать их слишком долго. Следовательно, в ходе естественного отбора предпочтение отдается приятному. Однако себя он не убедил. Частных случаев неуспеха встречается бесконечно больше, чем частных случаев успеха. В сущности, если под неуспехом разуметь смерть, он всеобъемлющ. В конечном счете Дарвин всякий раз возвращался к «страданиям миллионов животных на протяжении почти нескончаемого времени».

И опять-таки ни законы природы, ни наличие у человека подсознания не указывают на непременное присутствие вселенского разума. Закон тяготения действует и на Луне, однако безжизненная пустыня не есть свидетельство существования животворящего промысла. Дикари, как показал Тэйлор, твердо держатся самых немыслимых суеверий, однако их верования не есть свидетельство существования этого немыслимого мира. Точно так же верования цивилизованного человека не доказывают существования мира, созданного кем-то ему на благо.

По-видимому, Дарвин сознавал и то, что привычный религиозный идеал, поколебленный в качестве духовной догмы, способен вновь утвердиться в качестве догмы мирской. Рассудив, что запасы солнечной энергии ограничены и постоянно расходуются, лорд Кельвин, точно некий страховой оценщик в масштабе мироздания, начал в 60-х годах подсчитывать вероятную продолжительность жизни Солнца. Когда-нибудь Земля станет холодна и мертва, как Луна. «Подумать только, — восклицает Дарвин в одном из писем 1865 года, — столько миллионов лет развития, столько прекрасных, просвещенных людей на каждом континенте, — и вот чем все кончится, и не будет нового начала, пока опять наша солнечная система не обратится в раскаленный газ». Выразив те же чувства в «Автобиографии», он заключает: «Тем, кто в полной мере признает бессмертие человеческой души, гибель нашего мира покажется не такой ужасной».

Серьезных попыток разрешить дилемму «предопределение или случайность» Дарвин не делал. Как знать, не существуют ли иные возможности, которые ум человеческий — сам-то в лучшем случае лишь несколько усовершенствованная разновидность мыслительных способностей менее высокоорганизованных животных — охватить не в состоянии. Человек волен строить догадки о разуме создателя, но с таким же успехом, как собака — о разуме человека. По сути дела, конечно, Чарлз никогда не ощущал сильной потребности веровать. У него в отличие от Ньюмена вера никогда не была итогом обдуманного выбора. Он

не выбирал, он эволюционировал. Пожалуй, первым шагом к неверию было для него религиозное образование, полученное в Кембридже. Пейли открыл ему, как радостно постигать сущность явлений материального мира, и научил его, что право судить должно основываться на разумных доводах и фактах действительности. От предопределения, таким образом, он пришел к фактам и очень скоро стал чувствовать себя куда свободней с фактами, чем с господом богом кембриджских богословов. Когда же требовалось пускаться в рассуждения о таких предметах, как конечное и бесконечное, свобода воли и необходимость, материя и дух, Чарлз быстро приходил к «безнадежной неразберихе». Неспособность разбираться в отвлеченных материях сделала из него человека новой эпохи. Действительность была для него процессом, который непрерывно производит все более высокие ценности во вселенной, со всех сторон окруженной гигантскими вопросительными знаками. Какое-то время, быть может, ему было не совсем по себе от этих вопросительных знаков, они вечно маячили перед глазами, но он сосредоточил все свое внимание на работе, и постепенно вопросительные знаки отступили в благодетельный и полезный для дела туман. Медленно, почти безболезненно Чарлз превратился в агностика.

Вот какие взгляды со множеством изъявлений замешательства и огорчения поведал Дарвин в подробных письмах Аза Грею.

Один Грей способен был выжать из Дарвина столько богословских рассуждений. «Не делайте поспешных выводов насчет Аза Грея, — говорил Дарвин Ляйеллу. — Кажется, это один из самых-самых мыслящих и толковых авторов, каких я читал. Мою книгу он знает не хуже меня самого». «Очень сложная натура, — писал он в другой раз. — Юрист, поэт, естественник и богослов, все вместе».

Грей был превосходно оснащен для того, чтобы возглавить крестовый поход во имя эволюции в Соединенных Штатах. Крупнейший ботаник Америки, он с готовностью поддерживал обширнейшую переписку и среди младшего поколения американских ученых пользовался беспримерным авторитетом. Плодовитый автор живых, интересных учебников, он был одной из самых видных фигур в области всеобщего образования. Профессор Гарварда, человек обаятельный и непосредственный, с добрым, живым лицом, он оказывал огромное влияние на духовную жизнь важнейшего культурного центра в Америке. Ведущий ученый с серьезным и очень личным отношением к религии, он внушал доверие той части американских либералов,

которая придерживалась оптимистической убежденности, что наука и религия могут прийти к полюбовному согласию. Человек высоких идеалов, изучавший цветы с героической самоотверженностью и беззаветным увлечением, какие его соотечественники обыкновенно вкладывали в более прибыльные занятия, он умел хранить величавую беспристрастность, но, однажды составив себе суждение, становился яростным его защитником, а когда по-настоящему пробуждался к действию, был почти как Гексли опасен и ловок в искусстве метать стрелы и расставлять сети полемики. Эволюция дала ему возможность действовать, ибо «Происхождение видов» раскололо Гарвард, как и весь мир, на два лагеря. Последовал ряд захватывающих публичных дискуссий, в ходе которых он одержал убедительную победу над знаменитым геологом Агассисом[106]. Именно в эти годы, сразу же после того как появилось «Происхождение видов», Аза Грей вошел в избранный круг тех, кто пользовался доверенностью Учителя и помогал ему ценными советами.

Дарвин говорил друзьям, что ждет большего не от профессиональных ученых, «которые слишком прочно усвоили, что вид — нечто данное раз и навсегда», а от людей непосвященных, но мыслящих. Что ж, непосвященные и правда проявили интерес: первое издание разошлось в один день.

Газетчики и обозреватели мгновенно ухватились за очевидный вывод: Дарвин превознес слепую случайность, а значит, и божественное провидение. Он подтвердил право сильного, и, стало быть, Наполеон был прав. Он открыл бескрайние перспективы прогресса, основанного на демократическом принципе плодотворной конкуренции.

Среди духовенства нашлись либералы, готовые принять новые идеи. Так, давний сторонник эволюции Кингсли[107], истово убежденный, что она в конечном счете предполагает облагороженное наукой понимание бога, объявил, что но задумается последовать за «коварным, как лис, злодеем-аргументом» в любую топь и чащобу, в какую бы тот его ни завел. Однако подавляющее большинство его собратьев напустилось на «Происхождение» с ярой злобой собственников, состоянию которых грозит непоправимый урон. Истрепанные в спорах ярлыки — «безрассудство», «безбожие», «безумие» — окончательно протерлись до дыр.

Но, пожалуй, самый страшный и болезненный удар нанес человек, который был и священником и ученым. Его нанес бывший учитель Дарвина, профессор геологии преподобный Адам Седжвик, тот самый, кто некогда предсказал ему блестящую

научную будущность. Громя «Происхождение» как публично, в печати, так и в частном письме к автору, приславшему ему экземпляр книги, Седжвик утверждал, что «у природы, помимо физической стороны, есть сторона нравственная, или метафизическая. Тот, кто отрицает это, глубоко погряз в трясине неразумия». Не считаясь с существованием причинности, каковая есть воля божья, Дарвин продемонстрировал лишь обманчивое подобие индукции, которое не может привести к верным заключениям. Естественный отбор — не более как «второстепенное следствие», бутафорская грызня, исход которой предопределен свыше. Полностью опровергнув последние причины, Дарвин обнаружил «безнравственность в подходе к предмету» и сделал все, чтобы довести человечество до такой «глубины падения», какой оно еще не знало. Особенно возмутил Седжвика «торжествующе-уверенный тон» в конце книги, где Дарвин обращается к «грядущему поколению». Впрочем, над другими местами он чуть живот не надорвал от хохота.

Верный себе, Дарвин решил, что письмо Седжвика как-то несуразно написано, вот и все. Чарлз не хуже любого другого способен был видеть конечные последствия той или иной теории; но, вообще говоря, от метафизических идей ему становилось не по себе, а от чуждых ему метафизических идей он попросту заболевал. Мозг его имел полезное свойство отталкивать от себя то, что доставляет неприятность и в то же время не относится прямо к изучаемой проблеме. «Чем больше я думаю, тем больше недоумеваю», — не один постылый душе Дарвина религиозный диспут заканчивается в его письмах этими словами. Лишь обстоятельно обсудив письмо Седжвика с Ляйеллом, он признал, что, «вероятно, оно и в самом деле много определенней, чем я полагал». И несмотря на это, отказался признать справедливость критики. Теперь, когда его теория нашла воплощение в книге и предстала перед миром, он вдруг почувствовал свою кровную связь не только с явной научной ее сутью, но и со скрытым философским подтекстом. Сверхъестественное нарушало изысканную соразмерность его идей. Божество сделалось гносеологической помехой.

Иногда критика носила огорчительно личный характер:

«Вот вам славная шутка: Х. К. Уотсон (который, как я полагаю и надеюсь, будет рецензировать новое издание „Происхождения видов“) говорит, что в первых четырех абзацах введения слова „я“, „мне“ и „мой“ повторяются сорок три раза! Я, кстати сказать, это гнусное обстоятельство смутно ощущал. Уотсон говорит, что его можно объяснить френологически. По-видимому, если выражаться без обиняков, это означает, что такого

самодовольного эгоиста, как я, еще не видывал свет; возможно, так оно и есть. Интересно знать, предаст ли он гласности эту милую подробность; все вводные слова, которые так любит Уолластон, перед нею положительно меркнут.

Искренне Ваш, милый *мой* Гукер,

Ч. Дарвин.

P. S. Эту прелестную шуточку дальше пускать не стоит; она, пожалуй, слишком уж ядовита».

Тем временем он с неослабевающим усердием продолжал нажимать на все пружины. Среди видных ученых Европы и Америки едва ли найдешь такого, кому он не послал в дар свою книгу с письмом. И здесь вполне проявилось его умение обезоруживать тех, кто создан вселять трепет и поучать, умение, может статься, усвоенное им еще с малых лет в попытках умилостивить своего отца. Послания к самым непримиримым начинались словами: «Дорогой мой Фоконер» и кончались так: «Остаюсь, мой дорогой Фоконер, душевно и искренне Ваш — Чарлз Дарвин». А в середине высказывались предположения в таком духе: «Господи, до чего же Вы рассвирепеете, если удосужитесь прочесть мое сочинение, как кровожадно будете мечтать о том, чтобы зажарить меня живьем!» И вслед за тем он прибавлял: «Но если только случится, что оно хоть самую малость Вас поколеблет…» Он был серьезен и почтителен с Агассисом, медоточив с Декандолем. Он ободрял Гукера, подзадоривал Гексли, спорил с Ляйеллом, добивался поправок от Генсло. Он признался Карпентеру[108], как многим обязан его «Сравнительной физиологии», осторожно прощупал его и, убедившись в его благосклонности, уговорил написать о «Происхождении видов» статью. Статья появилась, и в высшей степени лестная, однако до безоговорочного признания дело не дошло. Дарвин остался доволен, но не удержался, чтобы не пожаловаться Ляйеллу: «Он соглашается с тем, что все птицы происходят от одного предка, а все рыбы и пресмыкающиеся, вероятно, от другого. Только последний кусок ему не по зубам. Что у всех позвоночных тоже один прародитель — с этим ему согласиться трудно».

Тем, кто был ему близок и симпатичен, Дарвин рассказывал, как он утомлен и болен; несмелым и сомневающимся ставил в пример тех великих, кто уже перешел на его сторону; несмелым и уважительным внушал, что все осуждения богословов прежде всего падут лишь на него, как на главного зачинщика, и ворчливо подшучивал над безмолвными страданиями женской половины своей родни. Ему непременно хотелось знать от всех, что думают все прочие: «Боюсь, что поколебать Бентама нет надежды. Станет

ли он читать мою книгу? Есть ли она у него? Если нет, я послал бы ему экземпляр». Анонимов он распознавал безошибочно: «Я совершенно уверен… что статья в „Анналах“ принадлежит Уолластону; больше никто на свете не стал бы пускать в ход такое количество вводных слов». Об одном ученом, рабе своих постоянных и упорных сомнений, он пишет: «Этот человек… попадет в тот круг ада, который, по словам Данте, предназначен для тех, кто ни с богом, ни с чертом».

Ляйелл, Гукер и Гексли продолжали оказывать ему неоценимые услуги. Гукер написал свое прекрасное введение к «Flora Tasmaniae»[109] — исповедь, в которой он признается, что уверовал в эволюцию. Ляйелл, сведущий по адвокатской части, давал советы, как лучше выступить в защиту «Происхождения», объявил о своем единомыслии с его автором и стал подумывать о том, как бы применить опасные новые принципы к такой опасной теме, как человек. Гексли во всем блеске своих талантов принялся торопить историю окончательно признать дарвиновские идеи. Он подкарауливал грозных противников и, ухватив за пуговицу, принимался подавлять их своей эрудицией и находчивостью. Он читал лекции, залпами выпускал искрометные рецензии — особенно выделялась одна: анонимное чудо ясности и меткой фразы, которая вызвала сенсацию в научном мире и привела в неописуемый восторг Дарвина. «Кто бы это мог написать?» — лукаво осведомляется Дарвин у того, кто это написал. Кем бы ни был этот неизвестный, нет сомнений, что он по-настоящему понимает сущность естественного отбора. А кроме того, знает и незаслуженно высоко ценит книгу об усоногих раках. Это «естествоиспытатель до мозга костей», к тому же он цитирует Гёте в оригинале и отличается бесподобным чувством языка. Единственный в Англии человек, способный написать такую статью, — это Гексли, «сослуживший нашему делу огромную службу».

Впрочем, как ни велика была радость Дарвина по поводу статьи, не менее велико было его разочарование по поводу доклада, который Гексли сделал 10 февраля 1860 года в Королевском институте. Со всеми своими болячками и немощами он снарядился в Лондон ради того, чтобы послушать, как естественный отбор будет изложен с силой и четкостью, на которую способен один Гексли. Вместо этого он услышал красивые слова о победоносном шествии истины в науке и его отправной точке — «Происхождении видов». Он слушал и старался убедить себя, что доклад хорош, но потом чувство досады взяло верх. «Право же, обидно было, — писал он Гукеру, — что он тратит время, поясняя понятие о видах на

примере лошади и повторяя старый опыт сэра Дж. Холла с мрамором».

С течением времени, однако, Гексли показал себя как критик, которым может быть доволен даже автор. Надо сказать, что отношение его к «Происхождению видов» было парадоксально. Он не пробовал, подобно Спенсеру, распространить эволюцию на область философии или, подобно Бейджоту, применять идею естественного отбора к другим областям знания. Он направлял главные свои усилия не на то, чтобы расширить биологические исследования Дарвина, хотя и тут он сделал немалый вклад. Он старался добиться другого: ясно определить, что такое в конечном счете этический идеал; утвердиться по отношению к эволюционистам, равно как и к их неприятелям, в роли беспристрастного провозвестника научного метода, объективного глашатая объективности, подвергать Дарвина критике, когда это необходимо, и защищать во всем прочем. Естественно, он видел, что в критике и Дарвин и наука нуждаются не слишком, а вот в защите — весьма. Нельзя возвести объективность в степень образовательной и политической программы, превратить ее в религию, в мерило этики, даже в боевой клич, не принеся при этом известную жертву объективности.

Итак, маститые антидарвинисты понемногу сползали в темные подвалы анахронизма и непригодности, а тем временем со всех сторон, как грибы, вырастали новые поборники света. Самым приметным среди них был молодой немецкий зоолог Эрнст Геккель, чья «чрезвычайно ценная и превосходно написанная монография о радиоляриях» не укрылась от внимания Гексли. Он послал автору сердечное письмо с горячей похвалой и уместным случаю подношением: образцами барбадосских отложений и глубоководного морского ила. Между ними завязалась прочная дружба.

Для успеха дарвинизма за границей дружба Гексли и Геккеля имела такое же значение, как дружба Дарвина и Аза Грея. По складу ума Геккель напоминал одну из тех сверхплотных и легко вспыхивающих звезд, в каких всегда таится угроза взрыва. Постоянно, был риск, что он взлетит и со страшным космическим треском рассыплется светозарными брызгами сразу по всем направлениям: политическому, научному, философскому. Религиозный по природе и по воспитанию, он в бурях 1848 года утратил веру и вместе с ней свой политический консерватизм. Какое-то время он давал выход скоплению взрывоопасной энергии, с блистательным красноречием громя смиренных послушников и верховных жрецов реакции. Это длилось до тех пор, пока дарвинизм не наделил его плодотворной верой и новой

миссией в той области биологии, какой он занимался! На научном конгрессе 1863 года он сильно способствовал продвижению идей эволюции в Германии своим докладом о «Происхождении видов», сопоставив естественный отбор с «естественным» законом прогресса, остановить который «не в силах ни оружие тиранов, ни проклятия священников». Интеллектуальную войну с немецкими врагами эволюции Геккель вел с такою Schrecklichkeit[110], что английские его союзники бледнели от ужаса. По всей видимости, однако, сами они от того не пострадали. Как считает знаток истории дарвинизма в Германии Эрнст Краузе, Геккель «принял на себя… весь огонь ненависти и ожесточения, которые возбудила в известных кругах эволюция», так что «в самом скором времени в Германии пошла мода ругать одного Геккеля, а Дарвина выставлять за образец предусмотрительности и выдержки».

Одна из важных заслуг Гексли состояла в том, что он вывел человека науки на передний край культурной жизни Европы. Борьба между эволюцией и церковью открыла ему блестящие возможности; живым чутьем человека действия Гексли понял, что минута настала, и ринулся в бой. Церковнику, невежественному и предубежденному защитнику устаревших суеверий, он противопоставил ученого, бескорыстного исследователя, который при почти сатанинском безбожии и сверхчеловеческой отрешенности все же, по призванию своему и служению, предан правде в науке, честности на поле боя, а также — поскольку правда есть сила, а честность в понимании XIX века есть сострадание — прогрессу на благо человека в обеих этих областях. Выступая как-то в те дни с докладом в защиту «Происхождения», Гексли страстно осудил идею воли господней как мнимой первопричины всех явлений в природе. Один за другим сметает ее рубежи наступление науки, а она упорно, вопреки рассудку, появляется вйовь и вновь далеко за прежней линией обороны.

«Однако тем, кто, повторяя прекрасные слова Ньютона, проводит жизнь на берегу великого океана истины, подбирая по камешку там и тут; кто день за днем наблюдает медлительное, но неуклонное его течение, несущее в своем лоне тысячи сокровищ, которыми облагораживает и украшает свою жизнь человек, — тем смехотворно было бы, не будь это так печально, видеть, как торжественно восходит на престол очередной халиф на час и повелевает течению остановиться, и угрожает преградить его благотворный путь».

Он говорил о том, какую славную роль может избрать его страна.

«Сыграет ли Англия эту роль? Это зависит от того, как вы, люди Англии, будете обращаться с наукой. Лелейте ее, чтите, неукоснительно и беззаветно следуйте ее методам во всех отраслях человеческих знаний, — и будущее нашего народа превзойдет величием его прошлое. Но внемлите тем, кто желал бы заткнуть ей рот, сломить ее, — и боюсь, что дети наши увидят, как слава Англии, точно король Артур, канет в мглу, и слишком поздно будет тогда вторить горестному причитанию Джиневры:

Мой долг был — полюбить его, великого:
То было бы на благо мне! — но я не знала,
То счастьем было бы моим! — но я не ведала.[111]»

Это говорит подлинный проповедник. И речи его — по крайней мере, у многих — вызывали те же чувства к новой вере и ее священнослужителям, какие рождают речи пастыря в душах прихожан.

Как протекала бы полемика об эволюции, не будь на свете Гексли? Бесспорно, что рано или поздно «Происхождение» точно так же оказало бы глубокое влияние на науку и религию. Бесспорно, что все равно почти так же прославилось бы имя Дарвина. Слово «агностик», наверное, придумал бы Лесли Стивен[112], а популяризаторов природоведения возглавил бы Джон Тиндаль. Но никогда науке не добиться бы такого сиятельного почета среди политиков и деловых людей, не занять такого видного места в учебных программах конца XIX века. Менее стремительной, менее полной и, уж конечно, менее драматичной была бы общая ее победа над старыми устоями. То, что могло бы и обещало стать унылой войной на измор, Гексли обратил в захватывающее сражение. Он породил легенду, героями которой стали он сам и Дарвин, он основал новую жреческую касту и чуть не сделал Англию оплотом науки.

Зачарованно наблюдая, как содрогаются в смятении умы Англии — мирские, научные, церковные, — Чарлз едва не позабыл про собственное страждущее семейство. Мало-помалу до него дошло, что все оно, до последней старой девы, стоит за него. Если бы книгу не удостоили вниманием, родня, пожалуй, ополчилась бы против каждого его кощунственного слова. Ну а при таком обороте дела, как теперь, они хоть и тревожились немножко, но весь свой пыл употребили на то, чтобы в истовой и прочной родовой сплоченности ненавидеть его бессовестных обидчиков. Эразм и тот не остался в стороне от великого похода за торжество «Происхождения» — вплоть до того, что самолично

зондировал доктора Генри Холланда, который в то время как раз приступил к знакомству с книгой. Раньше, чем этот видный медик дошел до того места, где речь идет о глазе, Эразм сам завел с ним разговор на эту тему. Как и все прочие, доктор Холланд дрогнул. Вот как это было:

«…у него захватило дух — нет-нет, совершенно невозможно, а как же строение, а как же функции — и так далее, и так далее, — но, когда он прочел сам, стал хмыкать и бормотать — м-да, пожалуй, отчасти и допустимо, потом выставил как возражение кости уха, которые выходят за всякие рамки постижимого и вероятного».

Что до него самого, признавался Эразм, у него за последнее время нелады с головой. Тем не менее он заявляет, что ничего интереснее «Происхождения» не читал в своей жизни. Может быть, он не ощутил в должной мере «острую нехватку разновидностей», но, с другой стороны, сомнительно, чтобы «палеонтологи могли их различить, если бы, к примеру, все, что есть сейчас живого, стало ископаемым». Лично ему больше по вкусу априорные рассуждения. «А если факты им не соответствуют — что ж, тогда, я считаю, тем хуже для фактов». Он повторил, что книга его поразила. Несмотря на это, он предсказывает: со временем выяснится, что все изложенные в ней идеи уже давным-давно пришли в голову кому-то другому. И еще он предсказывает, что, если его брат будет подольше изучать муравьев, он обнаружит, что у них имеются свои епископы, а не только свои солдаты и рабы. «У муравьев соблюдается предельная экономия, — не без сожаления заметил Чарлз, — усопших собратьев они без лишних церемоний съедают».

Из ближайших членов семьи одна только Эмма внушала ему глубокую озабоченность. Вскоре после их свадьбы она написала ему письмо о религии, в котором изложила викторианскую дилемму не по-викториански смело и четко. «Душевное состояние, — писала она, — которое я хочу сохранить вместе с уважением к тебе, таково: ощущать, что, пока ты действуешь честно и добросовестно, желая и пытаясь познать истину, ты не можешь быть не прав». С другой стороны, она сознавала, что, постоянно поглощенный научными идеями, он может, в конце концов, счесть размышления религиозного свойства напрасной и огорчительной тратой времени. Больше того: «не случится ли так, что неизбежное в научных занятиях обыкновение ничему не верить, пока это не доказано, слишком повлияет на твою душу в отношении к другому, чего нельзя доказать тем же путем и что, если только оно существует, скорей всего недоступно нашему разумению?» Наука Чарлза могла быть ей скучна, но Чарлз-

ученый — никогда. «Не думай, — заключает она, — что это не мое дело и оно не так уж много для меня значит. Все, что касается тебя, касается и меня, и я чувствовала бы себя очень несчастной, если бы не считала, что мы принадлежим друг другу навеки».

По-видимому, она ничем не выдавала своей тревоги из-за неверия Чарлза. Ее письма к детям сжаты и лаконичны, как военные депеши герцога Веллингтонского:

«Даун, Браунли, Кент.

13 ноября 1863 г.

Милый Ленни!

Ты так мелко писать не умеешь, я знаю. Так пишет твое тонкое перышко. Последнее письмо ты написал скучновато, зато совсем без ошибок, а это для меня важнее.

Мы взяли на пробу новую лошадку, очень норовистую, славную и красивую, только что-то слишком уж она дешева. Папе гораздо лучше, чем было, когда приезжал Фрэнк. Для тебя есть марки, Горас говорит, что одна — новая, американская, пятицентовая.

Ну, дружок, до свидания. Твоя Э. Д.

P. S. Принимайся-ка за свое рукоделье».

И все же Эмма отнюдь не оставалась невозмутимой. Дни, когда вышло в свет «Происхождение», дети вспоминают как «холодное и несчастное время». Все семейство лязгало зубами в ледяных, скверных комнатенках Илкли, где Чарлз в полном упадке сил лечился на водах. Но вот хлынули письма от крупных ученых. Родители были в сильном волнении. Вероятно, большинство писем Эмма читала детям, но письма Седжвика, «полного ужаса и поношений», она не показала даже Генриетте.

Пока маститые мужи науки, подав впросак, хмурили над «Происхождением» лбы и скребли в затылках, юные Дарвины с живой, безошибочной, природной сообразительностью смышленых детей все, как один, становились дарвинистами. Горас озадачил отца собственной теорией о гадюках.

«Горас мне вчера говорит:

— Если все начнут убивать гадюк, они тогда не будут так жалиться.

Я отвечаю:

— Ну конечно, их же станет меньше.

А он с досадой возражает:

— Да нет, совсем не то, просто в живых останутся трусишки, которые удерут, а пройдет время, они вообще разучатся жалить.

Естественный отбор трусливых!»

Напряженно следя за полем брани, где, проливая реки

типографской краски, сражались дарвинисты и антидарвинисты, Чарлз жил и другой, очень полной и, в общем, счастливой жизнью, в окружении многочисленной и уже подрастающей семьи. В глазах детей этот Ньютон викторианской эпохи был самым человечным из героев и чуточку потешным. Они рано выведывали его уязвимые места — от разнобоя в показаниях микрометров до неизменной озадаченности перед сложностями немецкого предложения, — и те, что постарше и побойчей, постоянно поражали его то вразумительными переводами, то верными измерениями.

И все же, близкий и смешной, он внушал лишь любовь и восхищение — отчасти, быть может, потому, что не боялся признать за собой и более серьезные слабости. Одной из дочерей он сказал, что, «если бы пришлось прожить жизнь сначала, он взял бы себе за правило ни дня не пропускать, чтоб не прочесть хоть несколько строчек из поэзии». А потом тихо прибавил, что напрасно «оставил свой духовный мир в таком небрежении».

«Как часто, — пишет Френсис, — когда отец стоял за спинкой моего стула, мне, уже взрослому, хотелось, чтобы он погладил меня по голове, как, бывало, в детстве».

Обаятельное сочетание взрослого мужчины с мальчишкой и вдобавок — сказочный кладезь знаний и совершенств, Чарлз не мог не быть кумиром своих детей. Он читал им романы Скотта, объяснял устройство парозых машин, внушал им страсть к редким жукам и почтовым маркам и разделял их щенячьи забавы, как равный, настойчиво стремясь в то же время привить им зрелый взгляд на окружающее.

«Какой же умопомрачительный, головокружительный, страшный, жуткий и ужасный, а также изнурительный бег с препятствиями ты одолел, — писал он Уилли, который только что поступил в школу Регби, — удивительно, что ты пришел пятым». В другом письме, обращаясь к «милому старине Гульельму», он рассказывает про свои встречи с голубятниками в окрестных пивнушках.

«Мистер Брент оказался очень забавным человечком; …после обеда подает мне глиняную трубку и говорит: „Вот вам трубка“, — как будто само собой разумеется, что мне положено курить… В субботу привезу с собой еще больше голубей, ибо это благородная и царственная страсть, и никакие мошки и бабочки с ними в сравнение не идут, и не спорь, пожалуйста».

Чарлз умел из всего сделать событие такое же личное и захватывающее, как голуби и бег с препятствиями. Советуя Уилли, как лучше подготовиться к чтению молитв в часовне, он писал: «В бытность мою секретарем Геологич. общества, мне на

заседаниях приходилось читать членам общества вслух разные бумаги; правда, я всегда их внимательно прочитывал заранее, но все равно на первых порах до того волновался, что, кроме своей бумажки, почему-то вообще ничего вокруг не видел, и было такое чувство, что тела у тебя больше нет, а осталась одна голова».

Позже, когда Уилли поступил в Кембридж и поселился там, где когда-то жил его отец, Чарлз говорил с ним уже как мужчина с мужчиной, тактично и почтительно рассказывая о преподавателях и учебных курсах, мягко посмеиваясь над родительскими нравоучениями вообще и, в частности, над тем, с каким восхитительным благоговением принимают их младшие братья Уилли.

«Вот, кстати, как-то вечером сказал я Фрэнку — он сейчас делает большие успехи по-французски, — что он потом всю жизнь будет говорить себе за это спасибо, а через несколько дней Ленни препарировал что-то под моим микроскопом, обернулся ко мне и очень серьезно спрашивает:

— Ты как думаешь, папа, буду я потом всю жизнь говорить себе за это спасибо?»

Ну и, разумеется, Чарлз по-прежнему наставлял сына. Не забыв собственное праздное житье в Кембридже, он полон щемящего беспокойства за Уилли:

«Я очень надеюсь, что ты будешь верен уже сложившимся привычкам и останешься так же деятелен и трудолюбив: от этого, главным образом, будут зависеть твои успехи в жизни. На сем покончим с наставлениями, а впрочем, есть такой старый добрый обычай: кто платит, тот имеет право проповедовать, ну а поскольку платить придется мне… то я и позволил себе эту проповедь».

Памятуя и о том, что сам был лишен честолюбия отчасти из-за сознания своей обеспеченности, он откровенно объясняет сыну положение вещей: Уилли должен во что бы то ни стало приобрести профессию. «Ты сам понимаешь, когда мое состояние поделят на вас восьмерых, его не хватит на то, чтобы каждый мог жить в достатке и своим домом, и тех, кто не будет работать, ждет бедность (правда, на пропитание им, слава богу, будет хватать всю жизнь)». Письма к Уилли полны рассуждений о деньгах и об умении бережно их расходовать.

Неудивительно, что Чарлзу хотелось видеть Уилли учтивым и хорошо воспитанным. «Добр ты бываешь почти всегда, — писал он, — тебе не хватает лишь того, что достается гораздо легче, — внешней видимости. Верь мне, существует один-единственный способ усвоить хорошие манеры: стараться делать приятное окружающим — твоим товарищам-студентам, слугам — словом,

каждому. Пожалуйста, родной мой мальчик, вспоминай про это иногда, ведь ума и наблюдательности тебе не занимать». Уилли вырос самым очаровательным, но и самым эксцентричным из молодых Дарвинов. Много лет спустя он подтвердил, что отец сам был верен на деле всему, что проповедовал на словах.

«Кому хоть раз посчастливилось сидеть с ним за одним столом… в тесном кругу добрых друзей, а особенно если соседкой его оказывалась милая женщина, — тот не скоро такое забудет. С ним каждый чувствовал себя легко и просто, он болтал, весело смеялся, оживленно поддевал, поддразнивал, но не обидно, а лишь забавно и даже лестно; притом к гостю он всегда относился уважительно и неизменно старался вовлечь нового человека в общий разговор».

Изо дня в день собственным примером Чарлз сообщал другим свой интерес к природе, свою веру в эксперимент, свою любовь к правде. Естественно, все молодые Дарвины увлекались биологией и рвались помогать отцу. Но оттого, что это были его дети, он по скромности зачастую сомневался, по силам ли им справиться с той или иной работой; когда же им все прекрасно удавалось, не мог прийти в себя от изумления и расхваливал их на все лады, а они над ним подтрунивали. Со временем из них вышли по-настоящему дельные помощники, и он во многом на них полагался.

Он никогда не мог уделить им особенно много времени. Понятно, они мешали ему в часы работы, но так умеренно, как редко бывает в доме, где есть дети. И не оттого, что очень уж перед ним робели. Один из них, четырех лет от роду, так ценил в отце товарища по играм, что как-то раз попытался выманить его из кабинета взяткой в шесть пенсов. Его дочь Генриетта писала уже после его смерти: «Помню, какое терпеливое у него было выражение лица, когда он мне однажды сказал:

— Если можно, не входи ко мне больше, а то меня сегодня уже очень много раз отрывали».

По части строгости в воспитании Чарлз не достиг тех высот, до каких поднимались его современники. По мнению родных, дети были «определенно избалованы». Правда, когда было необходимо, он умел вполне правдоподобно изобразить сурового викторианского папашу. В одном из писем к Уилли несколько раз встречается: «Надо, надо задать тебе основательную выволочку». А Ленни вспоминает некий «ужасно строгий» разговор по поводу испачканной курточки. Но такое случалось редко. Влияние Чарлза основывалось на его разительной способности вызывать интерес и сочувствие: дети больше хотели сделать приятное ему, чем себе.

Самое страшное для них было отвлечь его от работы, зайдя за липким пластырем — пластырь хранился в его кабинете. Во-первых, он огорчался, что кто-то из них порезался, но главное — не выносил вида крови. Несомненно, дети из сострадания перенимали отцовскую чувствительность, и она, таким образом, оберегала его от вторжений.

Ну а уж когда он болел, словно темная туча нависала над всем семейством. Дети играли нехотя, притихшие, подавленные. И даже когда он бывал здоров, они иногда как будто чуяли нечто затаенное, что гнездилось глубже всяких болезней. Совсем маленьким Ленни как-то подбежал к отцу, когда тот вышел прогуляться, «сказав два-три ласковых слова», он «отвернулся, словно не в силах больше произнести ни звука. И вдруг меня пронзила уверенность: ему не хочется больше жить». Разумеется, Чарлз старался показать, особенно в разговорах с детьми, что у него счастливая жизнь. Одна только Эмма знала, как он страдает. Во время очередного курса водолечения Чарлз писал своей сестре Сьюзен: «Доктор Галли великодушно разрешил мне на этой неделе шесть понюшек табаку, который и составляет главное мое утешение, не считая мыслей о себе с утра и до вечера, да жалоб (?) Эмме, которая, видит бог, думает обо мне ничуть не меньше, чем я сам».

К болезням в семье относились с обостренным вниманием. «Какое-то сочувственное упоение слышалось в голосах Дарвинов, — вспоминает одна из внучек, — когда, обращаясь к кому-нибудь из нас, детей, они говорили, например:

— Так у тебя, бедная кисонька, *очень* болит горлышко?

Чарлз был такой милый, такой уютный, больной, Эмма — такая неутомимая, любящая нянька, что дети просто не могли устоять против соблазна поболеть. Конечно, положение вдвойне осложнялось их наследственностью. Все дети, кроме Уильяма, проявляли склонность к меланхолии, а Этти, Горас и позже Джордж страдали тем же недугом, что и их отец».

В 1851 году Дарвин потерял свою десятилетнюю дочь Энни. Характерно, что его горе находит себе выражение в образах, подсказанных все тем же даром наблюдательности. Он посвятил ей воспоминания, в которых подробно описывает ее черты и привычки:

«Даже когда она заиграется с двоюродными братьями и сестрами, расшалится, того и жди, напроказничает, одного моего взгляда — не укоризненного (таких ей от меня, слава богу, почти никогда не доставалось), а только не слишком ласкового — довольно было, чтобы она на несколько минут совершенно переменилась в лице».

Нередко во время смертельной болезни девочки ухаживать за ней приходилось ему, и он вспоминает, как неизменно она была бодра духом и благодарна. «Я дал ей воды, и она промолвила:

— Спасибо-преспасибо. — Кажется, это последние бесценные слова, какие были сказаны мне ее милыми устами».

Письмо Эммы, написанное на другой день после смерти дочери, — красноречивое свидетельство того, каковы были отношения супругов: «Я слишком хорошо поняла, что это значит, когда не получила вчера никаких известий… Из-за тоски по нашему утраченному сокровищу я стала нестерпимо бесчувственна к остальным детям, но это ничего, скоро все пройдет. И помни, пожалуйста, что первое мое сокровище — это ты».

Со всех сторон окружали дарвиновский молодняк нежно любящие взрослые. Была тихая Элизабет, незамужняя сестра Эммы, преданная, вечно забывающая о себе ради других. Была тетка Эммы, милейшая Джесси Сисмонди — умница и затейница, которая принимала в детях самое страстное, но требовательное участие, нетерпеливо дожидаясь, когда сможет соединиться на небесах со своим любимым добрым чудаком Сисмонди. А главное, был брат Чарлза, долговязый холостяк Эразм, который по деликатности старался преуменьшить свой рост, как преуменьшал из скромности свои таланты. Он отчаянно баловал всю ораву своих племянников и галантно и возвышенно «влюблялся» в каждую племянницу, как только она подрастала.

Отношения между братьями составляют одну из самых трогательных страниц в биографической литературе. Слегка удивленный всем на свете, а в сущности, не поражающийся ничему, Эразм принял величие брата с возгласами мягкого недоумения и с непоказной гордостью, которая была весьма лестна. Чарлз, со своей стороны, до конца жизни сохранил к Эразму долю того благоговения, с которым относится школьник к старшему брату. В своем «чудесном письме» о религии Эмма угадала, что приход к агностицизму Чарлзу облегчил агностицизм Эразма. Он очень жалел Эразма за то, что тот одинок, и нередко бурчал себе под нос с нежностью: «Бедняга ты, милый старый Филос». «Филос» было школьное прозвище Эразма.

«Происхождение» между тем властно требовало все новых изданий, наполняя карманы Мэррея звонкой монетой, а письма Дарвина — изумленными восклицаниями.

«Какое же неизмеримое благо Вы мне принесли, устроив так, чтобы Мэррей издал мою книгу, — писал он Ляйеллу. — До сегодняшнего дня я понятия не имел, что она так широко расходится, но сегодня одна дама в письме к Э. сообщила, что

слышала, как один человек спрашивал ее не где-нибудь, а на *вокзале*!!! у моста Ватерлоо, и ему ответили, что ни одной нет и не будет вплоть до нового издания. Продавец сказал, что сам ее не читал, но слышал, что книга замечательная!!!»

Однако, исправляя текст для второго издания, он натолкнулся на два досадных обстоятельства: «Все эти несносные миллионы лет (хоть очень может быть, что так оно и есть) и то, что я (по нечаянности) упомянул об Уоллесе только под конец книги, в заключении, а никто и не подумал мне на это указать. Теперь у меня имя Уоллеса стоит на 484-й странице, на видном месте».

9
ИНТЕРЛЮДИЯ: ГЕКСЛИ, КИНГСЛИ И ВСЕЛЕННАЯ

В личном дневнике Гексли — на чистом месте сразу же под записью о рождении первого ребенка — появились новые знаменательные строки:

«20 сентября 1860 года.

И вот этого ребенка, нашего Ноэля, нашего первенца, который почти четыре года был нам утешением и отрадой, в два дня унесла скарлатина. Неделю назад мы с ним возились и играли как ни в чем не бывало. В пятницу его головка с блестящими синими глазами, со спутанными золотистыми кудрями весь день беспокойно металась по подушке. В субботу вечером, пятнадцатого числа, я внес сюда в кабинет его холодное, неподвижное тельце и положил на то самое место, где я сейчас пишу. Сюда же в воскресенье ночью пришли мы с его матерью свершить священный обряд прощания».

Нет сомнений, что Гексли получал много писем с изъявлениями соболезнования и писал ответы, одни более сдержанные, другие менее, а в общем такие, как полагается. Но одно письмо взволновало его до самых глубин души, исторгнув из нее настоящую исповедь, горячее оправдание своей веры — или, точней, своего неверия. Письмо было от совершенно постороннего человека: преподобного каноника Кингсли — романиста, поэта, автора памфлетов и капеллана ее величества. Письмо, которое Кингсли прислал в знак соболезнования, не сохранилось. По-видимому, он откровенно признался, что сам не

мог бы перенести утрату любимого существа без твердой уверенности, что встретится с ним в иной жизни. По счастью, у него такая уверенность есть. Сильно развитое в человеке ощущение личности есть доказательство того, что личность непреходяща. Возможно, Кингсли еще коснулся своих былых сомнений и внутренней борьбы, очень схожих с теми, какие пережил в юности Гексли, а также утешений, которые приносят работа и счастливая супружеская жизнь. И безусловно, с удвоенной прозорливостью писателя и родственной натуры он угадал душевное состояние Гексли в эту минуту горестного потрясения.

Гексли отвечал:

«Мои убеждения в тех вопросах, о которых Вы говорите, их приятие или неприятие выношены за долгое время и имеют прочные корни. Правда, тяжкий удар, который на меня обрушился, как будто поколебал их до самого основания, и, живи я на два-три столетия раньше, я мог бы, верно, вообразить, что надо мною и над ними глумится дьявол и допытывается, много ли я выгадал, лишив себя надежд и утешений, к которым прибегает большая часть человеческого рода. На это у меня был и есть один ответ: „Нечистый! Истина превыше любой выгоды“. Я перебрал вновь все, на чем зиждется моя вера, — и я говорю: пусть у меня одно за другим отнимется все: жена, дитя, доброе имя, слава — я все равно не буду лгать».

Что касается бессмертия, Гексли не отрицает его, но и не признает. Априорных возражений у него нет:

«В нем было бы несравненно меньше удивительного, чем в сохранении энергии или неуничтожимости материи… Чем дольше я живу на свете, тем очевидней для меня становится, что самое священное деяние жизни человеческой — ощутить и сказать:

— Я верую, что то-то и то-то — правда. На этом держится все — величайшие награды и тягчайшие казни нашего бытия. Вселенная во всем одна и та же, и если я могу распутать какой-то крохотный клубочек в анатомии или физиологии, ни в коем случае не принимая на веру то, что не подтверждено в достаточной мере доказательствами, — то не думаю, что великие тайны бытия откроются мне на каких-либо иных условиях… Я знаю, что имею в виду, говоря: я верю в закон всемирного тяготения, и на менее твердых убеждениях я свою жизнь и свои надежды строить не соглашусь».

Первый долг человека — правдоискательство. В этом науки, протестантизм да и пантеизм находят общую почву. Действовать, исходя из ложной теории, значит не считаться с законами

природы и навлечь на себя неизбежную кару. Казалось бы, разговор идет о практике. Но не только в практике дело. Мыслить, выдавая желаемое за действительное, пребывать в утешительном заблуждении, когда видишь, что досягаема научная истина, — значит осквернять и самого себя, и вселенную. Но священны сомнение и неведение, когда в основе их твердая решимость не верить ни во что, кроме правды.

Объяснив, что он стал агностиком, прочитав сочинение Гамильтона о необусловленном, Гексли возвращается к предмету спора:

«Наука… учит меня проявлять сугубую осторожность в суждениях, которые сами собой напрашиваются из моих заранее сложившихся представлений, и требовать для подобных взглядов более убедительных доказательств, чем для тех, к которым я был заведомо не расположен.

Моя обязанность в том, чтобы приводить свои соображения в соответствие с фактами, а не пытаться подогнать факты под свои соображения.

Наука, как мне представляется, самым наглядным и убедительным образом учит нас великой истине, заключенной также и в христианском понятии о полном подчинении воле господней. Взгляните на факт свежими глазами, как малое дитя, будьте готовы отказаться от всех предвзятых представлений, смиренно следуйте за природой, в какие бы бездны она вас ни завела, иначе вы не познаете ничего. Я изведал довольство и душевный покой с того лишь времени, как решился любой ценой поступать именно так».

Смирение в умственной деятельности по сути своей не отличается от религиозного. Изначальная тайна подступает к самым границам известного. Поиск и открытие становятся, таким образом, религиозным послушничеством. Химик за своим рабочим столом — это жрец у алтаря. Гексли возмущенно отрицает, что для житейской нравственности или для нравственного управления миром необходима «система наград и наказаний в будущей жизни».

«Я не оптимист, но я питаю самую твердую уверенность в том, что власть божья (если позволительно употребить эти слова в смысле совокупности „способов существования материи“) справедлива от начала и до конца.

Чем ближе я знакомлюсь с жизнью других людей (не говоря уже о своей собственной), тем мне становится очевидней, что порок действительно не торжествует, а добродетель и в самом деле не бывает наказана. Но, чтобы это стало ясно, нельзя упускать из виду то, о чем почти все забывают: награды в жизни

даются нам в зависимости от соблюдения *всех сторон* закона — и физических и моральных — и что соблюдение моральных его сторон не искупает физического прегрешения, и наоборот.

Гроссбух всевышнего ведется строго, и в каждый миг нашего существования нам выплачивают по балансу наших поступков.

Жизнь была бы невозможна без определенного согласия с окружающим миром — и согласие это предполагает известную долю счастья среди избытка страданий. Короче говоря, пока мы живем, жизнь платит нам за это.

А в связи с видимым противоречием между делами человека и воздаянием за них следует помнить, что Природа справедливее нас. Она принимает в расчет, что человек приносит с собою в мир, а людской суд этого учесть не может.

Совершенная справедливость существующего порядка вещей мне очевидна не меньше, чем любой факт науки. Грех притягивает к себе несчастье с такою же неизбежностью, как Солнце притягивает Землю, и прямое доказательство этому — рядом с каждым из нас, оно даже есть в нашей собственной жизни, надо только открыть глаза и увидеть».

Этот отрывок представляет собой сжатое изложение основ веры, которую большую часть своей жизни исповедовал Гексли. Как отмечает в своей неопубликованной статье Дэвид Дж. Эйвас, главная проблема для Гексли — это место человека в природе, или соотношение ценности и факта. А решил он ее просто: провозгласив их тождество. Для признания факта не требуется отрицания ценности, и точно так же для признания ценности не требуется никаких метафизических подпорок в виде ложной информации. Так истина становится добродетелью, заблуждение — грехом, агностицизм — верой, а наука, если продолжить эту цепь, — религией. Если человек будет знать достаточно, он увидит, что получает ровно столько, сколько заслужил, и, надо полагать, поспешит заслужить все, что позволяют ему его природные способности.

Со многих точек зрения такое решение было героическим. Сразу приходит в голову Дарвинов кишечный глист и случайное, единственное в жизни Дарвина озарение. Гексли в самом личном и драматическом смысле оказался поставлен перед фактом точно такого же рода. Ответом его было новое страстное подтверждение своей веры: он пойдет вслед за научной истиной, какими бы путями она ни плутала, с твердым сознанием, что она приведет к какому-то нравственному или духовному эквиваленту божества. Кстати, он часто близок к тому, чтобы под прикрытием метафор контрабандой протащить бога в свою непорочно безликую вселенную, как в знаменитом своем примере с невидимым

игроком в шахматы.

«Шахматная доска — мироздание, фигуры — явления вселенной, правила игры — то, что мы именуем законами природы. Игрок по ту сторону доски скрыт от нас. Мы знаем, что игру он ведет всегда честно, по справедливости, с терпением. Но мы также по горькому опыту знаем, что никогда он не простит ошибок, не сделает ни малейшей скидки на неискушенность. Тому, кто хорошо играет, платят по высшей ставке, с изобильной щедростью сильного, восхищенного силой в другом. Тому же, кто играет дурно, ставят мат — не спеша, но и нещадно».

Такое же наделение природы душой и характером пронизывает письмо к Кингсли. В час горя потребность в ясности стала неодолима. Гексли стремился к ясности без бога, а пришел к чему-то похожему на бога — без ясности.

Потом, вероятно в ответ на нечто похожее в письме Кингсли, Гексли предается неожиданным самообвинениям: «Мальчуганом, без руководителя, без всякой подготовки — а может быть, еще хуже того — меня швырнули в мир, и признаюсь, к стыду своему, немного найдется людей, которым довелось бы глубже меня погрязнуть во всевозможных грехах». Это признание не следует понимать буквально. Оно выражает лишь недовольство пуританина своими природными инстинктами. «К счастью, — продолжает он, — меня вовремя остановили на этом пути». Затем следуют широкоизвестные строки о том, что стало его избавлением:

«„Сартор Резартус“[113] привел меня к сознанию того, что глубокое религиозное чувство совместимо с полной непричастностью к богословию. Наука и ее методы даровали мне обитель, недоступную влияниям авторитетов и сложившихся устоев. И, наконец, любовь открыла мне святые стороны человеческой натуры и внушила глубокое чувство ответственности».

Гексли заканчивает свое письмо почти угрожающе, указуя беспощадным перстом на простертое тело недавней своей жертвы — епископа Самуила Уилберфорса.

«Я с особой охотою пишу об этом Вам, ибо мне ясно: спасти такое могучее орудие добра и зла, как англиканская церковь, дабы оно не разлетелось вдребезги под напором наступающей науки, — что мне печально было бы видеть, но что неизбежно произойдет, если участь ее будет вверена людям, подобным Самуилу Оксфордскому, — могут только усилия людей, которые, подобно Вам, видят возможность сочетать дела церкви с духом науки».

Переписка между ними длилась несколько лет. Тут есть что-

то от встречи Главка[114] с Диомедом[115]: два славных предводителя враждующих войск сошлись лицом к лицу и убедились, что между ними есть глубокая связь. И эта связь — близкое сходство в характерах и во взглядах. Под колышущимся плюмажем воина слова и пера каноник чувствовал себя ничуть не хуже, чем профессор. Он был так же неиссякаемо энергичен, так же неукротим, при той же хрупкости и болезненности, так же щедро и многосторонне одарен, так же собран и готов к действию, а по складу ума так же великолепно оснащен для любого интеллектуального дерзания, не способный лишь терпеливо нащупывать в лабиринтах логики дорогу к непростой и нелегкой правде.

Его одиссея была чредой ослепительных побед над викторианскими сциллами и цирцеями, очень похожей на одиссею Гексли. И он в младые годы спускался в преисподнюю земной жизни, и жуткие видения мук и погибели не миновали его. И он совершал чудеса ученического прилежания, и занимал первые места с тою же устрашающей и непостижимой легкостью, хоть и не с такой страстью к знанию, ибо истинным предметом его вожделений были гончие, охота и военная служба. Пустить его по военной части семье было не по средствам — ему пришлось стать поэтом-пророком. И все-таки всю жизнь немалое удовольствие от прогулок и поездок заключалось для него в том, чтобы мысленно возводить укрепления с учетом особенностей той или иной местности, а когда через многие годы он впервые произносил проповедь в часовне одного военного училища, у него слезы навернулись на глаза от бряцания офицерских шпаг и мерной воинской поступи.

Он пережил время сомнений и под конец в ущерб логике и ясности пришел к подтверждению своих взглядов. Его царствие небесное даже в большей, быть может, степени, чем научная утопия Гексли, превратилось в нечто вполне земное: конечную станцию на тернистой дороге социального прогресса; сам он уже обрел рай в своем собственном доме: счастливое супружество, Карлейль и трубка в час досуга. Как Гексли ополчился на ортодоксальную церковь по научным соображениям, так он ополчился по политическим; он тоже познал высокое блаженство ритора, поколебавшего в роковой для нации час враждебную толпу. Короче говоря, этот человек — разительное доказательство того, что в широкополой шляпе священника Гексли мог бы пройти свой путь точно так же, как в квадратной шапочке профессора, и жизнь по одну сторону викторианской пропасти могла быть очень похожа на жизнь по другую ее сторону.

В то время, когда умер Ноэль, жена Гексли давно уже ждала

другого ребенка. И декабря 1860 года у них родился второй сын, Леонард. Миссис Гексли настаивала, чтобы младенца крестили, и в конце концов, несмотря на угрызения своей агностической совести, муж дал согласие, рассудив, что «по отношению к ребенку будет только справедливо приобщить его к официальному духовному институту его родины». Тем не менее, как он писал будущему крестному отцу младенца Гукеру, он знал, что, пока обряд не совершится, он будет в дурном настроении.

Весной 1863 года Гексли и Кингсли обменялись несколькими письмами. Дарвиново «Опыление орхидей» и «Путешествие натуралиста по реке Амазонке» Бэтса[116]вызвали в душе Кингсли буйный прилив восторга и благочестия. Ему было очень любопытно побольше узнать о науке и очень любопытно побольше узнать о Гексли, конечно, не без умысла обратить его в истинную веру. Что касается Гексли, тот вовсе не испытывал к Кингсли особого любопытства и с высоты своего научного величия склонен был непререкаемо вещать о невежестве человеческом и о бессмертии души. А между тем невольно подозреваешь, что с этим неуемным, напористым служителем церкви он был откровеннее, чем обыкновенно с самим собой. Кингсли будоражил и подзадоривал, но никогда не пытался сбить с толку, завести в тупик. Чутьем, рожденным общностью натур, он мог понять Гексли, но не судить — для этого ему недоставало глубины и изощренности. Ну и во всем, что касалось нравственности, они с Гексли говорили на одном языке. Прямота и смелость, с какой он ставил вопросы, простота, с какой толковал о неизъяснимом, отмыкали в душе Гексли самые заветные тайники. «Я часто недоумеваю, как это я вдруг навязался Вам на шею со всеми своими невзгодами», — сознался он Кингсли вскоре после того, как они в первый раз написали друг другу.

Более поздние письма Кингсли пробудили в Гексли философа-скептика. П. Э. Мор[117] указывает, что стратегия Гексли в войне с епископами и архидиаконами грешит непоследовательностью. В наступлении он — непреклонный материалист, отстаивает первичность материи и непреложную причинную обусловленность законов природы. Однако под напором встречных вопросов и доводов он ловко переходит к защите в духе Пиррона[118]:

«Я ничего не знаю о Необходимости, терпеть не могу слово „Закон“, кроме как в том смысле, что мы не знаем, чем его опровергнуть, и вполне готов признать, что где-нибудь, par exemple[119] „по ту сторону неведомого“, 2 + 2 = 5 и все тела отталкиваются друг от друга, а не испытывают взаимное

притяжение.

Я не знаю, отличается ли чем бы то ни было Материя от Силы. Я не знаю — может быть, атомы не что иное, как чистая выдумка».

Он заходит еще дальше: «Для меня основополагающая аксиома спекулятивной философии такова: *материализм* и *спиритуализм есть два полюса одной и той же нелепости,* а нелепость эта — воображать, что нам хоть что-либо известно о духе и материи». Именно тут он в первый раз прибегает к метафоре насчет незримого игрока, которая приведена выше в самом известном ее варианте, с прозрачно-двусмысленными намеками на некую безликую личность. Он подводит итог:

«Теперь, когда политеизм отошел в прошлое, допустимы, если вдуматься, всего четыре онтологические возможности:

1. *x* не существует — атеизм берклианского образца.

2. Существует только один *x* — материализм или пантеизм, смотря по тому, каким концом повернуть.

3. Существуют два *x:* Дух и Материя — мыслители „incertae sedis“[120].

4. Существуют три *x:* Бог, Дух, Материя — ортодоксальные богословы.

Говорить, что какую-то одну из этих возможностей я приемлю как воплощение истины, было бы, мне кажется, нелепо; но в качестве рабочей гипотезы меня больше других устраивает та, что под номером два. Она, как мне думается, более остальных созвучна с правилами игры, которую ведет природа.

Но как знать, когда великому Банкомету придет в голову опрокинуть стол, смахнуть прочь карты и обучить нас правилам новой игры? Что останется тогда от жалких фишек, выигранных мною? Вдруг окажется, что я совершенно не прав и что нет никаких Иксов — или что их целых двадцать штук».

В конце письма он без ложной скромности заявляет: «Мне прислал свою книгу Морис. Я прочел, но, сознаюсь, уразуметь его взгляды решительно не способен».

10
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ШКАТУЛКА С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СЕКРЕТОМ

Время от 1859 до 1863 года было для Гексли переходным и вместе с тем вершинным. Оно было переходным в том смысле, что он вступил теперь на поле деятельности слишком обширной и разнообразной, чтобы ее можно было постоянно совмещать с напряженной и плодотворной научной работой. Оно было вершинным в том смысле, что пророк — по крайней мере, на известное время — обрел свою миссию, мастер пера выработал собственный, отличающий его почерк, трибун одержал самые значительные свои победы — и при всем том не пострадал ученый. По существу, он ухитрился в значительной степени объединить все стороны своей деятельности, исполнить все, что ему было назначено, в едином труде: «О месте человека в природе», который был одновременно превосходным литературным произведением, великолепным образцом пропаганды дарвинизма и, пожалуй, самым выдающимся из его научных достижений.

Весь 1861 год он одной рукой обрабатывал материал для своей книги, а другой вершил суд и расправу в полемике об эволюции. Он сделал в Эдинбурге два доклада о родстве человека с животными. У скептически настроенного Эдинбурга он сорвал аплодисменты. Эдинбург религиозный пренебрежительно держался в отдалении. Но когда слухи о необычайности происшедшего дошли и до него, внезапно огласил страницы газет визгом оскорбленного благочестия. Гексли в нерушимом

спокойствии отозвался открытым письмом. Два его доклада, свежие и самобытные с научной точки зрения, увлекательные для обывателя, были впоследствии напечатаны в виде второй части «Места человека в природе».

Как широко овладел умами дарвинизм и как прочно живым олицетворением его сделался Гексли, показал триумф его лекций на тему «Что мы знаем о причинах явлений органической природы», прочитанных в 1862 году для рабочих. «Я никогда не видел такой внимательной, восприимчивой и благодарной аудитории… — писал Фредерик Гаррисон. — Нельзя было не поражаться этим волевым, осмысленным лицам. Стоило видеть эти головы: что за лбы, что за жадная любознательность во взгляде!»

Изданные отдельной брошюрой, эти лекции раскупались нарасхват. Нетрудно вообразить, какое они вызвали интеллектуальное потрясение. В доходчивых, живых словах они рисуют грандиозное, ощеломляюще сложное хитросплетение механических причин, недавно открытых наукой в мире живой материи; проводят связь между открытиями Кювье, Ляйелла и Дарвина — с одной стороны, и открытиями Майера[121], Дюбуа-Реймона[122], Гельмгольца и Пастера — с другой. С присущей ему виртуозностью Гексли въезжает в эту страну чудес — здесь трудно обойтись без каламбура — верхом на коне. Он разбирает анатомическое строение лошади, исследует ее как физиологический механизм, выявляет ее положение в группе позвоночных соответственно различным типам приспособления, прослеживает ход ее развития от зарождения до самой смерти. Он объясняет сущность жизненного цикла, включая фотосинтез растений и постоянное использование энергии Солнца. Четвертая и пятая лекции посвящены изложению дарвинизма, а шестая — его критике, которая здесь равнозначна защите.

В «Причинах явлений в органической природе» выступает Гексли уверенный, Гексли-догматик — как кое-где в письмах к Кингсли выступает Гексли сомневающийся, Гексли-агностик. Действительность слагается из энергии и материи, а все сущее, в том числе и человек, есть более или менее искусное их сочетание. Между органической и неорганической материей коренных различий нет. Мысль — не более как ток электричества по проводам нервов. Эти лекции, а также «Место человека в природе» дают достаточно ясное представление о том, как повлияло на Гексли «Происхождение видов». Дарвинова эволюция окончательно приобщила его к культу материи, усвоенному от Гельмгольца, озарив сумрачную эту веру лучом надежды, устремленным в даль тысячелетий. По-видимому, в будущем

человек мог рассчитывать не только не безграничные научные познания, но и на безграничное биологическое совершенствование.

Лекции были приняты восторженно всеми, начиная от специалистов и кончая рабочими. Увидев дело рук своего верноподданного, остался доволен и Дарвин. «Мне досталось немало хулы, — писал он, — но и хвалы отпущено было в таком изобилии, что я сделался истым гурманом по части букета и свежести похвал и, честно говоря, не помышлял, что простому смертному по силам преподнести мне столь лакомое блюдо, какое создали Вы». Что же до самих лекций — «я прочел четвертую и пятую, — писал он Гексли. — Ничего лучшего просто нельзя придумать. Их следует распространять как можно шире — кстати, оцените великодушие этих слов, потому что четвертую я в сердцах отшвырнул, подумав про себя: „Какой смысл было писать толстенную, тяжеленную книжищу, когда в этой зеленой книжонке столь ничтожных размеров есть все?“» Лекции произвели на него такое впечатление, что он впервые усомнился, стоит ли Гексли посвящать свое будущее исследовательской работе. Пожалуй, лучше ему написать новый учебник по зоологии. Нужда в таком учебнике велика, польза от него была бы огромна. Гексли это предложение отклонил.

1862 год Гексли встретил полноправным профессором Хирургического колледжа: ученый, с которым они делили лекционный курс, ушел в отставку. Новый профессор очень быстро удостоверился, что читать двадцать четыре лекции куда легче, чем двенадцать, и договорился печатать из года в год краткое их содержание. Со временем труд этот составил его «Сравнительную анатомию».

Однако, хотя двадцать четыре лекции, как выяснилось, читать легче двенадцати, это отнюдь не означало поверхностного отношения к подготовке. У Гексли, говорит его коллега сэр Уильям Флауэр[123], было правило «не допускать в своих лекциях ни одного утверждения, не подкрепленного личными наблюдениями»; а так как позвоночные были для него материалом несколько новым, он приступил к ним, начав с приматов, и «по многу раз сам препарировал все формы, какие только разбирал». В немалой степени эта работа пригодилась ему при подготовке «Места человека в природе». Не всегда удается разом убить хотя бы двух зайцев, а Гексли бил их десятками и всегда без промаха. Измученный невралгическим ревматизмом, то и дело страдающий от головных болей и несварения желудка, он по свободным дням делал обмеры черепов, каждый вечер препарировал приматов, заседал в комиссиях, без конца читал

лекции, готовил «Место человека в природе», пожирал в долгие бессонные предутренние часы книги по метафизике и философии, и его еще хватало на то, чтобы в неиссякаемом своем кипении писать Дарвину: «Эх, иметь бы две головы, и чтобы ни одной не требовалось сна!»

Проделывалось все это быстро, целенаправленно. Сэр Уильям Флауэр — он обычно помогал Гексли по вечерам — описывает его за работой:

«В препарировании, как и во всем прочем, он был стремителен, твердой и уверенной рукой прокладывал себе путь к намеченной цели, никогда не отвлекался, чтобы выяснить заодно побочные вопросы, никогда не тратил времени на подчистку в угоду внешней видимости — одним словом, полное отсутствие того, что называется „наведением лоска“. Очень выручал его при этой работе дар рисовальщика, точные, смелые наброски были большим подспорьем в ведении записей».

В большой войне, которая разразилась в 1859 году после выхода в свет «Происхождения видов», самые жаркие схватки завязывались вокруг проблемы человека. Эволюция означала низменность происхождения, а низменное происхождение превращало человека в презренного выскочку. Многих совсем не устраивало столь темное прошлое.

А между тем эта печальная истина неумолимо подтвердилась еще задолго до 1859 года. Уже в 1797 году, в кратком докладе на заседании Археологических обществ в Лондоне, Джон Фрер[124] сообщил, что нашел кремневые орудия в столь древних слоях, что деяние творца здесь решительно исключалось. Доклад встретили со скорбью и предали богопослушному забвению. В 1847 году, сделав историческую находку в Абвиле, Буше де Перт[125] опубликовал свои «Antiquites Celtiques»[126], в которых доказывал, что человек существовал в ледниковый период, то есть, в понятиях богословских, пасся купно с мастодонтом и носорогом. Книга де Перта была так объемиста, материал ее так обстоятелен, что не считаться с нею было нельзя. Ляйелл, Флауэр, Престуич[127] и другие съездили в Абвиль и вернулись убежденными.

В 1848 году на Гибралтарской скале был найден в высшей степени любопытный череп. Объем мозга чрезвычайно невелик, очень толстые черепные кости, лоб ужасающе низкий и покатый, над глазными впадинами — массивный валик. Гибралтарское научное общество сообщило, что найден просто «человеческий череп». В 1856 году подобный череп вместе со скелетом нашли в долине Неандерталь в Германии. Поблизости оказался палеонтолог по имени Шафгаузен, который принялся исследовать

находку. Он заключил, что кости чрезвычайно древнего происхождения и принадлежат человеку, но более первобытному, чем представители любого из ныне существующих «дикарских» племен.

Вот какая цепь событий в антропологии тянулась к 1859 году, когда в мир нагрянуло «Происхождение видов». В последовавших сражениях из-за природы человека верховное командование в стане науки перешло от Ляйелла к Гексли. Как ни просветили Ляйелла новые воззрения, как ни твердо он решил подходить к проблеме человека лишь с этих новых позиций, а все-таки в критические минуты оказалось, что к нему опять вернулась его детская вера в бога. С течением времени становилось все более очевидно, что определять вмешательство свыше не по Моисееву летосчислению, а по геологическому совесть ему еще позволит, но никак не более того. В эволюции человека, казалось ему, естественный отбор — всего только второстепенное обстоятельство. Дарвин тут «ничего утешительного» ему предложить не мог; больше того, когда Ляйелла только начинали одолевать муки раскаяния, Дарвин, как ни в чем не бывало, подытожил для него данные эмбриологии: «*Нашим* предком был зверь, который дышал в воде, имел плавательный пузырь, большой хвост-плавник, неразвитый череп и был, несомненно, гермафродит!» Разумеется, свои богохульства Дарвин высказывал строго по секрету. В работах по биологии он по-прежнему не касался кощунственной темы.

Гексли не разделял ни Ляйелловых сомнений, ни уклончивости Дарвина. «Я не намерен останавливаться, — предупредил он Дарвина, — покуда нить ясных рассуждений ведет меня дальше». По счастливому совпадению борьба за истину означала борьбу против Оуэна, и в том же году на заседании Британской ассоциации в Оксфорде Гексли принес прославленного анатома в жертву дарвинизму.

В феврале 1862 года он начал очередной цикл лекций «О положении человека в ряду органических существ»; лекции шли с большим успехом. «К той пятнице каждый из них вполне проникнется сознанием того, что он обезьяна», — писал Гексли жене. Эти лекции, напечатанные в «Записках по естественной истории», возродили Оуэна к жизни и к новой полемике, и на заседании Британской ассоциации в 1862 году он всеми правдами и неправдами пытался дать отпор противнику. Однако сладкий яд его улыбки уже не таил в себе грозной опасности: все слишком хорошо понимали, что за нею кроется. Гексли одержал полную победу и только выиграл от бешеных наскоков врага. В завершение побоища сэр Уильям Флауэр добил Оуэна

окончательно и погреб под многочисленными и неопровержимыми доводами в пользу дарвиновских позиций. К 1863 году, когда появилось «Место человека в природе», Оуэн успел стать чем-то вроде исторической достопримечательности.

Эта книга родилась как естественный плод полемики. Она была торжеством разума, но еще больше — торжеством отваги; вкладом в дело научной истины, но еще большим вкладом в дело научной свободы. Неверно было бы утверждать, что никому, кроме него, эта тема не приходила в голову, просто он сказал то, что никто, кроме него, сказать не отважился. И сказал с такой силой убеждения, что покорил многих людей, которые вообще едва ли над чем-нибудь задумывались. Его вновь и вновь увещевали не рисковать своей карьерой, не связываться с таким богословским пугалом, как эти злополучные скелеты и черепа, но события показали, что он был тысячу раз прав. Люди давно ждали, чтобы наука уверенно и внятно сказала свое веское слово.

Только не надо делать вывод, будто его книга была смелым жестом, и не более того. Гексли первым использовал данные эмбриологии, палеонтологии и сравнительной анатомии — наук, которыми специально занимался, — чтобы установить происхождение человека от человекообразных обезьян. Он объединил все имеющиеся материалы, подобрал соответствующие критерии, в том числе сформулированные им самим, и воплотил свою работу в биологическом трактате, по совершенству стиля и силе доказательств равном, как считает сэр Артур Кизс[128], лишь исследованию Гарвея «О движении сердца и крови».

Издание 1863 года состояло из трех частей. Первая часть «Место человека в природе» — это история изучения высших обезьян, начиная от Пигафетты[129] и Пуркаса[130]. Повсюду Гексли выделяет черты, роднящие их с человеком.

Вторая часть рассматривает данные эмбриологии и сравнительной анатомии. Здесь Гексли стремится показать на ряде примеров, что между человеком и остальной природой нет никакой пропасти. По эмбриологическому развитию человек гораздо ближе к обезьяне, чем обезьяна к собаке. По размерам черепа и скелета у него больше сходства — с гориллой, чем у гориллы с гиббоном. Своими достижениями в области морали и культуры человек, как считает Гексли, обязан не весу своего мозга, а в первую очередь членораздельной речи. Общность многих его инстинктов с инстинктами низших животных не принижает его, а возвышает, ибо он развил один из этих инстинктов и обуздал другие. Самое яркое место в этой части — поэтически выраженная мысль о единстве всего живого, с одной

стороны, и величии человеческого развития — с другой.

«Сравнивая цивилизованного человека с животным миром, уподобляешься путешественнику в Альпах, который видит, как возносятся к небу горы, и с трудом различает, где кончаются мрачные утесы и сияющие вершины и начинаются небесные облака. Конечно же, мы простим очарованному путнику, если он не вдруг поверит словам геолога о том, что эти могучие громады, в конце концов, не что иное, как затвердевший ил первобытных морей или застывшие шлаки подземных горнов — такое же вещество, как самая обыденная глина, только поднятое внутренними силами до сих гордых и на первый взгляд недосягаемых высот».

В третьей части приводятся данные палеонтологии. Дошли ли до нас какие-нибудь окаменелые останки, дающие представление о переходе от высших обезьян к человеку? Гексли в подробностях разбирает недавно найденные черепа — энгисский и неандертальский. Он осторожен в своих выводах. Черепа эти — в особенности неандертальский, — несомненно, принадлежат человеку, но более подобны обезьяньим, чем черепа любой из рас, живущих в наши дни. В связи с человеческими расами доисторических времен встает вопрос о современных расах. По-прежнему ограничиваясь лишь типами черепов, пользуясь точным геометрическим, им самим разработанным способом обмера, Гексли выделяет среди большого количества разновидностей два полярно противоположных типа: во-первых, прямочелюстной, короткоголовый, и во-вторых, «прогнатный», то есть с выступающими челюстями, длинноголовый; они противостоят друг другу и по географическому распространению:

«Проведите на глобусе черту от Золотого берега в Западной Африке до татарских степей. У юго-западного конца этой черты живут самые длинноголовые люди на земле, с сильно выступающими челюстями, самые курчавые и темнокожие, — настоящие негры. У северовосточного конца той же черты живут самые короткоголовые, прямоволосые и желтокожие из людей, с самым прямым профилем, — татары и калмыки. Две крайние точки нашей воображаемой черты есть, так сказать, настоящие этнографические антиподы. Линия, проведенная под прямым — или приблизительно прямым — углом к этой черте полярности через Европу и Южную Азию к Индостану, даст нам нечто вроде экватора, вокруг которого группируются расы круглоголовых, овальноголовых, длинноголовых, люди с выступающими и прямыми челюстями, люди светлые и темные — но никто из них не обладает столь резко выраженными признаками, как калмыки или негры».[131]

Сказанное совсем не означает, что какая-то одна из этих противоположностей непременно стоит на более низкой ступени эволюции, чем другая. У негра челюсти больше напоминают обезьяньи, чем у калмыка, зато у него гораздо длиннее черепная коробка. Если уж на то пошло, самый низший, то есть наиболее обезьяноподобный, тип мы находим у коренных жителей Австралии, чьи черепа удивительно похожи на череп неандертальца[132].

Изыскания Гексли по части сходства в строении человека и обезьяны подвигли его знакомца Чарлза Кингсли на несколько неожиданные заключения. Примерно в то же время, когда вышло первое издание «Места человека», каноник писал своему другу Фредерику Морису:

«Если Вы не поверите в мое новое великое учение… по которому душа вырабатывает тело, как моллюск вырабатывает себе раковину, Вы останетесь во тьме за вратами истины… Мне ведомо, что у обезьяны мозг и глотка почти такие же, как у человека, — и что это доказывает? Что обезьяна — простофиля и тупица, орудия у нее немногим хуже человеческих, а обращаться она с ними не умеет, тогда как человек с орудиями немногим лучше обезьяньих способен творить чудеса».

Гексли как-то не слишком возрадовался, когда ему стали навязывать «великое новое учение» как нечто вытекающее из его книги. Сам он воспринимал ее как акт вивисекции, отторжения души от человека с тем, чтобы подвергнуть остаток — приматов — научному исследованию.

На долю «Места человека в природе», вопреки всем страхам друзей Гексли выпало ровно столько поношений, чтобы автор почувствовал себя неким гением бесстрашия. Церковники уже к 1863 году поунялись. Церковники набожно уповали на лучшие времена. У них даже прорезалось чувство юмора. «Атеней», например, в отклике на «Место человека в природе» и «Древность человека» тонко заметил, что Ляйелл вознамерился состарить человека, а Гексли — «понизить его в звании». «Если верить Ляйеллу, человек жил на земле уже сто тысяч лет назад; если верить Гексли, сто тысяч обезьян доводятся человеку предками». И не без колкой снисходительности к Гексли автор статьи подводит черту: «Получается, стало быть, что между Оуэном и Гексли разница есть, а между человеком и обезьяной — никакой».

На автора статьи в «Атенее», как, впрочем, и на всех других, произвела впечатление одна черта «Места человека» — его малый объем. «Древность человека» пережевывает свои добросовестные неопределенности на пятистах страницах. «Место» — менее чем на двухстах утверждает чеканный, широкий принцип. Гексли

огорошил викторианский мир уроком краткости, опережающей свой век.

Сердца дарвинистов наполнились гордостью, их уста — хвалебными речами. Гукер нашел книгу «умнейшей»; Ляйелл, как всегда, горячий и чуждый своекорыстию, считал, что, будь она чуточку длинней, получился бы настоящий шедевр.

«Дайте ему досуг, который есть у нас с Вами, — писал он Дарвину, — прибавьте к этому всю мощь и логику его лекций, его обращения к Геологическому обществу и полдесятка последних его работ (письма о теории Дарвина в «Таймс» и т. д.), да объедините все это в одну книгу — какое бы место он занял!»

Дарвин тоже жалел, что книга маловата. Отчего было не сказать несколько слов о ложных ребрах, о межчелюстной кости, о мышцах уха, о повадках молодых орангутангов в зоопарках Европы… Но все равно он не мог налюбоваться, нахвалиться этой работой. Страницы 109–112 по совершенству и сжатости не уступают любому месту из Бекона, а «что за восхитительная шпилька» (по адресу Оуэна, естественно) на странице 106! Да и как было не хвалить автора, который так успешно выигрывает за тебя бой, так превосходно толкует твое учение, так поэтически объявляет его основой цивилизации и движущей силой прогресса?

«Место человека в природе» особенно порадовало Дарвина еще и потому, что «Древность человека» принесла ему горькое разочарование. История дружбы Ляйелла с Дарвином — это мирная и не очень простая повесть о мастере, который на старости лет едва не угодил в подмастерья. Это длительное и глухое столкновение Зораба и Рустама[133], в котором совсем не было ожесточения, было много великодушия, доля отчуждения, налет грусти и под конец — некое подобие смерти. Нам, тоже стоящим на перепутье, все-таки трудно понять, отчего, разрываясь меж старым и новым миром, викторианцы, подобные Ляйеллу, с отчаянным упорством цеплялись за любой самый шаткий компромисс. Частично трагедия, конечно, состояла еще и в том, что Дарвин был стольким обязан Ляйеллу.

С середины 40-х годов, то есть со времени знакомства с находками Буше де Перта в Абвиле, Ляйелл убедился, что человек несравненно старше, чем он — или пророк Моисей — мог подумать. Прочитав в 1859 году «Происхождение видов», он решился сказать об этом открыто.

Дарвина, который, стоя на вершине эволюционной гипотезы, вполне свыкся с этим взглядом, на первых порах обнадежила и слегка встревожила такая неустрашимость его друга. «Какова ирония, — писал он Гукеру, — не он ли постоянно увещевал меня

обходить стороной проблему человека!» Дарвин давно установил, что, сделав хотя бы шаг навстречу его учению, люди, как правило, со временем идут дальше, а кто уже пошел дальше, со временем перейдет в его веру. Ляйелл успел пройти немалый путь и в волнующие дни вслед за выходом в свет «Происхождения», казалось, стоял уже на самом пороге эволюции. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что означает переход в новую веру.

«Я… совершенно готов безоговорочно принять Ваши толкования фактов, — писал он Дарвину в 1859 году, — …и уже давно с полной ясностью вижу, что малейшая уступка повлечет за собой все, что Вы предсказываете на заключительных страницах.

Это и заставило меня столько времени пребывать в нерешительности, с постоянным ощущением того, что и человек со всеми его расами, и прочие животные, и растения едины, и если хотя бы на миг признать какую-то причину, будь то vera causa[134] или иная, совсем неведомая, вымышленная причина — назовем ее хотя бы словом „творение“, — все последствия неминуемы».

Однако, полагаясь на свой разум, он забыл принять и расчет свое сердце. В отличие от Дарвина он не принадлежал к тем людям, чья умственная и духовная жизнь всецело подчинена единой идее. Его постоянные геологические поездки были в то же время и просто по-человечески приятными путешествиями. Он жил геологией мелового, или оолитического, периода не больше, чем политическими и культурными событиями собственного века. К религиозным воззрениям своих дней он относился с гораздо более живым и сочувственным интересом, чем Дарвин или Гексли, и религия для него значила много.

«Каюсь, — писал он Гексли, — что в своих рассуждениях о трансмутации я опередил и чувства свои, и воображение. Но именно по этой причине я приведу к Дарвину и к Вам больше сторонников, чем любой иной, кто, подобно Леббоку, родился позже и должен был отказаться от сравнительно немногих старых, взлелеянных за долгое время представлений. В них для меня в молодые годы таилась главная прелесть теоретической стороны науки, когда я еще верил вслед за Паскалем в теорию „падшего ангела“, как ее именует Холлэм»[135].

И вот, пройдя немалый путь, он, к невыразимому огорчению Дарвина, начал шаг за шагом отступать назад. Чем больше он размышлял об эволюции, тем привлекательней ему казалась мысль о вмешательстве свыше. «У меня такое чувство, что Дарвин и Гексли слишком обожествляют второстепенные причины, — писал он Гукеру. — Они полагают, будто изменчивость и естественный отбор позволили им проникнуть в область

„непознаваемого“ глубже, чем это есть на самом деле». Кроме того, Ляйелл питал необъяснимое пристрастие к Ламарку и считал, что Дарвин лишь видоизменил его учение. «Согласен заглянуть в Ламарка еще раз, — обещал ему Гексли, — но сомневаюсь, чтобы оценка моя от этого изменилась к лучшему». И вполне справедливо продолжал:

«Мысль об общности происхождения принадлежит не ему — и уж тем более мысль об изменениях путем вариаций… Дарвин прав относительно естественного отбора — открытие этой vera causa ставит его, я считаю, неизмеримо выше всех его предшественников, — и называть его учение разновидностью учения Ламарка было бы, по-моему, все равно что называть Ньютонову теорию небесной механики разновидностью системы Птолемея».

Однако Ляйелл такой кристальной ясностью видения не обладал. Был на исходе 1860 год, а он упрямо и недоверчиво размышлял над такими пустяковыми причудами эволюции, как грызуны из Австралии и мыши с Галапагосских островов[136].

И все же Дарвин не терял надежды.

«Я получил длинное письмо от Ляйелла, — писал он Гукеру, — который изобретательно изыскивает всяческие трудности… Это хороший знак: стало быть, он как следует овладел предметом и взялся за дело всерьез. И вообще замечательное письмо, оно порадовало меня до глубины души».

Но время шло, а эти мыши и грызуны никак не исчезали. Откровенно говоря, это были мыши и грызуны от богословия. Религиозные чувства Ляйелла, не на шутку растревоженные и взбаламученные, грозили проглотить его униформизм. Дарвин писал:

«Прискорбно читать, как Вы намекаете на сотворение „четко различимых последовательных типов, а также известного количества столь же четко различимых исконных типов“. Помните: если Вы допускаете это, Вы отвергаете доводы эмбриологии *(для меня наиболее веские из всех),* а также доводы морфологические и гомологические. Вы режете меня без ножа, да и себя Вы режете — думаю, что Вы еще о том пожалеете. На этом покончим с видами».

Несмотря на расхождение во взглядах, переписка между Ляйеллом и Дарвином за эти годы полна необыкновенного очарования. Бодро рыщут по сумрачным лесам метафизики собака динго и ящерица амблиринхус. Обсуждение «беременности у охотничьих собак» и «приспособляемости дятлов» соседствует с дискуссиями о «предопределенности судьбы, свободе воли, абсолютном предвидении». К сожалению,

многие из писем Ляйелла утеряны. Историю еретика приходится восстанавливать по ответам святого. «Я склонен не соглашаться, что динозавры лишены свободы воли, какой, бесспорно, обладаем мы», — писал Дарвин.

Как всегда, когда речь шла о судьбе его заветной идеи, он обнаруживал бесконечную терпеливость и находчивость:

«Еще два слова насчет обожествления естественного отбора: то, что ему придается такое большое значение, никак не исключает законов еще более всеобщего характера, то есть таких, которые повелевают всем миром. Я говорил, что естественный отбор играет по отношению к строению организма ту же роль, что архитектор по отношению к зданию. Само существование такого человека, как архитектор, свидетельствует о наличии более всеобщих законов; однако, отдавая должное архитектору за постройку здания, никто и не вспомнит о законах, которые привели к возникновению человека».

И еще в том же письме:

«Я не могу поверить, что в образовании видов Создатель принимал хоть на йоту больше участия, чем в установлении орбиты планет. Только по милости Пейли и ему подобных, я думаю, стало принято считать, будто живые существа непременно должны пользоваться особым вниманием с его стороны».

Несмотря на отдельные разочарования, Дарвин продолжал питать надежды на лучшее, пока не прочел рукопись Ляйелла собственными глазами. В июле 1860 года он еще писал о Ляйелле Грею: «Принимая во внимание его возраст, прежние его взгляды и положение в обществе, я нахожу его поведение в этом вопросе героическим». Еще 26 сентября он полагал, что Ляйелл, «быть может, сам того не сознавая, за последние полгода во многом перешел на новые позиции». После он уже ни о каких новых позициях не говорил, но по-прежнему оставался великодушен. Прочитав куски неоконченной рукописи, он горячо отзывался о точности в части геологии, о замечательном обилии фактов. «Что за славную древнюю родословную Вы подарили роду человеческому!» — восклицает он, и дальше опять характерное восклицание: «P. S. Какой отменный пример — этот рог вымершего оленя, обработанный человеком!»

«Древность человека», как и «Место человека в природе», вышла в свет в январе 1863 года. В книгу Ляйелла было вложено гораздо больше труда, имя его было пока что гораздо более известным, но время его обогнало. Он по-прежнему не решался переступить черту, проведенную папой Александром VI поперек мира, по-прежнему вел дипломатическую игру с недомолвками и соблюдениями приличий. Больше того, предусмотрительная

туманность его выражений уже просочилась и в его воззрения. «Древность человека» начинается как геологический трактат, а кончается как опыт умеренного богослова. Ляйелл оказался не в силах прийти к твердым взглядам в вопросах эволюции, естественного отбора, происхождения человека, степени и характере вмешательства свыше. Потому, как замечает Дарвин, книга его была обречена на то, чтобы остаться «компиляцией».

«Однако, — оговаривается Дарвин, — компиляцией самого высокого класса». В ней содержится скрупулезный разбор личных наблюдений в Энгисе, Неандертале, Натчезе и других местах, а также анализ геологических слоев, в которых там были сделаны находки. В ней подробно прослеживается полемика между Гексли и Оуэном из-за так называемой «птичьей шпоры» и тактично выносится приговор в пользу Гексли. В ней есть главы, посвященные ледниковому периоду, которые, по мнению Дарвина, «местами просто прекрасны». До сих пор здесь все основательно, последовательно, исполнено уверенной силы профессиональных знаний. Но вот Ляйелл переходит к рассмотрению видов, и отсюда начинается та бесконечная нерешимость, из-за которой «Древность человека» столь интересна как человеческий документ и столь незначительна как научный трактат. «Он проявляет большое искусство в умении находить самые выразительные доводы в пользу изменчивости видов, — говорит Дарвин, — и тем не менее одно из наиболее сильных его высказываний подобного рода начинается так: „Если когда-нибудь будет с высокой степенью достоверности установлено, что виды развиваются путем изменчивости и естественного отбора…“». Применение им дарвиновских принципов к развитию языка отличается тщательностью и строгостью, выдавая глубокие познания в области эволюционной теории и глубокое невежество в лингвистике, но завершается глава — возможно, в ответ на сугубое внимание Гексли к человеческой речи в его «Месте человека» — разбором мудрого изречения Гумбольдта: «Человек является человеком лишь благодаря речи, но чтобы придумать речь, он должен быть уже человеком».

Рассуждения Гумбольдта о человеке служат уместным введением к последней главе, посвященной классификации человека — коренной проблеме книги Ляйелла, которая занимает центральное место и в книге Гексли. Гексли удается прийти к определенному решению главным образом потому, что он умеет, пусть хотя бы на время, отрешиться от того, что в человеке есть духовное начало. Ляйеллу же прийти ни к какому решению не удается, ибо он о духовном начале не забывает ни на секунду.

Классифицировать человека как обезьяну, быть может, поучительно, однако Ляйелл не желает воспользоваться даже поучительным методом, если он предполагает пусть временное, пусть условное, но все-таки отрицание того, что человек создан по образу и подобию божьему. Он начинает с разбора биологических классификаций, особо выделяя «нематериальное начало», которое, хоть и «прослеживается до отдаленного прошлого органического мира», делает большой скачок при переходе к человеку. Потом он перефразирует Карлейля, повторяет архиепископа Кентерберийского и заканчивает картинкой «все возрастающего владычества духа над материей», написанной почти в манере Теннисона.

«В воскресенье вечером сюда приезжают Ляйеллы и пробудут до среды, — писал Гукеру Дарвин. — Страшусь этого заранее, и все-таки должен буду поставить его в известность о том, как он меня разочаровал, не высказавшись по вопросу о видах и тем более о человеке. И что самое смешное, он-то думает, будто вел себя с мужеством великомученика былых времен».

На самом деле Дарвину было совсем не смешно. Примерно неделю спустя он высказался Ляйеллу о «Древности человека» начистоту. «Вы… напускаете туману и вводите читателя в заблуждение». Он жалуется на такие обороты, как «мистер Д. тщится показать…» или «по мнению автора, это якобы проливает свет…», которые едва ли не хуже, чем прямое несогласие. Обидней всего, что естественный отбор упорно изображается Ляйеллом как перепев воззрений Ламарка. Дарвин с нарастающим раздражением протестует против того, чтобы идеи его и Уоллеса связывали с «никудышной», по его мнению, книжкой, из которой он лично «не почерпнул ничего».

Написав это, Дарвин тут же пожалел о своей откровенности, однако Ляйелл отозвался «добрым и обворожительно искренним письмом», и переписка их быстро обрела прежнюю сердечность. В скором времени Дарвин уже делился с ним мнениями о взглядах герцога Аргайльского на половой отбор и благодарил за прекрасный совет насчет сносок к главе о собаках в его новой книге. Но теперь, пожалуй, кое-что изменилось. «Есть всего два отважных человека, — писал он Гексли, — Вы да еще Гукер».

И между тем из старых друзей Дарвина только Ляйелл, кажется, обманул его надежды. Остальные почти поголовно отреклись от прежних колебаний. Гукер и Гексли прозрели очень рано, и свет истины сразу снопами брызнул им в глаза. Джордж Бентам, не принадлежавший к числу близких друзей Дарвина, был так потрясен знаменитым докладом о работах Дарвина и Уоллеса, что забрал назад собственную рукопись об устойчивости

видов, которую намечалось зачитать тогда же. «Происхождение» произвело полный переворот в его взглядах. Генсло, тот самый профессор ботаники, за которым Дарвин ходил по пятам в Кембридже, а ныне тесть Гукера, встретил «Происхождение видов» непроницаемым молчанием, настороженно и беспристрастно председательствовал во время знаменитой расправы Гексли над епископом Оксфордским, незаметно перешел к сдержанной защите новой ереси и на исходе своих дней, медленно и безропотно угасая, все с той же осмотрительностью и чувством меры отошел от своих прежних ортодоксальных взглядов.

Но больше всех новообращенных порадовал Дарвина глыбоподобный, бивнезубый, зычноголосый Хью Фоконер, который в своё время рычал, что Дарвин своей чертовой эволюцией совращает с пути истинного Ляйелла и Гукера. Когда «Происхождение» вышло в свет, у Фоконера был самый разгар «всесторонних», полных приключений исследований созвучной его особе проблемы слонов, живых и вымерших. «Всю Швейцарию, — сообщал Ляйелл, — облетела весть о том, как Фоконер подбросил шляпу до самого потолка при виде бесподобных останков ископаемого „mastodon angustidens“ из Винтертура». К радости и удивлению Дарвина, он примерно то же проделал со своей шляпой, прочитав «Происхождение видов». И немедленно прислал на отзыв свою рукопись о слонах.

«При всех моих недостатках я испытываю к Вам такое неподдельное уважение, так к Вам расположен и покорен Вашей работой, что мне было бы огорчительно, если бы откровенное изложение моих взглядов вызвало у Вас какие-то возражения».

«В Вашей статье нет ни одного слова, против которого я мог бы хоть что-либо возразить», — ликовал Дарвин. А ведь Фоконер прежде так твердо придерживался устоявшихся взглядов!

Последовала веселая и дружественная переписка о слонах. Когда Оуэн хитрым маневром украл у Фоконера право дать название вымершему американскому слону, Дарвин не спал до трех часов ночи, клокоча от возмущения. Возвратившись в Англию после одного из своих палеонтологических набегов на континент, Фоконер с торжеством объявил:

«Я… привез с собой живого протея, предназначенного для Вас с той самой минуты, как он попал ко мне в руки… Бедная крошка еще дышит — хотя уже месяц не получает почти никакой пищи, — и я жду не дождусь, когда смогу избавиться от тягостной повинности морить ее голодом. У Вас ее ждет благоденствие и реальная возможность без промедлений развиться в какого-нибудь голубка — скажем, дутыша или турмана».

Знаки расположения слоноподобного доброжелателя способны иной раз привести человека в легкое замешательство. Дарвин рассыпался в благодарностях, сослался на отсутствие в доме аквариума и спешно предложил подарить бедную крошку Зоологическому обществу. Спустя немного времени Фоконер, воздев бивни и хобот и сотрясая воздух устрашающим ревом, ринулся на страницы печати, обвиняя Ляйелла в том, что тот в «Древности человека» присвоил лучшие из обнаруженных им костей. «Как не совестно обращаться подобным образом с почтенным ветераном науки», — писал Гукеру Дарвин; однако своей слабости к Фоконеру он так и не превозмог.

К 1863 году Дарвин сумел внушить доверие к эволюции всей европейской науке. «Дарвин побеждает всюду, — писал Морису Кингсли, — он нахлынул как наводнение, сметая любые преграды одной лишь силой фактов и достоверности». Дарвин мог торжествовать вдвойне: он не только выиграл битву, но и точно предсказал ход ее от начала до конца. Старшее поколение пребывало в нерешительности и разброде, но те, кто «был поколеблен хоть самую малость», со временем дрогнули не на шутку. Даже самые недоверчивые и знаменитые довольно быстро перестали придираться. Отец эмбриологии Бэр, который всю жизнь просидел над микроскопом, созерцая самые наглядные доказательства эволюции, проявил к новому учению сдержанный, но уважительный интерес, о чем и написал по-французски. Замечательный ботаник Декандоль, ссылками на которого пестрит «Происхождение» и который исследовал те же проблемы, что и Ламарк, объявил себя почти безоговорочным сторонником дарвинизма. Браун, видный и сведущий компилятор, вызвался руководить переводом книги на немецкий.

Но самым дорогим подарком — а также наилучшим подтверждением верности его прогнозов — была для Дарвина горячая поддержка со стороны молодого поколения. Юный друг Уоллеса Г. У. Бэтс блестяще объяснил в свете естественного отбора явления мимикрии[137]. По настоянию Дарвина он же выпустил в 1863 году свое прелестное «Путешествие по реке Амазонке», ставшее классическим образцом литературы о научных путешествиях. «В описании тропических лесов он не уступит никому, кроме Гумбольдта», — гордо заявил Дарвин.

В 1864 году с резкой критикой «Происхождения» выступили два крупных ученых. Одним из них был Р. А. Кёлликер[138], известный своими мастерскими работами по микроскопии, другой — П. Ж. М. Флуранс[139], автор незаурядных трудов по физиологии нервной системы и к тому же — Непременный

секретарь Французской академии наук, донельзя этим последним обстоятельством упоенный. Гексли, которому было в ту пору очень недосуг, разделался с ними обоими одной статьей, сокрушив Кёлликера тяжестью его же сухих и четких, но превратных толкований Дарвина, и как козявку раздавил Флуранса кирпичом его же чиновного самодовольства:

«Однако Непременный секретарь Французской академии наук обходится с мистером Дарвином как Наполеон Бонапарт с каким-нибудь „idéologue“[140] и, обнаруживая прискорбную немощность логики и убожество познаний, принимает, несмотря на это, непререкаемый тон, повсюду достаточно смехотворный, а временами прямо-таки выходящий за рамки приличий».

И после уничтожающей иллюстрации своих слов добивает Флуранса окончательно: «Ну а мы, англичане, такою благодатью, как Академия наук, обделены и потому не привыкли, чтобы с самыми талантливыми нашими людьми обходились этаким манером хотя бы сами Непременные секретари».

Дарвин захлебывался от удовольствия: «Дайте мне излить мой восторг… иначе я просто лопну».

11
ОРХИДЕИ, ПОЛИТИКА И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Со стороны следующие десять лет жизни Дарвина покажутся историей тихого затворника с большими, хоть и очень милыми, странностями. Однако, если приглядеться внимательней, заметишь и подводные течения: гнет непомерных трудов и печаль уходящего вдохновения, изнурительное напряжение все возрастающей сосредоточенности и, как следствие его, упорное нездоровье и все большая возня с лечением.

Выяснилось, что быть автором «Происхождения видов» — это целая профессия. То подготовка нового издания, то перевод еще на один язык. И как вечный источник мелочных унижений — вопрос о приоритете, больной вопрос с самого начала, с тех пор как объявился Уоллес. Мало сказать, что предвидение Эразма сбылось — оно сбывалось вновь и вновь. Похоже было, что идея, которая досталась Чарлзу ценой стольких размышлений и мук, сама собой, между прочим, пришла в голову половине чудаков Европы.

Через несколько месяцев после выхода в свет «Происхождения видов» в журнале «Хроника садоводства» появилось возмущенное письмо мистера Патрика Мэтью, претендовавшего на честь создания теории естественного отбора, которую он лет тридцать назад по изощренной жестокости судьбы втиснул в приложение к своей работе «Корабельный лес и лесоводство». Дарвин срочно раздобыл его книгу. Да, действительно, в трех разрозненных отрывках — четкое

изложение его гипотезы. Вот так неожиданность! В тревоге он посоветовался с Гукером, проглотил свое самолюбие и написал подобающий ответ, в котором сквозь полные достоинства извинения слышится мягкий укор: как могло кому-то прийти в голову упрятать столь бесценные идеи в приложение к книге о лесоводстве?! Но Мэтью не пожелал сменить гнев на милость и на своих визитных карточках и титульных листах своих работ стал печатать: «Первооткрыватель принципа естественного отбора».

В 1865 году некий «янки» обратил внимание Дарвина на работу доктора У. Ч. Уэллса, прочитанную в Королевском обществе в 1813 году, и на его же «Два исследования о росе и о единичном изображении, видимом двумя глазами» 1818 года. Опять естественный отбор! «Итак, бедный Патрик Мэтью все-таки не первооткрыватель», — с нескрываемым удовольствием писал Гукеру Дарвин. Придется старичку еще раз переделывать свои титульные листы! В 1866 году Дарвин предпослал новому, шестому, изданию «Происхождения» «Исторический очерк». Из всего, что им написано, это самые вялые страницы. Нехотя отводится скупой абзац Ламарку, а память деда Эразма, этой жертвы фамильной скромности, мимоходом увековечена единственной фразой в конце сноски.

Великая книга привлекала превеликое число посетителей и служила поводом для бессчетных посланий. «Побывал у нас один русский, отчаянно скучный», — пишет Дарвин. И опять: «Все дураки Европы словно сговорились задавать мне глупейшие вопросы». Авторы иных писем после цветистых восхвалений «Происхождения» сообщали, что сами написали тоже очень похожую книжку, только она «гораздо глубже». Так, один врач из Германии «объясняет происхождение растений и животных на основе принципов гомеопатии или закона спирали. В Германии книгу не оценили, а потому не буду ли я любезен перевести ее и напечатать в Англии». Ляйелл написал про свой оживленный разговор о дарвинизме со старшей принцессой, которая, как истая дочь принца Альберта[141], с большим интересом следила за битвой современности. «Она оказалась вполне au fait[142] во всем, что касается „Происхождения“, книги Гексли, „Древности“ и так далее», — писал Ляйелл. Дарвин отнесся к этому событию довольно хладнокровно: «У меня, как у всякого англичанина, врожденная слабость к титулам, и узнать про этот эпизод с принцессой мне было приятно».

В 1865 году, подготавливая свою книгу для второго французского издания, Дарвин сделал небольшое открытие. «Я читаю „Происхождение“ как бы в первый раз… — писал он Гукеру, — и, сказать по совести, дружище, книга, конечно, очень

недурна, но уф до чего же туго читается!»

Нешуточным испытанием была работа над немецким переводом, сделанным Виктором Карусом. «Хорошо помню, — писал Френсис Дарвин, — с каким восхищением (правда, и с долей досады на собственные оплошности) отец встречал каждый очередной перечень неточностей, неувязок и т. д., обнаруженных профессором Карусом во время перевода».

«Происхождение» взвалило на плечи Дарвина двойную задачу: ему предстояло написать книгу и решить проблему. Книгой должен был стать тот самый капитальный труд, кратким изложением которого первоначально мыслилось «Происхождение видов». Проблемой же была, разумеется, эволюция — в частности, такой нерешенный ее аспект, как наследственность, и такой спорный вопрос, как место человека в природе. Невольно чувствуется, что Дарвин со своей придирчивой, щепетильной добросовестностью был немножко сбит с толку сложным характером своей задачи, и иногда ему представлялось, будто написать книгу — почти то же самое, что решить проблему. Должно быть, он не раз чувствовал соблазн принять труд за свершение. В истории духовной жизни Дарвина в позднюю пору присутствует нечто лаокооновское…

Едва закончив «Происхождение», он упрямо засел за свой капитальный труд, но с первых же шагов столкнулся с загадкой наследственности, и нить исследований повела его обратно к тому, чем он занимался давным-давно: к проблеме оплодотворения у растений. Еще летом 1839 года он начал изучать перекрестное опыление цветов насекомыми, исходя из положения о том, что «скрещивание играет важную роль в сохранении постоянства видовых форм». Мало-помалу он сосредоточил свой интерес на орхидеях. Он прочел в «Трудах Линнеевского общества» работу Роберта Броуна и достал по его совету «Das entdeckte Geheimniss der Natur»[143] Х. К. Шпренгеля[144].

Очень скоро он отдался орхидеям с той же беззаветной страстью, с какой прежде посвящал себя усоногим рачкам. Сейчас это было менее долгое служение и, наверное, более счастливое, хотя в свое время он таял и млел перед структурными прелестями осклизлого и смрадного рачка точно так же, как ныне — перед яркими красками и прихотливым рисунком цветка орхидеи. И все-таки цветку он отдавал предпочтение.

«Он часто высмеивал тусклую палитру высокого искусства, — пишет его сын, — и сравнивал ее с сочными тонами природы. Я, бывало, любил слушать, как он восторгается красотой цветка: в этом была и своеобразная благодарность самому цветку, и какое-

то личное любовное чувство к изящным его линиям и оттенкам. Мне смутно помнится, с какой нежностью дотрагивался он до цветка, который очаровал его».

Как многие люди, не отличающиеся красноречием, Дарвин при разговоре усиленно жестикулировал, «казалось, скорей в помощь самому себе, чем собеседнику». Его сын вспоминает, что, толкуя об оплодотворении орхидей, Дарвин пользовался жестами, как другие — бумагой и карандашом.

Орхидеи оказались таким совершенством, что он даже не смотрел на свои занятия с ними как на серьезную работу. Тратить на них время было сплошным наслаждением.

«Одна лишь добродетель моя удерживает меня от желания исследовать орхидеи и дальше… — писал он Гукеру. — Тем не менее я только что просмотрел перечень, составленный Линдли[145] в „Растительном царстве“, и просто не могу пройти мимо двух-трех красоток из выделенной им огромной группы Arethusae[146], куда входит и ваниль».

И спустя немного: «От близкого знакомства с апостазией надо воздержаться, хотя я много раз кидал на нее в книге Бауера алчные взгляды!»

Но, конечно, ни от изучения ванили, ни от близкого знакомства с апостазией он не удержался, и, конечно, работа, задуманная как статья, постепенно переросла в книгу. Надо сказать, что Чарлзу пришлось делать тут больше открытий, чем он предполагал, ибо, несмотря на превосходные работы Броуна и Шпренгеля, сведения об орхидеях покоились на довольно-таки шаткой основе. Цветы оказывались не совсем такими, как рисовал их великий Бауер. То, что представлялось простым, доказанным, вдруг оборачивалось отчаянно сложным и запутанным. «Если мне не удастся объяснить орхидею Habenaria, вся моя работа пойдет насмарку, — трагически восклицает он в письме к Гукеру. — И зачем только, глупец несчастный, я притронулся к этим орхидеям!» Но проходило время, и, разумеется, каждая разновидность открывала ему свои тайны. И что это были за чудеса приспособления! «Я подробно описал Гексли прорастание пыльников у орхидеи Catasetum», — писал он своему новому знакомому, Т. Фарреру и в ответ получил: «Неужели Вы думаете, что я всему этому поверю?»

Как всегда, у Дарвина не было недостатков в помощниках. Гукер и Линдли присылали редкостные экземпляры орхидей; сыновья ловили по вечерам бабочек-опылительниц, и все кругом следили, какие насекомые садятся на орхидеи. Даже лорд Эйвбери[147] и тот получил указание:

«Обращаюсь к Вам с неотложной просьбой (знаю, как Вы

заняты, но не представляю себе, кто еще из натуралистов способен это проделать с должной тщательностью) — выбрать место, где растет обыкновенный луговой клевер (если такое имеется поблизости от Вас), и понаблюдать за медоносными пчелами: может статься (если мы только не опоздали), Вы увидите, как одни сосут сквозь венчик маленького цветочка, а другие — их меньше — у основания цветка сквозь дырочку-прокол в трубке венчика. Вам будет видно только, как пчела зарывается поглубже в соцветие и там копошится. Так вот, если Вы это увидите, ради бога, поймайте мне по нескольку штук тех и других, заспиртуйте и держите врозь».

Увы! На другой же день летели новые каскады извинений и оговорок: «Виноват, тысячу раз виноват. Браните меня, как Вам угодно, только не сердитесь: я совершенно, заблуждался относительно пчел (правда, отчасти это простительно). Как бы хотелось надеяться, что из-за моей дурацкой ошибки Вы не потеряли даром времени. Кляну себя, кляну клевер, кляну пчел».

То и дело на голову ему валились беды, неминуемые в век сомнительной гигиены да еще при многочисленном семействе. Переболев в 1858 году дифтеритом, все время прихварывала его дочь Генриетта, в конце концов ей был предписан теплый климат. Летом 1862 года один из его сыновей заболел скарлатиной. Когда мальчик выздоровел, Дарвин снял дом в Борнмуте, но по дороге туда слегла от скарлатины его жена. «Злосчастное мы семейство, — писал он Аза Грею. — Вот таких и истребляют. В этом тягостном мире нет конца невзгодам». И в другом письме:

«Дети — величайшая в жизни радость, но очень и очень часто — еще большее горе. Человеку науки их заводить нельзя, жену, может быть, тоже; тогда он не будет привязан ни к чему на всем белом свете и сможет (будет ли в силах — это другой вопрос) работать и работать, как одержимый».

Книга «Разные приспособления, при помощи которых орхидеи опыляются насекомыми» вышла в свет в 1862 году. Это работа о тайных пружинах и скрытых ловушках природы. Опыление орхидей — целая мелодрама тончайших ухищрений, которая разыгрывается в микрокосме экзотической красоты. Насекомое привлечено сладостным ароматом. Иногда перед ним открывается дверца со створками-лепестками и тотчас захлопывается за ним. Иногда крутой проход, точно потайная лестница в доме с привидениями, подводит насекомое прямо к тому месту, откуда можно тянуть нектар и одновременно привести в действие всю механику цветка. Когда насекомое коснется клювика цветка, масса пыльцы осыпает его, словно стрелами, или плотно охватывает его хоботок, или, чаще всего,

просто выскальзывает из некоего подобия люка и прочно приклеивается к нему при помощи двух липких подушечек. Потом передышка; пока насекомое сосет нектар и затем удаляется, захваченная им подушечка с пыльцой поворачивается на своей ножке таким образом, чтобы непременно соприкоснуться с рыльцем соседнего цветка, когда насекомое сядет на него. Большинство орхидей неизменно опыляется перекрестно и полностью зависит от насекомых. Немногие самоопыляющиеся виды Дарвин относит к дегенеративным.

«Хотелось бы услышать Ваше мнение, — писал он, пожалуй не без лукавства, Аза Грею, — относительно того, что говорится в последней главе моей книги об орхидеях, о бесконечном разнообразии средств, ведущих к достижению одной и той же общей цели, и о причине и смысле такого разнообразия. Он связан с предопределением, сей бесконечный вопрос. Покойной же ночи Вам, покойной ночи!»

Разумеется, книга об орхидеях совсем не так безобидна, как может показаться. Орхидеи словно созданы для того, чтобы служить оплотом антидарвинистам. Прежде всего, они, подобно другим замысловатым по своему строению организмам, считались в ботанике ярким примером искусства ради искусства или, по крайней мере, искусства ради человека. И раз так, они не имели ни малейшего отношения ни к целесообразности, ни к естественному отбору. Поэтому Дарвин и показал, что изощренная красота орхидеи не просто радует глаз человека, но служит на пользу самому растению, что «бессмысленные на первый взгляд бугорочки и рожки» нужны и целесообразны.

Но даже если допустить, что господь бог отдавал предпочтение полезности, а не красоте, все равно на первый взгляд похоже было, что книга Дарвина лишь подтверждает довод о существовании в природе промысла божьего. На самом же деле она этот довод подрывала. Аза Грей не замедлил это обнаружить, на что Дарвин, в свою очередь, не замедлил отозваться: «Из всех, кто метит в самую точку, Вы попадаете первым, никто больше не догадался, что орхидеи заинтересовали меня главным образом как возможность „обойти врага с флангов“».

Короче говоря, вместо того чтобы нападать в лоб на идеи творения и высшего промысла, он стремится показать их несостоятельность, выявленную реальным развитием науки. Приспособления у орхидей во всем их многообразии, во всей их сложности никак не могли быть результатом единого акта создателя. В строении орхидей заложено слишком много истории. Работа завершается разбором гомологий, в котором Дарвин прослеживает развитие орхидей из его истока — растений класса

однодольных. Это движение от формы обобщенной к форме высокоразвитой и специализированной лучше всего объясняется естественным отбором. Дарвин говорит:

«…чем больше я изучаю природу, тем больше убеждаюсь, что изумительные устройства и приспособления — приобретаемые постепенно, по мере того как накапливаются мелкие, случайные изменения, идущие во многих направлениях, при сохранении тех признаков, которые в сложных и постоянно меняющихся условиях жизни благотворны для организма, — неизмеримо превосходят самые изощренные устройства и приспособления, какие способна создать человеческая фантазия».

Не правда ли, рассуждения подобного рода хоть кого наведут на мысль, что вселенский разум излишен, когда в мире имеется естественный отбор?

После того как книга была выпущена, герцог Аргайльский в журнале «Эдинбург» заявил, что, хотя доводы Дарвина служат доказательством естественного отбора, язык его служит доказательством господних предначертаний. Он все время пользуется такими выражениями, как «прекрасное изобретение», «нижняя губа предназначена… для того, чтобы привлекать», «нектар умышленно помещен». Автор рецензии делает вывод, что Дарвин нечаянно проговаривается о правде. Выпад герцога блистательно парировал Уоллес, и Дарвин сохранил душевное равновесие.

Признаться, Чарлз не так страшился богословов, как ботаников. Книга об орхидеях была задумана как пример применения естественного отбора к растительному царству, и теперь автор ее был полон дурных предчувствий от сознания, что вторгся в чужую область да еще открыл там основной закон. Но ботаники читали и только похваливали. Большим спросом пользовалась книга и у широкого читателя. Чарлз был так изумлен и обрадован своим успехом, что счел нужным сочинять на самого себя уничтожающие отзывы, чтобы не потворствовать собственному тщеславию.

Изучение орхидей осталось для него любимым занятием на всю жизнь. «Чудесные создания эти орхидеи, — писал он совсем уже на склоне лет, — и порой отрадно бывает вспомнить, что кой-какие мелкие частности в их способе оплодотворения выяснил я».

30 ноября 1864 года Королевское общество, уступив веяниям времени, наградило Дарвина Коплеевской медалью. Впрочем, это отнюдь не означало, что английская наука уже решилась выразить одобрение его взглядам. Под благовидным прикрытием обтекаемой казенной фразеологии генерал Сэбин в торжественном слове на юбилейном обеде подчеркнул общие

заслуги Дарвина в геологии, зоологии и ботанике, а вслед за тем, обдуманно вынув из «Происхождения» самую его душу, стал превозносить этот труд как ценный для науки «кладезь наблюдений». Он не преминул отметить, что в основном награда присуждается Дарвину за такие классические работы, как «Опыление орхидей».

Тотчас же, возмущенный этой попыткой опорочить величайшее достижение его друга, поднялся Гексли и пожелал узнать, выразил ли генерал мнение всего общества. Сэбин мигом смягчил наиболее обидные выражения. Столь же возмущенный, хотя по-прежнему плутающий меж двух миров, выступил с возражениями и Ляйелл. Потом он сообщил о случившемся Дарвину, который по обыкновению при этом не присутствовал: «Я сказал, что был вынужден отречься от своей старой веры, не нащупав еще как следует дороги к новой. И все же я зашел так далеко, что, думаю, Вы остались бы довольны», — виновато прибавил он.

Надо сказать, что еще в 1863 году настойчивые требования наградить Дарвина медалью потерпели неудачу, и даже в 1864 году некоторые члены общества ожесточенно этому сопротивлялись. Дарвин с жадным любопытством выведывал у Гукера их имена. Менее склонный, чем Гексли, ждать от других, как и от себя, логики, он усматривал в странном поведении Сэбина и Королевского общества нечто обнадеживающее и многообещающее. «Я очень горд собой, — писал он Гексли, — и причиной тому Сэбин, при изрядном содействии с Вашей стороны».

Целый год после этого разные общества, королевские и прочие, наперебой навязывали ему свои знаки отличия. Он был избран почетным членом Берлинской академии, Эдинбургского королевского общества и Королевского медицинского общества. Естественно, он терял свои дипломы и забывал, в каких обществах состоит.

«Что, Берлинская академия наук посылает почетным членам свои ученые записки? — озабоченно осведомлялся он у Гукера. — Это мне нужно, чтобы установить, выбирали меня почетным членом или нет; по-видимому, не выбирали, иначе это оставило бы у меня какой-то след, а в то же время я отчетливо помню, что получал некий диплом, подписанный Эренбергом[148]».

Зато необыкновенно приятно было признание его заслуг Королевским обществом Эдинбурга: еще зеленым студентом-медиком его водил на одно заседание общества тесть Ляйелла Леонард Хорнер, и Чарлз увидел на председательском месте прославленного человека, чьи романы — и тогда, и в поздние

годы — он перечитывал снова и снова.

«Председательствовал сэр Вальтер Скотт; он принес присутствующим извинения, сказав, что не считает себя достойным такой высокой роли. В каком-то почтительном благоговении взирал я на него, на всю эту картину… Если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что в один прекрасный день я удостоюсь этой чести, клянусь, подобная мысль показалась бы мне дикой и несуразной, как предположение, что меня могут избрать английским королем».

Ну а если бы ему сказали, что в один прекрасный день он будет представлен принцу Уэльскому, Чарлз либо покатился бы со смеху, либо решил, что в таком случае возможность быть избранным английским королем тоже вполне осуществима. А между тем принцу его представили, и не как-нибудь, а — об этом Эмма писала Фанни Аллен — первым из троицы избранных и достославных. Произошло это на приеме, устроенном Королевским обществом. Чарлз только что отпустил окладистую викторианскую бороду, которая оказалась столь действенным средством маскировки, что его не узнавали даже старые друзья. Принц — «славный малый, приветливый и с прекрасными манерами» — что-то пробормотал ему, но Дарвин не расслышал. Посему Чарлз низко поклонился и проследовал дальше. А что подумал Берти[149] о подобном скоплении седых бород и премудрых лбов вообще и о пресловутом ведуне-обезьяннике в частности, до потомков не дошло. Быть может, он вообще не считал, что обязан думать.

Готовясь к дальнейшим изысканиям по ботанике, Дарвин решил завести у себя небольшую оранжерею. При участии соседского садовника оранжерею с воодушевлением спроектировали и построили. «Новая теплица готова, — писал Дарвин Гукеру, — и мне, как школьнику, не терпится поскорей, ее заселить». И неделю спустя: «Вы не представляете себе, сколько удовольствия мне доставляют Ваши растения (куда больше, чем способны доставить Ваши безжизненные веджвудские черепки[150]). Все хожу и никак не налюбуюсь». Ни дурнота, ни головные боли не могли его удержать. «Тепличные растения удивительно меня развлекают, — говорил он. — Раза три уже плелся на них поглядеть».

Одно замечание Аза Грея насчет усиков лазящих растений навело его на свежий след. Он поставил у себя в кабинете дикий огурец[151] и принялся наблюдать. Оказалось, что за определенное время, от получаса до двух часов, верхушка каждой веточки описывает полный круг. Покрутится так раза три, отдохнет полчасика и раскручивается в другую сторону. Никакой

связи со светом эти движения не имели. И еще: всякий раз, как усики нащупывали какой-нибудь предмет, та самая чувствительность, о которой обмолвился Грей, побуждала их немедленно за него уцепиться и прикрепиться к нему. Дарвин был ошеломлен.

Вечером к нему заглянул побеседовать «знаток-садовод» и наблюдал, как ведет себя растение.

— Я, сэр, полагаю так, что усики умеют видеть, — объявил он, — куда ни посадишь вьюн, все равно, если торчит неподалеку какой-нибудь колышек, вьюн обязательно его отыщет.

«Каким-то чувством усики обладают, — сообщил Дарвин Гукеру, — ведь друг за друга молодые побеги не цепляются».

Теперь он, как нетрудно догадаться, отдавал всю душу лазящим растениям. Кстати, они не оторвут его ни от капитального труда, ни от главной проблемы. «Кропотливое занятие, как раз по мне: и времени не отнимает, и превосходное средство отвлечься, когда пишешь».

«Нынешним моим увлечением, а именно — страстью к усикам, я обязан Вам, — писал он Аза Грею, — их раздражимость прекрасна, так прекрасна во всех своих проявлениях, что ничем не уступит орхидеям. Что касается самопроизвольных (не вызванных прикосновением) движений усиков и верхних междоузлий, то меня слегка озадачили Ваши слова: „Разве это не общеизвестно?“ Ни в одной книге, какие у меня есть, я ни слова об этом не нахожу».

Не сообщит ли ему Грей, что можно почитать по этому вопросу? «А я не буду жалеть, если окажется, что моя работа не нова, — писал он под конец, — уж очень она меня развлекла».

Новая оранжерея быстро наполнялась различными вьюнами, присланными Гукером из Кью. Дарвин одолел две увесистые немецкие книжищи и возжаждал описанных в них экзотических вьюнов. Несмотря на затянувшуюся болезнь, он всю весну 1864 года ставил опыты, наблюдал.

Но в конце концов где-то надо остановиться, и он заставил себя приступить к записям. Вот и последняя мучительная стадия, отравившая ему все эти месяцы безоблачного счастья. «Вчера закончил и отослал рукопись о лазящих растениях. Десять дней только тем занимался, что правил строптивые фразы, и теперь возненавидел все лазящее!»

Работа «Движения и повадки лазящих растений» была опубликована в «Журнале Линнеевского общества» в 1864 году, а в 1875 году вышла отдельной книгой. Дарвин установил, что способность к лазанию в существе своем зависит от чувствительности к соприкосновению с любой прочной опорой. У

наиболее высокоразвитых растений, снабженных усиками, она проявляется в виде весьма совершенного сочетания выборочного роста и непроизвольного, удивительно быстрого движения молодых побегов и других органов. Как и следовало ожидать, здесь не обошлось без проповеди естественного отбора. Растения менее подвижны, чем животные, не обязательно потому, что обладают более низкой организацией, а потому, что прикреплены к месту и, стало быть, не могли бы извлечь никакого преимущества из развитой способности к передвижению.

Чарлз полагал, что для непосвященного книга будет слишком скучна, для специалистов слишком азбучна и заурядна. Но всем его друзьям она понравилась, о чем они и сообщили ему в самых теплых выражениях. «По-моему, друзья просто видят, что я падок на похвалу, — заметил он жене, — оттого так щедро и одаряют меня ею».

Следующий его замысел возник, благодаря дружбе с Джоном Скоттом, молодым садоводом, который заведовал отделом разведения в Эдинбургском ботаническом саду. Началось с того, что Скотт, большой поклонник «Происхождения», прислал Дарвину письмо, в котором как нельзя более скромно и почтительно указал на одну ошибку в книге об орхидеях. Письмо было на пяти убористо написанных страницах, изобилующих сведениями из ботаники и синтаксическими замысловатостями. Дарвин, слегка смущенный собственным промахом, все же не преминул разглядеть за громоздким синтаксисом и латинизмами светлую голову. «Он меня необъяснимо заинтересовал, — писал он Гукеру, — мнение о его интеллекте у меня сложилось самое высокое. Надеюсь, он не откажется принять от меня денежную помощь». С обычным тактом и застенчивой готовностью помочь он тайными ухищрениями добился того, чтобы статьи Скотта были приняты, а потом — опять-таки тайными ухищрениями — чтобы их не обошли вниманием и отметили в рецензиях.

А пока что ученик маялся со своим стилем, а учитель давал меткие, многое, кстати, открывающие в нем самом советы:

«Не отчаивайтесь из-за погрешностей Вашего стиля; Ваши письма читаются превосходно, в научной же части изложение страдает некоторой излишней вычурностью. Я никогда не задумываюсь о стиле; моя единственная цель — постараться составить для себя как можно более ясное представление о предмете и выразить его самым доступным языком, каким я владею. Но обычно, прежде чем подобрать самые простые словами расположить их должным образом, мне приходится основательно подумать… На первое время я предложил бы Вам поставить дело вот как: старайтесь очень скупо вводить в Ваши

работы теорию (я прежде сам часто этим грешил, занимаясь геологией); *руководствуйтесь теорией в Ваших наблюдениях,* но, пока не приобретете прочной репутации в науке, поменьше уделяйте места теорий в печатных трудах. Иначе Вы подрываете в людях доверие к Вашим наблюдениям».

Скотт много ждал от себя, но и от других ждал не меньше. Когда вышестоящие лица в чем-то недостаточно, на его взгляд, с ним посчитались, он недолго думая ушел из Эдинбургского ботанического сада и не без тревоги обнаружил, что лишился всяких средств к существованию. При содействии Гукера его удалось устроить на службу в Калькуттский ботанический сад, а проезд туда оплатил Дарвин.

Он возлагал на своего протеже большие надежды. В сдержанных, но теплых выражениях он отзывается об одной из статей Скотта в письме к Аза Грею: «Весьма незаурядная работа, хотя местами написана не очень доходчиво». И тотчас, не без расчета, заботливо вставляет: «Это в высшей степени трудолюбивый, способный человек, почти безукоризненно умеющий себя держать». Углубившись в подробное изложение статьи, он уже не в силах умерить свои восторги. Скотт представил то последнее, решающее доказательство естественного отбора, которого недоставало Гексли: он вывел опытным путем вариант, неспособный при скрещивании с родительской формой давать плодоносящее потомство. «Красный первоцвет остается абсолютно бесплодным, если его пыльца наносится на обычный первоцвет или пыльца обычного — на красный. Мы тут имеем новый физиологический вид».

Однако из поездки Скотта в Индию одиссеи творческого духа не вышло. Вышел спад, угасание. В опубликованной переписке следует семилетний перерыв, а затем приветливое, но несколько отчужденное письмо от Дарвина. «Вы проделали большую работу, — пишет он под конец, — и я уверен, сделаете еще многое». Так, с роковой печатью сердобольного полупризнания, Скотт канул в Лету. В 1880 году он возвратился в Эдинбург и в том же году умер. Однако не умерла для Дарвина проблема, которой он занимался. Общий со Скоттом интерес к примулам и другим диморфным цветам побудил его напечатать ряд статей, в которых он показал, что бесплодие все-таки не является определяющим признаком обособленности вида. Оно просто следствие несходства в органах размножения.

Год от года болезнь, сколько можно судить, точила его все сильней. «Непрерывная череда врачей, раздутый до непомерности ритуал лечения были необходимы для того, чтобы оградить его от

подозрений в притворстве», — говорит доктор Дуглас Хаббл. Долгое время Дарвин был верен доктору Галли и водолечению, исправно проделывая все, что ему велели: пять раз в неделю прогревания, «ежедневно пять минут под душем, ежедневно оборачиваться мокрой простыней». Только узнав доктора Галли получше, он начал сомневаться в пользе водолечения. «Есть у моего любимого доктора Галли… прискорбный изъян, — писал он Фоксу, — он верит во все подряд. Когда серьезно заболела одна наша общая знакомая, он призвал на помощь и ясновидицу, чтобы обнаружить, есть ли внутренние нарушения, и гипнотизера, чтобы усыплять болящую, и гомеопата, и сам все это довершал водолечением! Больная, кстати, выздоровела». За Галли последовали Лейн и Бринтон, потом их сменил Бенс-Джонс, который едва не уморил Дарвина голодом и предписал ему ездить верхом. В один прекрасный день на пустыре в Кестон-Коммон Томми, жеребец Чарлза, упал. После такого потрясения Чарлз предпочел лечиться у сэра Эндрю Кларка, чье ненавязчивое и успокоительное присутствие у одра болезни было знакомо стольким именитым викторианцам.

В эти наполненные работой годы быстро разлеталась по свету слава Дарвина, а рамки его частной жизни неуклонно сужались. Все требовательней, до самых ничтожных. подробностей подчиняла себе болезнь его вкусы и привычки. Бывать на людях стало для него почти непереносимо. Он уклонялся от присутствия на каких-либо официальных собраниях, виделся только с близкими родственниками да старыми друзьями. Он все реже наезжал в Лондон. За удовольствие провести вечер в Линнеевском обществе приходилось расплачиваться несколько дней. Поболтать полчаса с дальним родственником значило не спать потом всю ночь. Он поражался своей уязвимости. Он сожалел о ней. И, подчиняясь ее жестокой власти, несомненно, с пользой распоряжался сбереженным временем.

Люди не просто возбуждали его — с людьми возникали и проблемы. А всякую проблему, если только это в силах человеческих, непременно требовалось решить, не ложиться спать, пока не рассеешь последнее темное пятнышко сомнений. Не обидел ли он нечаянно кого-нибудь? Не представил ли что-нибудь ненароком в ложном свете? Он был даже в самых незначащих мелочах так взыскателен к себе, что у всякого другого это выглядело бы верхом педантизма, — всякого, кто по самой природе своей не был так чужд этого порока, как Дарвин.

Как-то вечером, когда в Дауне гостил его молодой друг и ученик Роменс, зашел разговор о том, как трудно поддается объяснению эволюция эстетических чувств и особенно —

способность воспринимать прекрасное. Дарвин сказал, что он глубже всего проникся ощущением прекрасного, когда стоял на вершине горы в Андах и озирал панораму, раскинувшуюся вокруг. Казалось, его «нервы обратились в скрипичные струны и все до единого трепещут». Затем беседа перешла на что-то другое, а примерно через час Дарвин отправился спать. Ромене с одним из его сыновей допоздна засиделся в курительной. В час ночи дверь тихо отворилась, и на пороге в халате и комнатных туфлях появился Дарвин.

— Я лег и все думал о нашем разговоре в гостиной, — объяснил он, — и вот только сию минуту понял, что сказал, вам неправду: я не тогда полней всего воспринимал прекрасное, когда стоял на вершине Кордильер; я совершенно убежден, что испытывал это ощущение сильней, когда находился в лесах Бразилии. Я решил, что лучше всего пойти и сказать вам это сразу, чтобы у вас не создалось неверное представление. Да, теперь я убежден, что самые возвышенные минуты я пережил в лесах.

Сказав это, он опять пошел к себе.

В мире, полном проблем, угрожающем на каждом шагу нервным потрясением, Даун-Хаус стоял крохотным островком, где царили Эмма и благословенная размеренность жизни. Чарлз вставал рано, ненадолго выходил в сад, в без четверти восемь в одиночестве завтракал и затем работал полтора часа до половины десятого. После этого он заходил за почтой в гостиную, радуясь тому, что писем мало, или приходя иной раз в сильное беспокойство оттого, что их много. Потом ложился на диван послушать, как будут читать вслух «семейную корреспонденцию». За письмами следовали две-три главы из какого-нибудь очередного романа, а там, до двенадцати часов, снова работа, которая на этот день, строго говоря, тем и ограничивалась — иными словами, он больше не писал и не ставил опытов и часто говаривал с довольным видом:

— Ну-с, сегодня я недурно поработал.

В полдень в сопровождении своего фокстерьера Полли он совершал моцион, заглядывал по пути на несколько минут в оранжерею, а оттуда направлялся на Песчаную пустошь — полоску земли в полтора акра, засаженную орешником, ольхой, кизилом, бирючиной, вокруг которой шла усыпанная гравием дорожка. Обычно он прохаживался мерным шагом, аккуратно отсчитывая пройденные круги, но иногда, особенно если гулял один, останавливался как вкопанный или крался на цыпочках, чтобы подглядеть какую-нибудь пичужку или зверька. «Один раз, — вспоминает его сын, — когда он так остановился, на него

— по ногам и спине — вскарабкались бельчата, а с дерева, вне себя от ужаса, верещала на них мамаша-белка».

После ленча он опять шел в гостиную — читать газеты. Потом отвечал на письма. С удобством расположившись у камина в широком мягком кресле, он либо строчил ответ сразу — стремительно и неразборчиво, либо набрасывал черновик, чтобы потом по нему диктовать. Друзья в один голос жаловались на его почерк — да он и сам подчас не мог прочесть, что написал, — так что обыкновенно он прибегал к помощи секретаря, наставляя его писать понятно и начинать важные предложения с красной строки. Следуя отцовскому правилу, Дарвин отвечал на все письма и никогда ни одного не выбрасывал. Для посланий, представляющих собой пустую формальность, у него существовал печатный образец, но пользовался он им редко. Даже на самый бесцеремонный вопрос о его религиозных взглядах следовал ответ, иногда вежливый, уклончивый, иногда откровенный и прямой. Знаменитости средней руки, должно быть, удивлялись тому, как уважительно обращается к ним эта звезда первой величины. Всякое его письмо к новому человеку — с непременным «надеюсь, Вы простите мою смелость» и «я должен извиниться, что обеспокоил Вас» — выдает его застенчивость. Тем не менее, побуждаемый своей добросовестностью, постоянной жаждой узнать как можно больше и, пожалуй, известным любопытством к людям, которые ему писали, он по обширности переписки превзошел почти всех своих современников. Как многие отшельники, с пером в руке он становился самым общительным из людей.

С трех до четырех часов дня он отдыхал у себя в спальне, слушая, как кто-нибудь читал ему вслух главу из романа, курил. Папиросы служили средством расслабиться в час досуга; нюхательный табак помогал собраться с мыслями во время работы. Поскольку прелесть самых лучших правил в том, чтобы их нарушать, он изредка успевал еще полчаса поработать до обеда, то есть до половины восьмого.

По сложившейся традиции после обеда он садился играть с женой в триктрак. Играл он — как делал все, что любил, — с азартом, горько сетуя на свое невезенье и взрываясь притворным гневом, когда выигрывала жена.

Он исправно вел счет очкам, хотя партии исчислялись уже тысячами.

Чтение у Чарлза было двух сортов, и читал он в двух разных положениях. Трудные или малоприятные научные книги читались поздним вечером в кабинете. Чтобы не мешали длинные ноги, Чарлз усаживался повыше, подкладывая на сиденье рабочего

кресла подушки, а потом восстанавливал равновесие, придвигая себе под ноги скамеечку. Так и тянет нарисовать себе мысленно эту картину: Чарлз за чтением пространного немецкого труда уезжает все выше под потолок… Все прочее он читал лежа на диване. Это были более удобочитаемые или близкие ему по духу научные работы, записки путешественников, книги по истории и, главное, беллетристика. О романе как произведении искусства он был невысокого мнения и все-таки зачастую благословлял всех романистов. «Роман, на мой вкус, можно считать первоклассным, лишь когда в нем есть герой, который по-настоящему вам полюбится, и если это хорошенькая женщина — тем лучше». С годами его все меньше тянуло слушать музыку, потому что под музыку невольно думалось о работе.

Проводя значительную часть своей духовной жизни на диване, Дарвин с каким-то подвижническим упорством хранил верность легкому и занимательному чтению. По временам всякий лишний жест или хотя бы необходимость держать в руке тяжелую книгу становились ему непосильны. Тогда над книжкой производилась хирургическая операция. Бестрепетной и святотатственной, на взгляд любого библиофила, рукой он разнимал увесистые, почтенные тома и читал их тоненькими, удобными тетрадками. Даже Ляйелловы «Начала геологии» не избежали общей участи. «Самым нахальным образом, — сообщает он автору, — <я> разрезал их надвое и вынул из переплета».

В известном смысле круг его чтения замкнулся так же, как рамки личной жизни. От философии, от метафизики у него неизменно начинались нелады с желудком. Собрался было почитать епископа Коленсо[152] — передумал и прочел не его самого, а о нем. Поэзией он интересовался лишь от случая к случаю.

«Передайте сердечный привет миссис Гексли, — писал он своему старому другу, — и скажите, что я почитываю „Еноха Ардена“, и, зная, какая она поклонница Теннисона, хочу обратить ее внимание на две очень миленькие строчки (стр. 105):

> …и он хотел; быть может, он хотел;
> Иль вправду он хотел тебе добра[153].

От подобных жемчужин вновь молодеешь и начинаешь любить поэзию чистой и пламенной любовью».

Еще ему доставляли удовольствие труды по истории, если они лестным образом свидетельствовали о точности его собственных представлений, а также научные сочинения общего характера, когда в них разбирались вопросы, смежные с

предметом его исследований. Он любил «Изыскания в области древнейшей истории человечества» Тейлора[154], а «Возникновение рационализма» Леки[155] считал слишком расплывчатым и полным отвлеченных рассуждений. «Принципы биологии» Спенсера произвели на него такое сильное впечатление, что он сам, по контрасту, сразу стал казаться себе ограниченным и несведущим.

«Если бы я чувствовал, что он вдвое умней и сообразительней меня, это бы еще можно перенести и лишь порадоваться, но когда вы чувствуете, что вас превосходят в десять раз — даже в высоком искусстве увиливания, — то невольно впадаете в уныние».

Похвала явно не без колкости. Примерно в то же время он писал Гукеру: «Сегодня ездил к Леббокам повидаться с Гербертом Спенсером и получил от нашей беседы большое удовольствие, хотя все-таки ужас до чего длинными словами он говорит. Я твердо установил, что на леди Леббок, как и на Вас, он нагоняет изрядную скуку». При всем том он был склонен считать, что, если бы Спенсеру чуть больше наблюдать и чуть меньше думать, это был бы поистине великий человек.

Но что из сочинений, не связанных с естествознанием, по-настоящему пришлось ему по душе — это «История цивилизации в Англии» Бокля[156].

«Читали Вы второй том Бокля? Меня он захватил необыкновенно. Ошибочны его взгляды или нет, мне безразлично, впрочем, думается, в них много верного. Каждое слово исполнено благородной любви к самосовершенствованию и правде, а в отношении языка, на мой вкус, среди английских писателей нет ему равных».

Этими словами сказано очень многое о чтений Дарвина, не связанном с его работой. По сути дела, он как бы ратует не только за Бокля, но и за самого себя. Он читал не затем, чтобы судить, но затем, чтобы развлечься, найти подтверждение своим мыслям, дать пищу чувствам. Для этого Бокль подходил как нельзя лучше. Он полон неистребимого интереса к первопричинам, он изучает человека как представителя животного мира, изучает широко, в его планетарном окружении, он страстный поборник науки, прогресса, гуманности, свободы — короче говоря, всех идеалов, которым был предан Дарвин. День ото дня вносит наука порядок и ясность в великий хаос неизвестного. Ей остается лишь изучить человека, и тогда мораль, история — вообще почти все придет в незыблемую систему, как та, которой подчинена механика. Опять-таки слог Бокля бывает тяжеловат, но он редко грешит нечеткостью и отвлеченностью. А там, где он пересказывает события, тяжеловесность исчезает,

Бокль становится прост, стремителен, ярок, с заразительным пылом сражаясь за викторианский прогресс, о каком бы периоде истории ни шла речь.

В своей любознательности к тому, что творится на свете, Дарвин был положительно всеяден. Он обожал факты все и всяческие, даже не имеющие отношения к науке. Одним из священнодействий в распорядке дня было у него чтение газеты «Таймс». Он принимался за нее сразу же после ленча, лежа на диване, но этот ущерб ее достоинству возмещался тем, что он прочитывал ее самолично и ничего не пропуская. Чарлз был «ярый политик» — иными словами, глубоко переживал политические события и не очень глубоко их обдумывал.

Гражданская война в Америке поставила его перед классической дилеммой патриотически настроенного гуманиста, дилеммой, не лишенной тонкой иронии, на какую в бесконечном своем разнообразии способна одна лишь история: развязный, неотесанный, вульгарный сброд пошел войной за справедливую идею на приятнейших людей, изысканных и аристократичных, отстаивающих идею несправедливую. Мало того: несправедливая идея обеспечивала английским фабрикантам дешевый хлопок, изысканные аристократы приумножали благосостояние Великобритании, меж тем как развязные нахалы были очевидной угрозой британскому могуществу. Правда, дилеммы истории остры и злободневны только в свете сиюминутной логики, скоропреходящей и неглубокой. Время нередко трагически превращает их в нечто парадоксальное и тривиальное.

Конечно, никакого четкого выбора между Севером и Югом Дарвин не делал. Наоборот, по разным поводам он выражал обеим сторонам горячее, даже фанатическое, одобрение, несколько умеряемое по временам отрешенностью наблюдателя, который рад поводу отвлечься от своих непосредственных забот. Переписывался на эту тему он по преимуществу с Аза Греем, которого события затрагивали куда глубже, заставляя быть требовательней в оценках.

«Никогда еще газеты не бывали так интересны, — писал Дарвин вскоре после того, как начались военные действия. — Северная Америка не отдает Англии должной справедливости; я не знаю человека, который не был бы на стороне северян. А есть такие — к ним отношусь и я, — кто будет всей душой приветствовать крестовый поход Севера против рабства, даже если он унесет миллионы жизней. В конечном счете миллионы ужасающих смертей с лихвой окупятся торжеством гуманности. Господи, как хотелось бы дожить до такого дня, когда с величайшим проклятьем на земле — рабством — будет

покончено!»

После победы конфедератов при Буль-Рене Дарвин выражает сомнение в том, что Север может выиграть войну. Кроме того, он не доверяет «господам из Вашингтона» и их благим намерениям относительно Англии. Грей твердит, что со стороны северян было бы безумием стремиться к войне, будь то война с Англией или с Конфедерацией. В то же время «существует распространенное мнение, что влиятельные круги Англии хотят превратить нас в слабую и раздробленную нацию и готовы пойти на многое, чтобы этого добиться». Соответственно немало людей в Америке настроены к Англии враждебно.

В первый год войны Франция и Великобритания признали Конфедерацию как державу, пусть не как независимую, но, во всяком случае, как державу, которая находится в состоянии войны. И Конфедерация послала в Париж и в Лондон своих представителей: Джона Слайделла и Джеймса Мейсона. Обоих с борта английского судна «Трент» захватили на свой военный корабль северяне. Великобритания заявила протест. А тем временем в Бостоне по случаю этого пленения устроили обед, на котором старинный враг был словесно повержен в прах сокрушительной силой американских гипербол. Дарвин писал Грею:

«Хорошее дело, нечего сказать: когда Вы получите это письмо, наши страны, возможно, уже будут воевать и нам с Вами, как добрым патриотам, придется друг друга ненавидеть, хотя для меня это будет задача не из легких. Занятно наблюдать, как две страны, словно два рассерженных глупца, так далеко разошлись во мнениях по поводу одного и того же события».

«Если мы и начнем войну, — прибавляет он (достаточно наивно, принимая во внимание ход событий), — то с крайней неохотой со стороны всех наших граждан, вплоть до министров».

Но уже через месяц, поразмыслив хорошенько, он пришел к выводу, что нападением на «Трент» следует, пожалуй, возмутиться. «Я должен сознаться, что речи и поступки Ваших заправил в последнее время… и особенно этот бостонский обед вызывают отвращение… я уже подумал, не лучше ли для мира на земле, чтобы вы не были расколоты на два или три государства». Теперь он резко переменился во взглядах на войну в Америке. «Нынешние беспорядки в Америке, — писал он Гукеру, — сильно всех нас приблизили к тори». Вот как!

Грей извинился за несдержанность речей в Бостоне. «Таким людям не подобало болтать вздор, даже ради того, чтобы сорвать рукоплескания в тесном кругу». Люди здравомыслящие — «кое-кто из них отказался быть на обеде» — относятся к этому

происшествию так же неодобрительно, как Дарвин. «Право, все эти речи ничуть не лучше выступлений иных членов парламента, даже хуже, потому что это было глупо». В натянутых отношениях с Америкой, говорит дальше Грей, повинна английская печать. Он посылает Дарвину американские газеты, чтобы в застойный мир лондонской «Таймс» проникло дуновение свежего воздуха.

Очередное письмо Дарвина исполнено степенности и миролюбия — быть может, оттого, что в ответ на протест англичан Линкольн распорядился, чтобы обоих посланцев Юга освободили.

Некоторое время переписка благоразумно придерживается твердой почвы профессиональных интересов. В августе Грей присылает младшему сынишке Дарвина марки, а в ноябре Дарвин упоминает о «Дневнике натуралиста», изданном мисс Купер. «Кто это такая? Кажется, очень толковая особа — во всяком случае, описание борьбы между *нашими* и *вашими* сорняками составлено ею превосходно». И затем прибавляет: «Как, не страдает Ваша американская гордость оттого, что мы так славно вас оттесняем? Не сомневаюсь, что миссис Грей будет на стороне отечественных сорняков. Вы у нее спросите: правда, ведь они у вас молодцы, эти сорняки, не в пример честней и лучше наших».

Грей настаивает на своем: никаких уступок и соглашений быть не может. Война окончится только победой северян, у которых и ресурсы, и людские резервы практически неограниченны. Страну постигнет разруха и запустение? Отнюдь. Даже теперь, сражаясь с мятежниками, она создает новые крупные отрасли промышленности, опоясывает континент железными дорогами.

«Боюсь, что это правда: англичанам действительно нет дела до рабства, — писал Дарвин после того, как была издаца прокламация о запрещении рабства, — я сам слыхал, как о том говорят старые, понимающие люди; они объясняют это тем, что… нынешнее поколение никогда рабства не видывало и мало что о нем слыхало».

Теперь он уже начинает терять доверие к «Таймс». «„Таймс“ отвратительна, как никогда (только это слишком слабо сказано), и становится все хуже. Моя добрая супруга намерена вообще с ней распроститься, но я говорю, что это верх героизма, доступный только женщине». Кроме того — не без энергичного содействия Грея, — он, по-видимому, начинает отдавать себе отчет, до каких пределов простираются британские симпатии. «Будьте снисходительны к бедной старой Англии, не кляните ее слишком» — таков обычный рефрен дальнейших его писем.

Почти до конца он не допускал мысли о победе северян. Уже

и Шерман взял Атланту, а он в том же месяце, вновь подпав под влияние «Таймс», строил догадки, «будет ли заключен мир и не сойдутся ли нейтральные штаты с южанами в вопросе о рабстве, отринув северян. В этом последнем случае вы, я думаю, объединитесь с Канадой, расторгнув союз с Англией, и, в противовес злокозненному Югу, образуете могучую державу».

Сим фантастическим домыслом тема американского конфликта в переписке Дарвина надолго обрывается.

Ни слова о Геттисберге или победе на Западе, ни слова о массированном наступлении Гранта на Ричмонд, о походе Шермана к морю или сдаче Ли под Аппоматоксом. Даже смерть Линкольна не прерывает мерного потока рассуждений о голубях и орхидеях, собаках и ледниках. Но вот, по-видимому, Дарвин снова заговорил на эту тему, потому что в мае 1865 года Грей отвечает: «Не нужно говорить, будто мы вас „ненавидим“». Американцы ценят добрые чувства Англии и «искреннюю скорбь по поводу убийства Линкольна». Несколько лет спустя Дарвин чистосердечно признается: «Как вопиюще мы, англичане, заблуждались, будто, покорив Юг, вы не сможете его удержать. Я прекрасно помню, как думал, что не один еще век будет процветать рабство в ваших южных штатах».

Утренние новости Дарвин читал так же, как историю, — en pantoufles[157], не особенно стараясь разобраться и дать оценку. Ему вообще бывало затруднительно давать оценки:

«Я не наделен способностью схватывать на лету или остротой ума, так поражающими нас в одаренных людях, например в Гексли. Соответственно я неважный критик: рукопись или книга при первом знакомстве приводят меня в восторг, и лишь при длительном размышлении я замечаю ее слабые места. Я не способен долго следить за ходом чисто отвлеченной мысли и потому никогда не мог бы преуспеть в метафизике или математике». И только когда проблема задевала Дарвина за живое, ему становилось по силам напряжение тщательного критического разбора. Чувства его всегда были обострены и живы; ум — нет.

Странным образом смыкались друг с другом пороки и достоинства склада его мышления. После того как миновало вдохновение труда над «Происхождением видов», его любовная, цепкая привязанность к фактам слишком часто, пожалуй, выражалась в боязливом нежелании иметь дело с отвлеченными материями; его упрямая, неослабевающая приверженность к некоторым идеям — в склонности рассматривать эти идеи и словесное их облачение как нечто непременное и неизменное.

Дописав книгу до конца, Дарвин терзался, если приходилось

к ней возвращаться для пересмотра или доработки. Чересчур много было затрачено труда, чересчур много выстрадано, слишком бурным был подъем вначале, слишком смертельным изнеможение в конце. В такие минуты — а может быть, еще долго потом — жутко думать об ошибках. В 1866 году Уоллес обескуражил Дарвина, указав ему, что в четвертой главе «Происхождения» он зачастую как бы одушевляет природу и пользуется термином «естественный отбор» в двояком смысле: во-первых, это процесс сохранения благоприятных изменений, во-вторых, видообразующий итог такого процесса. Уоллес считал, что устранить эту путаницу значительно помог бы термин Спенсера «выживание наиболее приспособленных». Понятно ли Дарвину, что он хочет сказать? Да, это был тот редкий случай, когда «все ясно как день». Дарвин дал себе слово последовать совету Уоллеса в первом же переиздании, хотя, на его взгляд, неточность была не так уж серьезна. Некоторые люди — особенно люди умные — имеют свойство все на свете понимать превратно. К тому же с выражением «выживание наиболее приспособленных» хлебнешь горя, пытаясь согласовать с ним глагол.

А пока этот многодумный кабинетный Колумб продолжал свое плавание по загадочным морям наследственности. Он уже давно пытался определить цель своих поисков, но, по-видимому, лишь в конце плавания установил, что ищет нечто, намеченное им двадцать шесть или двадцать семь лет тому назад. В 1865 году он обратился к Гексли с просьбой прочесть изложение теории, названной им «пангенезис». «Это очень скороспелая и сырая гипотеза, однако она весьма облегчила мне душу, и к ней можно прицепить изрядные гроздья фактов». От Гексли требовался краткий приговор: сжечь или издать. В заключение Дарвин с трепетом признается: «Надо отдать мне должное: я просто герой, раз не побоялся выставить свою гипотезу на грозный суд Вашей критики».

Ответ Гексли начинается возгласом замешательства; «Придется мне надеть самые сильные очки и самый мудрый судейский колпак». Недаром, видно, дарвиновское изложение пангенезиса поныне считается образцом невразумительности. По зрелом размышлении Гексли рассудил: не сжигать и не издавать. Теория в высшей степени предположительна. Кроме того, нечто очень похожее было разработано Бюффоном.

Снова опередили! Дарвин смиренно благодарит друга. «Было бы крайне неприятно, если бы оказалось, что я, сам того не зная, публично выдал взгляды Бюффона за свои; теперь я достану его книгу. И постараюсь убедить себя не выступать по этому вопросу в печати». Гексли великодушно ободряет его. Он не хотел сказать,

что отвергает идею Дарвина безоговорочно. «Пройдет полвека, и кто-нибудь, роясь в Ваших бумагах, наткнется на „Пангенезис“ и скажет: „Поглядите, как бесподобно человек предвосхитил наши новейшие теории, а этот осел Гексли не дал ему опубликовать свои взгляды“».

Дарвин мгновенно воспрянул духом. Теперь он был даже способен видеть недоразумение с Бюффоном в забавном свете. «Прочел Бюффона: право, смешно — целые страницы совсем как у меня». Но обнаружилось и коренное различие. Дарвин полагает, что все-таки не удержится и напечатает свой труд, но обставит это как можно более непритязательно и скромно. Через год он предупредил Уоллеса, чтобы тот не ждал от «Пангенезиса» слишком многого, а чуть ли не перед самым выходом книги в свет удрученно признался Геккелю, что ее вряд ли стоит переводить. «Жизнь естествоиспытателя протекала бы куда счастливей, если бы приходилось лишь наблюдать и ничего не писать», — заметил он Ляйеллу.

Двухтомная работа «Изменения растений и животных под влиянием одомашнивания» вышла 30 января 1868 года. И что же? Дарвина уже предварили. Лишь незадолго до того некий монах из Моравии завершил в своем монастырском саду основополагающие опыты по генетике. Поставив себе целью выявить механизм наследственности при неизменном влиянии среды, Грегор Мендель вполне обдуманно избрал предметом своих исследований обычный горох. Горох сравнительно быстро созревает, и потому несколько поколений можно изучить за короткий срок. Он самоопыляемое растение, но легко скрещивается, так что каждое скрещивание поддается оценке. Его потомство многочисленно, и это позволяет вести статистический учет. И к тому же различия у сортов представлены ярко выраженными признаками.

Мендель скрещивал разные сорта гороха: с желтыми и зелеными семенами. Семена у гибрида получались сплошь желтые. Потому признак желтого цвета семян он назвал *доминантным,* а зеленого — *рецессивным.* От 258 высеянных горошин желтосеменных гибридов он получил 8023 горошины, из которых 6022 были желтые и 2001 была зеленая — иными словами, он получил пропорцию 3:1, обычную для каждой пары признаков — доминантного и рецессивного. Рецессивный *ген,* или определитель признака, проявлялся во втором гибридном поколении всякий раз, как по законам случайности сочетался с другим рецессивным геном.

Всего Мендель исследовал у гороха семь пар контрастных признаков. О результатах он сообщил обществу натуралистов

города Брно, и его работа появилась в «Записках» общества. А там, по злой иронии судьбы, ее постигла худшая участь, какая, может постигнуть научный труд: пока сторонники пангенезиса, зародышевой плазмы и теории Ламарка нещадно сражались друг с другом, отстаивая собственные ошибки, она была заброшена, и раскопали ее только в 1900 году, когда три ученых снова открыли тот же самый закон.

Мендель штурмовал проблемы наследственности дерзко, отважно; Дарвин — несмело, порой сбиваясь с пути. Он со спокойной душой полагался на толки и пересуды доморощенных знатоков, так же как на собственные тщательные наблюдения. Он изучал не одно домашнее растение, а десятки и к тому же отдавал решительное предпочтение не растениям, а таким сложным и медленно созревающим существам, как обычные домашние животные. Он исследовал не два-три набора признаков, а все, какие только проявляли изменчивость, и сосредоточил свое внимание на мелких, едва заметных изменениях, мало подходящих для первоначальных работ по генетике. Он руководствовался, конечно, давним своим убеждением — в целом, возможно, и правильным, — что именно такие мелкие изменения в первую очередь существенны для естественного отбора. С другой стороны, в своей книге он фактически первый раз признал, что в образовании видов могут играть важную роль более резкие изменения, которым впоследствии предавал столь серьезное значение де Фриз. Как бы то ни было, но, по-видимому, Дарвин даже на время, ради конкретного исследования, не мог провести в своем сознании четкого различия между изменчивостью и естественным отбором, как не мог провести различия между собственно проблемой наследственности и старыми своими представлениями о влиянии среды, об употреблении и неупотреблении органов.

Может статься, что правильно подойти к этому вопросу ему помешала одна хорошая мысль, прочно им усвоенная. Когда-то скотоводы показали ему, каким образом могут в природе возникать разновидности. Вероятно, он считал, что они так же точно покажут ему, каким образом возникают сами изменения. Соответственно первый том его книги представляет собой не что иное, как исследование о скотоводстве, весьма, впрочем, ученое и вдумчивое. Здесь есть главы, изобилующие фактами — нередко извлеченными из глубины веков — о всех общераспространенных видах домашних животных. Мы узнаем, что древние египтяне держали кошек, древние ассирийцы — собак, древние римляне — болонок. Дарвин изучает не только породы, но и тех, кто их выводит, объясняет их методы, их психологию, их побуждения.

Так и слышатся здесь отголоски бесед в сельских пивнушках. «В одном немецком ветеринарном журнале, — увлеченно рассказывает Дарвин, — барон Камерон дает отпор тем, кто не оценил по достоинству английскую скаковую лошадь: пусть они попробуют назвать хоть одну стоящую лошадь на континенте без примеси английских кровей». И серьезно цитирует известного специалиста по разведению шортгорнов:

«Глаз в разное время выглядел по-разному: бывал глаз горячий, навыкате; бывал глаз сонный и запавший, но обе крайности эти слились и дали нечто среднее: глаз крупный, ясный, выпуклый, с мирным, спокойным взглядом».

Ну кто еще мог бы описать тварь — или творение — с такой силой выразительности?..

Второй том посвящен главным образом проблеме наследственности, и здесь опять невольно восхищаешься способностью Дарвина охватить несметное число фактов. Ему знакомы все явления, которые изучал Мендель, и еще гораздо больше. Для него не секрет, что признаки в гибридах не обязательно «сочетаются» друг с другом, а могут и резко контрастировать, что они могут быть сцеплены с полом, что один может быть доминантным — или, пользуясь его словом, «преобладающим» — по отношению к другому, так что этот другой исчезает в одном поколении и вновь появляется в следующем. Однако факты эти не так уж много ему говорят потому, в основном, что ему представлялись более важными другие факты.

Ему представлялись важными, во-первых, собственные предубеждения и, во-вторых, — надо отдать ему справедливость — некоторые наблюдения, связанные с наиболее сложной и запутанной стороной проблемы. Эти составные части он и объединил в теорию пангенезиса. Он верил, что приобретенные признаки передаются по наследству. Он верил также — и, как мы знаем ныне, был прав, — что «наследование должно рассматривать лишь как форму роста», модель которой полностью заложена в оплодотворенном яйце или же в самом простейшем организме. Примитивные организмы делятся, и каждая часть растет, пока не достигнет зрелости. Есть черви, которых можно разрезать на много частичек, и каждая частичка вырастет в полноценную особь. Молодая саламандра способна восстановить утраченную конечность или хвост. Выходит, что рост связан с регенерацией и размножением, возможно, при непосредственном воздействии среды.

При поисках объяснения Дарвина сбили со следа его застарелые, прочно укоренившиеся взгляды, в конечном счете они

восходили к Бюффону и Ламарку, — о прямом влиянии среды и наследовании приобретенных признаков. Он полагал, что если наследственность и среда непосредственно определяют функции организма, то это должно осуществляться через соматические клетки. Отсюда ему оставался один шаг до того, чтобы поставить теорию Менделя прямехонько с ног на голову. А именно: соматические клетки выделяют мельчайшие частицы — геммулы, сумма которых воплощает и хранит в себе программу роста всего организма. Соками организма и током крови геммулы переносятся к органам размножения, там они дают начало яйцеклеткам или сперматозоидам и далее определяют признаки и направление развития будущей особи.

Дарвин взялся за проблему с самого неудобного и скользкого конца. Пангенезис покушался объяснить слишком многое и объяснял слишком неосновательно. Он включал в себя такое количество изменчивых неуловимых факторов, что очень трудно поддавался проверке на опыте и очень легко — обоснованиям на словах. Тут, скажем прямо, требовался скорей Дарвин-парламентарий, а не Дарвин-изыскатель, и Дарвин обнаруживал величайшую готовность доказывать и величайшую неохоту исследовать. Однако нельзя отрицать, что пангенезис, как и надеялся Дарвин, некоторым образом объединял все, что было известно о наследственности, а де Фриз рассказывает, что дарвиновские геммулы привели его к мысли о единичных признаках и, таким образом, в конечном счете — к повторному открытию закона Менделя.

Из заключения книги явствует, что Дарвин стал откровенней в своих высказываниях о творце. Утверждая, что, по его мнению, формы жизни во всем своем изумительном многообразии ведут начало от одного общего прародителя, он спрашивает, совместим ли подобный взгляд с представлением о промысле высшем. И отвечает: если исходить из того, что конечный результат есть порядок и гармония, — да. Если же исходить из того, что основное средство достижения такого результата есть случайные изменения, — нет. Выбор так же нелегок, как и вопрос о свободе воли и необходимости.

«Все будут говорить, что это бред сумасшедшего», — уверял Дарвин Аза Грея, когда увидел свой «Пангенезис» на печатных страницах. Как обычно, страхи его оказались преувеличенны. Хотя, честно говоря, даже в стане его наиболее ревностных поклонников пресловутую главу не встретили радостными возгласами. «Бэтс говорит, что прочел главу два раза, но не поручится, что понял». Гукер вполне справедливо заметил, что эта теория лишь подытожила всеобщее невежество в части

наследственности, а Гексли на сей предмет произнес нечто «до такой степени мудреное», что Гукер никак не припомнит, хоть убей. Один только Уоллес пришел в безмерное восхищение. Дарвин был глубоко этим тронут, потому что его гадкий утенок стал для него возлюбленным детищем — «чадом, которое пока еще мило немногим, кроме нежного родителя, но которому суждена долгая жизнь», — написал он Аза Грею, прибавив: «Какова родительская самонадеянность!»

Итак, «Изменения» вышли в свет, и привычное чувство затравленности от лихорадочной спешки стало, во всяком случае, на какое-то время утихать. Дарвин уже не был похож на черепаху, которая ползком торопится к недосягаемому горизонту. Может быть, он стал менее внимателен к людям, зато теперь у него появилось больше досуга, чтобы проявлять внимание. В 1869 году он съездил с одной из своих дочерей в Шрусбери навестить старый отчий дом. Нынешний арендатор его, вероятно, из желания почтить прославленного владельца дома переусердствовал и ходил за гостями по пятам. На обратном пути Чарлз «дрогнувшим от сожаления голосом» сказал: «Если бы мне дали хоть пять минут побыть одному в оранжерее, я знаю, что увидел бы отца как живого в его кресле на колесах».

Об отце Чарлз сохранил очень яркие воспоминания, особенно о последних годах, когда они сиживали вдвоем, каждый со своими недугами, и судачили о знакомых. Побледнел и растаял образ гороподобного человека, страшного в гневных отеческих словоизвержениях. Все более мягким, чутким, провидчески-мудрым становился в памяти сына доктор Дарвин. Все чаще, рассказывая какой-нибудь занятный случай, делясь наблюдением, Чарлз начинал со слов:

— Мой отец, а умней его я не встречал никого…

В молодости Роберт Дарвин ненавидел свою профессию, ибо не мог спокойно видеть кровь и «до конца жизни при мысли об операции с трудом преодолевал дурноту». Никакие силы не удержали бы его в медицине, но старый Эразм не оставил ему выбора. И Чарлз с благодарным чувством вспоминал, что по отношению к себе он никогда не знал такой суровости! Со временем обнаружилось, что там, где дело касается психологической стороны его профессии, Роберт был гений; этот человек стал психиатром, когда психиатров еще не было на свете. Личное обаяние и чуткая отзывчивость «наделяли его безграничной способностью внушать доверие» — кстати, он как-то раз заметил, что и Чарлзу те же особенности обеспечили бы успех на медицинском поприще.

Чарлз считал, что интеллектуально обязан отцу немногим. «Отец обладал ненаучным складом ума, — писал он, — и не пытался выводить из своих познаний общие законы; а между тем почти на всякий случай жизни составлял собственную теорию». Так, еще задолго до того, как это установили достоверно, он пришел к заключению, что тифом, не вникая в суть дела, называют два различных заболевания. Он не раз ссужал немалые деньги посторонним, и не было случая, чтобы ему не вернули долг. Однажды он ошарашил господина, который привел к нему своего племянника.

— Я уверен, — объявил он, — что ваш племянник… повинен… в гнусном преступлении.

— Господи боже мой! — вскричал господин. — Кто это вам сказал, доктор Дарвин? Мы ведь думали, кроме нас, ни одна живая душа о том не знает…

Так после запоздалой поездки в Шрусбери Чарлз второй раз оплакивал отца. Его дочь Генриетта вспоминает, как он с почтительной нежностью сказал:

— По-моему, в молодые годы отец не всегда относился ко мне справедливо, но как отрадно думать, что потом я сделался его любимцем.

Памятно Генриетте и «счастливое, мечтательное выражение, с которым говорились эти слова, как будто он мысленно восстановил всю историю своих отношений с отцом и эти воспоминания оставили в нем глубокое чувство примирения и благодарности».

12
ВОПРОС ВОПРОСОВ

«Джермин-стрит, 20 февраля 1871 года.

Милый Дарвин!

Большое спасибо за Вашу новую книгу, я получил ее сегодня утром. Ну что бы Вам выпускать свои книги не в такое время, когда я по горло занят всякой всячиной! Вы же знаете, что мне нельзя носа показать в обществе, если я их не прочту, — нет, право же, это ужасная досада».

Бедный Гексли, с возрастом ему все больше приходилось проявлять всеведение в науке! Как не посочувствовать ему от всего сердца! И как же далек был он теперь от того, внешне тихого, но клокочущего страстями мира, в котором прежде чувствовал себя как дома, — как бесконечно далек от органов слуха прямокрылых насекомых и вероятного многобрачия у бабочек!

А новой книгой Дарвина было «Происхождение человека». Поначалу Дарвин не помышлял писать такую книгу. Он по-прежнему корпел над своим капитальным трудом: в введении к двухтомной «Изменчивости при одомашнивании» он обещает новые и более обширные работы по изменчивости в естественных условиях. Однако монография об одомашнивании явилась веским доводом против чрезмерно пухлых изданий, и, несмотря на то, что ее хорошо раскупали, сам Дарвин был несколько удручен этой «громоздкой» и «неудобочитаемой» книжищей, которая потребовала столько «тягостной, нудной, черной работы». А мир между тем давно уже ждал, когда Учитель скажет свое слово в связи с вопросом вопросов. Но человек — не орхидея, он

малоподходящий объект для безмятежных изысканий в тиши и уединении. Он не дается в руки, глумливо манит чем-то неуловимым и непостижимым, он подавляет необозримым скопищем фактов, не только научных, но и чисто человеческих, истинных и легендарных. Уже отчасти знакомый с пытливым вторжением скальпеля и геологического молотка, он еще не утратил способности свирепо вставать на дыбы и обращать в бегство ретивого исследователя. К тому же для теологии, истории, литературы и превеликого множества древних и нерушимых премудростей он по-прежнему оставался хоть и тварью, но тварью священной. Дарвин долго надеялся, что, может быть, такую книгу напишет кто-нибудь другой. Гексли, например, уверенно и очень наглядно показал, что человек — животное, но он не сумел показать, каким образом человек развился в столь необычайное животное.

И потом — в какой мере распространяется на человека теория Дарвина? С одной стороны, естественный отбор был лишь наиболее драматическим воплощением главенствующей идеи XIX века. Как и борьба за существование, эта идея появилась, по крайней мере, еще в XVII столетии в «Левиафане» Гоббса[158]. В более разработанном и современном обличье она выступает в «Богатстве народов» Адама Смита. Конкуренция между индивидами в надлежащее время и в надлежащем месте порождает избыток товаров, услуг и капитала. Принцип «laissez faire» предполагает осознанные личные интересы и свободу действий, ограниченную лишь святостью договора и уголовным кодексом. Экономические порядки, на самом деле все более преобразуемые социальным законодательством, в теории долго рассматривались как нечто естественное и неизменное. В этом-то и таилась главная опасность абсолютизации принципа «laissez faire», за нею, по существу, стояло стремление увековечить порядок вещей, а все светлое, высокое, доброе изгнать из практической жизни, как нечто лишнее; предложить свободу, в которой слишком мало справедливости, судить о достоинствах, слишком мало считаясь с тем, что именно с точки зрения гуманности и культуры является достойным.

Именно по этой причине художник романтического толка отвергал принцип «laissez faire». Не слишком твердый в своих этических оценках, он воевал с этим принципом то во имя христианской морали, то во имя милосердия и человечности или же прихотей романтического вкуса. Он подчеркивал, что принцип «laissez faire» отрицает обязанности, что он, как ни парадоксально, приводит к убогому и заземленному единообразию, ибо, чтобы дать бой, нужно выйти на общее поле

битвы, чтобы соперничать — держаться стадом. На гордом пьедестале своей неповторимости романтик с презрительным высокомерием отворачивался от какой бы то ни было конкуренции, имеющей целью прозаическую, обывательскую выгоду. Он не шел сражаться ни под чьи знамена, ибо никто не был того достоин. Он мог, правда, подобно Байрону или Карлейлю восхититься завоевателем или титаном промышленности, но лишь в том случае, когда триумф его в достаточной мере кровав и грандиозен. Бонапартизм был той данью, которую романтик платил вульгарной власти крепкого кулака.

В 1848 году Маркс и Энгельс в «Коммунистическом манифесте» объединили идею конкуренции с идеей загнивания социальной системы. Они показали, что история в целом — это продукт развития классовой борьбы и что падение капитализма, в частности, будет результатом конкуренции между отдельными разобщенными капиталистами. То, что сторонники принципа «laissez faire» склонны считать неизменными законами природы, на самом деле — попросту правила игры, возведенные в силу закона капиталистами в угоду капиталистам же, но отнюдь не на вечные времена, как это кажется с первого взгляда. Личное обогащение, превращенное в главную побудительную силу, неизбежно ведет к самоуничтожению, а на этой основе разумная личная заинтересованность, направленная революцией на достижение более справедливых и широких классовых целей, в конце концов перерождается в нечто высшее, чуждое узкого своекорыстия. По общей диалектике истории классовая борьба на каждой ее ступени носит сначала экономический характер, затем политический и, наконец, завершается применением вооруженной силы; именно при помощи вооруженного восстания будет в конечном счете воплощен в жизнь идеальный образ бесклассового общества. Маркс использовал конкуренцию для того, чтобы уничтожить конкуренцию.

В свое время гораздо более «Коммунистического манифеста» было известно сочинение Милля «О свободе», в наши дни, к сожалению, гораздо менее популярное. Опубликованное в том же году, что и «Происхождение видов», оно по своей теоретической структуре обнаруживает разительное сходство с книгой Дарвина. Как Дарвин дает завершение материалистической линии противоречий викторианской эпохи, так Милль завершает идеалистическую линию. По сути дела, он устанавливает для английского общества принцип рационального отбора, основанный на обсуждении и общественном мнении. Для того чтобы в борьбе идей могла выжить и развиваться дальше правда

— или хотя бы полуправда, наилучшим образом приспособленная к потребностям сегодняшнего дня, — необходима свобода слова. Свобода действий — пока она не идет во вред другим — необходима, чтобы могли беспрепятственно создаваться новые нравственные эталоны и затем в борьбу с иными эталонами либо погибать, либр выживать и обогащать собой английскую действительность. Дарвиновским самопроизвольным изменениям соответствует, таким образом, милое сердцу романтика многообразие и своеобразие норм нравственного поведения. Милль, однако, не только слишком полагается на разумное начало в человеке, но и недостаточно принимает в расчет способность самого человека влиять на окружающую его нравственную среду. Нравственное совершенство есть продукт образа мыслей и конкуренции, но вместе с тем и устремлений, обычаев, опыта, традиций. Больше того: разум, по-видимому, осуществляет не столько выбор новых разновидностей моральных достоинств, сколько позитивную критику и расширение уже сложившихся моральных традиций. Бесконечные препирательства неистощимо деятельных, но достаточно скептических умов не привели бы скорей всего ни к чему, кроме убийственного безмолвия под сенью диктаторского режима.

«Происхождение видов» представило идею конкуренции в чисто натуралистическом истолковании, начисто сбросив с нее путы законов нравственности и показав, что в растительном и животном царстве борьба между отдельными особями, видами или сообществами способствует эволюционному развитию. Ну а если дело обстоит таким образом в царстве природы, отчего не допустить то же самое в царстве человека? Какая заманчивая возможность для изощренного воображения, если ему сопутствует пристрастие к парадоксам и сенсациям! А меж тем сама история день ото дня становилась все более парадоксальной и сенсационной. Стремительно близилось время, когда новая ипостась дарвинизма должна была представляться чем-то само собой разумеющимся.

И все-таки «Происхождение» поощряло в первую очередь не сумасбродство, а познание. Во всевозможных областях науки идеи эволюции проникали в здравые седые головы и порождали самые небывалые и сногсшибательные открытия, истины и полуистины. Пока геолог выяснял, сколь древен человек, а анатом до тонкости определял степень родства человека с гориллой и орангутангом, антрополог и историк, наблюдая его в лесных дебрях и на островах Тихого океана, извлекая его из-под напластований древних мифов и законов, обнаружили такие бездны жестокости и предрассудков, каких за сим вместилищем разума и венцом

творения прежде никто не подозревал. Но как ни мало похож оказался первобытный человек на благородного дикаря, придуманного романтиками, он все же был моралистом, законником, политиком, мыслителем, который думает о природе и о невидимом — короче говоря, при всей своей нечистоплотности и неуравновешенности он сложное и мыслящее существо, вполне способное со временем возвыситься до таких вершин цивилизации, как зонтик и цилиндр… За десять лет, пока идеи Дарвина учили человека правильному подходу к человеку, ведущая роль от биолога и сравнительного анатома перешла к антропологу и историку. Первые два определили место человека среди меньших его братьев, и теперь мало что оставалось в этой области, кроме натуралистических — а порой и мистических — домыслов о торжественных, недоступно далеких зорях и истоках. Вторые же, занимаясь более будничными и доступными проблемами, победоносно шли от одной концепции к другой, воздвигая хитрые построения фактов и выводов. Почти каждый год был отмечен созданием классического труда в какой-либо области, и молчание Дарвина о самом главном рождало золотые плоды мудрости в умах других.

На несколько лет опередил этих других сэр Генри Мэн[159], выпустив в 1861 году книгу «Древний закон и обычай». Вдохновленный не столько Дарвином, сколько Савиньи[160], он показал, что в тех немногих прогрессирующих обществах, где было высоко развито право, оно формировалось по одной общей схеме: брало начало в обычае, складываясь затем в свод правил, а после получало дальнейшее развитие сперва в виде законодательных традиций, потом в виде правосознания и, наконец, в виде подлинного законодательства. На глубокомысленных страницах Мэна первобытный человек — как мыслитель в области права — обнаруживает удивительное сходство с английским тори образца XIX века.

В 1864 году в «Антропологическом обозрении» выступил с работой, посвященной человеку, Уоллес. Доказывая, что все человечество берет начало от единого вида, он делает заключение, что физические различия между расами, вероятно, восходят ко временам зарождения разума, ибо, когда благодаря одежде, орудиям труда, оружию и общественной организации отпала необходимость в шкуре, когтях и клыках, естественный отбор перестал действовать на строение тела отдельных особей и начал влиять на мозг племен и общественных групп, так что сохранились «наиболее благоприятствуемые расы». «Самые суровые условия жизни, требуя наивысшей сообразительности, осуществляли отбор наилучших разновидностей человеческого

мозга».

В работе Уоллеса при относительной скудости фактов содержалось много светлых мыслей; на Дарвина она произвела большое впечатление. Он только был не согласен с тем, что Уоллес держится в тени, говоря о теории естественного отбора. «Не нужно… называть эту теорию моей, — протестовал он, — она в такой же мере моя, как Ваша». Поскольку «Происхождение» давно и прочно закрепило ее за ним, Дарвину, вероятно, было теперь гораздо легче оценить и великодушие Уоллеса-соперника, и неистощимость Уоллеса-теоретика. «В жизни не слыхал ничего более остроумного! — восклицает он и прибавляет далее: — Пример с белыми бабочками великолепен; просто душа радуется, когда видишь, как почти полностью подтверждается таким образом теория». Отчего бы неизбежную книгу не написать Уоллесу? Дарвин предложил ему все списки литературы и записи по этому предмету, какие у него накопились за двадцать семь лет, но Уоллес любезно поблагодарил и отказался. Он был занят книгой о своих путешествиях по Малайскому полуострову.

Что поделаешь, Дарвин стал нехотя склоняться к решению посвятить великой проблеме «маленький очерк». Были кой-какие мысли насчет типов лица, кой-какие соображения, связанные с возникновением рас. Нельзя ли объединить их в таком очерке? В 1867 году, когда «Изменения» пошли в типографию, он принялся за «главу о Человеке» и скоро с ужасом увидел, что очерк разрастается в новую словесную махину. Он решил, что напечатает главу отдельной, «совсем маленькой книжечкой». Но тут на него лавинами корректурных листов обрушились «Изменения». Судя по чувству неудовлетворенности и обиды, вызванному этой помехой, он уже был во власти новой темы. Он не мог дождаться, когда возьмется за нее опять. Все прочее потеряло всякую привлекательность.

1868 год был прожит вне науки и похож на затянувшийся переход в засушливой пустыне без единой капельки воды. Только разделался с корректурой, как сразу заболел; едва успел поправиться, как тут же домашние увезли его во Фрешуотер, на остров Уайт. Впрочем, следует признать, что Фрешуотер имел и свои светлые стороны. Во-первых, в одном доме с ним поселился Эразм, а во-вторых, хозяйка, миссис Камерон, занималась фотографией и оказалась на редкость живой и неглупой женщиной. Чарлза она сняла так удачно, что он прямо-таки пришел в восхищение; эту карточку потом напечатали вместе с его собственноручной надписью: «Эта фотография мне нравится несравненно больше всех других». Миссис Камерон покорила сердца стольких Дарвинов, что перед отъездом, когда Чарлз

распростился с нею, Эразм позволил себе холостяцкую вольность, крикнув:

— Вас покидают восемь по уши влюбленных!

Тем временем начала заявлять о себе и молодая поросль Дарвинов: Джордж был вторым по математике в Кембридже, Ленни прошел вторым по списку на приемных экзаменах в Вулвич. Удивлению и радости Чарлаа не было границ. Правда, столь выдающиеся успехи имели и свои последствия. Дети решили, что им больше не пристало говорить «папа» и «мама». Чарлза весьма твердо уведомили о том, что он отныне «отец». Новость была воспринята с чрезвычайной горечью:

— Называли бы уж просто «Пес», было бы одинаково приятно.

Во Фрешуотере Дарвины несколько раз обедали у Теннисонов, но удовольствия не получили: что ни говори, Теннисон был нелепым человеком, хоть и производил лучшее впечатление, чем его стихи. Несколько интересней оказался Лонгфелло, который побывал во Фрешуотере, совершая поездку по Европе, — с ним можно было хотя бы потолковать об Агассисе. Знаменитый швейцарский геолог, который занимал в ту пору должность профессора в Гарварде, стал в последнее время выказывать все более очевидные признаки уважения если не к аргументации, то, во всяком случае, к успеху «Происхождения видов».

В августе Чарлз вернулся домой и подвергся новым мукам вынужденных, хотя и кратковременных, отсрочек. Томился, например, позируя ради увековечения своей особы скульптору Вулнеру, который лепил с него бюст — и наконец с наслаждением отдался исследованию полового отбора. Слов нет, работа лучше отдыха, но и она есть своего рода мученичество. Мелкие каверзы непослушных фактов заставляли Дарвина страдать, как страдает нетерпеливый влюбленный, как страдал Флобер, делая роковой выбор между определительным предложением и предложным оборотом в неудачной фразе. Покровительственная окраска у особей женского пола его «неимоверно озадачила», а полигамия и соотношение между полами у многих видов животных и вовсе «едва не свели с ума».

К тому же, как на грех, старые друзья, прежде всегда готовые прийти на выручку с добрым словом или советом, по той или иной причине в эту новую и трудную область за ним последовать не могли. Гукер, убежденный ботаник, редко забредал далеко от своих гербариев, Гексли был занят школьной реформой, а Ляйелл состарился и впал в трансцендентализм[161]. Жаждая сочувствия и поддержки близкой души, Дарвин за последние годы стал незаметно тянуться к своему давнему сопернику Уоллесу,

который некогда был не более как живой укор, напоминание о перенесенном унижении.

Правда, Уоллес и теперь не утратил способности самым ошеломляющим образом предвосхищать чужие идеи:

«Я прочел Ваше письмо с большим интересом, — писал Чарлз в 1867 году, — однако Ваша точка зрения для меня не нова. Если Вы заглянете на 240-ю страницу четвертого издания „Происхождения“, Вы найдете очень сжатое ее изложение с двумя примерами таких крайних случаев, как павлин и тетерев… Я давно держусь этого взгляда, хоть как-то никогда не находил повода его развить. Но мне недоставало знаний, чтобы зайти так далеко, как Вы, в обобщениях относительно окраски и гнездования. Быть может, Вы вскользь сошлетесь в своей работе на мое беглое замечание в четвертом издании, потому что в очерке о Человеке я собираюсь всесторонне рассмотреть вопрос о половом отборе, который, я полагаю, применительно к человеку объясняет многое. Я собрал все свои старые записи, частично изложил теоретические положения, и преподносить эту мысль как исключительно Вашу было бы для меня безотрадное занятие».

В ответ на это Уоллес прислал ему все свои записи по половому отбору. Дарвин тотчас вернул их обратно.

«Я искренне… надеюсь, что Вы продолжите работу над Вашей рукописью… Признаюсь, получив Ваши замечания, я несколько приуныл: ведь мои последние труды, можно сказать, пошли насмарку — но я намерен был ничем не выдавать свои чувства. В доказательство того, как мало я преуспел в этом вопросе, достаточно упомянуть, что Ваше объяснение, относящееся к особям женского пола, мне не приходило в голову, хоть и я занимался подбором фактов, относящихся к окраске и другим половым различиям у млекопитающих. Поражаюсь собственной глупости, — впрочем, я давно убедился, насколько ясней и глубже меня Вы умеете проникать в суть вещей…

За проявление нетерпимости по отношению к Вашей работе простите меня, если можете».

Он был такой непритязательный, этот Уоллес, такой великодушный, так умел обнадежить.

«Что касается самой теории естественного отбора, — писал он Дарвину в 1864 году, — я всегда буду утверждать, что она подлинно Ваша, и только Ваша. Вы разработали ее в подробностях, о каких я и не помышлял, и разработали за много лет до того, как передо мной здесь забрезжил первый свет; моя статья никогда и никого не убедила бы, а если бы обратила на себя внимание, то разве как небезынтересное предположение, и только; меж тем как Ваша книга произвела революцию в изучении

естественной истории, пленила и увлекла за собой лучших людей нашего времени».

И потом он был такой отзывчивый, так полон сострадания, когда у вас не ладилось со здоровьем, так полон удачных мыслей, когда не ладилось с теорией. То, что прежде сделало из него соперника, ныне превратило его в друга: он занимался теми же вопросами, наталкивался на те же трудности, жил теми же идеями. Он был, во всяком случае в какой-то мере, alter ego[162] в ином обличье, таинственный и опасный незнакомец, который неведомо как обернулся самим Дарвином. Чарлз постепенно проникся ощущением, что во всем касающемся науки они с Уоллесом сойдутся.

К счастью, такого единомыслия у них почти никогда не бывало — разве только в самом основном. Указывая на непрестанные войны между дикими племенами, Дарвин высказал предположение, что естественный отбор оказывает действие и на эволюцию человека. Уоллес возразил, что войны лишь уносят самых отважных и сильных. Дарвин уступил, но тут же сделал новое предположение: у птиц яркое оперение самцов объясняется половым отбором. Уоллес выдвинул встречное предположение: яркое оперение у того и другого пола, возможно, объясняется скорей в плане покровительственной окраски, или мимикрии. Положительно, временами с Уоллесом нетрудно было потерять терпение.

«Да, согласен, Уоллес — человек изумительного ума, — сообщал Дарвин Гукеру, — но, по-моему, недостаточно осторожен. Боюсь, мы с ним основательно разойдемся (а я всякий раз начинаю сомневаться в себе, когда с ним не согласен) насчет всех этих птичьих гнезд и покровительственных окрасок; тут он своего конька заездит до смерти».

Восторги Уоллеса тоже бывали капельку утомительны. Дарвин непременно должен прочесть «Социальную статику» Спенсера. Прошло немного времени, и снова: Дарвин должен прочесть «Прогресс и бедность» Джорджа[163]. Дарвин отвечал, что от политической экономии ему всегда нездоровится. Уоллес сразу же исполнился сочувствия. По правде сказать, он считал, что Дарвин болен куда серьезней, чем, например, друг Уоллеса, бедняга Спрус, и простодушно удивился, когда Спрус умер, а Дарвин за три года выпустил две увесистые книги да еще подготовил «Происхождение видов» к переизданию. И все равно он продолжал заботливо отговаривать Дарвина писать длинные письма и подолгу засиживаться за работой. Как тут было не растаять? Причем Уоллес в два счета дал замечательное объяснение крикливо-пестрой окраске у гусениц, а также

нарядному оперению самок у птиц, вьющих гнезда в дуплах и других углублениях. У Дарвина мысли шли примерно в том же направлении. «Занятно, как мы с Вами наталкиваемся на одни и те же идеи». В ответ на это Уоллес предложил ему все свои записи. Дарвин отказался. Уоллес может написать такую работу гораздо лучше, чем он.

Несмотря на свою чрезвычайную застенчивость, Уоллес поверил ему сердечную тайну, признался, что расторгнул помолвку со своей невестой. Между вопросами о кабанах Восточной Индии и о бабочках на берегах Амазонки Дарвин вставил слова утешения. Потом Уоллес женился и обстоятельно сообщил о том, что у него родился сын и его назвали Герберт Спенсер. Дарвин поздравил новоиспеченного отца, выразил надежду, что Герберт Спенсер-второй будет писать лучше своего тезки, и через два слова попросил Уоллеса непременно заметить, на какой день у младенца появятся слезы.

Все еще сражаясь с проблемами окраски у животных, Дарвин в 1868 году на какое-то время, по-видимому, отошел от увлечения своей идеей полового отбора и начал склоняться к выдвинутому Уоллесом принципу защитной окраски.

«Нынче утром, — писал он, — я с восторгом сделал шаг в Вашу сторону, вечером же вновь вернулся на свой исходный рубеж и боюсь, что с него никогда уже не стронусь». В тщетных и искренних усилиях добиться большего единства во взглядах он излагает всю проблему заново: «Я думаю, мы с Вами расходимся во мнениях скорей всего потому, что слишком пристально сосредоточили свое внимание на двух разных сторонах вопроса». И несколько дней спустя: «Как печально, что я не согласен с Вами: меня это прямо-таки пугает, я поэтому постоянно сомневаюсь в себе». Он был убежден, что истина едина и неделима, и хотел, чтобы они с Уоллесом познали ее вместе. Но Уоллес продолжал упрямиться. Он куда меньше жаждал окончательности. «Так или иначе, истина, в конце концов, все равно выйдет наружу, и, кто знает, не наведут ли других наши с Вами разногласия на мысль, способную примирить мои и Ваши взгляды».

В апреле 1869 года Уоллес напечатал в «Трехмесячном обозрении» работу «Происхождение видов в свете исследований сэра Чарлза Ляйелла о геологических областях», в которой опять разбирались вопросы, связанные с происхождением человека. Дарвину было страшно браться за эту статью. Он, очевидно, боялся, что Уоллес вообще отверг естественный отбор. «Надеюсь, Вы не совсем прикончили наше с Вами детище», — писал он. Увы, поскольку дело касалось высказываний о человеке, худшие опасения Дарвина подтвердились. Детоубийство было совершено

с неподражаемой мягкостью, и все же оно совершилось. Сомнений не оставалось: Уоллес считал, что появление разума у человека можно объяснить лишь прямым вмешательством вселенского разума.

«Духовные запросы самых отсталых народов, — писал Уоллес, — таких, как жители Австралии или Андаманских островов, очень немногим выше, чем у иных животных… Как же в таком случае мог один из органов получить развитие, столь превышающее потребности его обладателя? Естественный отбор наделил бы дикаря мозгом, едва превосходящим мозг обезьяны, тогда как на самом деле его мозг только чуть-чуть менее развит, чем у рядового члена наших научных обществ».

На полях своего экземпляра Дарвин написал яростное «Нет», трижды подчеркнул его и обнес частоколом восклицательных знаков. Как нередко случалось раньше, он был глубоко огорчен и встревожен очередным разногласием и не менее глубоко и страстно верен своим первоначальным убеждениям. Он сообщил Ляйеллу, что пережил «ужасное разочарование», а самому Уоллесу написал: «Если бы только Вы сами не подтвердили это, я подумал бы, что <Ваши замечания о человеке> вписаны кем-то другим».

Статья Уоллеса, естественно, касалась в первую очередь Ляйелла. Отмечая вставленное в новое, десятое издание «Начал геологии» признание Ляйелла, что он перешел на сторону эволюции, Уоллес пишет:

«Едва ли отыщется в истории — науки более разительный пример молодости духа в зрелые годы, чем это отречение от взглядов, которые исповедовались на протяжении стольких лет и отстаивались с такою мощью; если же принять во внимание сугубую осмотрительность и горячую любовь к истине, отличающие всякий труд этого автора, мы проникнемся уверенностью, что столь коренная перемена не могла произойти без длительных и всесторонних размышлений, и убеждения, принятые им ныне, безусловно, подкреплены доводами неотразимой силы. Итак, из одного того хотя бы, что теорию мистера Дарвина признал в десятом издании своего труда сэр Чарлз Ляйелл, следует, что она заслуживает внимательного и уважительного отношения со стороны всякого честного искателя истины».

Вот такие места Дарвин читал с воодушевлением. Он уже почти забыл, какой великий человек Ляйелл. «Я часто говорю молодым геологам, — писал он Уоллесу, — что они даже не ведают, какой переворот совершил Ляйелл; тем не менее Ваши выдержки из Кювье совершенно меня поразили».

В том же году пришел к нему и наконец-то оконченный «Малайский архипелаг» Уоллеса. Здесь было, пусть иносказательное, но письменное свидетельство того, как идея, принадлежащая ему, осенила в гуще тропических лесов другого человека. Кстати, и сами тропические леса, и населяющие их существа, коллекции, приключения и человек, который их пережил, — все было как-то удивительно знакомо. В книге Уоллеса Дарвин заново открыл собственную научную одиссею и еще многое другое. «И как это Вы ухитрились вернуться живым — невероятно… Из всех впечатлений, какие вызвала у меня Ваша книга, самое сильное — это что Ваш стоицизм во имя науки был героическим». А каких он наловил бабочек! Нет в целом свете спорта лучше, чем составление коллекций! Книга Уоллеса прямо-таки вернула ему молодость.

В 1869 году работа над книгой о человеке вновь шла с перерывами: то помешала поездка на север Уэльса по любимым с давних пор местам, предпринятая, как всегда, неохотно и с раздражением и не доставившая большого удовольствия; то надо было готовить пятое издание «Происхождения видов», предпринятое, пожалуй, еще более неохотно, зато доставившее гораздо больше удовольствия, потому что теперь в общем хвалебном хоре явственно слышались голоса с церковных кафедр и из молелен. Но в то время как епископы выражали одобрение, критики-журналисты стали поглядывать косо. Признав, что «Происхождение» действительно очень важная книга, они понемногу обнаружили, что оно вместе с тем скучновато. Люди вроде Джона Робертсона из «Атенея» были нескрываемо поражены тем, что столь заурядное сочинение произвело столь незаурядное действие. До самых заповедных уголков Элизиума славы неотступно преследовала Чарлза эта досадная разновидность излюбленного критиканами недоумения.

Вот, с одобрения Дарвина и к большому его удовольствию, вышло новое немецкое издание книги, трепетно и благоговейно подготовленное по пятому английскому. А очень скоро без всяких церемоний, без ведома и разрешения автора было выпущено третье издание на французском языке, переведенное все еще с первого английского и снабженное очень придирчивым предисловием почти такого же объема, как и сам текст. Дарвин всячески старался выставить это событие в смешном свете. «Не могу удержаться от удовольствия рассказать Вам о мадемуазель К. Руайе, которая перевела „Происхождение“ на французский… — писал он Гукеру. — Кроме чудовищно длинного предисловия, написанного ею к первому изданию, она присовокупила к

нынешнему еще одно, обвиняя меня, как мелкого карманного воришку, в краже пангенезиса, который, понятно, никакого отношения к „Происхождению“ не имеет». Дарвин безотлагательно вступил в переговоры с мистером Рейнвальдом о новом переводе «Происхождения» на французский со знанием дела и по последнему тексту.

Отношение мадемуазель Руайе к его идеям было, увы, удручающе типично для французов в целом. Le Darwinisme[164] по-прежнему оставался не более как любопытным теоретическим построением, пожалуй, несколько менее благонадежным, чем у Ламарка, и вполне пригодным для того, чтобы опровергнуть его, не вставая с кресла. За Ж. Л. А. де Катрфажем[165], только что выпустившим книгу с вежливой, но суровой критикой «Происхождения», Дарвин признал умение «замечательно ясно и искусно вести нить рассуждений» и с некоторыми из его «строгих замечаний» вынужден был согласиться. Однако из-за неточного французского перевода, которым пользовался мсье де Катрфаж, многие (его доводы теряли всякий смысл. Дарвин в заключение не мог не отметить:

«Любопытно, как влияет на мнения людей их национальная принадлежность: редкую неделю мне не приходится слышать, что тот или иной естествоиспытатель в Германии поддерживает мои суждения и высоко — зачастую чересчур высоко — оценивает мои работы: но я ни разу не слышал, чтобы мои взгляды разделял хоть один зоолог во Франции, не считая мсье Годри[166] (да и к нему это относится лишь частично)».

В 1870 году Дарвин получил оттиск «Естественного отбора» Уоллеса, содержащий новые и многочисленные свидетельства душевной щедрости его автора. «Никогда и никому еще не воздавалась столь высокая хвала, какую Вы воздаете мне… — сердечно писал ему Дарвин. — Надеюсь, Вам доставляет удовлетворение мысль о том… что мы — в известном смысле соперники — никогда не питали друг к другу никакой зависти». И дальше прибавил: «Я полагаю, что не грешу против истины, сказав так о себе, а что это справедливо по отношению к Вам, у меня нет и тени сомнения».

В эту пору своей жизни Дарвин то и дело наведывался в прошлое и убеждался, как много старой вражды свело на нет примирение, как много былой дружбы утрачено навек. В мае он поехал в Кембридж повидать сыновей. Остановились всей семьей в отеле «Булл», и Чарлз нашел, что «задворки колледжей… просто райский уголок». Не без внутреннего содрогания направился он навестить своего бывшего профессора Адама Седжвика, который десять лет тому назад в злом и язвительном отзыве так отчаянно

разбранил «Происхождение». Могучий старик встретил гостя как нельзя более сердечно, однако его радушие было почти таким же устрашающим, как некогда его неприязнь:

«Долго мы с ним сидели, потом он предложил сходить в музей, а я не мог отказаться, и в конце концов он совершенно меня уморил; так что на другое же утро мы уехали из Кембриджа, и я еще не пришел в себя от изнеможения. Не унизительно ли, когда вас вот так может доконать восьмидесятишестилетний старик, который, судя по всему, даже не догадывается, что сводит вас в могилу? Ибо, как он справедливо заметил:

— Помилуйте, вы по сравнению со мной просто ребенок!»

Нет, Кембридж, хоть и тот самый, был теперь совсем другой, слишком многим напоминал и о его собственной ушедшей юности, и о юности его детей, так что даже яркое весеннее солнце не очень здесь веселило. «Без милого Генсло Кембридж не похож на себя, — признался Дарвин Гукеру, — я попробовал было добраться до тех двух домов, где мы жили, но не дошел: далековато для меня».

Массу удовольствия доставляли ему статьи Гексли, они текли к нему непрерывным потоком. Он читал их и завидовал, как может завидовать человек, которому всякая строчка дается с превеликим трудом, обладателю пера легкого и блистательного. Стиль Гексли пленял и завораживал его, как пленяет и завораживает мальчугана большой и острый перочинный нож. Чего только не натворишь с таким ножом, но ох и опасная же это штука! «Вы пишете как никто на свете», — замечает он в связи с юбилейным приветствием Гексли Геологическому обществу в 1869 году, и однако: «На Вашем месте я опасался бы за свою жизнь». Несомненно, он считал, что Гексли — правда, не в тех случаях, когда он крушит противников эволюции, — слишком уж вольно пускает в ход свой нож. «С письмом Гексли согласен… — писал он Гукеру в минуту откровенности. — По-моему, pro bono publico[167] он прав, и все же… лично я не решился бы учинить такую неприятность».

Тем временем вышло несколько талантливых работ, посвященных проблеме человека. Выпустил свой «Первобытный брак» Джон Мак-Леннан[168], явно многим обязанный «Происхождению» Дарвина и «Древнему закону» Мэна. Отталкиваясь от слабых сторон теории Мэна о патриархальном строе, Мак-Леннан пытался показать, что за плечами патриархального общества лежит долгий путь совсем не викторианского развития — от анархии и группового брака через различные ступени многомужества и родства по женской линии к

родовым общинам, основанным на моногамии и наследовании по отцу. Он показал также, что дикари приспосабливаются к условиям общинной жизни посредством общинных законов, и дал понять, что такое приспособление, хотя бы частично, вызвано естественным отбором, действующим в пределах общины.

Эта последняя мысль, которую Дарвин применил к общественным насекомым, а Спенсер впоследствии — к человечеству, легла в основу работы Уолтера Бейджота «Природа и политика», которая печаталась в виде серии статей в «Двухнедельном обозрении» с ноября 1867 года. Бейджот показывает, как повсеместная и непрестанная война в первобытную эпоху перерастает в состояние разумного мира в эпоху цивилизации. Тем самым он как бы перекидывает мост через пропасть между материалистической основой «Происхождения» и идеалистической основой очерка Милля «О свободе». По-дарвиновски предусмотрительно обходя стороной область непознанного, Бейджот мало что говорит о том, откуда произошли расы и как сложились первобытные общины. Общественное устройство необходимо для того, чтобы выжить, стало быть, общественное устройство возникает, и все тут. Обыкновенно образуется некий «круг обычаев»: тщательно отлаженная система традиций и табу, поддерживаемая религиозными санкциями, осуществляет жесткий контроль над необузданно-своенравной натурой дикаря. В вооруженных столкновениях организованные общины одерживают верх над неорганизованными и навязывают им свои порядки. «Цивилизация возникает оттого, что начало цивилизации — это военное превосходство. Нововведения, в особенности те, что исходят от почитаемого вождя, могут посредством подражания распространиться достаточно широко; однако больше вероятности, что они будут подавлены в самом зародыше из-за суеверного страха, ибо, как правило, „круг обычаев“ рано или поздно отвердевает и становится незыблемым. Неуклонный прогресс возможен лишь в таких обществах, которые, как это было у греков, римлян и англичан, выработали в себе сдерживающие нравственные начала, нужные для того, чтобы обсуждать и решать жизненно важные вопросы, не прибегая к насилию над инакомыслящими или к гражданской войне. Таким образом, если существенным условием непрерывного прогресса являются свобода и демократия, то существенным условием свободы и демократии является определенный тип нравственной организации, который — в том виде, как он представлен у англичан, — Бейджот именует „одушевленною умеренностью“». Возможно, Бейджот не сумел загнать всех дарвиновских диких

зверей обратно в клетку, но он хотя бы преуспел в том, чтобы возвести на ее крыше духовную надстройку в викторианском стиле.

В середине 60-х годов несколько статей о человеке напечатал родственник Дарвина Френсис Гальтон, и он же в 1869 году написал книгу «Наследственность и гениальность», в которой, несмотря на известную неопределенность и изрядную непоследовательности достаточно ярко и убедительно выдвинул ряд поразительных идей. Одним из первых прибегнув к статистическому методу, Гальтон приводит веские данные, показывающие, что талант, гениальность, равно как и восприимчивость ко всем видам нравственных достоинств, имеют способность передаваться по наследству и сосредоточиваться в той или иной семье, что и понятно, ибо борьба за существование в цивилизованном обществе приводит к половому отбору особенностей, содействующих преуспеянию в условиях развития цивилизации. По сути дела, развивая в себе соответствующие качества, определенные семьи приспосабливаются к успешной деятельности в традиционных для них профессиях. Кроме того, Гальтон выдвигает предположение, что если случайность, естественный отбор и многие другие факторы способствуют улучшению человеческой породы лишь спорадически и в ограниченном объеме, то серьезному и последовательному улучшению ее может способствовать отбор искусственный, осуществляемый на научной основе.

Работа была пронизана благоговейным обожанием Дарвина и на него, в свою очередь, произвела сильное впечатление. «Я, кажется, в жизни не читал ничего более интересного и оригинального», — писал он автору. Правда, у него хватило мудрости счесть программу применения евгеники[169] «утопической», хотя он не меньше Гальтона уповал на совершенствование рода человеческого в ходе эволюции. «Какое бесконечное удовлетворение, — писал он Ляйеллу за несколько лет до того, — доставила бы мне надежда, что человечество достигнет в своем развитии таких высот, откуда мы будем <казаться> сущими варварами».

Терпкий хмель евгенических умозрений быстро ударил Гальтону в голову, хотя внешнюю благопристойность он, как истый англичанин, соблюдал до конца. Его работа «Стадное чувство у домашнего скота и у людей», вышедшая в 1871 году, представляет ницшеанские идеи в безукоризненно добротном, рассудительном англосаксонском облачении. В ней проводится сопоставление между вожаком и стадом как у животных, так и у людей. В прошлом цивилизация была благодетельна для

людского стада, ибо общество, как говорил о христианстве Ницше, есть олицетворение «смертельной вражды… к аристократам». Гальтон толкует о «рабских наклонностях» толпы, возвеличении ею «vox populi»[170], ее «добровольном низкопоклонстве перед традициями, авторитетами, обычаями». Он проводит мысль о том, что в отличие от массы вождь — это личность дерзающая, самобытная, не скованная общепринятыми ограничениями: короче говоря, — романтический сверхчеловек. Из его рассуждений следует, что аристократическое меньшинство, с одной стороны, и раболепное большинство — с другой, есть как бы две различные расы, сложившиеся в ходе естественного отбора, и надобно прибегнуть к искусственному отбору, дабы уничтожить вторую расу, которая не отвечает более потребностям современной цивилизации. Этим пожеланием Гальтон предваряет уже не столько Ницше, сколько Шоу. Ему нужна не аристократия, но целые нации сверхчеловеков.

Сходные идеи, изложенные с нонконформистским пылом и усердием, от которых содрогнулся бы Ницше, мы находим и в другой статье, вышедшей анонимно в 1868 году под названием «О несостоятельности „естественного отбора“ в применении к человеку», которую Дарвин приписывал У. Р. Грегу. Автор отмечает, что современное государство оказывает покровительство неудачникам и позволяет им плодиться. Действительно: самые большие семьи мы встречаем как раз у двух наименее ценных классов — у богачей и бедняков. Цветом общества автор считает среднее сословие, которое следует улучшать с помощью евгеники; впрочем, он достаточно трезво смотрит на вещи, чтобы понять, что Английское государство едва ли пожертвует демократией и свободой в том виде, в каком они существуют ныне, ради отдаленной возможности сотворить буржуа-сверхчеловека.

В 1870 году Дарвин, почти не отрываясь, работал над «Происхождением человека». Книга пухла и разрасталась, и лишь усекновением «Выражения эмоций» ее удалось спасти от печальной судьбы нескончаемых «Изменений растений и животных». Когда рукопись близилась к завершению, он передал ее Генриетте, и та вновь взяла на себя роль Радаманта[171], разбирая, проверяя, упрощая вымученные и сложные обороты, пока они не сливались в благословенный поток вразумительности. Просматривая ее исправления, Чарлз был, как всегда, ошеломлен, и, когда по выходе в свет книгу стали расхваливать за «прозрачный, энергический слог», он отнес сие небывалое достоинство целиком на счет стараний дочери и

подарил ей в награду тридцать фунтов стерлингов из своего авторского гонорара. «Шут возьми, ну и славно же ты поработала, — восклицает он, — настоящую конфетку сделала из моей рукописи». В 1871 году, когда за плечами осталось три года работы и предмет ее надоел ему до последней крайности, Дарвин отослал Джону Мэррею последние выправленные страницы и с облегчением окунулся в долгожданные исследования эмоций.

Мэррей дал прочесть гранки Уитуеллу Элвину, и тот, подобно многим образованным умникам, с недоумевающими и раздраженными возгласами объявил, что новая книга «просто чушь какая-то», и предсказал, что стоит кому-нибудь из «действительно крупных естествоиспытателей» выступить с критикой — и с дарвинизмом будет покончено. Однако Мэррея не так-то легко было сбить с толку. Бухгалтерские счета давно уже научили его, что сочинения Дарвина, какими бы серыми и смехотворными ни объявляли их образованные умники, все равно найдут широкий и постоянный спрос по крайней мере в ближайшем будущем, что существенно для делового человека. А эту работу к тому же так долго ждали. В феврале 1871 года книга была издана.

«Происхождение человека» обычно ставят на второе место среди лучших трудов Дарвина. По сути дела, несмотря на значительные сокращения, оно представляет собой две книги в одном переплете. 206 страниц автор отводит человеку, а затем углубляется в проблему полового отбора и неутомимо следует в этом направлении до последней, 688-й страницы. Без этого объемистого привеска «Происхождение человека» представляет нам Дарвина в явно невыгодном свете: Дарвина в схватке с неудобным для исследования зверем и в неудобной обстановке; Дарвина, не озаренного чудотворным вдохновением первооткрывателя, а подчас не опирающегося на самостоятельные всесторонние изыскания, на неустанные заинтересованно-проницательные наблюдения — иначе говоря, Дарвина без самых неоспоримых его преимуществ. Он сам говорит во введении, что, если бы «Natürliche Schöpfungsgeschichte»[172] Геккеля вышла до того, как он сел писать, он, вероятней всего, так и не довел бы свою работу до конца. И все-таки мы в этом случае лишились бы одного из важнейших научных трудов XIX века, ибо тогда великий мыслитель так и остался бы непричастен к великой проблеме. «Происхождение человека» подводит итог блистательному десятилетию в истории антропологической мысли и дает ему оценку с неизменным чувством меры, с трезвым взглядом на вещи, а нередко и с большой убедительностью.

Изучив человека, хоть и менее досконально, чем усоногих

рачков, Дарвин приходит к выводу, что превосходство человека над животными объясняется не одним каким-либо свойством наподобие речи, а многими: тем, что он ходит прямо и на двух ногах, выполняет тонкие операции руками, пользуется орудиями труда, членораздельной речью, главное же, наделен умственными способностями, которые делают возможным появление орудий и речи. И все же, полагает Дарвин, чтобы мышление достигло истинно человеческого уровня, с возрастающей силой интеллекта должна была взаимодействовать и возрастающая способность самовыражения. Подобно Спенсеру, он рассматривает разум как приспособление к окружающей среде и как оружие в борьбе за существование; но в отличие от Спенсера благоразумно обходит философские выводы, следующие из подобной точки зрения. Он настаивает на том, что между человеком и высшими млекопитающими существует большой разрыв, но не соглашается с Уоллесом, что дикарь мог бы добыть огонь или создать язык, будь его мозг лишь немногим совершеннее мозга обезьяны. Он утверждает наряду с этим, что как продукт естественного отбора человек отличается от животных своими умственными и нравственными свойствами не качественно, а лишь количественно. Обезьяны тоже пользуются палками и камнями как орудиями; собаки проявляют верность и другие нравственные качества; а многие из высокоорганизованных видов животных обладают способностью мыслить, хоть и весьма элементарной. Как всегда, Дарвин с особым блеском рассказывает занятные случаи из жизни животных:

«Одна самка павиана обладала столь любвеобильным сердцем, что усыновляла не только детенышей других обезьян, но выкрадывала щенят и котят и подолгу таскала их с собой… Один такой приемыш-котенок оцарапал чадолюбивую павианиху, определенно не обиженную умом: она страшно удивилась тому, что ее поцарапали, немедленно обследовала лапки приемыша и недолго думая отгрызла ему все когти».

Как всякий уважающий себя дарвинист, Дарвин проявляет сугубую осторожность в подходе к теориям, которые, как теории Бэна и Спенсера, затрагивают вопрос о наследственной памяти и отпечатках мысленных образов в нервной системе последующих поколений. Глубоко укоренившиеся привычки могут передаваться в виде наклонностей, но вряд ли, пожалуй, в виде самих привычек. Иначе должны были бы передаваться по наследству всякие нелепые обычаи, вроде отвращения индусов к определенным видам пищи.

Никоим образом не посягая на роль авторитета в области этики, Дарвин не задается целью подробно осветить

нравственный опыт человечества, и ему не всегда удается избежать путаницы, непоследовательности. При всем том общая его установка вполне ясна. В широком понимании совесть — это продукт эволюционного процесса; в частности же ее порождают прежде всего симпатии к себе подобным и гражданские чувства, подкрепляемые убеждениями, а затем рациональное рассмотрение последствий своих действий, развитие идеи долга, которое у людей тонкой духовной организации может подниматься выше пустых условностей. Прежде чем приступить к проблеме нравственности, Дарвин усердно готовился: читал Бэна, Милля, Адама Смита, Юма, Бэкона, даже Марка Аврелия[173]. Круг его чтения свидетельствует о том, что он принадлежал к традиционному для англичан направлению Шафтсбери[174] и утилитаристов, а его образ мыслей — о том, что ему, как и Джону Стюарту Миллю, обычно удавалось преодолевать свойственную этой школе ограниченность. Вслед за Смитом он подчеркивает значение человеческих чувств, вслед за Юмом — иррациональную основу поведения. Однако он предпочитает не вдаваться в тонкости умозрительных построений утилитаристов и отчасти, избегает свойственной им тенденции превращать нравственное сознание в нечто вроде эпикурейского баланса, приятного и неприятного. Сколько возможно он держится, с одной стороны, общих положений, подсказанных здравым смыслом, а с другой — проверенных фактов поведения животных. Вообще говоря, он ясно видит, что сущность нравственной жизни заключается в борьбе между долгом и желанием, что добродетель и счастье зависят прежде всего от смирения и самопознания и затем от воли и разумной дисциплины.

Его рассуждения о человеке в обществе себе подобных столь же основательны, но менее внятны и определенны. В пределах каждой человеческой общности физическое, умственное и нравственное совершенство поддерживается как естественным отбором, так и сознательным воспитанием. Нововведения, имеющие социальное значение, распространяются внутри общности путем подражания, а за ее пределами — Бейджотовым естественным отбором общностей. Дарвин лишь отчасти согласен с доводами Грега и Гальтона о том, что цивилизация способствует выживанию слабых и неудачливых. Преуспевающие люди в разных слоях общества оставляют, как правило, более многочисленное потомство; число же увечных, уродов, правонарушителей, наоборот, имеет тенденцию сокращаться. Общий вывод, по-видимому, таков: биологическое развитие протекает у всех народов очень медленно, а социальный строй у некоторых народов развивается очень быстро.

«Происхождение человека», бесспорно, поддержало общую тенденцию к натурализму, указав, однако, вместе с тем путь к усложненному, осмотрительному, критическому натурализму, который выделяет в необозримой области органических явлений не только коренное единство, но и четкие различия. Дарвин подчеркивает, что, по мере того как человек все более приобщается к цивилизации, процесс естественного отбора на всех его высших, определяющих ступенях переходит в сферу этики. Дарвину несвойственно низводить все на свете к общности происхождения. Его едва ли упрекнешь в том, что люди у него слишком звероподобны, у него скорей звери слишком уж человечны. Что же касается метода, Дарвин, разумеется, чрезвычайно современен, делая упор не столько на анализе субъективных ощущений, сколько на поведении.

Первая часть «Происхождения человека» завершается главой о расах, возникновение которых Дарвин стремится объяснить на основе полового отбора. Отсюда ему остается один шаг до мастерского tour de force[175] в трактовке проблемы пола, когда он объясняет все для того, чтобы объяснить хоть кое-что. Короче говоря, он разбирает еще одну форму биологической борьбы — борьбы ради обладания самкой, когда самцы данного вида не только дерутся друг с другом в прямом смысле слова, но и состязаются в любовных танцах, выставляя напоказ свое роскошное оперение и иные украшения, наперебой соперничают, пытаясь отличиться кто пением или иными звуками, кто сильным запахом, и так одна эстетическая вычурность накладывается на другую, пока принцип полезности не уступит место принципу красоты. И за всем этим смотром искусства, рожденного инстинктом, скрыт внутренний накал любовного томления. Ничего не скажешь, «Происхождение человека» определенно сообщает новые и буйные краски дарвиновской картине природы!

Возвращаясь, наконец, в заключительных главах к человеку, Дарвин объясняет различие меж расами несхожими представлениями мужчин о женской красоте. Негры чернокожи и плосконосы оттого, что их далекие предки отдавали предпочтение чернокожим женщинам с приплюснутыми носами. Таких женщин брали себе самые сильные и крепкие мужчины, наживали с ними больше детей, чем их слабосильные соперники, и, таким образом, достигали в пределах своего племени — а в конечном счете и своей расы — наиболее близкого подобия своему идеалу. Дарвин утверждает также, будто благодаря половому отбору женщины становятся более нежными, ласковыми, заботливыми, а мужчины — более отважными, деятельными, разумными, снова доказав тем самым, что биология

все-таки кровно викторианская наука. Эти три первостепенных мужских качества, по мнению Дарвина, тесно связаны друг с другом. В наивысших своих проявлениях они составляют особый дар, который заключается преимущественно в «терпеливости» или «неотступном, несгибаемом упорстве».

Выхода в свег своей книги Дарвин ждал в обычном для него состоянии: с виду — изнеможение, полный упадок сил, а в глубине — жаркие уголья нетерпения и любопытства. Он уверял всех, что не знает, стоило ли вообще писать эту книгу. И наряду с этим требовал, чтобы Мэррей присылал ему все оригинальные отзывы и замечания. Автора ждала приятная неожиданность: широкий читатель принял книгу весьма благосклонно. Правда, какой-то вспыльчивый субъект из Уэльса все-таки обозвал Дарвина в частном письме «старой обезьяной с мохнатой харей и тупой башкой». Но в целом, как с изумлением обнаружил Дарвин, заранее готовый выдержать новый шквал благородного негодования и ханжеских поношений, все были изрядно заинтересованы и ничуть не скандализованы.

«С критиками мистера Дарвина произошла отрадная перемена, — авторитетно заключил Гексли, как наместник Дарвина за пределами Дауна. — Смесь невежества и наглости, свойственная на первых порах большинству нападок, которым он подвергался, уже не является более прискорбной отличительной чертой критики, исходящей от антидарвинистов».

Непривычная вежливость — бесспорная дань признания автору «Происхождения видов», — пожалуй, едва ли была внушена «Происхождением человека». Слава его новой работы могла бы стать долговечней, если бы церковники сразу же не выказали к этой книге столько терпимости. Сэр Александр Грант, глубокомысленно выступая в защиту ангелов на страницах «Современного обозрения», побрюзжал немного, почему-де Дарвин так лестно отзывается об обезьянах и так дурно — о консерваторах и духовенстве, но и он не выказал признаков благородного негодования или глубокого потрясения. Дарвин, как он считал, просто изложил «теорию Эпикура, убрав из нее атеизм». Окончательный приговор Гранта, вынесенный с легкой зевотой, гласил: «По-настоящему нового здесь очень мало».

Самого худшего Дарвин ждал от ученых, в особенности тех, кто одной ногой стоял на религиозных позициях. «Уж, верно, не миновать мне нескольких ударов Вашего острого, как стилет, пера», — писал он Аза Грею. В известном смысле, он не ошибся. Ученые большей частью были в восторге от его научных достижений, однако нашлись такие, которых не устраивали его взгляды на богословие. Уоллес по обыкновению не скупился на

хвалу, но остался при своем мнении: чтобы создать человека, требуется нечто большее, чем естественный отбор. Католик Сент-Джордж Майварт — его «Генезис вида» вышел в свет сразу же после «Происхождения человека» — согласился с Уоллесом, прибавив, что образование новых видов, в частности, следует объяснить действием телеологических сил, заключенных в организме. Майварт считал также, что нравственность по Дарвину содержит в себе слишком мало самосознания и разума. С другой стороны, он не только признал эволюцию, но, ссылаясь на средневекового иезуита Суареца, объявил, что она находится в соответствии с доктринами католической церкви.

Встревоженный замечаниями Майварта, Дарвин стал опасаться, как бы они не причинили нешуточный вред теории естественного отбора. В шестом издании «Происхождения видов», которое появилось в 1872 году, он подробно возразил Майварту, а также за свой счет переиздал в виде брошюры статью Чонси Райта, направленную против Майвартова «Генезиса». И тут из пламени и дыма боев за школьную реформу вынырнул Гексли и обрушился на Майварта и Уоллеса за их ереси. Разумеется, карающая длань, натренированная в сечах и рукопашных побоищах, расправилась с ними немилосердно. Даже Уоллес был подвергнут осмеянию за то, что придумал некое разумное начало, а мыслительные способности человека сперва низвел до уровня гориллы, а затем объявил, что они недосягаемо высоки для естественного отбора. Майварту же наказание было подобрано как раз по его провинности. Не доверяя никаким проявлениям широты взглядов, исходящим от Вавилонской блудницы, Гексли просмотрел достопочтенные тома Суареца, «как заботливая птичка-малиновка — кучу све-жеразрытой земли», и выяснил, что ни сам ученый иезуит, ни, если уже на то пошло, святой Фома[176] никогда не признавали ничего хотя бы отдаленно напоминающего эволюцию. Итак, Гексли занес дубинку, размахнулся и, пока Майварт, оглушенный тяжким богословским ударом, старался восстановить равновесие, ловко изрешетил его научные латы более легким научным оружием.

Дарвиновские страхи в мгновение ока сменились ликованием, и на время имя Майварта исчезло из его переписки. «Ах и чудесно же Вы разделываетесь с этими древними божественно-метафизическими книжками!» — восклицает он, обращаясь к Гексли, и приводит слова Гукера: «Я читаю Гексли с таким чувством, будто сам со своим умишком еще пребываю во младенчестве. Клянусь, я с первой и до последней строчки Вашей статьи на себе ощущал, до чего это верно».

В 1874 году, когда вышло второе издание «Происхождения

человека», Майварт восстал, словно обезглавленный рыцарь из средневекового романа, и вновь напустился на Дарвина, косвенно уличая его в том, что он якобы придерживается низменных взглядов на человека да еще мошеннически скрывает, что сменил свои убеждения. На сей раз Учителя оборонял Уоллес. Он мягко пожурил Майварта за неудачный выбор выражений и твердо опроверг его идеи.

Немного позже Джордж Дарвин напечатал в «Современном обозрении» статью «О благотворных ограничениях свободы брака». Майварт в «Обозрении» обвинил его в том, что он потворствует одновременно семейной тирании и половой распущенности. Запретная тема викторианской эпохи была обращена в смертоубийственный кинжал, чтобы, ранив сына, сразить отца. Вне себя от возмущения, Дарвин обратился за советом к несравненному виртуозу полемики. Гексли всем сердцем разделил чувства старого друга. «Пускай кто-нибудь попробует учинить нечто подобное над моим Л.[177], — кровожадно прорычал он, — будьте покойны, матерый волк сумеет показать все клыки, какие еще не выпадут у него к тому времени». Но, несмотря на это, он считал, что самым грозным оружием Дарвина будет молчание. «Вам пристало держаться подобно одному из благословенных богов Элизиума, — многозначительно продолжал он, — а вести бои с силами ада предоставьте божествам низшего разряда». Дарвин в личном письме поставил Майварта в известность, что отныне и навсегда с ним порывает, и тем удовольствовался.

Веджвуды и Дарвины встретили «Происхождение человека» в исполненной достоинства убежденности, что, раз это творение колосса, стало быть, оно колоссально. Святотатство? Ересь? Помилуйте, об этом и речи быть не могло. Гениальность Чарлза стала семейной догмой, а догмы еретическими не бывают. «Надеюсь, ты успешно помогаешь Великому Человеку продираться сквозь колючие чащобы, — писала своей племяннице Генриетте Фанни Аллен, — и усмиряешь его непокорные фразы, пока они не выстраиваются по ранжиру; что за удача, что за честь быть опорой (не прихвостнем) Льву». Таков был общий тон. Той же Генриетте, в которую ему, судя по всему, приспел час «влюбиться», Эразм признавался, что восхищен не только книгой брата, но и отзывом Уоллеса в «Академии». «Как он умеет полемизировать — красота, да и только; в грядущих летописях науки страница „Уоллес — Дарвин“ составит в ряду прочих одно из немногих ярких пятен».

Несмотря на ровный гул семейной хвалы, среди Дарвинов все же оставался еще человек, неспособный, глядя на гения, не видеть

еретика. Чарлз еще работал над «Происхождением человека», а Эмма уже писала: «Думаю, что получится очень интересно, но мне будет совсем не по душе — снова отодвигаем бога подальше». Чарлз и Эмма жили сообща в одном мире и порознь в другом. Во всем, что касалось их большого дома, полного детей и зверей, они были едины. Во всем, что имело отношение к талантам Генриетты и капризам Чарлзова желудка, к терьеру Полли, собачке, которая, лишившись своих детенышей, вылизывала и обхаживала Чарлза, как «небывало крупного щенка», ко псу Бобби, который изображал на морде «тепличное отчаяние», когда Чарлз медлил с прогулкой, заглядевшись на подопытные растения в оранжерее, к сумасбродствам Луи-Наполеона и скверне Бисмарка, к неразумности войн и безрассудствам американцев, — между ними царило полное согласие. Расходились они, как нетрудно догадаться, в вопросе о первопричинах бытия. Для жены религия имела такое же важное значение, как для мужа наука. Впрочем, Эмма не оставалась глуха к доводам и с годами переменилась. Всю жизнь она не могла решить, позволительно ли по воскресеньям заниматься вязанием, вышивать или раскладывать пасьянс; после смерти в ее бумагах нашли список, где на двух отдельных столбцах были перечислены вполне основательные доводы «за» и «против» полного ничегонеделания по воскресеньям. Что думал Чарлз о ее благочестивых колебаниях и о ее ненавязчивой набожности, у него нигде не сказано; только когда расторопная и смышленая Генриетта вышла замуж за последователя Мориса, стряпчего Р. Б. Личфилда[178], она во время медового месяца получила от отца такое письмо:

«Итак, ты замужем; это ужасно, это невероятно, но это факт, и мне будет очень недоставать тебя. Ну что ж, тут ничего не поделаешь; был и на моей улице праздник, знавал и я счастливые деньки, невзирая на свой подлый желудок, — и обязан я этим почти всецело нашей милой старой матушке, которая, как тебе прекрасно известно, не человек, а чистое золото. Да послужит она тебе примером, и тогда по прошествии лет Личфилд будет не просто любить, а боготворить тебя, как я боготворю нашу чудную старую мамочку».

Этти зажила со своим Личфилдом припеваючи, но, впрочем, довольно-таки своеобразно. Вечно больная — за ней, как за ребенком, ухаживала неутомимая горничная, — она довела дарвиновский культ нездоровья до предела, употребив все силы и способности своей недюжинной натуры на то, чтобы разработать немыслимую, хитроумнейшую систему мер предосторожности. Этим мерам она обрекла не только себя, но и своего супруга, который с превеликой кротостью и, по-видимому, без всякого

ущерба для здоровья ей подчинялся. Одна из племянниц Этти вспоминает о нем уже в пожилые годы: «Симпатичный такой, смешной человечек, постоянно у него съезжали носки», «у жилетки вырез, как яичко; распущенная, клочкастая сивая бороденка — по цвету и на ощупь совсем не отличишь от гарусной шали, которой тетя Этти обычно заставляла его повязывать шею».

Этти не вдруг забросила свои обязанности Радаманта в глухих, выстраданных ученых дебрях отцовского синтаксиса. Мало того, она сумела и у своего мужа пробудить интерес к новой книге Чарлза «О выражении эмоций у человека и животных», и вскоре Личфилд подал ему кой-какие мысли о выражении эмоций в музыке. Генриетта, приученная работать анонимно, предложила, чтобы Чарлз включил их в книгу под видом собственных. Чарлз отказался.

«В школьные годы я был большой дока по части списывания древних виршей, — писал он, — и с устрашающей отчетливостью запомнил, как доктор Батлер, пристально на меня уставясь, издавал протяжное „Хм-м-м“, говорившее уйму нелестных для меня вещей так внятно и красноречиво, как не сказал бы сам Герберт Спенсер. Так вот, ежели я опубликую замечания Л. как собственные, мне всегда будет чудиться неодобрительное хмыканье читателей».

«О выражении эмоций у человека и животных», вышедшее в 1872 году, написано более свободно и сжато, чем «Происхождение человека». Максимум наблюдений, минимум теории. Много места отводится подробным, почти беллетристическим описаниям выражений лица и относительно мало — анализу того, что за ними кроется. Вообще, объясняются они на основе трех принципов: во-первых — полезная ассоциированная привычка, во-вторых — антитеза, или ассоциация по противоположности, в-третьих — прямое действие нервной системы. Так, младенец кричит, чтобы дать выход нервному возбуждению, вызванному недовольством. Но, издавая вопли, он сокращает мускулы около глаз, чтобы предотвратить чрезмерный приток крови. При этом он хмурит лоб. Проходят годы, и по ассоциации он хмурится, чтобы выразить многочисленные оттенки недовольства и досады, но уже не помышляя о том, чтобы кричать. Когда дитя испытывает любовь, нежность, оно приучается, отчасти в силу ассоциации по противоположности выражать свои чувства ласкающими слух звуками, бережными движениями, противоположными резким, угрожающим проявлениям гнева. Дарвиновский подход к предмету недвусмысленно предполагает — как он сам

превосходно сознавал — такие процессы, как эволюция и приспособление к окружающей среде. С этой точки зрения «Выражение эмоций» явилось новым и немалым вкладом в науку. Все прежние работы на эту тему, не считая «Принципов психологии» Спенсера (1855 год), исследуют выражения лица с позиций божьего промысла и особого акта творения.

Эволюционная теория Дарвина жила отныне собственной, независимой жизнью, ширилась, захватывала все новые области, порождала в чужих умах свежие догадки, наталкивала на новые открытия. Письма Чарлза соответственно все более превращались в деловую переписку бессмертного властителя умов с потомками. Со всех концов земли о его мнении почтительно осведомлялись видные ученые и философы: молили дать совет, тревожили замечаниями.

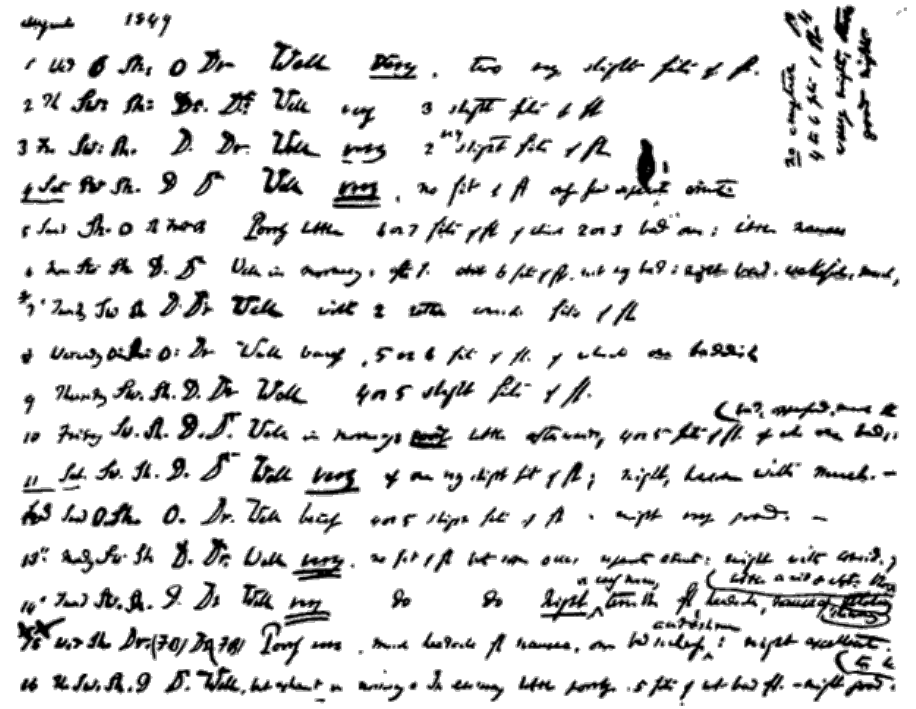
Скромный, погруженный в свои раздумья и работы полубог, в свою очередь, изумлялся новым открытиям, озадаченно вникал в крайности дерзких умопостроений, торжествовал по поводу низвержения супостатов, благодарил за толковую хвалу, а в ответ на критику стойко защищал свои старые убеждения. В 1875 году с него писал портрет Улесс[179]. «Получился очень почтенный, глубокомысленный и унылый старикашка, — писал он Гукеру, когда портрет был закончен. — Таким ли я выгляжу на самом деле, не знаю».

13
«Я СОВСЕМ НЕ БОЮСЬ УМЕРЕТЬ»

«Происхождение человека» было последней серьезной схваткой Дарвина с неведомым. Этой работой отмечен конец долгого и беззаветного подвижничества. Хотя до 1877 года Дарвин нигде открыто не признается, что оставил мысль создать свой Великий Труд, он после 1871 года почти о нем не упоминал и изъял многие ссылки на него из окончательной редакции «Происхождения видов». Перед друзьями он оправдывался тем, что у него якобы стала хуже работать голова и он не намерен, как некоторые ученые, делать из себя на склоне дней посмешище и убивать оставшиеся годы на выспренние и всеобъемлющие обобщения. Нет сомнений, что он действительно меньше полагался теперь на свои силы, но как-то не верится, чтобы он мог серьезно думать, будто ему грозит опасность увлечься под старость беспочвенными умопостроениями. Скорей похоже, что, завершив самую трудную часть намеченной работы, он почувствовал себя вправе зажить по-стариковски и заняться чем пожелает. А выразилось это в том, что он почти отказался от развлечений и засучив рукава принялся за тяжелую работу, но такую, какая была ему по сердцу. Пользуясь всяким удобным случаем, он оставлял свой кабинет и шел в сад, в оранжерею, стараясь как можно больше времени проводить среди цветов и фактов и как можно меньше — среди идей и слов. «Я взялся за прежнюю работу по ботанике, — радостно писал он Уоллесу, — а все теории забросил». При столь благодатном распорядке жизни, под сочувственным наблюдением сэра Эндрю Кларка, к которому он часто обращался после 1870 года, здоровье Дарвина

значительно поправилось, оставалось вполне сносным, и лишь в 1882 году, за несколько месяцев до смерти, ему стало хуже.

Последнее его десятилетие можно назвать прощальным, в известном смысле даже посмертным. Все больше замыкаясь в стенах своего дома, в кругу семьи, он пересматривал старые книги, завершал старые исследования, виделся со старыми друзьями, жил среди старых воззрений и старой мебели, даже среди старых четвероногих, потому что теперь его постоянной спутницей была стареющая собачка Полли, которая по наследству перешла к нему от его дочери Генриетты.



Записи Дарвина о состоянии своего здоровья изобилуют словами «головная боль», «приступы слабости», «бессонница».

Разумеется, он должен был хоть немного писать. И, что самое скверное, сочинения, выстраданные за целую жизнь, нужно было опять в страданиях дорабатывать. В 1874 году он выпустил исправленное издание «Происхождения человека» и «Коралловых рифов», в 1875-м — «Изменений», «Лазящих растений» и «Опыления орхидей». В 1876 году он разрешил переиздать «Вулканические острова» и «Южную Америку» в виде отдельной книжки.

Покончив с исследованием человека, он радостно перенесся почти что на другой конец органического мира — возобновил

изучение невзрачной травки, возлюбленной своей насекомоядной росянки, о которой он в 1862 году писал Гукеру: «Это замечательное растеньице, а точнее — необычайно смышленое животное. Я свою росянку буду отстаивать до последнего вздоха». Через десять лет он с неостывшим жаром написал Аза Грею: «Этой теме нет предела», — и азартно пустился исследовать ее лабиринты. Дарвин любил росянку отчасти по той естественной для тори причине, что давно ею занимался, отчасти же по причине, естественной для вольнодумца: за то, что она уродец, причуда эволюции, нечто особенное среди растений. Ее листья и волоски реагируют на присутствие 1/70000 грана азотистого вещества. Операция по рассечению нервной системы листа в критической точке совершенно похожа на операцию по рассечению спинного мозга у лягушки.

Итогом этих сладостных трудов явились «Насекомоядные растения», изданные в 1875 году и любовно снабженные кропотливо отобранными подробностями, измерениями, описаниями безукоризненно точных, изощренных и разнообразных экспериментов. Дарвин выстроил насекомоядные растения в эволюционный ряд по степени возрастания специализированной адаптации, однако во всем, что имеет отношение к парадоксальной истории их развития, он был так осмотрительно немногословен, что Уоллес заволновался:

«Вы ничего не говорите о происхождении этих необыкновенных приспособлений для ловли насекомых. Может быть, Вы решили, что это слишком очевидно? Я полагаю, трудности тут никакой нет, но уверен, что за этот факт сразу же ухватятся, как за случай, не выводимый из теории естественного отбора, а Ваше молчание по этому поводу будет истолковано как доказательство того, что и Вы такого же мнения!»

Исследования движений, которые совершают растения, со временем, в 1880 году, подытожила «Способность к движению у растений». В ней Дарвин совместно со своим сыном Фрэнком пытается доказать, что у всех растений по мере их роста каждая часть движется, описывая круги, и на основе этого первичного вращательного движения у них развивались все более сложные его формы, обусловленные освещением, питанием, силой тяготения. Короче говоря, подобно животным, растения движутся, чтобы жить, хотя движения их совершаются так медленно, что не заметишь простым глазом. Работа эта подчинена одной всепоглощающей идее, чего нет ни в «Насекомоядных растениях», ни в «Выражении эмоций»: идее органического единства.

Вслед за тем Дарвин возобновил исследования, начатые примерно в 1866 году, когда он обратил внимание на то, что

перекрестно опыленные растения более жизнеспособны, чем самоопыленные. В книге, посвященной орхидеям, он рассмотрел механизм перекрестного опыления, ныне же, в «Действии перекрестного опыления и самоопыления у растений» (1876 г.), он рассматривает его преимущества. «Природа самым недвусмысленным образом заявляет нам, что не терпит постоянного самоопыления», — утверждает он. Отчего же? Здесь он опять столкнулся с тайнами пола и наследственности. Но, по-видимому, он уже зарекся иметь дело с тайнами. Сознавая, что половые различия есть средство разнообразного проявления наследственности, он, однако, отметил только, что перекрестное опыление способствует жизнеспособности потомства лишь в том случае, когда различия в строении родителей минимальны. А появляются эти различия, как полагал Дарвин, руководствуясь соображениями, почерпнутыми из идеи пангенезиса, потому что прародители были поставлены в несколько разные условия.

В работе «Различные формы цветов», изданной в 1877 году, пересматривается и разрабатывается далее материал статей, опубликованных в 60-х годах; здесь исследуются наиболее показательные случаи перекрестного опыления, особенно случаи с гетеростильными[180] растениями, «расшифровка» которых была одним из первейших его удовольствий.

В эти преклонные годы все более страшили его минуты, когда наступала пора приниматься за синтезирование и изложение материала. «Одолели меня мои записи», — признавался он в 1879 году, как раз перед тем, как написать «Способность к движению у растений».

«Стар я стал, такая работа мне почти непосильна». Черновики — он набрасывал их теперь с молниеносной быстротой и потом, просматривая, ломал над ними голову — исторгали из его груди полукомические, полусерьезные угрозы сойти с ума и наложить на себя руки. Окончательные варианты его тоже не очень радовали. «Обратите, пожалуйста, внимание, — писал он Аза Грею о „Перекрестном опылении“, — первые шесть глав неудобочитаемы, а последние шесть беспросветно скучны». Между тем, как ни странно, по сочинениям этих лет не видно, чтобы он стал писать менее вразумительно. Наоборот, они, пожалуй, написаны несколько проще и понятней прежних.

Работы по ботанике, распроданные в количестве от полутора до трех тысяч экземпляров каждая, конечно, не предназначались широкому читателю. Несмотря на это, публикой все они были приняты с должным благоговением, хоть и без особого интереса, а учеными — с редкой и радующей теплотой, особенно труд об опылении. Грей поставил Дарвина в ботанике наравне с Робертом

Броуном, а Уоллес прямо объявил, что Дарвин произвел переворот в этой науке. Однако «Способность к движению у растений» не получила всеобщего признания: с дальних берегов Северного моря отчетливо доносились тяжеловесные ученые издевки. Может статься, дарвиновская methodologie[181] не вполне соответствовала тевтонским стандартам. Он был первый готов преклоняться перед искусством немецких экспериментаторов, но при всей своей склонности к самоуничижению решительно осуждал немецких насмешников. «Пускай себе глумятся, сколько душе угодно, — писал он Тислтону Дайеру[182], одному из наместников Гукера в Ботаническом саду Кью, — я все равно считаю <движение растений>… интереснейшим разделом естественной истории». Это не мешало ему писать с беспристрастным, но грустноватым восхищением: «Визнер[183] из Вены только что написал книжку, в которой самым любезным, но беспощадным образом разносит меня в пух и в прах за „Способность к движению у растений“».

В августе 1876 года, гостя у Генсли Веджвуда в его имении Хоупдин, Чарлз начал писать «Автобиографию» и с тех пор вплоть до 1881 года, когда он в последний раз заболел, каждый вечер посвящал ей около часа.

Мысль о ней явилась ему не вдруг. Мысли вообще редко являлись ему вдруг. Заронил ее один издатель из Германии, который обратился к нему с просьбой коротко написать о себе. Чарлзу подумалось, как ценно было бы для него жизнеописание его собственного деда, «пусть даже скупое и малозанимательное». В последнее время он что-то чаще стал размышлять о старом Эразме. Может быть, он стал чаще размышлять и о самом себе.

Заглавие к своему очерку он подобрал самое подобающее: «Воспоминания о развитии моего ума и характера». Иными словами, эволюция Чарлза Дарвина в подлинно научном освещении. «Я ставил себе целью писать… так, словно я уже мертв и из иного мира окидываю взглядом прожитую жизнь». К счастью, он не вполне достиг столь потусторонней отрешенности. Предназначалась «Автобиография» только для его детей, и, может быть, главное очарование сообщает ей тепло родственных чувств и семейной близости, которым она пронизана. Признаться, сыновняя любовь с первых же строчек увлекла Чарлза в такие пространные отступления об отце, что, казалось, ему грозит серьезная опасность так и не вернуться к собственной особе. Вообще же, «Автобиография» сочетает добросовестность, присущую Миллю, с задушевной интимностью обстоятельного письма к родственникам.

Когда человек так мил, занимаясь усоногими рачками и

дождевыми червями, неудивительно, что он мил, занимаясь и самим собой. Обаяние Дарвина отчасти в его прямодушии и безыскусственности. Он не только объясняет себя, но изображает и иллюстрирует примерами. В результате получается убедительная картина того, как из любопытного маленького проказника, который таскал фрукты из сада, эволюционным путем развился пытливый седобородый мудрец, чья рука выводит сейчас эти строки.

Впрочем, для самого мудреца эта картина не убедительна. Он откровенно поражен тем, что развился в самого себя. Он озадаченно отмечает, что вот когда-то любил музыку, когда-то получал удовольствие от Мильтона[184] и Вордсворта[185], а теперь ни на что не способен, как только перемалывать научные факты в научные обобщения. Его изумляет, как это из него вышел серьезный работник, сочинитель, член Королевского общества, прославленный мыслитель. Изумляет, как это ему пришла в голову революционная идея. Его заключительные слова таковы: «Поистине удивительно, что человек таких скромных способностей, как я, мог в ряде существенных вопросов оказать значительное влияние на взгляды людей науки». Но Дарвин, конечно, не только удивляется. Он, можно сказать, объясняет себя по Ламарку: он оттого успешно мыслил, что ощущал потребность мыслить.

Достаточно подробно он прослеживает ход развития своих идей и ума, который породил эти идеи. Для оценки нравственной стороны своей жизни у него нашлось куда меньше слов:

«Я полагаю, что поступил правильно, посвятив жизнь науке и упорно ею занимаясь. Меня не гнетет сознание вины в каком-либо тяжком прегрешении, однако я часто, очень часто жалею, что мало делал прямого добра ближним. Единственным, хоть и жалким, оправданием мне может служить очень скверное здоровье, и, кроме того, я так устроен, что мне чрезвычайно трудно переключаться с одного предмета или занятия на другие. Я вполне представляю себе, что с чувством высокого удовлетворения мог бы отдавать все свое время добрым делам — но только не часть времени, хотя такая линия поведения была бы куда похвальней».

Эти нотки оправдания говорят о многом: в конечном счете он предвидит, что его не будут судить строго; он и сам не судит себя строго. Дарвин умилителен своею скромностью, сердечен и трогателен своею привязанностью к домашним, но он никогда не достигал ни особых глубин самопознания, ни нравственных высот. Да, по части добродетелей он превзошел многих, но героизм его заключался главным образом в титанической

умственной работе, совершаемой вопреки телесным и душевным страданиям. Что же касается его нравственного портрета, то здесь явно сказалось, что он жил в уюте, покое и довольстве.

Он недостаточно себя знает и порой толкует собственные ощущения до смешного превратно. О самом критическом событии своей научной деятельности он пишет так: «Меня очень мало трогало, за кем прочней закрепится приоритет: за мною или Уоллесом». Показательно, что сокровеннейшие минуты смирения наступают для него, когда он признается, скольким обязан своей жене:

«По отношению ко мне она неизменно проявляла самую нежную участливость, с величайшим терпением сносила мои непрестанные жалобы на недомогание или неудобства. По-моему, она ни разу не пропустила случая сделать кому-нибудь доброе дело. Я не перестаю дивиться, какое счастье выпало мне на долю, что она, столь неизмеримо превосходя меня решительно всеми моральными достоинствами, согласилась стать моею женой. Всю жизнь она была мне верной советчицей, неунывающей утешительницей; не будь ее, я со своими болезнями влачил бы жалкое существование».

Так, торопливо нанося день за днем на бумагу неразборчивые каракули, торжественно сводя последние счеты с земным бытием и тут же непринужденно рассказывая занимательные случаи, Дарвин говорил в «Автобиографии» «прости» не только своей жизни, но и своему миру, а мир для него составляли прежде всего выдающиеся люди, которых он знал. Он редко позволял себе нравоучительные суждения. О тех, кто отравлял ему существование — Оуэне, Майварте, Батлере, — он говорит скупо. О литераторах отзывается в основном хорошо. О собратьях-ученых вроде Броуна, Баббеджа, Мурчисона рассказывает с лукавым юмором, а изредка — с удивительной прозорливостью, вспоминает забавные случаи. Фоконер, в то время уже покойный, по-прежнему его «милый бедный Фоконер» за то, что был так пламенно привержен к фактам и с таким душевным потрясением принял «Происхождение видов», поделив свою любовь поровну между слонами и эволюцией. По отношению к Спенсеру, о котором он слышал столько восторженных отзывов и которым его так принуждали восторгаться Уоллес и Гексли, он позволяет себе роскошь откровенного, хоть и осторожного, осуждения:

«Разговоры с Гербертом Спенсером мне всегда казались очень интересны, но нравился он мне не особенно, потому что я чувствовал, что нам с ним нелегко сойтись накоротке. Он был, как мне представляется, человек крайне эгоистический. Прочитав какую-нибудь его книгу, я обыкновенно бываю искренне

восхищен его талантами абстрактного мыслителя и нередко подумываю, не займет ли он в отдаленном будущем место в одном ряду с такими великими людьми, как Декарт, Лейбниц и другие, о которых, впрочем, мне известно очень немногое. При всем том я считаю, что для собственной работы ничего не почерпнул из сочинений Спенсера. Человеку такого склада ума, как я, совершенно чужд его дедуктивный подход к каждому вопросу. Его выводы никогда меня не убеждали, и, проследив за ходом его рассуждений, я вновь и вновь себе говорил: „Превосходная тема, поработать бы над ней годков шесть“».

Для Гексли и Гукера, которые с давних пор были ему один — правой рукой, другой — левой, у него нет никаких слов, кроме хвалебных. Гукер — прелесть, человек доброй души, острого ума, неутомимый, порядочный до мозга костей. Правда, он «очень опрометчив и несколько вспыльчивого нрава». И все же, заключает Чарлз, «такого располагающего к себе человека, как Гукер, я, кажется, больше не встречал».

Томаса Гексли Дарвин считает, по-видимому, самым одаренным из всех своих близких друзей, хотя сплошной поток его похвал мало что добавляет к уже известному. «Ум его быстр как вспышка молнии, остер как бритва. Собеседника я такого второго не знаю». По мягкости речей этого человека невозможно составить себе представление о беспощадной свирепости его полемического пера. После кратких слов о том, как тяжела у Гексли рука и как остры зубы, Дарвин с гордостью и прямо-таки мальчишеским преклонением продолжает:

«Мне дозволялось говорить ему что угодно: много лет тому назад, например, мне показалось, что он зря нападает на стольких ученых, хоть я и полагаю, что в каждом частном случае он был прав, — и я ему сказал об этом. Он возмущенно отверг мое обвинение, и я ответил, что очень рад, если ошибся. Разговор у нас шел о его вполне оправданном выступлении против Оуэна, и через некоторое время я заметил:

— Как вы умело раскрыли промахи Эренберга!

Он согласился и прибавил, что такие ошибки надобно разоблачать, это в интересах науки. Прошло еще немного времени, и я опять свернул на свое:

— Бедный Агассис, не поздоровилось ему от вас.

Потом я назвал еще одно имя, и тут он сверкнул на меня глазами и разразился смехом, отпустив и мне изрядную долю любезностей. Великолепный человек и достойно потрудился на благо рода людского».

Гексли был ему «самым добрым другом», служил оплотом дела эволюции в Англии; кроме того, он проделал замечательную

работу в области зоологии и достиг бы гораздо большего, если бы не был так обременен необходимостью писать, заниматься вопросами образования, выполнять административные обязанности.

А еще один близкий, но менее лестно описанный в «Автобиографии» друг к тому времени умер.

«Нынче на Ватерлоо-Плейс мне встретился Ляйелл, он шел с Карриком Муром, — писал Гексли в июле 1871 года, — и, хотя после того, что Вы мне сказали на днях, я был подготовлен, его вид, а еще более — неразборчивость его речи меня потрясли. Нет сомнений, что речь его нарушена, как Вы и говорили, и это обстоятельство внушает мне самые недобрые предчувствия».

Ко всем этим напастям вскоре прибавилась слепота.

Ляйелл мечтал, что в старости сможет вознаградить себя за целую жизнь, прожитую в тяжких трудах, и немножко чаще выезжать на званые обеды. Но выезжать на званые обеды — неподходящее занятие для человека, у которого почти отнялась речь и совсем отказали глаза. К тому же, помимо физических страданий, которые он сносил безропотно, он изведал в преклонные годы горькую участь человека, которого обошли приглашением на важное торжество. Ляйелл произвел революцию в геологии. Он топтался на месте во время более серьезной революции в биологии. Он проявил нерешительность и упустил момент. Это была суровая кара, и иногда он тихонько жаловался. Окончательно провозгласив свою верность эволюции, он напомнил Дарвину его слова относительно недругов новой геологии: ученому самое лучшее умереть в шестьдесят лет, чтобы избежать старческого вельможного неприятия «каких бы то ни было новых учений». Ляйелл выразил надежду, что теперь ему, быть может, позволительно пожить еще. И когда Геккель в 1868 году прислал ему свою «Естественную историю мироздания», Ляйелл душевно поблагодарил его, в особенности за главу «О Ляйелле и Дарвине». «Почти все зоологи забыли, что со времени Ламарка и до выхода в свет книги нашего друга „Происхождение видов“ было написано еще кое-что», — писал он.

Теперь тени над головой Ляйелла сгустились еще больше. В 1873 году он лишился своей верной Мэри, которая сопровождала его во время стольких научных странствий по Европе и Америке, а в молодые годы терпеливо сидела и скучала, пока они с Дарвином плутали в дебрях геологии. Казалось бы, что еще оставалось Ляйеллу? Между тем дни его проходили в увлеченном, жадном изучения древних вулканов его родного Форфара, которые он обследовал совместно с блестящим молодым геологом Джадом. Почтенный ветеран терпеливо брел

вперед неверной походкой в окружавшем его мраке, слушал, что ему рассказывают о залегании горных пород, с трудом выговаривая слова, предлагал свои суждения и радовался успеху книги своего молодого друга. В последнем из его писем Дарвину только и разговору, что о Джадовых древних вулканах, и ни слова о том, как худо ему самому.

22 февраля 1875 года его не стало. Гукер был оглушен. Он был «мой любимый, мой самый лучший друг… привязанный ко мне воистину и по-отечески и по-братски». Дарвина горе Гукера удивило. «Не могу сказать, чтобы меня очень тронула его смерть: для меня она никоим образом не явилась неожиданностью, а его деятельность в науке я в последнее время считал оконченной». После он порадовался, что Гукер, как президент Королевского общества, сумел добиться для Ляйелла такой чести, как погребение в Вестминстерском аббатстве. «Мне такая возможность… не приходила в голову, когда я в прошлый раз писал Вам». Его просили нести гроб, но он отказался, убоявшись, что ему станет дурно. Его письмо к секретарю Ляйелла мисс Бакли не так бесчувственно и отчужденно, как письмо к Гукеру, и все же в хвалебных строчках сквозит неуловимая небрежность. «Странно подумать, — пишет он под конец, — что мне уж никогда больше не сидеть с ним и леди Ляйелл за завтраком». Это самые прочувствованные слова. Ляйелл так и не слился с дарвинизмом безраздельно. И потому неизбежно было, что он, как почти все старые друзья, выпадет из числа немногих избранных, кто остался близок Дарвину. Чарлз сам сознавался, что не способен больше на сильные чувства к кому бы то ни было, кроме членов своей семьи.

Леббок, ныне лорд Эйвбери, важная фигура в общественной жизни, был тем Меркурием, который обычно возвещал о кратких наездах знаменитостей в этот крошечный, окруженный поклонением мирок. В феврале 1877 года он как-то воскресным вечером нагрянул в растревоженную дрему Дауна с доброй половиной викторианского политического Олимпа, привезя с собою не только Гексли, Морли[186] и лорда Плейфера[187], но и велеречивого, величественно-любезного Юпитера, достопочтенного Уильяма Ю. Гладстона. К Чарлзу, поглощенному мудреными волосками и листовыми «желудочками» росянки, бесцеремонно вторглась жизнь. Это был, право же, единственный в своем роде случай, когда истории не возбранялось возвыситься до философско-поэтических обобщений: великий вольнодумец в политике впервые встретился с великим вольнодумцем в науке. Для Гладстона это было время, когда он готовился вместо героической позы мыслителя вот-вот принять еще более

героическую позу человека действия. Три года просидел он в надменном отдалении от низменного и корыстного суесловия форума, с библией в одной руке и Гомером в другой, как символ духовной истории Европы. Но за это время бог знает какие безрассудства натворил умник Дизраэли — словно затем, чтобы его великий соперник имел повод явить благородную, простую мудрость, обличая их; а турки стали резать христиан будто единственно для того, чтобы дать Гладстону возможность обнаружить свою ретивость и свое красноречие, изливая в длинных речах праведное и благозвучное негодование по поводу варварства и злодеяний.

Жаль только, что он был слишком уж исполнен ретивости и красноречия. Ну как перекинешь мост от турецких бесчинств к замысловатостям росянки? У Леббока он добрых три дня с неистощимой и незлобивой энергией метал громы и молнии в турок и у Дарвина продолжал в том же духе. Чарлз слушал и получал истинное удовольствие. Но наконец великолепные раскаты ораторского грома замерли, и общество стало разъезжаться. Заслонив глаза ладонью от заходящего солнца, сутулый книгочей с длинной белой бородой стоял и глядел, как, прямой, подобранный, удаляется Гладстон. Потом он повернулся к Морли — тот стоял рядом, собираясь прощаться, — и с простодушной, искренней благодарностью воскликнул:

— Какая честь, что у меня побывал такой великий человек!

Что до Гладстона, тому запомнились только турки. В его бумагах значится лишь «содержательный визит» и «интересная беседа».

«Мы тут читали вместе одну превосходную работу, проповедующую… дарвинизм, — рассказывает Эмма в письме к Фанни Аллен. — Мне иногда ужасно странно, что близкий мне человек поднимает в мире такой шум».

Впрочем, Чарлз наделал шуму уже давным-давно. Теперь они с Эммой все больше чувствовали себя лишь сторонними наблюдателями истории, которой сами дали начало. Вот уже и дети стали подавать собственный голос. Математик Джордж взялся поправлять сэра Уильяма Томсона[188], и ему предстояло вскоре излагать свои идеи Королевскому обществу. Фрэнк — сначала медик, потом биолог — стал ассистентом отца и теперь, где только можно, пытливо изучал протоплазму. Ленни, которому Эмма всего несколько лет назад велела «приниматься за рукоделье», в недалеком будущем предстояло строить форты, а теперь он отправлялся в качестве фотографа в научную колумбиаду по Новой Зеландии.

— Ай да сыновья у меня — все как на подбор, и каждый

творит чудеса! — восклицал Чарлз.

Слава богу, нетрудно было увидеть, насколько все они умней, чем был в их годы он.

Однако из тех надежд, которые они подавали в юности, мало что сбылось. В зрелые годы потомки Дарвина отличались просвещенностью, уверенностью в себе, рассеянностью, наивностью, эксцентричностью — милейшие люди! Один сделался военным, майором, другой — лорд-мэром Кембриджа. Все нашли себе очаровательных и достойных жен. Все жили в солидных особняках и имели еще более солидные чековые книжки. Все водили дружбу с выдающимися людьми, но сами по праву к таковым не принадлежали. Какая-то смутная тоска по прошлому лишила их жизнь устремленности вперед. В дни, когда расшатывались основы и люди стремились к самоутверждению, они скромно держались в стороне и безмятежно уповали на прочность и незыблемость сущего. В век, который стремительно сметал все приличия, они оставались щепетильно-благопристойны и до того верны средневикторианским устоям, что, когда на каком-то обеде Вирджиния Стивен отпустила «несколько двусмысленную шуточку», Джордж, к изумлению своей дочери Гвен, «*понял* ее, представьте» и, «всем своим видом выражая неодобрение, отвернулся». Беда в том, говорит Гвен, что у детей Дарвина был слишком уж снисходительный отец, слишком маловзыскательный, а главное — слишком милый. Поэтому он навсегда остался их кумиром, а детство — временем самых счастливых и значительных событий в их жизни. Быть бы ему покруче, поприжимистей, чтобы они поневоле взбунтовались, быть бы повъедливей, чтобы они вырвались из-под его опеки и научились дерзать на свой страх и риск. «Во всяком случае, — пишет она, — я знаю одно: я всегда чувствовала себя старше, чем они. Не лучше — какое там, не добрей, не тверже, не разумней. Просто старше».

Эмма не так безропотно, как Чарлз, примирилась с дружным повзрослением своих сыновей. Новозеландские похождения Ленни не вызвали у нее никакого восторга.

— Я ожидала большего. Страсть как приелась Новая Зеландия, — заметила она Этти, насмешливо сказав о Новой Зеландии то же самое, что заявил как-то в детстве Ленни про хлеб с маслом к чаю.

Пожалуй, они с Чарлзом по-настоящему не отдавали себе отчета в происходящем, во всяком случае, до тех пор, пока не съездили в Бассет к Уильяму, на его виллу. И не то чтобы поездка в каком-то смысле не удалась — нет. «Уильям говорит, как уныло и неинтересно теперь за столом и как он рад, что мы приехали.

По-моему, он не на шутку по нас скучает, — и тут она решается облечь в слова огорчительную догадку, — хотя П. <папа> счел бы такую мысль явно слишком самонадеянной, поскольку Уильям человек, а мы с ним — допотопность».

Много лет они каждый вечер садились сыграть ровно две партии в триктрак — ни больше ни меньше. Когда Чарлзу не везло, он прибегал к ритуальному выражению, заимствованному из «Дневника для Стеллы»[189]: «Ах, гром тебя разрази!» На что Эмма, без сомнения, отзывалась не менее ритуальной фразой.

Этот легкомысленный обряд, кроме того, удовлетворял его страсть к подсчетам. «Кланяйтесь от нас, пожалуйста, миссис Грей, — писал он старинному своему другу Аза. — Я знаю, она любит, когда мужчины хвастаются, это чудесно их освежает. Так вот, у нас с женою счет в триктрак таков: она, бедненькая, выиграла всего-навсего 2490 партий, меж тем как я — троекратное ура! — выиграл 2795!»

Эмма любовно и неукоснительно поддерживала переписку с живыми тенями далекого прошлого, незамужними тетушками и престарелыми вдовицами. Из поколения Джозайи Веджвуда и доктора Роберта Дарвина в живых осталась только Фанни Аллен. Это была смышленая, бойкая, неукротимая старая дева — ей перевалило за девяносто; жила она в веселом, хорошеньком домике у моря и категорически отказывалась платить своей кухарке больше двенадцати фунтов в год — правда, Элизабет Веджвуд и Фанни, жена Генсли, по секрету увеличивали эту сумму в соответствии с требованиями нового времени. С трезвым здравомыслием, свойственным XVIII веку, Фанни не признавала Теннисона и его «вкрадчивых, сюсюкающих» подражаний Шекспиру, приводя как пример, действительно достойный подражания, убийство герцога Хемфри из драматических хроник. Своей внучатой племяннице Генриетте она подарила томик Бернса с язвительной надписью, что он, как она надеется, отвадит ее от «мистера Теннисона».

Эмма старалась дать Фанни представление о том, какова теперешняя молодежь. «Генриетта… была на балу для рабочего люда, — писала она, — танцевала с бакалейщиком и сапожником, они держались точно так же, как все, и одеты были нисколько не хуже. Дамы явились в премилых нарядах, хоть и недорогих, и выглядели много пристойнее, чем светские модницы из общества на нынешних балах». Они с Чарлзом несколько раз принимали у себя слушателей Личфилда из лондонского Рабочего колледжа. Приезжали сразу человек семьдесят, разбредались по саду, пели песни под липами и наконец сходились на лужок пить чай. Чарлз с ними ладил прекрасно, хотя такими вечерами он, должно быть,

тревожно прислушивался к своим ощущениям, предвидя грозную возможность бессонницы и головных болей.

Приблизительно в это время Эмма неприметно для всех стала куда шире смотреть на вещи в вопросах религии. Сорок лет застольных бесед об эволюции не прошли даром. Уважать славу Чарлза — значило считаться с фактами, которые приводил, а считаться с этими фактами — значило отрицать всемирный потоп и райские кущи. Теперь Эмма восхищалась епископом Коленсо, впрочем, пожалуй, больше его дружбой с кафрами, а не враждой с Ветхим заветом. «У настоятеля Стэнли хватило духу попросить, чтобы он произнес исповедь в Вестминстерском аббатстве, — писала она, — но Коленсо отказался и заявил, что не затем приехал в Англию, чтобы добиваться чего-то для себя, и не желает создавать шумиху». Она стала также проявлять любовный, материнski-участливый, хоть и довольно смутный, интерес к ученым занятиям Чарлза. Он был совсем как маленький, ее муж, трогательный, увлеченный, вечно занятый своими затеями с дождевыми червями да примулами. «П. поглощен кустарником desmodium gyrans, — писала она Генриетте, — вчера вечером наведывался смотреть, как он спит. Кустик спал как убитый, только боковые листочки ходили ходуном — в дневное время он такого не видывал».

«У П. счастье, — писала она немного спустя, — нашел на краю поля два старых-престарых камня, вросших в землю, теперь ему рабочий их выкапывает — и все из-за червей. Надо сходить отнести ему зонтик». Чарлз начал исследовать, каким образом дождевые черви, роясь в земле, хоронят камни. Логическим апогеем его увлечения этими скромными существами явилось грандиозное событие: он посетил Стоунхендж[190]. «Боюсь, как бы П. не вернулся полумертвый, — писала накануне Эмма, — два часа поездом да потом еще двадцать четыре мили на лошадях, — но он твердо настроен ехать, в основном из-за червей, ну и вообще всегда хотел посмотреть Стоунхендж». В Солсбери их встретил Джордж и провел экскурсию с большим воодушевлением. Чарлз с изумительной выдержкой стоял на солнце, и никакая головная боль его не брала. Но, увы, в Стоунхендже всепожирающему червяку не удалось стереть с лица земли творение человека, этой вековечной своей жертвы. «Насчет червяков ничего стоящего не обнаружено, они там, кажется, страшные бездельники».

Зато все Дарвины по мужской линии к червям отнеслись с должной серьезностью. Горас наблюдал, как они погребают камни, Уильям — как зарывают старые постройки, Фрэнк — как они тащат к себе в норки листья. Наконец, в 1881 году Чарлз

показал в своей книге, что эти незаметные и, казалось бы, немудрящие существа живут сложной, захватывающей и в высшей степени полезной жизнью. Они незрячи, глухи и немы, а между тем сооружают прекрасные, выложенные перегноем ходы, которые тянутся под землей на шесть, а то и семь футов и заканчиваются округлыми, вымощенными мелким камешком горенками, где червяки зимуют, свернувшись клубочком. Их поразительные пищеводы и желудки вызвали у Чарлза взрыв красноречивого восхищения. А как они сообразительны — непременно подцепят листок с самого удобного конца. И главное, они в буквальном смысле слова заглатывают, переваривают и выделяют чуть ли не весь поверхностный слой почвы земного шара, очищая его и даря ему то плодородие, без которого невозможна изобильная жизнь растений.

В 1876 году в дом Дарвинов стихийным бедствием вновь вторглась молодая жизнь. Фрэнк женился, потерял жену и вернулся с маленьким сыном в Даунс-Хаус. Эмма принялась за новые обязанности деятельно и отважно, хотя, по мнению Генриетты, внезапная смерть невестки унесла частику ее неустрашимости и душевного покоя. В ее упоминаниях о малыше чувствуется озабоченность и восторг, но восторг преобладает: «Он у нас… похож на далай-ламу, — сообщала она Генриетте, — такой он важный».

Между младенцем и стариком сразу установились непринужденные и доверительные отношения. Шекспир, возможно, и утратил способность будить отклик в душе Чарлза, но дети — отнюдь нет. Чистое удовольствие было видеть напротив себя за столом личико малыша. «Они с Бернардом имели обыкновение сравнивать свои вкусы: к примеру, какой сахар лучше — колотый или песок, и тому подобное, и всегда приходили к одному выводу: „Ну, известное дело, мы во всем сходимся“».

Беспокоил Чарлза и Эмму их старший сын. Уильям, преуспевающий банкир, жил в Саутгемптоне: застенчивый, располагающий к себе, с ровным, покладистым нравом. Он грешил только одним недостатком: был холостяк. Неужели ему суждено стать вторым Эразмом? Как и его дядя, Уильям любил уединение, книги. Когда Эмма уговаривала его жениться, он приводил традиционное возражение:

— Да, но тогда у меня *совсем уж* не останется времени на себя.

Впрочем, в минуты, когда ему случалось оторваться от книги, его, по-видимому, посещали матримониальные помыслы — во всяком случае, в 1877 году он обручился с Сарой Седжвик,

свояченицей Чарлза Элиота Нортона, элегантного бостонца и утонченного англофила.

Твердо веря, что Уильям счастливо избежал злой участи и сумел покорить необыкновенное создание, Чарлз послал Саре неподражаемое, сердечное и смиренное письмо, какие умел писать он один: «Я много лет не видел женщины, которая так нравилась бы мне и внушала такое высокое уважение, как Вы», — писал он. Признав, что Саутгемптон действительно скучноват, он скромно отметил, что зато Уильям — нет. Мало того:

«Я могу смело сказать, не погрешив против истины, что никогда в жизни Уильям ни словом, ни делом не причинил мне хотя бы минутного огорчения или заботы. У него чудесный характер, нежная душа, он обожает доставлять людям маленькие радости. Мое величайшее желание, чтобы Вы с ним были счастливы, а за то, что Вы согласились взять его в мужья, благодарю Вас от всего сердца».

Сара — живое свидетельство того, как в Дарвинах при всей их естественности сильны были почитание приличий и чинной добродетельности. Девица она была неглупая, живая, но ханжа и святоша со страстью разыгрывать из себя высоконравственную подвижницу, а страсть эту в тот прозаический век нельзя было утолить иначе, как только став образцово-томной дамой. Идеала, ради которого стоило бы умереть, у нее не было, и потому она жила, чтобы соорудить из своего с Уильямом существования обелиск, благопристойности. Супруги занимали просторную, до отвращения безукоризненную виллу в поздневикторианском стиле, с газонами, подъездной аллеей, вечнозеленой араукарией, зеркальными стеклами в окнах и звонками, на которые тотчас являлись лакеи. Дом в отличие от Сары не вызывал у Чарлза восторга. Когда ему как-то случилось пробыть там несколько часов одному, он собрал все безвкусные безделушки, какие попались на глаза, и расставил в одной комнате. Когда вернулись Уильям с Сарой, он, посмеиваясь, повел их по своей кунсткамере.

По-видимому, Уильям, как и его дядюшка Эразм, обладал талантом спокойного и вдумчивого поклонения. Во всяком случае, и тот и другой определенно умели найти подход к Карлейлю. Среди дарвиновских писем одно из самых обворожительных — письмо Уильяма к матери, в котором он описывает прогулку в карете с престарелым трансценденталистом. Под лучами теплого, сочувственного Уильямового понимания растаяли хмурые, темные тучи на заиндевелом челе, раскрылось гордое и недоверчивое сердце, острый язык перестал быть рабом собственного сатирического мастерства. Карлейль рассказывал, с каким невероятным трудом

он переписывает заново первый том «Французской революции» после того, как рукопись по ошибке сожгла горничная Джона Стюарта Милля. Писать без своих черновиков, без выписок — все равно что пытаться взлететь без крыльев. Он говорил, что сошел бы с ума от скверны и непостижимости этого мира, если бы не целительная дружба с Гёте. Доводилась ли Карлейлю когда-нибудь перечитывать собственные труды? Как же, вот «Фредерика» перечел, все одиннадцать томов от корки до корки (доказав тем самым, что подобные книги можно не только писать, но и читать). Все это и многое другое говорилось с полной откровенностью и благодушием, беда только, что бессмертные изречения то и дело терялись в грохоте колес. Прощаясь, Карлейль спросил у Уильяма, как поживает Чарлз, и не преминул выпустить когти, заметив с усмешкой: «Происхождение видов для меня не значит ровным счетом ничего».

У Чарлза в поздние годы личные отношения с пророком культа героев сложились не так удачно. Карлейлю было трудно переварить обезьян, а Дарвин не очень-то переваривал Карлейля, в особенности после «Воспоминаний», в которых братьям Дарвинам мимоходом и покровительственно отводится одна страничка для того, чтобы комплиментом туманному глубокомыслию старшего принизить честно заработанную славу младшего.

«В очень скором времени нас отыскал Эразм Дарвин, любопытнейший из смертных («мол, прослышал, что Карлейль в Германии» и т. д.), и с тех пор пребывает в друзьях дома, тихий, искренне привязанный, хотя в последнее время навещает нас все реже: неважно со здоровьем, да и я так занят, и тому подобное. Есть в нем что-то особенное, некая саркастическая проникновенность, это один из самых честных, поистине настоящих и скромных людей на свете. Он брат Чарлза Дарвина… и я, пожалуй, предпочту его младшему брату в смысле широты ума — жаль, что по слабости здоровья он безнадежно обречен на молчание и терпеливое бездействие».

Дарвин в «Автобиографии» отдал Карлейлю должное и тем с ним сквитался. Карлейль умеет говорить, но говорит он слишком много. Дарвин не без злорадства вспоминает, как прославленный сочинитель заставил на званом обеде замолчать целое общество — и в том числе двух завзятых рассказчиков — грандиозной проповедью о пользе молчания. Карлейль невоздержан в насмешках, и насмешки у него, судя по «Воспоминаниям», слишком часто идут от души. Впрочем, он действовал из самых лучших побуждений. Его описания людей и вещей неподражаемы по силе изображения, но отнюдь не всегда по достоверности. Он

был огромного влияния моралист и при этом не знал разницы меж правдой и правом сильного.

В 1877 году Кембридж от щедрот своих даровал науке престиж, эволюции — ортодоксальность, а Чарлзу Дарвину — почетную степень доктора права. Присуждение этой степени — одно из самых достопамятных событий в университетской истории — выглядело не то как торжественный обряд, не то как студенческие беспорядки. Когда Эмма вошла в боковую дверь со своей дочерью Бесси и двумя младшими сыновьями, в зале заседаний ученого совета творился ад кромешный: шум, духота, давка, люди стиснуты со всех сторон, как сельди в бочке. Студенты забили проходы, облепили статуи, взгромоздились на подоконники. Залихватские свистки перемежались с оглушительными рукоплесканиями. Но вот под эскортом членов ученого совета в пышных облачениях вышел Чарлз — вылитый Чосер: белая борода, великолепная алая мантия. Зал содрогнулся от грома оваций, и Эмма совсем было приготовилась увидеть, как ее муж, при его-то чувствительности и робости перед толпою, поникнет и сгинет ни за грош. Ничего похожего. Он сидел и с самой милой улыбкой ждал вице-канцлера. Тем временем тяжкие стоны из зала возвестили приход нелюбимого инспектора, и тот отвечал на них хмурой и злобной гримасой — «никуда не годная тактика», замечает умудренная богатым опытом Эмма. В это время студенты на хорах протянули с одного конца яруса на другой какие-то веревки, и Эмма не очень удивилась, когда в воздухе повисла сначала обезьянка, а потом большое, перевитое лентами кольцо, призванное, как она догадалась, изображать собою недостающее звено меж человеком и обезьяной. Последовал новый шквал, свистков и приветственных воплей в адрес «наших предков», и под этот нестройный шум вышел вице-канцлер. Какие-то двое с серебряными жезлами провели Чарлза по проходу. С длинной речью выступил «публичный оратор» — речь показалась Эмме чрезвычайно нудной и была прервана посредине бодрым напутствием из публики:

— Поблагодарим оратора, большое спасибо!

Наконец вице-канцлер в красной мантии на белом меху произнес над Чарлзом несколько слов по-латыни, и Чарлз стал доктором права. Эмма признается, что с большой гордостью шествовала по университетскому двору рядом со своим облаченным в алое супругом.

Вечером Чарлз тихо и скромно отобедал вдвоем с Эммой, полный отрадного сознания, что в этот же час превеликое множество людей сидит у вице-канцлера на пышном банкете,

устроенном в его честь. Представлял его, как всегда, Гексли: благодарил, произносил торжественный спич. Дарвиновский alter ego умел сказать такое, что Дарвину в голову бы не пришло. В таких случаях актер в нем только подзадоривал пуританина. Для Гексли было истинным наслаждением развенчивать общепризнанных кумиров, сильных мира сего. При всей своей общительности и широте натуры он обожал устраивать на торжественных пиршествах карательные вылазки, с праздничной непринужденностью совершая нечто вроде публичных экзекуций… Он начал с того, что от имени своего старого друга поблагодарил за оказанную ему честь. Университет выказал мудрую дальновидность и исключительную выдержку, не осеняя чело мудреца эфемерным академическим венцом до тех пор, пока не исчезла опасность, что этот венец раздавят своею тяжестью другие знаки отличия, скопившиеся на означенном челе со времейи выхода в свет «Происхождения видов». Затем Гексли покопался в истории науки, тщетно отыскивая меж Аристотелем и Дарвином хоть одно имя, равное этим двум. В заключение он выразил свою радость по поводу того, что, присудив его старому другу почетную степень, Кембридж, как явствует из слов доктора. Хемфри, признал эволюционное учение. Младшие Дарвины от души повеселились, взахлеб пересказывая эту речь своему родителю.

Время пожалования докторской мантии было точно выверено черепашьим шагом общественного мнения: отныне, где бы Чарлз ни появлялся, на плечах его невидимо покоилась алая мантия славы. Когда он пришел послушать лекцию Бердона-Сандерсона о движении у растений и животных, его встретили рукоплесканиями и с помпой усадили подле председателя. В этом согбенном седобородом старце с косматыми бровями и страдальческой складкой над ясными, правдивыми глазами люди видели бессмертного гения, который вскоре покинет суету земной юдоли.

В 1879 году Чарлз, с присущим ему чувством сыновнего долга, вырезал еще одну голову на тотемном шесте своего рода. Выполненное в строго викторианском вкусе, изваяние это назначено было правдиво представить деда Эразма. Незадолго до того на Чарлза произвела сильное впечатление посвященная Эразму статья Эрнста Краузе в немецком журнале «Космос». Как знать, а вдруг нечего так уж стыдиться головокружительных Эразмовых умопостроений? Чарлз решил, что нужно издать статью Краузе на английском языке, и, находя научные занятия все более утомительными, взялся отдохновения ради написать к ней биографическое введение. Стоит ли говорить, что очень скоро

введение переросло сам очерк.

В это время Эразма, пожалуй, лучше всего знали по сноске в «Историческом очерке», предпосланном «Происхождению видов». Чарлзу же, по-видимому, представлялось, что он больше известен по жизнеописанию, принадлежавшему мстительному перу дедовой современницы, мисс Анны Сьюорд, которая по вине деда Эразма так и не стала миссис Дарвин и в отплату за это тайное злодейство создала образ чудовища, способного на столь непростительное пренебрежение. Подобрав по старым семейным бумагам и письмам необходимые доказательства, Чарлз предпринял попытку «опровергнуть клеветнические измышления мисс Сьюорд». Но, естественно, опровергая клеветнические измышления, живого — или хотя бы достоверного — портрета не нарисуешь. Да и измышления-то, сказать по совести, опровергнуть было трудновато.

— Как ее девичья фамилия, вы не знаете? — спросил он как-то у Гукера про некую даму. — Подозреваю, что она доводится внучкой доктору Дарвину, автору «Зоономии»; у него было несколько внебрачных дочерей, их воспитывали как благородных девиц.

Чередуя благоразумно отобранные цитаты с еще более благоразумными умолчаниями, Чарлз ухитрился пускай не воскресить деда, но хотя бы создать в высшей степени поучительный его образ. Эрудит и поклонник прекрасного пола, блестящий ценитель искусств и кабинетный философ стал тем, кем он и был отчасти: ученым мужем, гуманистом, славно послужившим на благо рода человеческого.

Все дарвиновское семейство к «Эразму» отнеслось с сомнением. Чарлз урезывал, переделывал, терзался, но напрасно. Все ждали недоброго, и на сей раз мрачные предчувствия оправдались. Не разошлось и тысячи экземпляров.

Книжечка не имела успеха, но это бы еще полбеды. С нею вышла еще одна незадача. Сэмюэл Батлер — человек, который с детства копил в себе ощущение несправедливой обиды и полжизни выявлял злые козни давних недоброжелателей, — едва взглянув на статью Краузе, усмотрел в ней коварно замаскированный выпад против собственной персоны. Больше того, он увидел, что вся научная деятельность Чарлза — сплошной грабеж под личиной благопристойности, систематическая кража идей у Эразма Дарвина, Бюффона, Ламарка. Закрывать глаза на подобные бесчинства было не в правилах Батлера. Скрепя сердце, но исполненный решимости, он не прекращал свои нападки до тех пор, пока не обратил на себя внимание современников, выказав несомненную способность

чернить людей. Он был подозрителен, придирчив, бдителен, остер, изворотлив и уклончив. Он также обладал отличающим сатирика умением правдоподобно изображать свои жертвы злодеями, вполне заслуживающими беспощадность его пера. Чарлз Дарвин из «Случайности или хитрости» без труда заставит читателя воспылать самым праведным негодованием.

Ссора Батлера с Дарвином не случайность. В начале 60-х годов; молодым еще человеком, Батлер нажил скромное состояние в Австралии, занимаясь там овцеводством, а в Новой Зеландии он напал на идею, определившую всю его жизнь. Идеей этой была эволюция, и нашел он ее в «Происхождении видов». На теорию естественного отбора он почти не обратил внимания. Его пленила мысль о том, что живые существа растут, развиваются, совершенствуются. И он — что очень показательно — принялся экспериментировать с понятиями, как ученый экспериментирует с морскими свинками или со сморщенными горошинами. Сначала он предположил, что человек подобен машине. Предположение оказалось не ахти как увлекательно и плодотворно. Тогда он стал рассматривать машину как живое существо. Дело сразу пошло куда веселей, и вскоре он уже поместил краткий очерк в новозеландской газете. Но, несмотря на все свое искусство убедительно изображать все, что угодно, Батлер как-то не сумел окончательно уверить самого себя в том, что механизмы живые. Поэтому он обратился к более умеренному и, пожалуй, созвучному Ламарку взгляду, что машины — это добавочные, съемные органы, которые смастерили для себя люди, и поместил в газете новый очерк.

В 1870–1871 годах Батлер, теперь уже состоятельный лондонец, холостяк и ученый-любитель, соорудил из двух своих очерков — и многого другого — очень ладно сработанное сатирическое сочинение под названием «Едгин»[55] и послал экземпляр Дарвину. Дарвин счел его презанятным, и Батлер поспешил объяснить, что оно вопреки мнению некоторых критиков вовсе не задумано как пародия на «Происхождение видов» — книгу, за которую он «никогда не устанет благодарить автора». Он сделался частым гостем в Даун-Хаусе, подружился с Фрэнком.

Но вот Батлер возобновил свои опыты, стремясь доказать подобие организма механизму: крутил, вертел, выворачивал эти понятия с ловкостью костоправа, придавал им самые невообразимые очертания. Машину как совокупность конечностей или съемных органов он уже рассматривал. Но что, если органы представляют из себя машину? Он мигом сообразил, что животные могут «изобретать» себе органы по мере надобности,

совершенствовать по мере использования, сохранять посредством привычки и передавать потомкам посредством бессознательной памяти. Тогда особям с общим происхождением обеспечено единство индивидуальных черт и опыта. И жить они будут «жизнью, накопленной за века». Чудным летним вечером во время деловой поездки в Канаду Батлер стоял на горе Монреаль, восторженно любуясь величавой красотой реки Святого Лаврентия и собственной идеи. Отзвонили в Монреальском соборе, и медленно замирающие звуки благовеста представлялись ему символом постепенного угасания совокупной памяти, теряющейся в бездне минувшего опыта.

Батлер едва ли отдавал себе отчет в том, что породил новую теорию, и уж тем более — что сильно расходится с Дарвином. Однако в 1876 году, когда он начал писать книгу «Жизнь и привычка», друзья надоумили его познакомиться с работами Ламарка и Геринга[191], опередивших его. Весьма сочувственно прочел он и возражения, выдвинутые против Дарвина Майвартом, и, вновь открыв священную книгу, ощетинился, заметив, как сжато составлены ответы на эти возражения. Заодно он обнаружил в голове своего идола немало мусора, а в ногах, естественно, изрядную долю глины. Когда же все-таки устами Дарвина глаголет Дарвин, а когда — Ламарк? И кроме того, раз естественный отбор не объясняет, чем определяется каждое изменение; значит, он вообще ничего не объясняет. Батлер пытался сохранить уважительный тон, но его уже обуяла страсть к разрушению. В заключительных главах «Жизни и привычки» от алой мантии мудреца на престарелом пророке эволюции остаются лишь жалкие клочки и лохмотья.

Книга «Жизнь и привычка» вышла в свет к концу 1877 года. Батлер ждал громовых раскатов с научного Олимпа. Но ничего такого не случилось — только от Фрэнка Дарвина пришли два любезных, даже приязненных, письма. Батлер облегченно вздохнул, но тут же заподозрил подвох. Не хотят ли из него, сделать новую жертву испытанной тактики замалчивания, которую — как он с ужасом и возмущением начинал сознавать — так успешно применял Дарвин к своим знаменитым предшественникам? Ведь о существовании эволюции в органическом мире прекрасно знали и Бюффон, и Ламарк, и Эразм Дарвин. Мало того — они и объяснение ей дали куда лучшее, чем Чарлз Дарвин. Отчего же они прозябают в безвестности? Ответ на это Батлер нашел в «Происхождении видов». Дарвинов «Исторический очерк» то ли нечаянно, то ли по злому умыслу, был чистейшей воды наветом. И сколько людей опорочено на этих скупых, набранных мелким шрифтом

страницах — не пощадил даже родного деда! А эти двусмысленности — то ли случайные, то ли намеренные, — они ведь не просто затрудняют понимание: они преследуют определенную цель, сбивают со следа, путают, дают возможность Дарвину окольным путем присвоить открытие не только естественного отбора, но и самой эволюции.

Следуя довольно-таки прихотливой, одному ему понятной логике, Батлер отнес Дарвина сперва к сверхчеловекам, потом — к простым смертным и, наконец, — к нелюдям. Оставалось только, чтобы злодей выдал свою бесчеловечность достаточно наглядным поступком. И вот пожалуйста, случай не заставил себя ждать. В мае 1879 года Батлер выпустил свою «Эволюцию старую и новую», разоблачая Чарлза и водворяя на достойный пьедестал Эразма, Бюффона и Ламарка. А всего через несколько месяцев Чарлз напечатал «Эразма Дарвина» Краузе со своими «Вступительными замечаниями». Дело ясное: прочел в «Эволюции старой и новой» про деда, вот совесть и заговорила. Батлер поспешно взялся читать «Эразма Дарвина». О возрождении ламаркизма — одно-единственное упоминание, всего одна фраза: Краузе считает, что недавняя попытка вернуть к жизни систему Эразма Дарвина грешит «убожеством мысли и отсталостью представлений, каким никто не позавидует». И все. А между тем в очерке, якобы точно переведенном с немецкого варианта, опубликованного до появления «Эволюции старой и новой», явно слышались таинственные и глухие отголоски работы Батлера. Больше того: предисловием Чарлза как бы удостоверена точность переводчика — к тому же в предисловии сказано о появлении вслед за «Эразмом» «Эволюции старой и новой». Батлер послал за оригиналом статьи Краузе и лихорадочно засел за немецкий. Так и есть! К первоначальному тексту кто-то успел приложить руку! Значит, и его, Батлера, погребут заживо — как погребли других после смерти под этими предательскими нагромождениями умолчаний и передергиваний? К счастью, он-то успел вовремя разгадать этот коварный замысел. В выражениях, недвусмысленно изобличающих подлое злодейство, Батлер написал Дарвину, требуя объяснений.

А объяснялось все просто: Батлер дал очень низменное и превратное истолкование довольно сложному стечению обстоятельств. Когда вышла его книга, Дарвин просмотрел ее и послал Краузе с припиской, что она не заслуживает особого внимания. Краузе, занятый пересмотром и доделкой своего очерка, по-видимому, воспользовался при этом материалом, приведенным в «Эволюции старой и новой», но в то же время еще более резко, чем Дарвин, осудил положения, выдвинутые

Батлером. Дарвин в предисловии отметил, что Краузе переработал свой очерк, но из гранок эти слова по недосмотру выпали. Теперь, поглощенный перегноем и дождевыми червями, Чарлз и не помнил, писал их или нет. Поэтому в своем ответе Батлеру он лишь подтвердил, что для нового издания текст действительно был доработан, но, поскольку таков общепринятый порядок, едва ли есть надобность специально это оговаривать. Однако он уже опоздал с объяснениями. Окончательно войдя в роль литературного Давида, бросающего вызов Голиафу науки и всему войску филистимлян, Батлер послал в «Атеней» письмо с изложением обстоятельств дела. Слог его был исполнен достоинства, только время от времени он с большим проворством и ловкостью пускал камень из пращи, злорадно отмечая «святую простоту» человека, который прибегает к принятому в научном мире порядку, дабы «украдкой очернить противника».

Последовало совещание встревоженных Дарвинов. Отвечать Батлеру или нет? Чарлз набросал два письма, но на семейном совете оба были отвергнуты. Отчаявшись, Дарвин обратился к самому королю полемистов. Гексли посоветовал хранить гробовое молчание. Батлера постигла жестокая кара. Ах, как ублажил бы его хоть самый маленький скандальчик, хотя бы два-три сердитых слова! Это жуткое, глубокое молчание бесило его до зубовного скрежета, так что в каждой следующей его книге было все больше злости на Дарвина и все меньше мыслей об эволюции. Распалясь, он пустился на такую крайность, как заигрывание со своим заклятым врагом — церковью, которой он предложил ламаркизм собственного изготовления в качестве средства уберечь от погибели душу человеческую в этот машинный век. Дарвин, по его утверждению, вышиб из вселенной мозги. Вставляя их обратно, Батлер растерял почти все серое вещество. Впрочем, на него так или иначе мало кто обращал внимания. То, что ему самому казалось бесстрашным обличением лицемерия и заблуждений, в глазах большинства викторианцев было подросту затянувшимся и малопонятным нарушением приличий.

Последние годы Дарвина были отмечены безбедным и тихим счастьем в кругу семьи, как завершающая глава доброго викторианского романа. В 1879 году некий Энтони Рич, которого судьба с диккенсовской меткостью наградила фамилией, означающей «Богач», написал, что намерен оставить почти все, чем владеет, Чарлзу и его детям. Чарлз возразил, что он и так уже состоятельный человек, но мистер Рич уперся на своем. В 1881 году, получив вдобавок большое наследство от своего брата Эразма, Чарлз опять воспротивился. Ничто не помогало. Мистер

Рич не слушал никаких возражений и во что бы то ни стало желал накормить сытого — ну что же, это было вдвойне кстати: деньги к деньгам, но и наследники к наследникам, а им с Эммой удивительно везло на новую родню. Их младший сын Горас, став членом ученого совета в Кембридже, не замедлил жениться на Айде, единственной дочери лорда Фаррера, политического деятеля, питавшего большую слабость к ботанике. С лордом Фаррером Чарлз не однажды предавался рассуждениям о примулах. Ну а Эмма теперь привязалась к его дочери — своей невестке.

Приучив себя в юные годы заниматься делом, Чарлз на старости лет вновь обучался бездельничать. Ощущение спешки, неотложности его работы постепенно отступило. Отдых перестал быть постылой повинностью вдали от его возлюбленной теплицы. Он участвовал в пикниках, совершал экскурсии, даже путешествовал — и все это с заразительной веселостью школьника, которого слишком долго продержали за уроками. Дважды он заезжал бог весть в какую даль от Дауна — в Озерный край. Видно, он все же поторопился поставить крест на своей способности воспринимать прекрасное. Скалы у озера Грасмир так его покорили, что Эмма заволновалась, как бы он не переусердствовал в своих прогулках.

Последнее лето было одним из самых счастливых в его жизни. Подросли молодые Дарвины, было кому заменить стариков; подрастал малыш Бернард. Генриетте особенно запомнился один день, украшенный присутствием прелестной дамы. Этой дамой, их гостьей, была миссис Лашингтон, она играла, пела, щебетала и привела очарованного семидесятидвухлетнего мудреца в превосходнейшее расположение духа.

И все-таки Чарлза даже под щедрым солнцем этих прощальных летних дней, должно быть, пробирал временами холодок от ощущения своей хилости и недолговечности. Его вторая поездка в Озерный край была совсем не так удачна, как первая. Малейшее напряжение — и он уставал, уставал даже любоваться природой. «У меня есть все, чтобы чувствовать себя счастливым и довольным, — писал он Уоллесу, — только жизнь сделалась для меня очень утомительна». Хуже всего было, конечно, то, что у него не хватало духу взяться за какую-нибудь важную научную проблему. Мелкие задачи ему либо не подходили, либо угрожали перерасти в большие, а на большую тему у него не оставалось времени. К тому же биологическая наука так стремительно двигалась вперед, что у него голова шла кругом. Он не поспевал за нею. Ему становилось трудно

сосредоточиться, охватить и цепко держать факты, чтобы строить на них рассуждения.

Нет, людям не следовало больше ждать от него никаких открытий. А между тем работа была для него потребностью, и он работал урывками, без прежнего подъема.

Все чаще хворал в последние годы Эразм. 26 августа 1881 года он умер, его похоронили на даунском кладбище. У Фрэнка Дарвина с необыкновенной ясностью запечатлелось в памяти печальное и задумчивое лицо отца, когда в длинной черной траурной одежде он стоял на ранней снеговой пороше у могилы Эразма. «Из всех, кого я знал, — писал Чарлз Гукеру, — он всегда казался мне самым славным: человеком и самой светлой головой. Лондон будет чужим без него». Но Эразму — и его брат это знал — не жаль было сменить свой любимый Лондон на более тихую обитель.

«Мне думается, он не был счастлив, — сказал Чарлз лорду Фарреру, — и уже много лет не дорожил своей жизнью, хоть никогда не жаловался».

Поистине трагично, что человек с таким запасом душевного тепла был так одинок.

Все молодые Дарвины, как ни поглощены они были теперь собственными семьями и заботами, оплакивали смерть Эразма как невозместимую утрату и всех горше Уильям, во многом на него похожий:

«Не считая поездок в Даун, — писал он матери, — для меня было самое большое удовольствие всякий раз, как я попадал в Лондон, ходить к дорогому дяде Эразму. Он значил для меня гораздо больше, чем просто дядя, неизменно добрый, хороший — я таким вспоминаю его с самых малых лет; всегда он умел меня развлечь, всегда с ним было легко и просто. Когда я вырос, мне с каждым годом все радостней становилось у него бывать. Такого обаяния я больше ни в ком не встречал».

В декабре на свет появился новый Эразм, сын Гораса и Айды. Чтобы повидать маленького внука, Чарлз в последний раз съездил в Кембридж. Должно быть, кембриджские студенты показались ему ужасно юными, ужасно шумливыми и посторонними здесь. Зато старинные здания и площади были свои, знакомые, и, когда в церкви Королевского колледжа он вновь услышал пение, на него нахлынули воспоминания, и веселый молодой Кэмбридж наполнился призраками…

День ото дня он терял силы; работать становилось почти невозможно. Эмме внушало тревогу его сердце, она повезла мужа к сэру Эндрю Кларку, но тот признал его состояние относительно сносным. Удивленный и успокоенный, Чарлз, видимо, чересчур

осмелел. Через несколько дней, когда он звонил у парадной двери Роменса, у него начался сердечный приступ. Роменса не было дома; его дворецкий, заметив, что мистеру Дарвину худо, стал убеждать его войти. Это был один из тех случаев, когда посреди прозаически бесстрастной повседневности городской улицы человеку, возможно, приходится выбирать меж нарушением приличий и смертью. Дарвин, с его застенчивостью и гордостью, его умением считаться с другими, предпочел соблюсти все приличия. Нет, он, пожалуй, поедет домой. Дворецкий все уговаривал его зайти и посидеть, хотя бы пока он кликнет извозчика. Чарлз опять отказался. Дворецкий провожал его взглядом, пока он с трудом шел к извозчичьей стоянке. Отойдя от дома шагов на триста, он пошатнулся и прислонился к решетке парка, полуобернулся, как бы собираясь пойти назад; дворецкий бегом кинулся к нему, но он снова повернулся и остановил извозчика.

Потом он поправился и до конца февраля чувствовал себя недурно, а там началось опять: перебои, боль в сердце. Но близилась весна, расцвели крокусы, запели птицы в саду, и Чарлз выходил посидеть с Эммой, погреться на солнышке. Без нее он редко отваживался удаляться от дома, но как-то раз дошел один до Песчаной пустоши, и у него опять был сердечный приступ. В марте он получил от Гексли письмо с настойчивым советом быть постоянно под наблюдением врача. Дарвин отозвался с живейшей благодарностью. «Еще раз позвольте сказать Вам сердечное спасибо, мой дорогой старый друг, — заключил он свое письмо и с лукавым намеком на одну из самых зубодробительных статей Гексли прибавил: — Дай-то бог, чтобы побольше было на свете автоматов вроде Вас».

В апреле ему иногда становилось утомительно даже глядеть в окно. И все-таки он не желал лежать в постели и, как только чувствовал себя покрепче, брался за работу. Его нежность и внимание к окружающим, казалось, росли день ото дня. Генриетте и Ричарду он говорил, что они «самые милые и замечательные из сиделок», а Эмму часто уверял:

— Ты за мной так ухаживаешь, что ради одного этого, пожалуй, стоит поболеть.

И постоянно упрашивал ее не тратить столько времени на него одного. 15 апреля за обедом у него закружилась голова, и, не успев дойти до дивана, он потерял сознание. 17-го числа Эмма записала: «Хороший день, немного работал, два раза выходил в сад». Ночью он разбудил Эмму со словами:

— Опять боли, а когда ты не спишь, мне лучше, легче их переносить.

Но боль усилилась, и он лишился чувств. Когда его с большим трудом привели в себя, он повернулся к Эмме.

— Я совсем не боюсь умереть, — сказал он. — Помни, ты была мне хорошей женой. И всем детям скажи: пусть помнят, они были хорошие дети.

Когда боль немного унялась, он сказал:

— Мне так тебя было жаль, но я ничего не мог поделать.

На другой день боль и дурнота то отпускали его, то снова возвращались. Ночью у него опять был приступ. «Он потерял сознание, потом очнулся, — писал Фрэнк Томасу Гексли, — но его не покидала страшная слабость, мучила нестерпимая тошнота, время от времени рвало. Он не раз говорил: „Хоть бы уж умереть“».

В три часа утра 19 апреля 1882 года он тихо испустил последний вздох.

Эмма в эти последние недели сохраняла удивительное самообладание. После его смерти она только пожалела, что не сказала ему, как ей было приятно, когда он повесил ее фотографию у себя в кабинете, около своего большого кресла, чтобы глядеть на нее, даже работая. Ни на что больше она при детях не сетовала.

Похоронить его Эмма и дети хотели в Дауне; однако, прежде чем они успели сообразить, за что сначала взяться, уже сказали свое слово пресса и церковь, уже посовещались президенты ученых обществ, уже согласовали друг с другом свое мнение министры кабинета. Вестминстерского аббатства было не миновать. Смерть, по сути дела, причислила его к лику святых, его ереси стали частицей мудрости наших предков, и многие духовные отцы в Англии почли своей обязанностью возвестить всем, что никаких существенных разногласий у «профессора» Дарвина с богом нет. Гексли не верил ни единому их слову, и в число видных ученых, подписавших обращение Леббока к настоятелю аббатства, он не вошел. Впрочем, настоятель все равно телеграфировал, что «охотно согласен».

В частной жизни викторианцев скорбь была героическим чувством. Благопристойный черный цвет зонтов и труб на крышах, который лишь подчеркивал обыденность будничной жизни, обретал в бархатных гробовых покровах и траурном убранстве лошадей мрачное великолепие, придающее смерти пышность и торжественность. Эмме претила вся эта мишура, и она не поехала на церемонию в аббатство.

Пропускали на похороны с Угла Поэтов по пригласительным билетам с черным обрезом. Доступ был разрешен только в глубоком трауре. До слуха важных дам и господ, наполнивших

аббатство чванным шорохом черных шелков и тонкого сукна, донеслось тихое пение отроческих голосов, оно нарастало; процессия направлялась сквозь аркады к западному фасаду собора. Вот распахнулись тяжелые двери, громче грянуло пение, и хор двинулся по нефу. Гроб внесли Гексли, Гукер, Уоллес, Леббок, Джеймс Рассел Лоуэлл, каноник Феррар, один граф, два герцога и президент Королевского общества; толпу всколыхнуло горестное волнение. Видно было, как сдерживают слезы Гексли, Леббок и Гуккер. Уильям Дарвин, сидя среди родных покойного, почувствовал, что в соборе сквозняк. С присущей Дарвинам серьезностью перед угрозой возможного вторжения болезни он спокойно водрузил на свою лысую макушку пару черных перчаток и так просидел до конца службы. Наконец гроб опустили в глубокую могилу, рядом с Ньютоном и Гершелем. Аскетическая усыпальница английских ученых заполнилась певчими в белом, они цели: «Прах его почиет в мире, имя его будет жить в веках». Вскоре дамы и господа вереницей потянулись наружу, на весеннее солнце, оставив аббатство многочисленным его обитателям — статуям, которые от алтаря и до западного фасада ведут долгий и безмолвный рассказ о заслугах Англии.

«Таймс» осветила происшедшее с приличествующей случаю важностью и уважительным вниманием к подробностям погребения. Спенсер, который превозмог острую неприязнь к нелепости церковного обряда и явился на похороны, был поражен тем, какая нескрываемая личная симпатия обнаружилась у всех к усопшему. На Гальтона явно подействовала обстановка, но по здравом размышлении он счел, что все это слишком смахивает на присуждение ученой степени в университете. Впрочем, что ни говори, а впечатление осталось — во всяком случае, он написал письмо в газету «Пэл-Мэл», предлагая снять в аббатстве прежний витраж на сюжет ветхозаветной сказки о сотворении мира и в честь их великого сородича заменить его новым, отображающим эволюцию. От настоятеля Вестминстерского аббатства «охотно согласен» на это доктринерское предложение не последовало.

Почти сразу же после похорон Гексли написал для очередного номера журнала «Нейчур» краткие воспоминания о своем старом друге. В них, пожалуй, содержится наиболее ценное из того, что ему удалось подметить за свою жизнь в другом человеческом существе. Определяющий принцип дарвиновской личности, как представляется Гексли, это какая-то упрямая, можно даже сказать, исступленная честность, которая действовала и как узда, и как побуждающая сила, «удерживая в должных границах его живое воображение и громадные способности к отвлеченному мышлению» и вместе с тем побуждая

его «осуществлять исполинский труд самостоятельных исследований». В беседах с Дарвйном Томасу Гексли невольно приходил на ум Сократ. Тот же «безыскусственный юмор», то же «стремление находить другого умней себя», та же «вера в верховную власть разума».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

14
СЛАВЕН В ВИКТОРИАНЦАХ

Дальнейший путь Гексли резче обозначает для нас его несхожесть с путем Дарвина. Если метаморфозу, пережитую Дарвином, можно сравнить с онтогенезом ракообразного, то метаморфозу Гексли — с онтогенезом бабочки.

Дарвин, словно рак-отшельник, все более замыкался в своей раковине; Гексли, широко расправив крылья, покорял все новые просторы. Для эволюции и науки эти два процесса были примерно равнозначны, однако полет выглядел, естественно, импозантней. Благодаря своим дружеским связям, своим популярным лекциям и научным докладам, своим выступлениям в газетах и журналах Гексли стал важной фигурой во всех сражениях, какие разыгрывались в духовной жизни Европы, стал живым олицетворением воинствующей науки.

Заседания, доклады, комитеты, конференции, всевозможные дела, общественные и научные, из года в год заставляли его проводить столько времени в поездах и отелях, что он стал как бы гостем в собственном доме. Вернется, расскажет о своих похождениях, ахнет, увидев, как выросли и поумнели дети. Но далеко ли он был, близко ли, он неизменно и властно присутствовал в самой гуще их жизни. «Как бы не так, злючка несчастная, стану я с тобой спорить о политике в Афганистане», — пишет он своей дочке Джесси и немедленно со всем своим наступательным пылом заводит с нею об этом долгий спор.

«Дети заставляют нас меняться больше, чем что-либо другое в нашей жизни, — писал он Геккелю. — Они удивительно

способствуют нашей зрелости, и жизнь становится с ними в десять раз более стоящей». Своих друзей холостяков он постоянно уговаривал жениться.

В супружестве Гексли обрел спасительную твердыню, защиту от своей затаенной тоски и одиночества, «…любовь, — писал он в знаменитом письме к Кингсли, — открыла мне святые стороны человеческой природы и внушила глубокое чувство ответственности». Нет сомнений, что ему довелось испытать романтическую любовь во всей силе ее викторианской высоконравственности и серьезности, а впрочем, построенную на добротной практической основе. Из биографии Гексли непосредственно о его жене узнаешь немногое: она терпеть не могла званых обедов, писала заботливые записки холостякам и всякому старалась всучить стихи Теннисона. «Ты подвергаешь беднягу Дарвина жестокой пытке Теннисоном», — остерегал ее муж. И все же, читая между строк, видишь, что, несмотря на все ее материнские и хозяйственные заботы, она всегда способна была оправдать его доверие, вникнуть в любую проблему, в какую ему случалось ее посвятить. Все, что касалось его, вызывало в ней горячий интерес. «Я предвижу, что тебе до смерти захочется узнать, как сошла моя сегодняшняя лекция, — писал он ей в 1875 году, — и оттого я сел черкнуть тебе несколько строк, хотя у тебя уже нынче были от меня вести». Во всех затруднительных этических вопросах она была его совестью. Скажем, брать ли ему деньги за доклад на открытии Университета Джонса Гопкинса? Решено было не брать. Он отдавал ей на суд все, что писал. Нет-нет да и мелькнут среди его бумаг любопытные замечания о ее роли первого критика его работ.

Схема обмера черепов по методу Т. Гексли.

«Мне встретился Гроув, редактор „Макмиллана“… — писал он ей в 1868 году. — Он вытащил из кармана оттиск моей лекции и говорит:

— Слушайте, тут у вас есть одно место, в котором ничего не разберешь.

…Взглянул я, куда он тычет пальцем, — и что ты думаешь, оказалось, это тот самый кусок, который ты разбранила, когда я читал тебе эту лекцию у моря! Я ему рассказал про это и обещал, что признаюсь тебе, — хоть, может быть, ты после этого и заважничаешь».

Понимая, что «Хэл» все время переутомляется, Генриетта правдами и неправдами норовила отправить его отдохнуть, а в 80-х годах, когда у него пошатнулось здоровье, сумела заставить его слушаться врача. Сэр Эндрю Кларк, как писал Гексли в 1884 году своему ассистенту Фостеру, велел ему прожить четыре месяца на юге. «Чертовская незадача, но, откровенно говоря, я думаю, он требует этого не зря. К тому же я обещал жене, что сделаю, как он решит». Есть все основания полагать, что не кто иной, как она, в конечном счете убедила его подать в отставку. Одно из писем 1884 года ясно свидетельствует, что на сей счет меж супругами давно уже ведется спор. Гексли доказывает, что его долг по отношению к его непосредственному начальнику и к Горному училищу — как можно дольше не уходить от дел:

«Мне никогда не избавиться от сознания, что я дурно

поступил, если я не сделаю все возможное, чтобы отплатить Доннелли, который вот уже двенадцать лет таким молодцом стоит за меня и за училище. А так как мне и без того очень свойственно хандрить из-за своих упущений, я не хочу, чтобы ты приумножала число бесов, которые меня мучают. Ты должна тут помочь… и если я веду себя по-донкихотски, возьми на себя разок роль Санчо».

Разумеется, в роли Санчо она выступала бессменно.

Но в 60-х годах весь белый свет был Гексли тесен, и обязанностей всегда не хватало, и все, за что бы он ни брался, лишь увеличивало его силу и влияние. Обнаружив, что непомерное количество дел и нагрузок отрывает его от самых близких друзей, он предложил Гукеру, чтобы чаще встречаться — а кстати, придумывать себе новые дела и нагрузки, — преобразовать их кружок в клуб. Гукер охотно согласился, и 3 ноября 1864 года члены клуба собрались за обедом на Албемарл-стрит в отеле «Святой Георгий», который, таким образом, и стал развеселым Олимпом современной науки вплоть до конца 80-х годов, когда обеды перенесли в «Атеней». Озадаченные избытком предлагаемых названий, члены клуба так долго пребывали безымянными, что по предложению супруги одного из них, миссис Беек, их окрестили «Икс-клуб». Очень скоро это название обросло чуть зловещей таинственностью. Как-то раз в курительной «Атенея» Гексли с изумлением, но с таким видом, будто его это нисколько не касается, подслушал нижеследующий диалог двух ученых собратьев:

— Кстати, А., вы что-нибудь знаете про «Икс-клуб»?

— Как же, Б., слыхал. Чем у них там занимаются?

— Да вот, вершат дела науки, и, в общем, надо признать, справляются недурно.

Состав клуба — Беск[192], Франкленд[193], Херст, Леббок, Споттисвуд[194], Тиндаль, Спенсер, Гукер и Гексли — являл собой весьма избранный и замкнутый круг, плеяду ярчайших звезд науки. Все они, кроме Спенсера, были президенты и секретари научных обществ, обладатели Королевских, Коплеевских, Румфордовских медалей — таким людям стоит даже в самом беззаботном расположении духа собраться вместе за столом, как непременно будут приняты какие-то серьезные решения. Они обсуждали, часто с большой обстоятельностью, политику научных обществ, проекты новых музеев, журналов, ход борьбы против религии и классического образования на страницах печати, место науки в современном образовании. Больше того, это были не просто девять знаменитостей. Сообща они были знакомы почти со

всеми крупнейшими учеными мира, а также со многими видными радикалами и людьми, сочувствующими науке. На их обедах в разное время перебывали гостями Дарвин, Гельмгольц, Аза Грей, Агассис, Юмэнс[195], Джон Морли, Роберт Лоу[196], епископ Коленсо и многие другие. Сами члены клуба представляли столько наук и так достойно, что могли бы, как похвалялся Гексли, спокойно написать своими силами почти все статьи для научной энциклопедии. В английской науке они, по сути дела, составляли как бы неофициальный кабинет министров, объединенный надежной близостью дружеского застолья.

Для Герберта Спенсера «Икс» был сущей находкой. Среди этой ученой непринужденности он чувствовал себя как рыба в воде, тем более что постоянно подыскивал себе новые способы добывать информацию. С годами он сделался совсем не способен к послушливой безучастности, необходимой для того, чтобы одолеть большую книгу, — при нем довольно было прочесть вслух хоть кусочек, как, он тут же рвался возразить или дополнить. Ни один современный ему мыслитель не читал так мало перед тем, как так много написать. К своей «Психологии» он готовился главным образом, копаясь в «Пролегоменах к логике» Мэнселя[197], к своей «Биологии» — изучая «Основания сравнительной физиологии» Карпентера. Он создал трактат по социологии, не читая Конта, и трактат по этике, не читая, по всей видимости, ничего на эту тему. Клубы служили Спенсеру отличной заменой чтению. Он самолично выкачивал все, что нужно, из авторов. Пройдется часов в двенадцать вдоль Кенсингтон-Гарденс по пути в «Атеней», позавтракает с одним светилом, подцепит за пуговицу другое, сразится на бильярде с третьим, полистает в библиотеке журналы, набираясь фактов, — и он уже превосходно оснащен для утренней порции трудов над очередным сочинением.

В физиологии собственного организма Спенсер теперь разбирался не хуже, чем в метафизике внешнего мира. Он установил, что свойственные ему «неприятные ощущения в голове», в чем бы они ни проявлялись, объясняются недостаточным кровоснабжением мозга. Потому в 1860 году, когда он приступил к созданию своей философской системы, он нанял себе секретаря и отправился с ним на горное озеро в Шотландию. Тут он распределял свои занятия таким образом: минут пятнадцать гребли, чтобы в мозг свободно поступала кровь, и затем минут пятнадцать диктовки: плавный поток отточенных и ученых слов — простая и сложная эволюция, нестабильность гомогенного… Иные из наиболее заумных глав «Психологии» диктовались подобным же манером под Лондоном,

в перерывах между партиями в теннис. Эксцентричности в интеллектуальной жизни Спенсера с течением лет явно не убавилось.

Наверное, обеды в «Икс-клубе», искрящиеся живым весельем, щедро сдобренные фактами, были для Спенсера чем-то вроде энциклопедии. И, когда ему присылали домой составленное в форме алгебраического уравнения извещение о том, что состоится обед, он не считался ни с какими «ощущениями в голове» и приступами «сердечной слабости» и отважно шествовал в Клуб.

Не найдешь, пожалуй, другого человека, который в столь широких масштабах ратовал бы за столь узкие принципы. Возводя обширное и очень современное здание своей вселенной — с определенными неувязками внутри ее самой, но в полном соответствии с давними наклонностями ее созидателя, — Спенсер отыскивал вселенские причины быть утилитаристом, либералом, натуралистом, эволюционистом, материалистом и, наконец, агностиком.

С Гексли его сближали агностицизм и довольно расплывчатый материализм, опирающийся на идею эволюции, на небулярную гипотезу[198] Лапласа — Канта и закон сохранения энергии. Кто из них находился под влиянием другого, отнюдь не ясно. После 1852 года они поддерживали тесную и дружескую связь и несколько лет каждое воскресенье вместе гуляли перед обедом. Спенсер нередко признавал, что обязан Гексли многим по части фактов и первоклассной критики. Гексли при случае несколько уклончиво, но с отменной учтивостью отдавал должное спенсеровским воззрениям: Спенсер-де обещает стать Бэконом нашего времени; в своей классификации наук он столь же основателен, сколь шаток Конт.

Материализм Спенсера нашел свое выражение в ряде работ начиная с 1853 года, материализм Гексли — начиная с 1863-го. Может быть, Спенсер и оказывал какое-то влияние на Гексли, но, безусловно, меньшее, чем ученые, особенно Дарвин и Гельмгольц. К философам Гексли относился с присущей ученым подозрительностью. Он редко изъявлял бурные восторги по поводу Спенсеровых обобщений, преимущественно словесных, и в обосновании собственных идей строго придерживался данных науки.

В отличие от Дарвина Гексли, надо полагать, читал газеты, сидя у себя в лаборатории чинно и прямо, с микроскопом по одну руку и скальпелями по другую. Он не позволял себе никаких предрассудков, никаких сентиментальностей, никаких иллюзий. Факты он встречал так бесстрашно, что они иной раз сами

отступали перед ним. Мало того, по всякому вопросу, какой бы ни возникал, начиная от женской эмансипации и кончая вивисекцией, он высказывался в твердом убеждении, что научный метод способен внести ясность в мораль и политику так же победно, как он совершает переворот в промышленности и в здравоохранении. И высказывался, естественно, в духе ясно ощутимой непререкаемости, особой осведомленности и провидческого озарения.

По отношению к гражданской войне в Америке он испытывал некую раздвоенность, о чем и писал своей сестре Элизабет, у которой в армии конфедератов находился сын, подросток пятнадцати лет: «Сердцем я с Югом, разумом — с Севером». К неграм у него не было «ни тени жалких чувств». Дело в другом: рабство — это значит никудышная экономика, скверная политика, гнусная мораль. Поэтому, какая бы сторона ни победила, с рабством должно быть покончено.

Примерно те же взгляды он изложил в статье «Эмансипация для белых и черных», напечатанной в «Ридере» в конце войны. Это на редкость емкая работа, в которой резко, с геометрической строгостью расписано, что верно, а что неверно. Всего одной страницы ему было довольно, чтобы разделаться с проблемой эмансипации черных. Все остальные посвящены эмансипации белых — иными словами, женскому вопросу, который тогда еще только-только начинал привлекать к себе внимание, исторгая столько чувствительности у поэтов, мелодраматизма у драматургов и вздора у философов. Отец, страстно любящий своих многочисленных дочек, Гексли, как и в неграх, без всяких околичностей признает в женщинах неполноценность. Историей доказано, говорит он, что женщина по всем статьям уступает мужчине: и по уму, и по чувству ответственности, по артистичности и темпераменту, по красоте, что она, грубо говоря, просто не доросла до мужчины. Ясно, что Гексли никоим образом не сторонник «новомодного женопочитания». Но он хотя бы не поступает как Теннисон, который со всех сторон обвешивает женщину сусальными совершенствами лишь затем, чтобы упрятать их под чадрой домашних забот, или как Милль, который возводит ее в титаны духа только для того, чтобы закрепить за нею право голосовать и соперничать с мужчинами. Пусть ее, соперничает, соглашается Гексли, ради бога, дайте ей образование, предоставьте ей все возможности. «Златые кудри не станут хуже виться… оттого что под ними будут мозги». Быть может, женщина при этом станет сильней и разумней, и мужскому потомству от нее прибавится силы и разума. А мужчину ей все равно никогда не перегнать.

На деле, впрочем, Гексли либеральничал меньше, чем на словах. Он хоть и объявил за пять лет до того в письме к Ляйеллу, что женское образование — существенное условие прогресса, однако явно считал его излишним для взрослых женщин. Да и вообще, он со спокойной душой полагался на то, что его передовые взгляды никогда не привьются повсеместно.

«Я твердо решил, что дам своим дочерям такую же подготовку в области физических наук, какую получит их брат, как все мальчики… Но Вы не хуже меня знаете, что другие так не поступят, и пять женщин из шести останутся глупыми куклами и не пойдут дальше, а в будущем сделаются оплотом для церковной братии, обузой для цивилизации, помехой в любом важном деле, к которому будут причастны, — интриганками в политике, обманщицами в науке».

В 1872 году по милости мисс Джекс Блейк, студентки-медички из Эдинбурга, Гексли столкнулся с женским вопросом на конкретном примере и ответил на него чистой воды викторианским компромиссом. До сих пор женщинам читал отдельный курс анатомии ассистент из Ассоциации хирургов; теперь же университетский совет отказал ему в праве вести занятия под тем предлогом, что не имеет доказательств его квалификации. А устроить ему экзамен совет тоже отказывался. Вот студентки через мисс Блейк и попросили профессора Гексли проэкзаменовать их преподавателя. Гексли ответил, что всецело сочувствует молодым особам, которые стремятся подготовить себя к врачебной деятельности. А вслед за тем прибавил, что с не меньшим сочувствием относится «к преподавателям анатомии, физиологии и акушерства, которые возражают против того, чтобы читать подобные предметы в аудиториях, где присутствуют молодые люди обоего пола, ведь, кроме платы за обучение, нет никаких свидетельств того, что они, как с нравственной точки зрения, так и интеллектуально, пригодны для совместных занятий». Сославшись на нездоровье и скудость лабораторного оборудования, он отказался экзаменовать бывшего лектора.

В 1865 году губернатор Эр зверски подавил негритянский мятеж на Ямайке[199]. Он ввел военное положение, предоставил войскам полную свободу в расправе с мирным населением и повесил негритянского священника-баптиста по фамилии Гордон. Рабство в Британской империи давно отменили, однако эти события были настолько типичны, что по многим причинам овладели умами англичан. Люди свободомыслящие, вольнолюбивые и гуманные усмотрели в них угрозу справедливости и закону, а консерваторы, приверженцы

англиканской церкви и культа героев, — угрозу британскому могуществу и престижу. Милль возглавил комитет наидостойнейших в одной партии; Карлейль — комитет наидостойнейших в другой. С истинно ямайской свирепостью наидостойнейшие англичане вцепились друг другу в глотку. Кроткий и мягкосердечный Милль потребовал, чтобы Эра привлекли к суду за убийство. Голдвин Смит[200] обозвал Рёскина[201] «сентиментальным евнухом». Карлейль уничтожал бедного Милля снисходительной жалостью, а отец Герберта Спенсера, хватив лошадиную дозу опийной настойки, в последние мгновения перед смертью лихорадочно бредил о случившемся. Для Британской империи эта история стала тем же, чем дело Дрейфуса для Франции.

Из ученых Тиндаль последовал за своим героем Карлейлем; Дарвин, Ляйелл и Гексли поддержали Милля. Дарвин внес в Ямайский комитет десять фунтов, пробормотал своим равнодушным друзьям какие-то слова в оправдание собственного фанатизма, а в печати хранил величавое молчание.

Стоило Гексли войти в состав Ямайского комитета, как его немедленно втянули в полемику. Газета «Пэл-Мэл» заметила, что человеку, который ратует в науке за одухотворенность гориллы, ничего другого не остается, как защищать в политике достоинства негров. Гексли, который пуще смерти ненавидел, когда его обвиняли в сентиментальности, тотчас разразился отповедью, любезно напечатанной тою же «Пэл-Мэл». Сам Карлейль не мог бы с такой жестокой, обнаженной ясностью показать, как мало значат негры сами по себе для существа дела. Вопрос не в том, кто такой Гордон и кто такой Эр. Пусть Гордон негодяй, а Эр — сама добродетель; «по английским законам не разрешается, чтобы хорошие люди просто так, ни за что ни про что вешали нехороших». Письмо завершается целым фейерверком логических сзрказмов, переливающихся под толстой ледяной коркой официальной сдержанности.

Ямайские события чуть было не рассорили Гексли с Тиндалем. «Боюсь, что, если бы в этой злополучной истории дело дошло до крайности, — писал после смерти Тиндаля Гексли, — каждый из нас оказался бы способен отправить другого на плаху. Но и тогда приговор сопровождался бы заверениями в неизменном почтении и благорасположении».

В самый разгар перепалки он писал в духе, едва ли выражающем непреодолимое ожесточение: «Если нам с Вами достанет выдержки и мудрости, мы сможем… <не сходясь во взглядах> сохранить тем не менее любовь друг к другу, которой я дорожу, как редко чем еще в своей жизни». Тиндаль был не из

тех, кто мог бы устоять против подобного излияния.

Однако ни сторонники Эра, ни его враги — хотя и те и другие насчитывали в своих рядах самых блестящих в Англии мастеров пера — не обладали даром творить те изощренные злодейства, которые произвели драматический поворот в деле Дрейфуса и сообщили ему такой накал. Здесь страсти довольно-таки прозаически побурлили несколько лет и улеглись. Губернатора Эра отозвали, но так и не отдали под суд.

Ямайские волнения явились также своего рода вехой, отмечающей то время, когда Гексли перестал принимать Карлейля всерьез как мыслителя. Любопытная подробность: Гексли столь непоколебимо смотрел в лицо фактам — таким, в частности, как нищета и угнетение, что в некоторых отношениях сам был консерватором не хуже Карлейля. Но подобно тому, как впоследствии из-за глупостей Гладстона и либералов он едва не стал консерватором, так теперь из-за глупостей Карлейля и консерваторов он оставался либералом. По мнению Гексли, Карлейлю не хватало логики и здравого смысла. В свою очередь, Карлейль мог упрекать Гексли в недостатке души и творческой жилки. Карлейль рассматривал общество как организм, управляемый людскими страстями, инстинктом и фантазией, которая находит себе выражение в поэзии и в почитании героев. Гексли же рассматривал общество как совокупность индивидуумов, объединенных общей историей и управляемых разумом и принципом целесообразности, которые находят идеальное воплощение в науке. Для Гексли конечной инстанцией была истина. Конечной инстанцией для Карлейля все более становилась сила и fait accompli. Он не мог простить Гексли его «Места человека в природе», а между тем его собственный герой, претерпев ряд неожиданных и плачевных перевоплощений, все больше походил на ту самую гориллу, о которой писал Гексли. По сути дела, Карлейль двигался в том же направлении, что и иные приверженцы дарвинизма, только обставлял это более романтично и витиевато.

В своей статье, посвященной памяти Тиндаля, Гексли говорил, что видит в Карлейле не учителя, а «мощное тонизирующее средство». Карлейль, в сущности, сделался для него чем-то вроде торжественного нравоучительного хорала, возбуждавшего в нем набожное отношение к материям отнюдь не божественным[202].

Безусловно, Карлейлю не нравились в Гексли те качества, которые были присущи и ему самому. Ведь и Гексли был головорезом на столбовой дороге литературы и науки — всегда начеку и наготове, всегда с парой бумажных пистолетов за поясом

на случай словесной перепалки, всегда при абордажной сабле. Такой только взглянет, чихнет, кашлянет — и то жутко. Вот у У. Х. Мэллока[203] в сатире «Новая республика» доктору Сторксу (понимай — Гексли) во время утренней воскресной службы достаточно просто высморкаться, пока доктор Дженкинсон (он же Джоуетт[204]) читает «Символ веры», чтобы все уже всполошились. А в другом месте:

«Мистер Сторкс круто обернулся и смерил мистера Сондерса грозным взглядом, исполненным такого негодующего пренебрежения, что тот умолк. Несколько секунд мистер Сторкс держал его в оцепенении, а затем голосом мрачным и безучастным произнес:

— Горчицу мне передайте, пожалуйста».

Карлейлю нравились люди мягкие, покладистые.

Несколько лет спустя Гексли как-то повстречал старца уже под самый конец его жизни на улице: он медленно шагал в одиночестве; Гексли подошел к нему и заговорил. Карлейль глянул на него, промолвил:

— Позвольте, вы ведь Гексли? Это вы утверждаете, будто мы все происходим от обезьян? — и пошел дальше.

История то по одному чрезвычайному случаю, то по другому постоянно околачивалась у порога Гексли, неистово названивая у дверей. А он был человек занятой и потому мог иной раз бесцеремонно отмахнуться от назойливой гостьи. Так произошло, когда его стали донимать спиритизмом. Ну как скажешь что-то с уверенностью о душах усопших, ежели их нельзя препарировать? К тому же лягушка, у которой удален головной мозг, не в пример занимательней:

«Если бы меня кто-нибудь наделил способностью слышать, о чем болтают старушки со священником у церкви в соседнем городишке, я отклонил бы этот дар, потому что могу найти себе занятие поинтересней. А обитателей загробного мира — если они и в самом деле городят такой вздор, как рассказывают их друзья, — я отношу к той же категории. По-моему, доказательство истинности „спиритизма“ могло бы принести пользу единственно как лишний довод против самоубийств. „Лучше жить дворником, чем умереть, чтобы всякий „медиум“, каких нанимают по гинее за сеанс, заставлял вас нести чепуху“».

Но в конце концов он все-таки поддался искушению вывести жульничество на чистую воду. Как-то в январе 1874 года к нему обратились с просьбой, которую, он принял, пожалуй, как приказание.

«Однажды под вечер мы очень славно развлеклись, — писал

из Лондона Дарвин, гостивший у Эразма, — Джордж пригласил медиума, и он заставил скакать по столовой флейту, колокольчик, подсвечник и огненные точки — у всех дух занялся, так это было поразительно. Все совершалось в темноте, но Джордж с Гексли Веджвудом все это время держали медиума с двух сторон за ноги и за руки».

Дальше, рискуя вызвать некоторое разочарование, Чарлз прибавил, что было душно, утомительно и он ушел к себе до того, как начали твориться чудеса. Народу собралось порядочно, были Люис[205] и Джордж Элиот, был Френсис Гальтон. Люис все мешал, отпускал шуточки и не желал сидеть тихо в темноте Чарлз, хоть и признавал действо поразительным, был уверен, что спиритизм — сплошная ерунда, и подозревал, что Джордж и Гексли держались друг за друга, а медиум как-то вывернулся у них из рук. Но Джорджа и Френсиса Гальтона разбирало любопытство и недоумение. Нужно устроить еще один сеанс, и Гексли должен прийти разоблачить эти плутни. Гексли пришел, увидел и разоблачил. Дарвин, конечно, вновь уклонился от присутствия, но получил исчерпывающий отчет от своего друга.

«Мое заключение таково, — писал под конец Гексли, — мистер Икс — проходимец и мошенник, он нарочно усадил справа от себя мистера Игрека, смекнув по его разговору, что отвлечь его внимание будет нетрудно, а после ногою придвигал к мистеру Игреку стул и в конце концов преспокойно поставил <этот стул> на стол — ручаюсь, это такая же правда, как то, что я сейчас пишу эти строки».

И Дарвин заявил, что Гексли спас его доброе имя в глазах всего семейства.

Прошло несколько месяцев, и друзья объединились, чтобы дать отпор новому, на сей раз более опасному безрассудству. В 1875 году достигла высшей точки ожесточенная кампания против вивисекций. Давно уже многие англичане полагали, что добывать знания — занятие отчасти предосудительное и нездоровое, но, добывая знания, резать животных — это извращенность не только ума, но и сердца. Люди возмущались и искали достойного обоснования своему гневу. И выискали: можно состряпать превосходное обоснование, слегка передернув кое-что из Гексли. И вот в «Рекорде» было помещено обвинительное письмо: Гексли-де выступает за то, чтобы при вивисекциях присутствовали — а может быть, и участвовали в них — дети; приводились и выдержки из «Основ физиологии», которые в этой связи звучали достаточно зловеще. Во всяком случае, они успешно ввели в заблуждение графа Шафтсбери[206], и он повторил то же обвинение в своей речи. Гексли тотчас ответил огнеметным

письмом в «Таймс», указал на искажения в цитатах, а графа уличил в невежестве и передержках. Лорд Шафтсбери слегка изумился, узнав, что за сильными выражениями «Физиологии» кроется вполне безобидный смысл, но так простодушно и чистосердечно принял слова Гексли на веру, что последовал обмен частными дружественными письмами, и тем распря завершилась.

Этот случай и некоторые другие привели к тому, что Гексли опять сошелся за одним столом со своими недругами богословами, на этот раз в Королевской комиссии, созданной, дабы разобраться, как обстоит дело с вивисекциями. Гексли сам не ставил опытов на высших животных, однако признавал, что другие — ради благой цели и не причиняя без надобности страданий — вправе это делать. Неясно, почему нам дозволено есть мясо и истреблять паразитов, почему мальчишкам можно удить рыбу на живца, уткам — заглатывать живьем лягушек и потом медленно давить их мышцами желудка, а ученым возбраняется даже в строго ограниченных случаях и под наркозом препарировать животных ради пополнения объема знаний и спасения многих жизней.

Несмотря на леденящий кровь зубовный скрежет филантропов, Гексли был настроен бодро, хоть и полагал, что от слюнтявого мракобесия Англию скорее спасет не уважение членов палаты общин к науке, а их страсть к охоте. Какое-то время все шло хорошо. Гексли начал с того, что собрал показания видных ученых. И тут неожиданную дееспособность и добрую волю выказал Дарвин. Как знаменитый биолог, а также покаянный истребитель бекасов, Дарвин был в этом вопросе кровно заинтересован. Он, если уж на то пошло, воспринимал страдания людей и бессловесных тварей острее и болезненней, чем Гексли. До самой старости его преследовали, в особенности по ночам, вопли истерзанных бразильских рабов. Увидев во время прогулки, как кто-то жестоко обращается с лошадью, он возвращался домой бледный и потрясенный — недаром кучера со всей округи из страха, «как бы их не расчихвостил» мистер Дарвин, не решались, подъезжая к Дауну, понукать лошадей, даже когда те плелись шагом. И все же Дарвин был уверен, что физиология может двигаться вперед только в том случае, если будут проводиться опыты на живых животных. Побуждаемый Гексли, он делал заявления, подписывал свидетельства и с отнюдь не свойственной ему стремительностью поднялся до таких высот эпистолярного геройства, что послал собственноручное письмо в «Таймс». Больше того: еще и Королевская комиссия не была назначена, а он уже совещался в Лондоне с учеными и помог своему зятю

Личфилду составить законопроект о вивисекции, очень похожий на тот, что получил частичное одобрение Гексли и был, к сожалению безуспешно, представлен на рассмотрение парламента Лайоном Плейфером.

Собрав в высших сферах викторианской науки все мыслимые и немыслимые свидетельства, Гексли во всеоружии жреческой непререкаемости принялся обрабатывать своих коллег по Королевской комиссии: кого просвещал, кого умиротворял, кого стращал. Казалось, против него не устоит самая нежная филантропическая душа, самый твердый филантропический лоб. Но в один прекрасный день, когда он был занят на заседании совета Королевского общества, комиссия — как видно, по чистой случайности — слушала показания какого-то ретивого вивисектора. «Говорят, он открыто признался в полнейшем равнодушии к страданиям животных, — писал Дарвину Гексли, — а наркоз, по его собственным словам, он дает только для того, чтобы они не мешали работать». Гексли был возмущен не меньше любого из членов комиссии. «Честное слово, я просто не мог поверить, что на свете бывают такие отъявленные, такие циничные скоты, которые исповедуют эдакие, с позволения сказать, принципы и руководствуются ими в своих действиях, — я приветствовал бы любой закон, по которому этого субъекта можно было бы сослать на каторгу».

Гексли все-таки не прекращал своих героических усилий. Он ухитрился даже явить deus ex machina[207]. Свидетельствовать будет сам Дарвин! «Завтра в два часа ждем Вас на Дилихей-стрит, 13, — писал Гексли. — Я присмотрел для Вас самый высокий стул, какой только тут имеется». Однако преградить путь милосердию было уже невозможно. В 1876 году комиссия в осторожных и нерешительных выражениях составила доклад, и через несколько месяцев, к некоторому изумлению ее членов, лорд Карнарвон внес в парламент проект сурового закона, запрещающего вивисекции; закон надлежащим порядком и был принят.

Неудивительно, что при таком количестве разнообразных дел у Гексли оставалось все меньше времени для научных занятий, а между тем с 1864 по 1870 год он напечатал тридцать девять работ, и из них по меньшей мере три чрезвычайно важных. Особенно важное значение имеет работа, в которой прослеживается развитие от пресмыкающихся к птицам. Раньше пресмыкающихся и птиц принято было считать противоположностями. Пресмыкающиеся ползают; они существа тяжелые и холоднокровные. Птицы летают; они существа легкие и

теплокровные. Весь во власти изучения эволюции и человека, Гексли был вполне готов воспринимать парадоксы приспособления, создавшего такое несходство меж изначальной и нынешней формами. В 1864 году он показал, что многие вымершие пресмыкающиеся обладали признаками птиц, а многие вымершие птицы — признаками пресмыкающихся. И соответственно предложил троякое деление для позвоночных: 1) млекопитающие, 2) рептилиеподобные (птицы и пресмыкающиеся) и 3) рыбообразные (рыбы и земноводные). Теперь родство птиц и пресмыкающихся общепризнано. В 1867 году Гексли совершил переворот в классификации самих птиц, обнаружив, что для резкого разграничения их существенны не перепончатые конечности или привычка к обитанию в воде, а главным образом некоторые мелкие и на первый взгляд не стоящие внимания небные косточки. Скелет животного — это история, которую причудница-адаптация одела мышцами и кожей.

15
«МЕТАФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»

Теперь, когда от проблем, порожденных «Происхождением видов», Гексли постепенно обращался к другим, затрагивающим судьбы всей науки и ее место в современной культурной жизни, он неотвратимо становился все меньше ученым и все больше полемистом, пропагандистом, политиком. То было время, когда он разработал свою особую философию — свой, можно сказать, генеральный стратегический план. То было также время, когда он достиг зрелости как мастер пера и слова.

Съезд Британской ассоциации в Норидже в 1868 году явился большим триумфом для Гукера, который на нем председательствовал, огромным триуфмом для Гексли, который прочел там лекцию, и величайшим триумфом для Дарвина, который сидел дома и колдовал над растениями.

Знаменитая лекция Гексли «О куске мела» была обращена к местной рабочей аудитории, разбавленной членами ассоциации. В ней Гексли в который раз на ничтожном, казалось бы, материале строит поразительно широкие выводы. Как Кювье в свое время по одной-единственной косточке восстановил целого мегатерия, так Гексли по одному кусочку мела воспроизводит полконтинента, целое дно морское, широкую картину эволюции, геологической и биологической, и в придачу произносит краткую проповедь с четкой альтернативой: пророк Моисей или Дарвин, третьего не дано. «Либо каждый вид крокодила есть продукт отдельного творческого акта, — говорит Гексли, — либо он возник из какой-то ранее существовавшей формы под действием естественных причин. Выбирайте гипотезу — а я уже сделал

выбор».

«Кусок мела» был своего рода показательным уроком, примером того, как должно строить преподавание основ науки. Другим таким уроком, столь же простым и наглядным по форме, но гораздо более сложным по существу, была лекция «Физические основы жизни», прочитанная Гексли примерно тогда же в Эдинбурге.

В «Физических основах жизни», этом своеобразном изложении философии Юма, как на ладони виден и весь Гексли. Его агностицизм, его материализм, какие-то его подспудные противоречия, какие-то сокровенные признания, ироническая парадоксальность сдвигов, которые произошли с ним в годы зрелости, — все тут, все скрыто или явно присутствует в этой небольшой работе — прозрачной и обманчиво-безмятежной. Христиане викторианской эпохи, даже самые вольномыслящие, сочли, должно быть, предерзкой эту отчаянную попытку исцелить человечество от суеверий, дав ему сперва смертельную дозу одного духовного яда, а затем в качестве противоядия — дозу другого. На взгляд сегодняшнего читателя эта работа начинается достаточно невинно: новым, опирающимся на последние исследования Макса Шульце[208] и других, введением в область науки.

К своей многочисленной аудитории Гексли вышел со склянкой нюхательной соли и другими столь же привычными, нехитрыми предметами и объявил, что здесь перед ними находятся все существенные составные части протоплазмы, иными словами — физическая основа жизни. Все живое, от амебы до человека, слагается исключительно из этой субстанции, которая единообразно проявляет одни и те же свойства и функции. Растения отличаются от животных способностью производить из неорганических веществ органические, однако как нет резкой грани меж простейшими растениями и животными, так нет ее и меж простой протоплазмой и неживой материей, если не считать определенных различий в расположении молекул. Само мышление, по сути дела, не что иное, как «итог действия молекулярных сил» в «протоплазме, которая обнаруживает эту способность». Человек, таким образом, состоит в близком родстве не только с обезьяной, но, как замечает Хустон Питерсон, даже с амебой, больше того, — даже с молекулой и атомом. Прогресс разума заключается в постепенном осознании ведущей роли материального и причинно обусловленного по сравнению с духовным и самопроизвольным. К сожалению, ревнители веры упорно предпочитают видеть в этом чудовищное наваждение. «Половодье материи грозит захлестнуть им душу,

цепкая хватка закона стесняет их свободу, они тревожатся, не совлекут ли человека с нравственных высот вериги новых познаний».

Сразив слушателей убийственной определенностью, Гексли делает попытку воскресить их не менее убийственным скептицизмом. Вслед за Юмом он вопрошает: что есть материя, как не «иное название неведомой и предположительной причины различных состояний нашего собственного сознания»? Что есть закон, как не наблюдаемое единообразие, как не *обыкновение* без какой-либо непреложной *необходимости*? В мире, полном зла и превратностей, от нас требуется лишь одно: верить, что познанию порядка, заведенного в природе, нет предела и что наша воля или, как он уточнил в 1892 году, «физическое состояние, выражением которого служит воля», «кое-что значит» в ходе событий.

Послушать Гексли, так может показаться, будто он доказывает геометрическую теорему. На самом же деле он просто привел старую философскую дилемму. Если человек состоит в родстве с молекулой, тогда, по-видимому, его воля подпадает под действие закона движения молекул, которое в ту пору представляли себе строго обусловленным. Если же его воля «кое-что значит» сама по себе, тогда он состоит в родстве с молекулой лишь в весьма ограниченном смысле. Позиция Гексли определяется тем, что он тут подчеркивает. Он строит пространное рассуждение, доказывая, что сознание входит в общую структуру материи, но довольствуется скупыми и расплывчатыми намеками, когда нужно показать, каким образом сознание может в известных границах быть свободно.

Рессорой неопределенности, которой Гексли смягчал толчки на колдобинах логических несоответствий, служил ему скептицизм Юма. Круша религию, он подчеркивал достижения науки и всемогущество материи и закона. Спасаясь от этической ответственности за последствия своих наступательных маневров, он с не меньшим жаром утверждал, что материя есть неведомое, а закон — всего лишь вероятность. В «Физических основах жизни» Гексли пускает в ход всю назидательную мощь догматизма, надежно оградив себя полемическим щитом скепсиса.

Прочитав свою работу в лекционном зале, Гексли вручил текст молодому Джону Морли, к которому в 1867 году перешло захиревшее «Двухнедельное обозрение». Морли напечатал его очерк с восторгом и по сенсации, им вызванной, приравнивал его к «Поведению союзников» Свифта и «Французской революции» Берка[209].

Собственноручный набросок Гексли с подписью «Питекантропус эректус».

Сегодня людям внушает священный ужас не столько сам мир, сколько способность человека заставить его взлететь на воздух. Но в XIX веке истина еще не находила воплощения ни в сверхвзрывчатке, ни в грозных газетных выступлениях, ни в правительственных указах; она не была объектом преследований идеологической полиции и даже в самых значительных своих выражениях не принимала вида математической формулы. Она была не только отвлеченной, но и человечной; ее скорей не создавали, а открывали. Случалось, разумеется, что она больше смахивала не на сокровище, зарытое в земле, а на сор, который не выносят из избы. К тому же ее уже так жестоко потрепали на полях интеллектуальной сечи, что кое-кому — Карлейлю, например, — она представлялась чем-то поэтически растяжимым, способным связать любые логические несовместимости. Зато, по крайней мере, она еще могла быть поэтической; еще считалось, по крайней мере, что ею жив человек. Если иной раз поиску сопутствовали муки и терзания, то бывало, что он проходил и радостно, самозабвенно, а порой даже весело и празднично. Истину находили за обеденным столом или покуривая с друзьями у камина. И уж конечно, ее находили в «искрометных столкновениях несхожих точек зрения». Были бы только споры пожарче да только бы они подольше кипели — и наверняка можно было рассчитывать, что в исходе выплавится изрядная

толика верных суждений.

Вот почему дискуссионные клубы были неотъемлемой принадлежностью жизни викторианцев, как для нас клубы поборников новых идей или врачи-психиатры. Какие только вопросы там не обсуждались! И главным из них был спор религии с наукой. С тех пор как вышло «Происхождение», спор все более обещал решиться в пользу науки, а очерк «Физические основы жизни», благодаря которому тираж «Двухнедельного обозрения» вырос в семь раз, поверг набожные умы в ужас и смятение. Надо было что-то предпринимать. Посовещавшись со своим другом Альфредом Теннисоном, Джеймс Ноулс[210], снискавший известность как редактор «Девятнадцатого века», задумал свести вместе всех наиболее значительных людей своего времени, искренне болеющих душой за религию. Настоятель Вестминстера Стэнли запротестовал: надо, чтобы была представлена и противная сторона. Мысль была неслыханная — все равно что черта позвать на диспут о нравственности, — а впрочем, вполне в духе напыщенного викторианского либерализма. Устроить нечто вроде Всеобщей выставки современной мысли во имя интересов современной мысли! Представленная теми, кто отличился в труднейших испытаниях умственной и духовной жизни, здесь будет спорить, разъяснять, убеждать целая культура, дабы приблизиться к истине и единству.

В 1869 году «Метафизическое общество» было основано. Список сорока его членов звучит как перекличка викторианских знаменитостей. Гладстон, Теннисон, Маннинг[211], Уорд[212], Рёскин, Бейджот, Хеттон[213], Леббок, Тиндаль, Гексли — вот лишь самые громкие имена. От предложения вступить в общество отказались лишь трое: Ньюмен — оттого что был против религиозных препирательств с вольнодумцами; Спенсер — оттого что боялся перевозбуждения и пресловутых ощущений в голове; и Милль (который в своей «Свободе» дал классическое определение системе дискуссий) — из опасения, что споры ни к чему не приведут. Сократовы беседы в кругу немногих дали бы, по его мнению, куда больше, чем заранее подготовленные доклады и общие прения. Да вот беда: в отличие от Сократа видные деятели не любят докапываться до истины в тесном кружке. «Метафизиков» удерживала вместе — во всяком случае, частично — сила тяготения, рожденная уже хотя бы их совокупной и разноликой славой. Даже государственные мужи от политики и церкви, подобные Гладстону и Маннингу, и те находили время бывать на заседаниях. Общество просуществовало одиннадцать лет.

Добропорядочным священникам, вероятно, не ахти как

улыбалось входить на глазах у всех в одни двери с такими князьями тьмы, как Маннинг, или такими демонами просветительства, как Гексли и Тиндаль. А название-то чего стоит — «Метафизическое общество»! У одного из наименее одиозных членов общества просто от сердца отлегло, когда швейцар встретил его словами:

— Вам на *Мадригальное* общество, сэр?

Первое заседание торжественно открыл Джеймс Ноулс, который прочел собравшимся только что написанную поэму Теннисона «Высший пантеизм».

> Солнце, месяц, звезды, море, горы, долы без конца —
> Это ли, скажи, не облик Вечного Творца?[214] —

вопрошал Теннисон и затем — возможно, дабы показать, что и он читал «Физические основы жизни», — продолжал:

> Закон есть Бог! Дурак твердит, что Бога нет нигде, —
> Так шест нам видится кривым, когда он отражен в воде[215].

Это был несколько банальный перепев той половинчатой веры, которой отличалась его же умная, отлично аргументированная элегия «In Memoriam»[216]. Философские поэмы трудновато усваиваются на слух с первого раза, да еще после обеда. Одни говорят, будто «Высший пантеизм» встретили гробовым молчанием. Другие припоминают слова, которые с кощунственным спокойствием обронил Тиндаль: «Будем надеяться, что нам не *это* предлагают на обсуждение…»

Теннисон же, достойно возвестив о себе искателям истины устами Меркурия — Ноулса, впредь хранил величавое и картинное безмолвие, благо это ему всегда так превосходно удавалось. При случае, впрочем, он ухитрился смутить невозмутимого Гексли, осведомись, не прерывает ли действие закона тяготения восходящий ток соков в растениях. Гексли тщетно силился понять, в чем соль этой шутки.

После того как была прочитана поэма, редактор «Спектейтора» Р. Х. Хеттон доложил свою работу «Теория Герберта Спенсера о постепенном превращении утилитарной нравственности в интуитивную наследственным путем». В письме к Миллю Спенсер толковал нравственные наклонности как чисто утилитарные установления, которые постепенно превратились в привычки и инстинкты. Хеттон возражал, что нравственные

привычки, высвобожденные из-под власти разума, скорей привели бы к вырождению нравственного чувства, нежели к его таинственному совершенствованию и развитию. Он утверждал также, что утилитарное обоснование исторически чаще следовало за возникновением этического представления, а не предшествовало ему. Удар был силен и рассчитан на то, чтобы расшевелить Спенсера и заполучить его в общество. Спенсер, надо сказать, не просто расшевелился, а даже взорвался, но только как бомба замедленного действия, дав Хеттону гневную отповедь на страницах журнала… по прошествии двух лет.

Когда ангелы света и демоны тьмы встречаются лицом к лицу, не обходится без того, чтобы на их крыльях нет-нет да и ерошились перья. Маннинг, например, по-видимому, даже растерялся, убедившись, что безбожники и в самом деле не верят в бога. «Это было жалостное зрелище, — писал один из очевидцев, — когда Маннинг с плохо скрытым изумлением сидел и слушал, как бездушно и невозмутимо отрицают то, что для него есть самоочевидная и вечная истина». Кто-то предложил избегать во время дебатов замечаний, задевающих нравственные воззрения членов общества. Наступила тишина, затем заговорил католик У. Дж. Уорд:

— Принимая это условие в качестве общего правила, я все же думаю, мы не можем требовать, чтобы люди христианского образа мыслей ничем не выдавали ужаса, который неизбежно вызовет у них распространение столь крайних взглядов, как те, что отстаивает мистер Гексли.

Снова воцарилась тишина, а затем, разумеется, выждав ровно столько, чтобы произвести не меньшее впечатление, чем Уорд, отозвался Гексли:

— Поскольку доктор Уорд уже высказался, я должен, в свою очередь, заметить, что мне будет трудно сдержать свои чувства по поводу умственного обнищания, каковое неминуемо наступит, ежели все станут исповедовать те взгляды, каких придерживается доктор Уорд.

На мгновение, дрожа и задыхаясь, общество повисло над пропастью, отчаянно цепляясь за остатки приличий, потом сделало усилие и выбралось на надежную почву. Стало ясно, что и в рукопашной не на живот, а на смерть придется соблюдать этикет. Первое время учтивость была натянутой, потом — сердечной, быть может, даже чересчур.

Впервые вступив в общение с живыми носителями ветхозаветных теологических и философских воззрений, Гексли столкнулся с неизведанным доселе, а впрочем, вполне в его вкусе затруднением. Всяк тут был какой-нибудь *«ист»* или *«ит»,* только

он один был ничто, белая ворона, «голь несчастная, которой нечем даже прикрыть свою наготу». И Гексли придумал словцо *«агностик»,* которое быстро, вошло в употребление и очень пригодилось на то, чтобы облечь и его самого, и еще очень многих покровом надменного и на удивление добропорядочного неверия.

В первом же своем докладе Хеттон поставил вопрос, который обществу суждено было обсуждать до конца дней своих: можно ли постигнуть истину, не только чувствами, но и душой, не только опытом, но и интуицией? Заключена ли она не только в материи, но и в сознании? Вторым выступил физиолог Карпентер, который вслед за Пейли возвел на господа бога вину за соучастие в создании вселенной, подчиненной законам механики. В третьем докладе Гексли с помощью Юма, Канта и Уэтли[217] еще раз сокрушил миф о бессмертии души. В четвертом Уорд пытался поразить эмпиризм в самое сердце, доказывая, что память, на которой зиждется вся наука, есть свойство интуитивное и в повседневном опыте ей нечем подтвердить свою практическую надежность. Все, что тут говорилось, было умно, но оставляло, пожалуй, чувство легкого разочарования. Искр высекалось предостаточно, но это были всего лишь искры, а не пламя истины.

Если оставить в стороне столь жизненный вопрос, как корректность тона, то «обмен любезностями» между Уордом и Гексли определил линию последующих дискуссий. Из блистательных и сумбурных дебатов, происходивших на первых порах с истинно гомерическим размахом, Гексли и Уорд выдвинулись как сильнейшие бойцы двух враждующих сторон. Гексли, высокий, черноволосый, собранный, был подобен скорее словоохотливому мистику, чем ученому; Уорд, кругленький, розовый, жизнерадостный и тоже большой любитель поговорить, был как две капли воды похож на сельского дворянчика. И тот и другой отличались ясным умом и за словом в карман не лезли. Уорд, более склонный к диалектике, по своему складу тяготел к людям утонченным, конфузливым; изрядная широта взглядов и готовность к рискованным похождениям в сфере логики сочетались в нем с беспечной верой в непреложную истинность католичества и парадоксальной первозданностыо крайнего, трезво обоснованного консерватизма. Когда его спросили, как католическая доктрина предписывает поступать в каком-то частном случае, он ответил: «На этот счет существуют два взгляда, из которых я, как обычно, предпочитаю более фанатический».

Генри Сиджвик[218] писал: «…было такое ощущение, что он, подобно собеседнику из диалога Платона, целиком вверяет себя

Логосу и готов следовать за ним к любым заключениям». Что же касается Гексли, он, по мнению Сиджвика, пожалуй, не знал себе равных в умении «мгновенно найти в ответ на любой довод наилучшее возражение, какое можно сделать с его позиций, и изложить его с предельной четкостью и точностью». Гексли запомнился ему также «как самый воинственный из всех ораторов, игравших ведущую роль в дебатах… хоть он всегда строго держался в рамках вежливости».

Со временем эти двое научились воевать с удивительной приязнью друг к другу, поднявшись над жестокой враждой и полным несходством взглядов до веселой и даже задушевной товарищеской близости. Глубокое убеждение в неправоте Уорда уживалось у Гексли с искренним уважением к его диалектике. Этот «философ-богослов был Дон-Кихотом», который умел подчас наносить весьма чувствительный вред ветряным мельницам агностицизма. «И как же легко все это ему давалось, — вспоминает Сиджвик, — каверзные вопросы, острые — чтобы не сказать, язвительные — ответы и потоки изощренных доказательств изливались… с таким непринужденным благодушием, словно все, что происходит, — просто милая шутка».

Не меньше доволен был своим новым противником и Уорд. Когда у них впервые наметились теплые отношения, он как-то после заседания отвел Гексли в сторону и очень доверительно заговорил:

— Мы теперь с вами на такой дружеской ноге, что с моей стороны дурно было бы оставить вас в неведении, и потому я желаю вам кое-что сообщить.

С тайным страхом, что надвигается очередная попытка спасения его души, Гексли просил его продолжать.

— Видите ли, у нас, католиков, считается, что, скажем, такой-то и такой-то (тут он назвал кое-кого из единомышленников, более шатких в своих воззрениях) неповинны в смертном грехе, им может проститься; с вами же дело обстоит иначе, и было бы нечестно, я полагаю, не сказать вам об этом.

У Гексли гора свалилась с плеч.

— Доктор Уорд, дорогой мой, — он горячо пожал католику руку, — только бы вас это не тяготило, а уж я как-нибудь.

Порой соблазны боя на короткой дистанции оказывались неодолимы. «Я не помню, чтобы в вечерние часы отец когда-нибудь отступил от своего привычного распорядка дня, — пишет Уилфред Уорд, — кроме одного случая, когда он заговорился с Гексли: раз шесть они провожали друг друга до дому, а простились наконец при первых петухах». Уорд заметил, что если

от распрей с другими католиками он чувствует себя больным и разбитым, то споры со скептиками и атеистами лишь возвращают ему бодрость и силы. Он завел обыкновение приглашать к себе обедать Гексли с другими головорезами от метафизики. Впервые это случилось как раз в то время, когда Уорд, подчиняясь присущей ему неумолимой логике, задал жестокую трепку своему ученому другу, как ни противилась тому его добрая душа. Гексли, едва вошел к нему в дом, тотчас шагнул к окну и выглянул в сад. Уорд спросил, что он делает.

— Да вот гляжу, где там у вас в саду столб, доктор Уорд, — сожжение, я полагаю, назначено на после обеда?

Столь живописное ведение боя не могло не вносить известное разнообразие в жизнь прочих членов Общества, и все-таки предсказание Милля сбывалось. Общество было и слишком велико, и недостаточно заинтересовано в метафизике. Когда народу собиралось много, обсуждение сводилось к частностям и общим местам. Когда же приходили немногие, оно становилось напряженным и по-сократовски глубоким, и действительно — пусть ненадолго — плодотворным. Что ж, если образа мыслей дискуссии не изменили ни у кого, то саму мысль они будили у многих. Даже Гладстон, который, если верить Гексли, не имел понятия о том, что даже означает слово «метафизика», проникся, по слухам, таким интересом к далеким от политики проблемам, что со свойственным ему многословием прочел лекцию о бессмертии души одному либералу, нетерпеливо ожидавшему от него указаний в связи с угрозой раскола в партии.

В своих «Воспоминаниях о Метафизическом обществе» Р. Х. Хеттон, объединявший в себе дар ценителя талантов и способность изображать драматические коллизии, сжато представил всю историю Общества на примере некоего идеального заседания. Перед схваткой метафизики садятся обедать. За столом Хеттон озирается по сторонам; Уорд тихонько посмеивается «над тем, как, распекая Стэнли за вольность воззрений, плутают в трех соснах ортодоксы-церковники»; Тиндаль своим «проникновенным ирландским баритоном» — и, может быть, с некоторым пренебрежением к скромности — разглагольствует по поводу «предложения ввести определенную „молитвенную норму“», а Гексли «мечет скептические молнии». Гексли «ко всякому вопросу, какой бы он ни счел достойным обсуждения, всегда подходил с точной меркой, но давал при этом почувствовать, что сухие и точные заповеди, коим он следует, далеко не исчерпывают истинных потребностей его богатой натуры».

Затем Уорд на правах председателя задал вопрос: как можно,

исходя лишь из данных опыта, доказать единообразие природы и тем самым невозможность чудес, не исследуя в отдельности каждый исключительный случай? Последовало несколько шаблонное, однако глубокомысленное обсуждение, в ходе которого каждый садился на своего излюбленного конька и изрекал какую-нибудь обычную для себя банальность. Гексли на секунду оторвался от весьма выразительного наброска на листе бумаги и объявил, что ученые «слишком заняты своею продуктивной деятельностью», чтобы разбираться в каждом отдельном случае, аттестованном как чудо. Кроме того, погоня за чудесами грозит ученому дурной репутацией в научных кругах. Рёскин заметил, что нимало не удивился бы, если бы какой-нибудь новоявленный Иисус Навин вздумал остановить Солнце. Для него лично чудо в том, что Солнце вообще движется. Бейджот признался, что ребенком, возможно, и рассчитывал увидеть такие чудеса, как недвижные светила, однако «отрезвляющее воздействие» жизненного опыта ему этого более не позволяет. Засим адвокат Фицджеймс Стивен[219] «громовым басом, как бы физически подавляющим всех своею мощью», безапелляционно перечислил данные, на основании которых следует судить об истинности чуда. Архиепископ Маннинг, «взглянув на мистера Стивена с благосклонной улыбкой», поспешил уверить его, что на папском престоле при канонизации святых данные проверяют так тщательно, что даже он остался бы доволен. Затем архиепископ коснулся неоспоримой достоверности чудес, свершившихся в Лурде[220]. На что доктор Мартино, «блистая редкостным по безупречности произношением», выразил свое несогласие почти с каждым из присутствующих, особенно же с архиепископом Маннингом, чьи взгляды на единство природы, подобно взглядам святого Фомы, едва ли можно подтвердить священным писанием.

Благосклонные усмешки Маннинга, безупречное произношение Мартино, невидимый стихарь на плечах Гексли, безапелляционный нагловатый бас Фицджеймса Стивена — очень похоже, что господа метафизики действовали друг другу на нервы. Уверенный и поучающий Мартино определенно раздражал Сиджвика, а Сиджвик — Лесли Стивена, который после какого-то заседания вскричал: «Ни один человек не имеет права так уничтожать противника своим благородством!»

Мало-помалу Общество прониклось духом самокритики, иными словами, у каждого сложилось отчетливое представление о недостатках своего собрата. В 1873 году Маннинг предложил вниманию Общества свою работу «Диагноз и рецепт». По его мнению, члены «Метафизического общества» страдали хронической анархией, ведущей свое начало еще со времен

Возрождения и Реформации. Смешение философских терминов и понятий привело к смешению идей, парализующему Общество. В качестве лекарства он предлагал большую строгость в логике и четкость в определениях, а главное — правильный выбор метода и терминологии. Короче говоря, он предписывал обществу схоластику святого Фомы. Диагноз был поставлен верно, да уж больно героические усилия предлагались для исцеления. Логики жаждали все, но очень немногие соглашались признать, что логика и святой Фома — одно и то же. Чтобы добиться большей четкости в определениях, был создан специальный комитет, однако он мало в чем преуспел и только способствовал тому, что в обществе распространился угрюмый инквизиторский душок.

Подстрекаемый нападками Уорда и собственным задиристым нравом, Гексли с годами все неуклонней утверждался в своем уничтожающем сарказме. Он не скупился на иронию уже в своем втором докладе «Есть ли душа у лягушки?» (1871 год). Не имеющую никаких надежд на вечное спасение амфибию, которой еще предстояло долгое мученичество во имя науки, он распял на препарационном столе, чтобы лишний раз распять бессмертие души на упрямых фактах физиологии. В последней же работе, доложенной Обществу, «Данные о чуде воскресения» (1876 год), он «в стиле маститого адвоката на крупном уголовном процессе» сделал попытку опровергнуть главный довод христианства в пользу сверхъестественного. В сравнении с безупречно отделанными его лекциями перед учеными и рабочими эти доклады всего лишь голые схемы. Он явно сберегал себя для таких дебатов, в которых не имел себе равных. В присутствии собратьев-знаменитостей художник в нем снова уступал место фехтовальщику на поле логики.

К концу 70-х годов в Обществе многое изменилось. В 1877 году умер Бейджот, после 1878 года на заседаниях перестал бывать Теннисон, захворал и не появлялся больше Уорд. А главное, в 1879 году сложил с себя секретарские обязанности Джеймс Ноулс, хладнокровный, бесстрашный распорядитель на манеже, где состязались в прыжках через горящий обруч титаны мысли. В пустоты, оставленные такими людьми, как Уорд, хлынул могучий бас Фицджеймса Стивена. Тяжеловесный здравый смысл, изрекаемый мощною глоткой, безжалостно сокрушал всепроникающей и всеистребляющей очевидностью неуловимо-замысловатые построения науки и религии. Глубоко убежденный, что человек погряз в пороках, Стивен обеими руками цеплялся за версию о существовании ада. Что касается рая, тут он проявлял куда меньше рвения. Дарвина он не только отрицал начисто, но и не понимал, зачем понадобилось его

придумывать.

По словам Лесли Стивена, «Дарвин, на его взгляд, был человек большого ума, который зачем-то положил несметные труды на изучение повадок червяков и гадание о том, что произошло миллионы лет тому назад. Какая разница? Факты фактами — а кому от этого легче?» Вероятно, из-за Стивена всем стало неуютней в Обществе, в особенности тем, кто не вполне разумел, о чем идет речь.

По этой причине, как и по многим другим, «Метафизическое общество» все меньше походило на викторианский Олимп и все больше — на семинар профессионалов-философов. Разборчивых новичков оно не ошеломляло.

— Знатный клуб, ничего не скажешь, — так аттестовал его своей сестре Джон Морли, — сперва немножко оконфузились, угощая скверным обедом, а потом пришли к полному конфузу, увязнув в прескверной метафизике.

В один прекрасный ноябрьский вечер 1880 года председательствующий Мартино поднес зеркало к коченеющим устам дискуссионного клуба. С небывалым единодушием «Метафизическое общество» большинством голосов спокойно одобрило свою кончину.

Оно скончалось, как заявил потом Гексли, «от избытка любви». Вряд ли, однако, большая воинственность могла бы сама по себе привести к большему согласию. Ноулс, пожалуй, рассудил тоньше. По его мнению, смерть наступила тогда, когда все было уже говорено и переговорено. Проспорив десять лет, члены общества поняли наконец не друг друга, нет — они поняли всю безмерность своего коренного разногласия. Все они были слишком стары и слишком знамениты, чтобы познать тут что-то новое и тем более — чтобы нащупать точки соприкосновения меж христианской теологией и требованиями научной истины, меж верой в бога и верой в эволюционный процесс.

А между тем старые проблемы рядились в новое обличье. Пока ученые усердствовали, разъясняя, что догма плодит суеверия и ненависть, сама наука порождала новый догматизм и новый гедонизм[221]. Мало того, пока эмпирики старшего поколения оттачивали истину на оселке опыта, так что, в конце концов, от нее не оставалось ничего, кроме сухого и строгого вопросительного знака, эмпирики нового толка тем же способом взращивали из истины роскошный тропический лес, изобильный, многообразный, сверкающий яркими красками. Агностицизм и прагматизм[222] — это две стороны одной медали. Оба учения чужды догматизму, только для одного мерилом веры служат данные науки, а для другого — психологическая потребность.

Уильям Джемс считал, что, если вера делает жизнь более насыщенной и созидательной, значит она истинна. Забавно, что век споров об основах основ завершился прагматизмом, но еще забавней, что прагматизмом начался век преследований за идеи.

Длительные пререкания с Уордом и прочими все-таки на время придали позиции Гексли видимость компромисса. В 1870 году он был приглашен в Кембридж на роль профессора Вельзевула для вдохновения местных членов «Христианской ассоциации молодых людей». Его лекция «О „Рассуждении“ Декарта» отчасти представляет собой попытку распространить эволюционную точку зрения на область идей. Историю мысли надлежит представлять себе не единой великой цепью или бесконечным развитием по прямой, а раскидистыми ветвями дерева. Идеи Декарта, как ни одного другого мыслителя, можно назвать стволом современной науки и философии. Он провозгласил «святость Сомнения», как первостепенного долга научной совести, и сам показал в этом смысле пример, стараясь отрешиться от всех и всяческих предвзятых взглядов. Полностью это ему не удалось, и все же в одном его заслуга бесспорна: он наметил путь для двух важнейших направлений современной философии. Его положение о том, что разум не способен познать ничего за своими собственными пределами, прямо подводит к идеализму Беркли и Канта. Другое его положение — что мысль, насколько можно судить, неизменно исходит от механизма, именуемого человеком, который в конечном счете сводится к материи и движению, — также прямо ведет к материализму Пристли[223] и Ламетри[224]. Обе эти системы, как считает автор, скорее дополняют, а не опровергают друг друга, «и философия дотоле не станет по-настоящему плодотворна, пока они не объединятся».

При всем том Гексли верит, что «рано или поздно мы найдем механический эквивалент сознания». Он мимоходом говорит, что человеческая машина способна «работать слаженно лишь в известных пределах», и тут же присовокупляет: «Торжественно заявляю: если бы некая могучая Сила согласилась наделить меня способностью всегда безошибочно мыслить и правильно поступать — при условии, что из меня сделают нечто вроде часового механизма и будут по утрам заводить в постели, — я немедленно согласился бы на такую сделку». В общем, богопослушные христиане из кембриджской Ассоциации могли бояться профессора Вельзевула с полным основанием. В яром пламени его проповеднической истовости рога и хвост с кисточкой выглядели очень прозрачной маскировкой, а носил он

их в искреннем убеждении, что от них несравненно меньше вреда, чем от нимба и арфы.

Слову профессора Гексли жаждали внимать аудитории, куда более широкие, чем кембриджская «Христианская ассоциация». В 1870 году он собрал воедино наиболее известные из своих коротких работ, начиная с первых статей о «Происхождении» и кончая «Декартом», и издал их под заглавием «Светские проповеди, речи и рецензии». Это была первая его книга со времени «Места человека в природе», и как семь лет назад кляли ту, так ныне превозносили эту. Тут сказалась не только перемена в общественном мнении. «Светские проповеди», как явствует уже из названия, имели недвусмысленно нравоучительный уклон. Они были приняты одобрительно не только журналом «Вестминстер» — тот не жалел похвал и «нерушимому их здравомыслию», и «блеску литературного изложения», — но и такими более умеренными журналами, как «Современник», который, хотя и критиковал автора «Проповедей» за его толкование Декарта, признавал искренней, великодушной и дальновидной попытку примирить религию с наукой.

«Спектейтор» был, как обычно, более склонен к сомнениям. Гексли отрицает, что религия заслуживает доверия — более того, считает, что она даже не способствует добродетели, которую легче обрести, считая самоотречение, как, впрочем, и все остальное, «рабочей гипотезой». Но ведь не станешь «молиться гипотезе», возражал «Спектейтор». Если уж на то пошло, Гексли, сводя истину до столь малой вероятности, подрывает не только религию, но и сам рационализм. Когда разум не способен создать ничего, кроме рабочей гипотезы, многие люди начинают пренебрегать разумом.

Простым смертным бессонница приносит лишь неприятности да напрасную трату времени. Гексли она принесла доскональное знакомство с английской философией. Трудных авторов он одолевал как бы одной поступательной силой своего интеллекта. Когда Морли стал уговаривать его написать для серии «Люди науки в Англии» книгу о Юме, он обнаружил, что у него в голове эта работа уже выношена и созрела. Оставалось позаботиться о том, как ее преподнести, но с этим у него всегда было очень мало забот. В 1878 году он в начале лета нет-нет да и обращался к ней между делом, потом съездил отдохнуть в Пенменмос и единым духом, за полтора месяца, довел работу до конца.

«Юм» вышел как раз такою книгой, какую блистательно одаренный и образованный человек может написать за полтора месяца. Она отлично построена — сжатая, местами остроумная и живая. Она не только представляет Юма ясней, чем это делает

сам Юм, но во многих существенных частностях улучшает и исправляет его. Впрочем, относительная новизна темы не пробудила в Гексли новых талантов. Он и раньше-то в своей лекции о Декарте в основном обошелся без Декарта, но то, что простительно для краткого сообщения, становится предосудительным, когда дело касается монографии в триста страниц. Для книги о Юме требовалась биография, а раз биография, стало быть, личность. Гексли же не выказывает большого интереса ни к тому, ни к другому. Его рассказ — сухая скороговорка. Он намекает, что Юм променял философию на историю из тщеславия. Он бегло отмечает внешнюю неловкость и внутреннюю собранность Юма во время его блистательного дебюта в Париже. Однако «богатство и успех редко бывают интересны», и автор без церемоний спешит препроводить Юма к одру смерти. Карлейль не пожалел бы ни страницы, ни целой книги, даже десятка книг, дабы показать своего героя живым. Гексли, который играючи справился с Юмом за шесть недель, едва ли даже задавался такою целью.

Но если о голове, в которой зародились идеи Юма, книга дает лишь поверхностное представление, то сами эти идеи представлены великолепно. Локк[225], отринув метафизические выдумки, слой за слоем счистил с философской мысли шелуху произвольных умозаключений. Юм обнажил самый костяк эмпиризма, сводя фактически все познание и мышление к чувственным восприятиям, к способности воспроизводить их и к их «ассоциированию» по сходству, а также по пространственно-временной смежности. Даже самые привычные нам и наиболее достоверные отвлеченные понятия, такие, как время, пространство, причина и следствие, по-видимому, не даны нам от рождения и возникают не интуитивно как продукт внезапного озарения, а благодаря ассоциации определенных единичных впечатлений. Мы никогда не можем знать наверное, насколько сформировавшиеся у нас представления соответствуют внешней действительности — пусть даже они служат нам надежными проводниками в последующем опыте. Эмпиризм не признает полной достоверности.

Но даже Юм не до конца эмпирик. Изредка он впадает в догматизм либо позитивный, как, например, когда он утверждает, что некоторые математические истины обладают силой необходимости и не зависят от чувственного опыта; либо негативный, когда он, скажем, утверждает, будто сознание не что иное, как совокупность впечатлений. Возможно, пишет Гексли, оно и вправду не что иное, как совокупность впечатлений, а возможно, представляет собой более высокую ступень единства,

основанного не на столь механистическом принципе, как принцип ассоциации.

Довольно много места занимают у Гексли попытки упростить Юма и приблизить его к современности, показывая, допустим, что субъективный эмпиризм, который рассматривает сознание в категориях впечатлений, можно приравнять к эмпиризму объективному, рассматривающему поведение как продукт деятельности нервной системы. Юм и сам знал об этой возможности, но в отличие от Декарта пользовался ею лишь в тех случаях, когда пытался судить об интеллекте животных по их поведению. С тех же позиций он прослеживает эволюцию теологии под влиянием того, как все более расширяется познание и все изощренней становятся чувства. К таким предтечам натурализма XIX столетия Гексли подходит с восхищением.

Касаясь религии, Гексли весьма находчиво и строго обличает Юма в своих же собственных грехах. Эмпирическая недостоверность едва ли может служить решающим аргументом в спорах на теологические темы. Именно поэтому Юм зачастую так твердо настаивает на единообразии природы, пользуясь этим, с одной стороны, чтобы опровергнуть чудеса, а с другой — чтобы доказать существование разумного творца. Но в то же время мы знаем, что природа единообразна лишь в пределах наших наблюдений. Раз так, у нас не может быть уверенности ни в том, что чудеса идут вразрез с законами природы, ни в том, что лишь частично доступная разуму вселенная предполагает существование безгранично разумного творца.

Детерминизм Юма не вызывает у Гексли ничего, кроме одобрения. Юм определяет свободу воли как убеждение или впечатление, происходящее от осознания своего намерения и от ощущения, что это намерение выполнено. Он не отрицает, что люди могут осуществлять выбор и подчинять ему свои действия. Он просто подчеркивает, что всякий выбор включен в порядок вещей. Человек лишен свободы любить боль, он не может произвольно ассоциировать любое переживание с любым понятием. Концепция свободы воли ведет к нелепости. Учение же о необходимости вытекает из той вполне разумной точки зрения, что людьми всегда руководили одни и те же мотивы и причины. Гексли считает, что это учение не снимает, а, наоборот, увеличивает чувство нравственной ответственности. «Само понятие ответственности предполагает убеждение в необходимой связи определенных действий с определенными состояниями духа». Так, гнев, если он достаточно силен, толкает на соответствующий поступок.

Об этических воззрениях Юма Гексли судит здраво и

разборчиво. Он снова хвалит его за эмпирический подход к предмету и показывает, как он выводит понятие, добра из полезности:

«Таким образом, то нравственное одобрение, с которым мы относимся к проявлениям справедливости или милосердия, зиждется на их пользе для общества, ибо сознание этой пользы — или, иначе говоря, того удовольствия, которое они доставляют другим, — пробуждает ответное чувство удовольствия в нас самих. Из подобной ассоциации нравственного одобрения или неодобрения со своими собственными поступками возникает сознание обязанности быть справедливым, то есть долг справедливости — именно это мы и называем совестью».

Он правильно замечает, что Юм слишком мало принимает в расчет реальную опасность искушений, а также трудности на пути добродетели.

В однотомник «Юм» входят также два самостоятельных исследования. «Епископ Беркли о метафизике ощущений» (1871 год) — еще один образчик безукоризненно ясного изложения философской системы. Предполагалось, что со временем из него вырастет новая книга для серии Морли, но на это у Гексли все не хватало то времени, то сил. Работа «Об ощущении и о единстве строения органов чувств» (1879 год), исследуя механизм эмоций, подводит итог спорам идеалистов с материалистами о содержании сознания и о непознаваемом внешнем мире. Какой бы орган чувств мы ни взяли, везде между представлением и его источником стоит ощущение. Каким образом источники порождают представления, остается пока загадкой. Серьезная философия способна открыть нам лишь одно: что мы, в сущности, ничего не знаем. И только наука способна открыть нам новые факты.

В 1894 году Гексли в предисловии к книге «Юм» вынес окончательное суждение о месте Юма и Беркли в истории. Оба являются преемниками Декарта. Первый довел до логического завершения Декартово сомнение; второй — его тезис о том, что мы можем с уверенностью говорить лишь о фактах сознания. Показательно, что Гексли упорно подчеркивает не столько картезианский рационализм, сколько картезианское сомнение. В известном смысле Юм был полным отрицанием Декарта. Декарт, взяв за образец геометрию, настаивал, что истинные идеи должны быть логически связаны. Он никогда не сомневался в том, что истина рациональна, ибо никогда не сомневался, что рациональна реальность. Без логики нет познания. Юм же утверждал, что способность мыслить — это просто форма ассоциативной деятельности, применяемая для упорядочения

опыта. А сама по себе реальность, возможно, логична лишь внешне и не до конца. Декарт пытается объяснить все при помощи математики. Юм объясняет почти все, кроме математики. Может быть, Гексли так восхищался обоими, что не мог представить их себе очень непохожими и друг на друга, и на себя самого. Один из них помогал утолять его жажду ясности, другой — его пуританскую потребность отказывать себе в такой роскоши, как определенность.

16
ПРОСВЕТИТЕЛЬ

К 1870 году научная работа Гексли сократилась почти до предела, зато он держал в руках добрую половину организационных дел английской науки. За последние несколько лет он перебывал президентом Британской ассоциации, Этнографического и Геологического обществ. С 1871 по 1880 год он занимал такую стратегически важную позицию, как должность секретаря Королевского общества. Как член «Икс-клуба» он входил в узкий круг вершителей судеб науки; как член «Метафизического общества» был первым радетелем за науку в горнем собрании викторианских богов. В последующие восемь лет он входил в одну королевскую комиссию за другой, занимаясь самыми разными вопросами, от постановки обучения в средних школах до заразных заболеваний. Ему не раз предлагали баллотироваться в парламент, но он неизменно отказывался, зная, что положение политического деятеля лишь ограничит его возможности.

С каждым днем подмостки жизни все больше соответствовали своеобразию дарований и стремлений Гексли, ибо, пока он прибирал к рукам науку, наука прибирала к рукам викторианский мир. В известном смысле она и сотворила викторианство, создав предпосылки для промышленной революции и господства среднего класса. Победа среднего класса резче выявила противоречие меж протестантской верой и утилитарным рационализмом, подспудно созревавшее в сознании представителей этого класса, — и рационализм одержал верх. По

части истоков сущего первым авторитетом вместо Моисея стал Дарвин, и его же начинали признавать первым авторитетом по части нравов. Да и само протестантство, надо сказать, при всей своей похвальной христианской праведности давным-давно отпустило политике «laissez faire» ее кровавые грехи и теперь мирно внимало поучениям Спенсера о том, как добродетельно и необходимо, чтобы неудачники умирали с голоду.

Тем временем зажиточное мещанство достигло некоего состояния устойчивого равновесия, которое в нынешнем вихре перемен стало символом социальной незыблемости. Отменив Хлебный закон[226] и законы о запрещении профсоюзов, улучшив условия труда на фабриках и сократив рабочий день, мещанство на время снискало себе поддержку рабочих; а избирая и переизбирая на различные должности аристократов, покрикивая на них в печати и с церковной кафедры, потеснив их у кормила власти, оно и из знати сделало нечто себе подобное, столь же степенное и негероическое. Англия не то чтобы разделалась со своими проблемами, а скорей заставила их отступить. Внушительная в своем единстве, несмотря на глухие и серьезные противоречия; словоохотливо и внятно изъясняющаяся в стихах и прозе, несмотря на изрядный сумбур в голове, великолепная в своей энергии, осторожная в компромиссах, она черпала вдохновение в чудесах Всемирной выставки, стращала себя кошмарами обезьяньего прошлого, а теперь утешалась прогрессом и барышами, по всей видимости, надежными и непреложными, как бег самого времени.

Прогресс не был больше нежданным и хрупким детищем случая и таланта. Он сделался упорядоченным, методичным, даже механизированным. Под методом и механизацией следует понимать, естественно, науку и ее техническое оснащение. Ученый с его приборами стал сверхчеловеком, чьи богоподобные таланты, всепроникающие и трепетно чуткие, равно устремлены в пучины беспредельно малого и беспредельно великого. Одна за другой прорезали тьму гипотезы, медленно, неуклонно совершенствуясь и оттачиваясь в эмпирическом соприкосновении с действительностью.

Необходимость быстро теряла свой престиж матери изобретений и открытий. Так, исследования Максвелла в области электромагнитных волн пятьдесят лет прождали своего часа, покуда ими не воспользовался изобретатель радио Маркони. Прилежно потирая Аладдинову лампу науки, викторианцы вызывали такие полчища слуг ее, что пока лишь самых маломощных и нехитрых из них удавалось занять полезной работой.

Однако даже этих немногих, слабосильных и нехитрых оказалось достаточно, чтобы провозвестить наступление века техники. Начав систематически применять энергию пара в своих повседневных целях, человек уже одним этим за несколько десятилетий изменил физические условия своего существования в большей степени, чем за несколько минувших столетий. Он уже начал свой удивительный путь паломника сквозь дремучие дебри механики. А в дебрях этих все менялось с волшебной быстротой, и человек день ото дня жил со все более грозным сознанием своих возможностей и своих искушений, в вечном и остром раздвоении человеческого существа. С одной стороны пути его манила улыбкой утопия, с другой — готов был разверзнуться ад кромешный.

Но в 1870 году об опасностях, таящихся в дремучих лесах механики, почти не подозревали. Опыт показал, что машина способна довести до нищеты и сокрушить физически, создавая самые дикие парадоксы, изобилие бок о бок с нуждою, бездействие наряду с бурной деятельностью. Рёскин пытался показать, что машина способна также привести человека к убожеству и духовному обнищанию, сосредоточив художественное творчество в руках немногих и навязав прочим немоту в искусстве и тупую обыденщину. С другой стороны, она же наводнила мир хлопчатобумажной тканью. Она быстро переносила множество людей через моря и земли. Она дала Европе и Америке возможность переговариваться друг с другом по проводу, проложенному по дну Атлантического океана. Паровой двигатель, газовые фонари, телеграф, открытие болезнетворных бактерий и получение сывороток для борьбы с ними сократили расстояния и одновременно усложнили, осветили и расчистили планету — похоже было, что со временем из нее получится устройство налаженное, хитроумное и надежное, как лучшие швейцарские часы. Средство, которое успешно разрешило столько застарелых проблем, должно было рано или поздно решить и новые, им же самим созданные.

Как бы то ни было, механизация стала для страны необходимостью. Могучими конкурентами обещали стать через несколько десятилетий американцы; опасными конкурентами уже теперь становились немцы. Пруссия, эта матерь законопослушания, безотказного, как часовой механизм, после столетнего безвременья обрела нового небесталанного часовщика в Бисмарке. Опять плавно завертелись колесики, с роковой точностью затикали секунды — и пробили часы, и, как карточные домики, стали рушиться империи, и задрожала Европа. Вместо Германии, страны сварливых князьков и ученых мистиков,

внезапно появилась сверх-Пруссия — великая военная держава, опирающаяся на мощную промышленность и непревзойденную систему научного и технического образования.

Предусмотрительные англичане, несмотря на свой флот и свои банковские балансы, были не без оснований озабочены. Р. Х. Хеттон выражал сожаление, что таким великим народом, как немцы, правит военная каста, неизмеримо уступающая ему и по общечеловеческим достоинствам, и по культуре. Гексли в начале войны 1870 года безоговорочно отдал все симпатии родине своего возлюбленного Гёте и непримиримо осуждал Луи-Наполеона. Однако ужасающая разрушительность современной войны, а может быть, и воинственная свирепость немецкой печати быстро охладили его пыл. «Боюсь, что всем нам предстоят скверные времена, — писал он своему другу Дорну[227], — и горше других придется Германии, если ее искусает бешеный пес военщины»..

Романтизму свойственно было изображать немца эдаким сочетанием благородной наивности и поэтической глубины. История же убедительно говорила, что немцы сочетают в себе незаурядную практическую энергию, способности к теоретизированию и необыкновенную склонность к повиновению. Они могли с любопытством вглядываться в первоосновы мироздания и благоговейно склонялись перед военным, кивером и парой эполет. Дисциплина и систематичность в соединении с богатым духовным наследием сделали образование в Германии источником сырья более ценного, чем все железо и весь уголь Рура. Германия находилась в состоянии неусыпной боевой готовности к открытиям и их коммерческому использованию, еще более боевой и неусыпной, чем ее готовность к войне.

В Англии между тем, хоть век уже перевалил за половину, образование с наукой не считалось. В школах, особенно мужских, закрытых, царило нечто среднее между ритуальным распорядком и полной смутой. На площадках для игр и на дворе мальчишки были предоставлены закону джунглей; в классе их приобщали зубрежкой и розгой к египетским таинствам джентльменского воспитания. Тот, кто прошел через это и выжил, обычно обладал большим запасом стойкости, набором более или менее серьезных пороков, кое-какими познаниями в греческой и латинской грамматике и неприятными воспоминаниями о знакомстве с отрывками из классической литературы. В 1828 году доктор Томас Арнольд[228] основал в Регби благодетельную христианскую деспотию, где школьников учили смотреть на жизнь как на серьезную нравственную обязанность, читать по-французски и по-немецки, а также понимать и переводить

классиков. Пример Арнольда отчасти вызвал подражание, но главным образом — осуждение, особенно в Оксфорде, где выпускников Регби недолюбливали за их чванство.

На первых порах в полемике об образовании самыми ярыми глашатаями науки были Ф. У. Феррар и Герберт Спенсер. Феррар, который до этого преподавал языки в Харроу и в Винчестере, славился в свое время как сочинитель очень скверных романов об очень хороших мальчиках. Его пай-мальчикам жилось в школе безрадостно. Феррар считал, что аристократические учебные заведения в Англии не только создают дурную нравственную обстановку, но не тому и не так учат. Он утверждал, что в идеале учебная программа должна ставить на первое место естествознание, математику и современные языки.

Теория Спенсера представляла собой соединение его собственного опыта, обобщенного для простых смертных, и принципа «laissez faire» в биологической трактовке — иными словами, невозможного идеализма, препарированного с помощью совсем уже невозможного реализма. Умелым и знающим наставникам вроде его батюшки надлежало любовно выявлять в обыкновенных мальчишках самобытный талант к абстрактным умопостроениям и энциклопедическим познаниям сродни тому, которым наделен сам Герберт и который может со временем обеспечить их либо миллионным состоянием, либо всеобъемлющей философией. В то же время их не следовало вскармливать на слишком возвышенных идеалах, иначе они вырастали бы не приспособленными для той первобытной борьбы, какою является, по существу, жизнь в цивилизованном обществе. Наконец, по сравнению с классической литературой наука и щедрей и полезней: она оснащает ум фактами и методом мышления, а не просто мерилом красоты и хорошего вкуса.

К 1860 году обостряющаяся конкуренция в викторианской жизни бесцеремонно ткнула пальцем в викторианское образование. Унаследовав вкупе со всем прочим закрытые школы, верхушка среднего класса все больше становилась ими недовольна. Нет, она ничего не имела против египетских таинств как таковых. Они, бесспорно, наводили на учеников надменный джентльменский лоск. Но, с другой стороны, преуспевающие деловые отцы желали видеть своих отпрысков не только благородными, но и преуспевающими джентльменами. Весь ужас заключался в том, что египетские таинства, как их тогда преподавали, не обеспечивали молодым людям возможности отличиться на конкурсных экзаменах при поступлении на военную или гражданскую службу. Были люди, как, например, Мэтью Хиггинс и Генри Рив[229], которые утверждали, что

заведения, подобные Итону, содержатся не ради нравственных и умственных интересов учащихся, а ради корыстных интересов обучающих. В учебную программу нужно включить математику и современные языки. А дела закрытых школ должна расследовать королевская комиссия.

Нападение либералов было встречено потоками красноречия растревоженных консерваторов. Сам Эдмунд Берк, отстаивая английскую конституцию, не превзошел бы их в напыщенности. Закрытые школы-де служат величавым воплощением издавна накопленного опыта. Каждый моральный и материальный кирпичик, из коих сложено здание Итона или Винчестера, с таким искусством подогнан к другому, кладка так изысканна и замысловата, что, конечно же, распадется при первом прикосновении к ней грубых лап реформы. Однако тоскливое и негодующее мычание многоглавого стада тори, сбившегося под сенью британского дуба, не могло заглушить назойливого стрекота кузнечиков-либералов, и хотя сам Гладстон дал понять, что видит в строго классическом обучении одновременно оплот религии и средство вольной гимнастики ума, все равно в 1861 году была назначена королевская комиссия. Она согласилась с возражениями либералов и рекомендовала закрытым школам перестроить существующие в них порядки, отвести важное место конкурсным экзаменам и включить в учебную программу музыку, рисование, историю, географию, английскую словесность, правописание и, главное, естественные дисциплины.

В 1867 году Дизраэли совершил свой знаменитый прыжок в неизвестность и, предоставив в новом билле о реформе избирательные права мелким налогоплательщикам, фактически допустил к участию в выборах основную часть среднего класса. Центр всеобщего внимания сразу переместился в сторону школ для низов среднего класса, большею частью захудалых и жалких подобий таких заведений, как Итон и Харроу.

В эти знаменательные дни Гексли был назначен директором Рабочего колледжа в Южном Лондоне и в своей речи при вступлении в должность — «Гуманитарное образование и путь к нему» — сурово осудил систему обучения в Англии вообще и начальную и среднюю школу в особенности. Невелика цена трем краеугольным ее камням: арифметике, письму и чтению, если они служат лишь тому, чтобы научить болтать невежество. Ничего не стоят и классические дисциплины, если они не знакомят учащихся с жизнью и образом мыслей древних. Гексли отмечает, что никак не хотел бы выглядеть противником классических дисциплин — они «с великолепной простотой излагают вечные проблемы человеческой жизни», хотя он и не дает четкого

объяснения, чем именно они так важны для европейской цивилизации. В английских университетах мало крупных ученых, мало сколько-нибудь значительной научной работы, нет почти никаких возможностей для серьезных изысканий на обширном поприще современной науки и культуры.

Англии нужно более широкое, более реалистическое понимание гуманитарного образования. Цель такого образования — развивать и совершенствовать человека в целом: сделать его тело сильной, умелой «машиной», ум — «четким, трезвым механизмом логической мысли». Гуманитарное образование призвано воспитывать в людях любовь к прекрасному, чуткую совесть, здоровые и полнокровные страсти и сильную волю, чтобы держать их в узде. Оно должно также, сколько возможно, сообщать людям сумму знаний в их современном объеме. Образованию следует идти по стопам природы.

Природа, как невидимый партнер, играет с каждым из нас партию в шахматы. Очевидно, что хорошее образование должно научить человека правилам этой игры, ибо «удачный ход природы означает гибель». Здесь, как и в других случаях, Гексли дает понять, что научный метод, не говоря уже о самой науке, весть ключ к познанию природы, как окружающей человека, так и его собственной. Нравственный закон действует не менее непреложно, чем закон физический. «Если человек ворует или лжет, это с такою же неизбежностью приведет к дурным последствиям, как если он сунет руку в огонь или выпрыгнет из чердачного окна». Отсюда понятно, что нравственное образование должно с такой научной определенностью выявлять последствия добра и зла, чтобы добродетель становилась разумной необходимостью. Жутковатый внутренний смысл подобного взгляда на вещи Гексли приемлет с характерным для него мужеством — кое-кто назовет его характерным самодовольством. Если даже какому-то бедняку грозит голодная смерть, пусть он утешается тем, что причины этого ему известны.

«Разве не благом будет помочь такому человеку усмирить в себе естественные позывы к недовольству, обнаружив перед ним смолоду необходимую связь меж нравственным законом, воспрещающим воровство, и прочностью общества, доказав ему раз и навсегда, что ради его близких, ради него самого, ради будущих поколений ему лучше умереть голодной смертью, чем украсть?»

С некоторой поспешностью Гексли оставляет эту малоприятную альтернативу и обращается к более радужным сторонам будущего. Рабочему классу нужна не религия, то, есть средство удерживать его в смирении, но наука, средство сделать

более производительным его труд. А средней буржуазии нужна не латинская грамматика, которой можно щегольнуть в светском обществе, а экономика, которая даст ей возможность сохранить главенство в промышленности и торговле — свое великое недавнее завоевание.

Противопоставление полезного и общепринятого у Гексли показательно. Потребности современного мира были ему куда понятней, чем достоинства традиционного образования. Его попытка найти нечто среднее между ними достаточно поверхностна. Толкуя о проблемах образования, он охотно прибегает к таким понятиям, как широта взглядов, человечность, счастье, красота, отдохновение; а весь строй его речи, все его обороты так и выпячивают совсем иное: детерминизм, механизм, силу, успех и истребление. Придавая слишком большое значение борьбе, которую должен вести цивилизованный человек с природой или себе подобными, Гексли требует для наук большей роли, чем им полагалось бы по-настоящему. Прежде всего — образование ради спасения живота своего, и уже потом — образование ради спасения души.

В 1869 году на обеде ливерпульского Филоматического общества Гексли произнес речь «О научном образовании», которую, затем издал по черновым записям. Скрипучий голос мещанства слышится тут еще явственней, а впрочем, хоть и не без иронии, здесь отдается должное и духовным ценностям. Англичане, как правило, исповедуют религию преуспеяния. Вот и прекрасно! Таинствам этой религии так или иначе суждена научная будущность:

«По мере того как все выше поднимается в своем развитии производство, совершенствуются и усложняются его процессы, обостряется конкуренция, — в общую схватку одна за другою вовлекаются науки, чтобы внести свою лепту, и кто сможет наилучшим образом ими воспользоваться, тот выйдет победителем в этой борьбе за существование, бушующей под внешней безмятежностью современного общества так же яростно, как меж дикими обитателями лесов».

Гексли считает, что научное образование должно служить двум целям: оно должно внушить человеку понятие о причинности и развернуть перед ним бескрайнюю картину вселенной. Необходимо, чтобы учащийся осознал и единообразие природы, и ее необъятность. Впрочем, в программу обучения не должны входить все науки. Гексли рекомендует вести ребенка от конкретного к абстрактному: начать он должен с физической географии, а затем основательно изучить какую-нибудь одну науку, которая занимается преимущественно классификацией,

например ботанику, и одну, которая преимущественно исследует причинно-следственные связи — допустим, физику. А главное, ему надлежит усвоить основы индуктивного метода, который ведет от фактов к обобщению и, таким образом, дает наилучшую подготовку к практической жизни. Здесь Гексли, пожалуй, впадает в обычную для утилитаристов ошибку, полагая, будто разумное содержание учения порождает и разум, который этим учением овладевает.

Законом об образовании, изданным в 1870 году, была установлена система дотаций, чтобы тем самым побудить местные школьные советы ввести у себя всеобщее бесплатное обучение. В нем оговаривалось также, что народные школы, построенные исключительно на средства государства, должны быть безразличны к вероисповеданию учащихся. Гексли сразу увидел, что если в школьных советах на время бросят препираться о богословии и займутся светским или хотя бы духовным — но без сектантского уклона — обучением, можно будет нанести небывалый еще удар по невежеству. Сам он был и болен, и непомерно загружен, и, несмотря на это, все-таки подчинился логике происходящего. С тяжелым сердцем и чистой совестью он согласился выдвинуть свою кандидатуру в Лондонский школьный совет. Выступил на нескольких больших собраниях, написал для «Современного обозрения» статью, которую редактор Ноулс распространил как предвыборную программу, — и прошел вторым по количеству голосов.

Предвыборная статья его произвела огромное впечатление. «Школьные советы — их возможности и перспективы» — это политический памфлет, написанный с государственных позиций, разумно компромиссный и еще более разумно взывающий к здравому смыслу избирателей. Гексли заявляет, что напрасно религиозное образование служит причиной раздоров. Людей восстанавливает друг против друга и ожесточает не сама религия, а теология — наука, или, может быть, лженаука, трактующая «природу Божества и его отношения с миром». Религия же в существе своем есть благоговение, почитание, а эти чувства — неотъемлемая часть нравственности. В Англии религию лучше всего преподают в начальной школе: невзирая на вероисповедание школьников, читают им библию, которая «стала для Великобритании национальным эпосом» и, несмотря на все свои недостатки, остается «бесценным наследием нравственной красоты и величия».

Он предлагает широкую программу начального обучения, в которую, помимо чтения, письма и арифметики, должны входить рисование, музыка и основы физики. Кроме того, он отводит

важное место домоводству. Бедность следует преодолевать в первую очередь усилиями самих бедняков: благополучие начинается дома — с расчетливого усердия мужа и жены. Какой другой довод мог бы так много значить для сердца и кошелька положительного обывателя-викторианца?..

Не без тайного содрогания ожидали пришествия профессора Вельзевула ревностные христиане и достойные пастыри из школьного совета. Все знали, как он, можно сказать, на глазах у паствы сожрал живьем достопочтенного епископа Оксфордского, так что возле кафедры остались лежать лишь широкополая шляпа да пара гамаш. Однако в Лондонском школьном совете Гексли обнажал свои клыки лишь для любезных улыбок. Он устроил так, чтобы набожные члены совета могли до заседаний пользоваться залом для своей молитвы, и, отказываясь примкнуть к крайним сторонникам светского обучения, решительно высказывался в защиту преподавания закона божьего в начальных школах.

Впрочем, такт и дипломатичность Гексли никак не распространялись на католиков, а их в Совете было трое. По опыту столкновений с такими людьми, как Уорд из «Метафизического общества», он знал, что при всем своем невежестве католическая церковь очень опасна. С непревзойденным искусством она прибегает к помощи рассудка для того, чтобы воспрепятствовать естественному предназначению рассудка — бескорыстным поискам истины. Церковь — «главный противник», она полезна лишь постольку, поскольку своими неуемными нападками держит в постоянной готовности науку и свободомыслие. Ходить к католикам обедать можно; прийти с ними к соглашению — никогда. За столом заседаний точно так же, как в дискуссионном зале, надо быть готовым в любую минуту отбросить всякую учтивость, дабы расстроить чьи-то козни или воспользоваться тактическим преимуществом. Когда кто-то предложил, чтобы деньги за обучение детей бедняков совет платил непосредственно школам, в которые принимают с учетом вероисповедания, Гексли категорически возражал, ибо в этом случае общественные средства угодили бы в руки католической церкви.

В деятельности на поприще народного образования за Гексли водился лишь один грех: как всегда, он пытался успеть, слишком много за слишком короткое время. А вообще, просто чудо, сколького он добился. За год и два месяца, что он пробыл членом Совета, он разработал Учебную программу, которая с честью вынесла испытание временем и до сих пор составляет основу учебного процесса в школах Лондона. То, чему обучались

школьники — история Англии, английская грамматика и словесность, география, рисование, начала физики, — было предложено Гексли в его «Гуманитарном образовании» и других работах. Разумеется, он не был ни всемогущ, ни вездесущ и потому не мог предотвратить некоторых изъянов. Словно в насмешку, больше всего страдала наука. В начальных школах предложенную им физическую географию подменили просто географией, а в средних физику и ботанику вытеснила химия, причем преподавание и опыты были поставлены из рук вон плохо. Прежде зубрили латинские склонения, теперь стали зубрить химические формулы. Ни романтических поисков знаний под открытым небом, ни радостного волнения вновь открываемой истины в лаборатории.

Гексли знал, что мир не перевернешь вверх дном, сидя за столом Совета, и победу не одержишь только пером да чернилами. Как ни подчеркивал он необходимость хорошей учебной программы, он понимал, что конечная цель — это все-таки хорошая учебная программа, которую хорошо преподают. Обучение наукам кончится неудачей, если не будет толковых учителей. Поэтому летом 1871 года он прочел школьным учителям курс общей биологии, рассчитанный на шесть недель. Для этой цели в его распоряжение была предоставлена часть Южно-Кенсингтонского музея естественной истории — мрачной, похожей на замок громадины не то в норманнском, не то в викторианском стиле, и Гексли получил возможность осуществить то, чего не мог у себя в тесноте Джермин-стрит: впервые в истории биологии он ввел наряду с чтением лекций лабораторные работы. Непосредственное знакомство с природой оказалось для иных его слушателей чуть ли не откровением. Одному священнику, который из года в год преподавал естествознание по учебнику, показали под микроскопом каплю его собственной крови.

— Скажите пожалуйста — совсем как на картинке из «Физиологии» Гексли! — вскричал он.

Несмотря на все усилия Гексли, преподавание естественных наук в школах подвигалось вперед черепашьим шагом. В 1872 году, когда в Южный Кенсингтон перевели биологическое отделение Горного училища, Гексли сделал лабораторный практикум непременной частью всех курсов, какие он вел.

На политическом поприще перед талантами Гексли не могло устоять ничто. В школьном совете ему удалось совершить чудо куда более сверхъестественное, чем все божественные чудеса, которые он разоблачал: он доказал, что способен не только стирать духовенство в порошок, но и увлекать его за собою.

Надолго сохранились у членов Совета живые и отрадные воспоминания о нем, и не один из них — как священников, так и непричастных к церкви — посвятил ему пылкие строки. «Как ни превосходил он меня силой и остротою ума… — благодарно писал преподобный Вениамин Во[230], — он никогда не относился ко мне свысока». Напротив, мистера Во главным образом поражала в Гексли как раз его «ребячливость»: «Никогда в его словах не бывало никаких подвохов. У вас не было ощущения, что он пытается навязать вам свои взгляды. Он просто передавал другим то, в чем был убежден сам».

Что-то не верится, чтобы Гексли и вправду был так простодушен, как это представлялось Во. Однако он действительно не производил впечатления закаленного в схватках вояки. Так, доктор Дж. Г. Гладстон, отдав долг восхищения его энергии и практической сметке, его умению сочетать твердую убежденность с готовностью вникнуть в образ мыслей другого, не без удивления вспоминает, что с точки зрения политика единственным слабым местом Гексли была известная ранимость, он не принадлежал к тем «толстокожим», которые могут спокойно сидеть и слушать, как их честят. Его выдающиеся способности к политике в один голос подтверждают заслуживающие доверия очевидцы. «Я не сомневаюсь, — писал в 1898 году Леонарду Гексли сэр Маунстюарт Грант Дафф[231], — что, если бы Ваш батюшка вошел в палату общин и целиком посвятил свою жизнь политике, он немногим уступал бы Гладстону как полемист и Брайту[232] — как оратор».

Гексли столько раз имел возможность быть избранным в парламент и так упорно пренебрегал ею, что кое-кто думал, будто никакой возможности стать членом парламента у него нет, а он изо всех сил ее добивается. Между тем сам он всегда считал себя не кем иным, как деятелем культуры. Более того, он не желал власти ради власти, предпочитая приносить пользу, а не просто быть на виду и иметь громкое звание. В 1871 году, например, когда в Королевском обществе освободилось место секретаря, мало кто помышлял, что Гексли согласится его занять. Должность была беспокойная и хлопотная, а он уже и так был перегружен и нездоров. К тому же ему определенно предстояло стать в недалеком будущем президентом. И тем не менее, сознавая, что в качестве секретаря он принесет больше пользы, он дал понять, что не возражает. И проработал секретарем десять лет.

Весь 1871 год Гексли продолжал, как нечто само собою разумеющееся, воевать на всевозможных словесных фронтах, защищая Дарвина от биологов, биологов от духовенства и

государственное образование от тех, кто по-настоящему не верил ни в государство, ни в образование. Значительная часть работы была проделана в Сент-Эндрюсе после того, как он со множеством трудностей и отсрочек перевез туда все свое семейство (только что дружно разделавшееся с коклюшем) и получил, таким образом, возможность совмещать летний отдых с наездами в Эдинбург, где происходила сессия Британской ассоциации. Отдыхал он своеобразно: играл в гольф до ломоты в суставах, рылся, к изумлению библиотекаря, в латинских трудах теологов-иезуитов, дабы опровергать признающих эволюцию католиков, и посвящал каждую оставшуюся минуту сочинению новых статей. Наиболее значительная из них под названием «Административный нигилизм» была направлена против строгих приверженцев либерализма.

Эти господа утверждали, что правительство не должно заниматься образованием, потому что ему вообще ничем не положено заниматься, а бедным ни к чему получать образование, а не то они будут выражать недовольство своею бедностью. Но ведь средний класс возвысился собственными усилиями. Отчего же он теперь предпочитает систему, которая не дает хода талантам? Страна должна относиться к самородкам бережно, всячески их развивать и облегчать им путь вперед.

«Нищета — это спичка, которая никогда не гаснет; талант как взрывчатое вещество даст сто очков вперед пороху… Что придает силу социалистическому движению, всколыхнувшему сейчас до самых глубин европейское общество, как не упорная решимость одаренных от природы людей из пролетариата положить конец… нищете и обездоленности, в которую ныне ввергнута большая часть их собратьев?»

Короче говоря, Гексли был за равенство возможностей, хотя ни в коем случае не за равенство в распределений имущества.

Сочинение Милля «О свободе» предлагает современному миру, по мнению Гексли, слишком уж негативную точку зрения. Если личность свободна делать лишь то, что не приносит вреда другим, невелика ее свобода. Невозможно мыслить или действовать, не оказывая при этом никакого влияния на мысли и действия других. Ошибочное мнение или неблагоразумный поступок сами по себе всегда зло, а не добро. Человек, который не следит за исправностью своей канализации, представляет собою не меньшую угрозу жизни и свободе своих соседей, чем тот, кто тычет им в нос револьвер. Иными словами, известное вмешательство правительства ради порядка неизбежно. В каких пределах оно разумно и целесообразно, можно определить лишь на основе опыта и здравого смысла. Даже Гоббс не ограничивает

миссию правительства лишь обеспечением безопасности, а Локк прямо заявляет, что «цель правительства есть всеобщее благо».

Так в чем же именно состоит всеобщее благо? По определению Гексли, в том, чтобы «каждый человек достиг всей полноты счастья, каким он может наслаждаться, не посягнув при этом на счастье других людей». В понятие же такого счастья Гексли склонен включить все, что нам дает личная неприкосновенность, материальное благополучие, искусство, наука, участие и дружба. Два последних блага могла бы, на взгляд Гексли, обеспечить государственная церковь, которая «должна посвящать свои службы не повторению абстрактных богословских догм, а тому, чтобы утвердить в сознании человека образец праведной, справедливой и чистой жизни».

Возвратясь домой после относительно безмятежного существования в Сент-Эндрюсе, Гексли с удвоенным жаром ринулся в водоворот своих будничных дел. Срок его пребывания на посту президента Британской ассоциации истек, но свободного времени все равно не прибавилось: сверх несметных своих повседневных нагрузок он, разумеется, еще вел лекционные курсы для школьных учителей, еще нес свои обязанности в Королевском обществе и школьном совете. Он входил в две королевские комиссии, одну — по инфекционным заболеваниям, другую — по содействию науке; он нескончаемой чередой выпускал учебники как для начальных, так и для старших курсов: «Анатомию позвоночных животных» в 1871 году, «Основы биологии» — в 1875-м, «Анатомию беспозвоночных» — в 1877-м, «Физиографию» — в 1877-м и несколько других. Жизнь его превратилась в запутанный клубок официальных должностей, в мелодраму несбыточных сроков, и тем не менее, даже позволяя себе иной раз бросить дела и позавтракать у Тиндаля или погостить денек-другой у Дарвина, он победоносно выполнял все, к зависти и невольному восхищению прочих занятых и энергичных людей.

В декабре 1872 года Гексли переехал из дома № 26 на Абби-Плейс в дом № 4 на Марлборо-Террас, переделав маленькое строение так, что в нем стало удобнее и просторней. Он приобрел эту недвижимость вопреки советам своего поверенного, которому явно внушал опасения владелец соседнего дома. «Есть что-то дьявольски приятное в том, чтобы очертя голову затеять рискованное дело наперекор своему поверенному в делах», — писал Гексли адвокату. И подписался: «Ваш своевольный…» А совершать невозможное становилось день ото дня все легче. В декабре он говорил жене, что никогда еще мысль его не работала так ясно и безотказно. Однако не прошло и недели, как наступил

срыв, когда он не мог ни работать, ни думать.

Его настиг лютый враг викторианцев — диспепсия. Он съездил отдохнуть, но без особой пользы. «Вернулся, кряхтя и скрипя, как немазаное колесо», — жаловался он Гукеру. На другое лето он вновь тяжело заболел. «Я начинаю подозревать, что в минувшем году перетрудился, — с поразительной наивностью писал он своему другу Дорну. — Врачи затевают со мной серьезные разговоры и предрекают мне невесть что, если я, наконец, не отдохну как следует, впервые за столько времени». В конце концов он сдался и скрепя сердце отправился в Египет. На Мальте и в Гибралтаре он задержался, чтобы по поручению морского министерства установить, откуда в галетах все время берутся неведомые червячки. Виновник сего обстоятельства был, по-видимому, не только таинствен, но и не слишком приятен на вкус, и среди матросов назревало серьезное недовольство. Гексли наскоро познакомился с обстановкой и обнаружил, что рядом с тем местом, где пакуют галеты, хранится большое количество неочищенных бобов какао. Яички насекомых переносило ветром на морской склад. Гексли распорядился, чтобы галеты паковали в другом месте, и злодей был обезврежен.

В Египте, колыбели истории, он произвел кое-какие наблюдения: верхняя часть пирамиды Хефрена[233] оказалась сложена не из гранита, а из известняка, а необожженный кирпич в Мемфисе имел точно такую же слоистость, как нильский ил. На одной из самых удачных его зарисовок стервятник сидит и ждет в нетерпении, когда шакал закончит свое пиршество над трупом. Его сын утверждает, что Египет произвел на него «глубокое впечатление». И возможно, научил его маломальскому благоразумию; во всяком случае, именно там Гексли решил выйти из школьного совета и никогда больше не взваливать на себя столько работы. Так-то оно так, но в его письмах из Италии что-то подозрительно часто встречаются упоминания о вулканах, пепле и потоках лавы.

6 апреля Гексли сошел на землю Англии. Он загорел, оброс бородой, но по-настоящему не выздоровел. Очень скоро спешка и суета английской жизни снова вызвали у него расстройство пищеварения и подавленность. Его врач, сэр Эндрю Кларк, посадил его на строгую диету, и он ненадолго уехал в Девонширскую глушь. Однако новые почести и обязанности настигли его и тут. После ожесточенной борьбы он был избран лорд-ректором Абердинского университета и примерно в это же время, сам не заметив как, втянулся в защиту Гукера от новых происков сэра Ричарда Оуэна.

Жил он теперь в своем новом доме на Марлборо-Террас —

кстати, выяснилось, что поверенный остерегал его не зря. Сосед, эта сомнительная личность, утверждал, будто от водостока в доме Гексли у него отсырел фундамент. Он даже пустился на шантаж, а потом подал в суд. Иск отклонили, да еще обязали его уплатить судебные издержки, но лишние волнения и заботы опять серьезно сказались на здоровье Гексли. Сэр Эндрю Кларк велел ему ехать за границу, но оказалось, что ехать ему не на что. Больше того: он уже взял в долг у Тиндаля, чтобы расплатиться за кое-какие перестройки. Положение было самое унизительное. Два года тому назад он успешно исцелял от недугов науку Англии. Теперь же у него не было средств, чтобы восстановить собственное здоровье. И тогда он получил письмо.

«Дорогой Гексли!

Несколько Ваших друзей (числом восемнадцать) просили меня поставить Вас в известность о том, что они положили через Робартса, Леббока и К° на Ваше имя в банк сумму в 2100 фунтов. Мы сделали это, чтобы дать Вам возможность отдохнуть, сколько потребуется для поправления Вашего здоровья, и убеждены, что этот поступок отвечает не только самым искренним нашим желаниям, но и общественным интересам. Уверяю Вас, что все мы Ваши добрые и близкие друзья, среди нас нет ни одного постороннего или хотя бы просто знакомого. Если б Вы слышали, что тут говорилось, или могли прочесть наши сокровенные мысли, Вы знали бы, что мы все питаем к Вам чувства, какие питали бы к любимому и почитаемому брату. Я не сомневаюсь, что Вы ответите нам тем же и с легкой душой позволите оказать Вам эту небольшую помощь, потому что для нас это до конца наших дней было бы счастьем. Мне остается лишь прибавить, что этот замысел возник почти в одно и то же время сразу у нескольких из Ваших друзей, и притом совершенно независимо.

Любящий Вас, милый Гексли, Ваш друг

Чарлз Дарвин».

Это предложение явилось результатом тайного и ловкого сговора — что ж, так и надлежит обставлять свои благодеяния настоящим друзьям. Первой напала на эту мысль леди Ляйелл. Она шепнула словечко Эмме Дарвин, а та сказала Чарлзу. Чарлз с жаром ухватился за это предложение и осуществил его. «Сегодня он послал митеру Гексли то страшное письмо, — делилась Эмма с Фанни Аллен, — завтра, надеюсь, придет ответ. То-то будет гроза!» Но никакой грозы не последовало. Глубоко тронутый и слегка присмиревший, Гексли принял дар.

Летом 1873 года с Гукером в роли добровольной няньки и

ворохом медицинских наставлений вместо путеводителя он поехал во Францию. Несмотря на принужденную веселость и постоянную готовность взять на себя большую часть путевых забот, нетрудно было заметить, что он, по заключению Гукера, страдает «жестокой душевной депрессией», которая продолжалась до тех пор, покуда ему в парижской книжной лавке не подвернулась «История чудес в Лурде», «возбуждавших тогда во Франции религиозный пыл верующих и интерес ученых». Отрадная перспектива сразиться и сокрушить подняла его дух и укротила непокорное пищеварение. С упоением переворошив груды трактатов, он быстро свел все видения и исцеления к естественным причинам. Гукер не преминул отметить, как благотворно подействовал на его друга сей акт неверия, и в горячем стремлении закрепить достигнутое вкладывал в их вылазки всю пылкую мальчишескую увлеченность, на какую был способен. Успех превзошел всякие ожидания. Друзья предприняли геологическую одиссею по Оверни, поднимались на потухшие вулканы, обследовали долины в поисках свидетельств оледенения, курили сигары, обнаружили скелет доисторического человека в каком-то музее, беспечально перенесли желудочное расстройство в Гренобле, а под конец просто-напросто предавались лени и праздному любопытству.

Тогда же Гексли написал своей жене удивительное письмо:

«Я подолгу рассуждал наедине с собою о будущей моей деятельности… Роль, которую мне назначено играть, не в том, чтобы основать новое идейное течение или примирить противоречия старых. Мы живем в разгар небывалого движения, оно превосходит по своему размаху движение, которое предшествовало Реформации и породило ее и, по существу, представляет собой лишь его продолжение. Однако в идеях, лежащих в основе этого движения, ничего нового нет, и ни о каком примирении между свободной мыслью и общепринятыми учениями речи быть не может. Какая-то сторона вынуждена будет уступить после борьбы, которая продлится неведомо сколько и будет сопровождаться огромными политическими и социальными потрясениями. Победу в конечном счете одержит свободная мысль, это для меня несомненно, как то, что я сижу сейчас и пишу тебе письмо. Несомненно и то, что эта свободная мысль организует себя в стройную систему, объемлющую жизнь человека и внешний мир как единое и гармоничное целое. Правда, такая организация потребует усилий не одного поколения, и двигать ее вперед будут, конечно, в первую очередь те, кто учит людей не доверяться лжи, не обманывать себя пустыми словами. Вот в этом смысле, пожалуй, я смогу немножко

помочь — а может, быть, уже и помог немного».

Редко случалось ему после этого высказывать столько веры в будущее.

Из Оверни путешественники направились в Шварцвальд и там расстались. Гукер вернулся к своим обязанностям в Кью, а Гексли поехал дальше со своей женой и сыном Леонардом, которому минул тогда двенадцатый год. У отца теперь был досуг, была возможность взглянуть на сына свежими глазами и убедиться, что мальчик весьма неглуп и подает большие надежды. «На днях стал было рассказывать ему что-то насчет ледников, — писал Гексли из Швейцарии Тиндалю, — но он меня тут же заставил умолкнуть:

„Ну да, я это все знаю. Про это у доктора Тиндаля есть в книге“».

Тут любящий родитель не в силах сдержаться: «Прелесть что за мальчишка!» — а дальше половина письма — сплошные извинения за свою гордыню.

Возвратившись домой наконец-то в добром здравии, Гексли возобновил свою разностороннюю деятельность — и прежде всего в области образования. Теперь он сделался в полном смысле слова просветителем-совместителем: он был лорд-ректор Абердинского университета, заведующий Оуэновским колледжем и ко всему этому — профессор Горного училища.

В начале 1874 года он произнес свою запоздалую речь в связи с избранием его лорд-ректором Абердина — «Университеты существующие и университеты идеальные», — которая начинается с истории научной мысли в Европе и кончается здравой оценкой значения лекций и экзаменов. В ней, по сути дела, предлагается, чтобы учебная программа по медицине состояла из меньшего количества предметов, но эти немногие более основательно изучались. Ботанику и зоологию следует отделить от медицины и объединить в самостоятельный факультет; должным образом оснащенный для преподавания и научной работы: если Англия намерена когда-либо догнать в научном отношении Германию и Францию, ее исследователи должны иметь возможность проводить исследования. В этой речи, как и в своих статьях последнего времени, Гексли продолжает сводить личные счеты с римским папой. Схоластика, бывшая некогда вершиной в теоретическом объяснении реальности, ныне выступает самым стойким из предрассудков в сфере мысли. Она вобрала в свои учебные программы новую классику, но не новую науку, ибо наука есть глас разума и потому «заклятый враг» схоластики. Протестантство — просто шаг навстречу разуму и

рационализму.

Этот год ослепительного должностного блеска и высоких академических почестей был отмечен еще более яркими, хоть и несколько зловещими, сполохами, когда в Бристоле открылся съезд Британской ассоциации. В своем вступительном слове президент ассоциации Тиндаль напомнил о победах, которые от Демокрита до Дарвина наука одерживала над богословскими заблуждениями.

Он признал, что связь меж сознанием и движением молекул пока еще не найдена. И все же он провозгласил материю в правильном ее понимании той магической субстанцией, которая даст нам постигнуть все тайны и разрешить все противоречия. Он назвал материю истинным символом и принципом прогресса, объединяющим невидимые атомы с невидимым же разумом, а то и другое — с бесконечными возможностями, которые лежат за ними. Но ведь наука, утверждал он, не может объять всего на свете. Наука призвана уцравлять познавательными способностями, «творческими» же стремится управлять религия — впрочем, эти последние, что бы под ними ни подразумевалось, быстро растворяются в «бездонной лазури» Тиндалевой риторики.

Эти общеизвестные ныне взгляды были изложены с такой силой и выразительностью, что у церковной братии, точь-в-точь как в 1859 году, по спине пробежали мурашки. Зал заседаний клокотал, газеты как ирландские, так и английские, бурно негодовали. Гексли стал советоваться, стоит ли ему выступать со своим докладом «Гипотеза о том, что животные есть автоматы, и ее история», назначенным на третье вечернее заседание. Он был очень не прочь предаться иной раз такого рода колебаниям, а еще более не прочь от них отрешиться.

«Надо брать быка за рога», — сказал он своему молодому другу и ассистенту Ланкестеру.

Конечно же, собралась тьма-тьмущая народу. Гексли окинул собравшихся быстрым оценивающим взглядом, перевернул вниз текстом свои тщательно подготовленные записи и полтора часа вдохновенно импровизировал о чрезвычайно сложных материях.

«Автоматизм у животных» подробно развивает самый больной из вопросов, затронутых Тиндалем, — развивает с твердокаменным оптимизмом зубного врача, который уверяет свою жертву, что сверлить будет совсем не больно. Декарт, говорит Гексли, считал, что животные, по существу, машины, лишенные сознания. С открытием в XIX веке рефлекторной деятельности ученые возродили идею автоматов, распространив ее и на человека. Опираясь на внушительные данные. немецкого исследователя Гольца[234], полученные в опытах с обезглавленной

лягушкой, Гексли излагает и идею автоматов в самой крайней её форме, сводя сознание к чистому отражению, к отголоску молекулярного движения: психические процессы, которые совершаются в сознании, вызваны физическими процессами, которые совершаются в нервной системе. Он, таким образом, как бы не только утверждает, что мысль не может влиять на действие, но что мысль вообще невозможна, ибо, признавая лишь физические причины, он исключает причинность из области явлений психических.

Иные критики считают, что все его достижения на ниве просвещения тем самым сводятся к парадоксу, но это вовсе не обязательно. Он все-таки и теперь оставил за собой возможность утверждать, причем не без своеобразной логики, что книги, лекции, демонстрации опытов и иного рода физические раздражители воспринимаются нервной системой, искусно в ней сочетаются, откладываются, так что впоследствии могут выливаться в целесообразные поступки. Главная направленность взглядов Гексли в том, чтобы возвеличить прикладную и умалить гуманитарную и эстетическую ценность образования. Ежели вкус к поэзии есть всего-навсего отражение молекулярных движений, для чего так носиться с поэзией? Едва ли нужно говорить, что Гексли не собирался посягать на духовную жизнь и все ее радости. Он только хотел избавить психологию и нравственность от скверны пагубного влияния невидимого. Ведь чтобы выделить причины, их нужно взвесить, описать, — нужно, одним словом, найти им материальное выражение.

И Гексли отбросил сознание, дабы во всей четкой и резкой нетронутости сохранить мозг, как того требовали его убеждения и его тяга к ясности. Редко бывает, чтобы при столь односторонней операции не пострадал здравый смысл. В убедительно написанной главе своих «Основ психологии» Уильям Джемс[235] среди прочих возражений против «теории автоматов» отмечает, что вряд ли удовольствие и боль воспринимались бы так остро, не будь они связаны с чем-то реальным, что действительно приносит человеку пользу или вред. Если бы ощущение ожога не побуждало ребенка отдернуть палец от огня, чего ради стал бы он подвергаться понапрасну такой боли? Показательно, что в «Происхождении человека», изданном года за три до статьи Гексли, Дарвин склоняется к точке зрения Джемса. Признавая, что многие действия производятся и в самом деле совершенно автоматически, он ни единым словом не упоминает о нервах и рефлексах, зато очень много говорит о приятных и болезненных ощущениях, а также о действенности воли и сознательного

выбора. Весь ход его рассуждений ведет к тому, что сознание — это ярко выраженное свойство, присущее не только человеку, но хотя бы в какой-то степени и животным. Дарвин подходил к вопросу столь же осмотрительно и здраво, сколь Гексли, — дерзко и безапелляционно.

Как и следовало ожидать, пррцаганда научного образования привела Гексли к столкновению с Мэтью Арнольдом[236]. В 1869 году Арнольд напечатал свою «Культуру и анархию» и решил проблему образования очень просто, решив вообще все проблемы Англии. Свершить меньшее пророку, да еще викторианскому, не пристало, а между тем к плеяде викторианских пророков по внешнему виду было трудней всего причислить Арнольда. Этот провидец ходил с зонтиком, этот Сократ тщательно расчесывал волосы на прямой пробор. Он позволял себе осквернять прорицания элегантностью и даже юмором. Викторианцы не знали, что и думать. Они любили, чтобы им предсказывали судьбу как подобает: в гневном исступлении. По их понятиям, тому, кто уподобился Иеремии, уместно выходить из себя.

Одну службу Арнольдова светскость, по крайней мере, сослужила, ибо она позволила ему в разгар полемики завязать прочную дружбу с Гексли. Они представляли собою счастливое сочетание: противники, которые так до конца и не отдавали себе отчета, глубоки ли меж ними расхождения. А надо сказать, что, несмотря на большую сердечность и еще большее единодушие, они кое в чем расходились, и расходились существенно. Один был прежде всего ученый, утилитарист, другой — поэт, гуманист. Однако поэт обладал задатками незаурядного ученого, ученый в чем-то напоминал поэта, и оба были изрядные моралисты. Один был слишком непререкаем в своей науке, другой — в своих поэтических и эстетических чувствованиях. Одному недоставало человечности и понимания прекрасного, другому — определенности и умения отвлеченно мыслить. Оба были по природе стойки и к религии в глубине души относились неприязненно. Оба ненавидели тупое и косное самодовольство среднего буржуа и ясно сознавали, как велика потребность нации в повышении уровня знаний, расширении учебных программ, усилении контроля государства над школами. В сущности, классицизм Арнольда был во многих отношениях сродни науке Гексли. «Первостепенное и прямое назначение» гуманитарного образования, писал Мэтью Арнольд, «в том, чтобы дать человеку возможность *познать самого себя и познать мир*». Это почти в точности то же самое, что сказано у Гексли в его «Гуманитарном образовании», только Арнольд, говоря о применении полученных знаний, подчеркивает духовную сторону, самопознание, а Гексли

— действенную, познание мира и природы. Обе точки зрения предполагали, помимо всего другого, полную, хоть и разную, перестройку учебных программ.

Знакомы они были, по крайней мере, с 1868 года, когда Гексли, как президент Геологического общества, пригласил Арнольда на ежегодный банкет. По-видимому, они отлично ладили. Каждый втайне преклонялся перед талантами другого, а вслух подтрунивал над его слабостями и дипломатическими уловками. Как в «Прошлом и настоящем» есть свой герой — аббат Самсон, так в «Культуре и анархии» есть свой оракул — епископ Уилсон. Гексли утверждал, что никогда про сию непогрешимую духовную особу ничего не слыхал и что Арнольд его просто выдумал; тем не менее в один прекрасный день к Арнольду пришло письмо нижеследующего содержания.

«Дорогой Арнольд!

Взгляните-ка, что говорится у епископа Уилсона насчет такого смертного греха, как алчность, а затем обследуйте Вашу подставку для зонтов. Вы обнаружите там прекрасный зонтик, коричневый, с гладкой ручкой, а ведь он принадлежит *не Вам.*

Подумайте, что посоветовал бы Вам на этот счет достойный прелат, и, когда в следующий раз поедете в клуб, захватите зонтик с собой. Швейцар за ним присмотрит, пока я не заберу.

Неизменно Ваш Т. Г. Гексли».

В «Святом Павле и протестантстве» Арнольда, изданном в 1870 году, Гексли нашел идеи, совершенно созвучные его собственным, а также выпады против пуританства. Он написал Арнольду, что немало почерпнул из его сочинения: «Одно из самых лучших мест — в конце, где Вы говорите о том, что наука постепенно подорвет материальные предпосылки общепринятой религии». Впоследствии он сам воспользовался этой мыслью как оружием в борьбе с ортодоксальным христианством. Остальная часть письма посвящена узколобости пуритан. «Я рад, что Вам понравилась моя статья о Декарте, — заключает Гексли. — Моя роль в отношении моих собратьев по науке отчасти похожа на Вашу в отношении пуритан, а святой Павел для нас — природа».

Дружба с этим человеком, как и со многими другими, лишнее свидетельство того, как велики были обаяние и притягательная сила личности Гексли. Несомненно, Арнольд тоже пытался покорить его своими чарами, но, как видно, ощутил властное превосходство знаний и влияния своего друга. Он с готовностью соглашается и благодарен, когда соглашаются с ним. «Мне было удивительно приятно, когда оказалось, что Вы вполне признаете

всю пленительность и благость И. Х. <Иисуса Христа>, — писал он. — Пороки христианства вызваны громадной его популярностью, тем, что к нему оказываются причастны достойные и недостойные, хорошие и дурные». Он отмечает также, что, «говоря о необходимости познать лучшее, что успели узнать и сказать в этом мире, я имел в виду не только успехи словесности, но и достижения науки». Естественно, он обращается к Гексли за советами и фактическими сведениями. Как ему выручить побольше денег за свои книги? Все ли правильно с точки зрения биологии в том отрывке, где говорится о доводах Батлера в пользу будущего государства? Последнее письмо Арнольда кончается словами: «Всегда Ваш, невзирая на старость, бедность, упадок духа и одиночество».

Конец этой дружбы ознаменовался вежливым, но серьезным разногласием. 1 октября 1881 года на открытии Научного колледжа, основанного сэром Джозайей Мейсоном в Бирмингеме, Гексли произнес речь «О науке и культуре». Мейсон был человек практический и деловой. Никаких распоряжений о «чисто литературном обучении и образовании» он не сделал. Гексли усмотрел в этом обстоятельстве случай подвести итог всей своей кампании за научное образование; одним кратким, но исчерпывающим выступлением он решил поразить двух своих первейших врагов: с одной стороны, деловых людей, которые признают наилучшим оснащением для участия в современном производстве доморощенную премудрость практического опыта, и с другой — «верховных жрецов культуры», которые признают наилучшей подготовкой к участию в современной жизни знакомство с древнегреческими и латинскими классиками. Колледж, храм науки, основанный деловым человеком, — разве это само по себе не лучшее возражение деловым людям? Тем более что изучать прикладную науку в отрыве от чистой науки невозможно. Чтобы применять научную мысль к практическим делам, надо сначала уметь научно мыслить.

Впрочем, сражение против доморощенной премудрости наука фактически уже выиграла. Гексли обратил эту победу в грозное предупреждение поборникам классического образования, дерзко одобрив решение Мейсона исключить из учебной программы литературу. Пусть чисто научное образование не столь широко, как то, которое включает в себя литературу. Оно, во всяком случае, столь же широко, как то, которое ничего в себя не включает, кроме литературы, и несравненно шире, чем образование, которое ничего в себя не включает, кроме древней литературы на мертвых языках. Самая лучшая подготовка к участию в жизни — изучение природы на научной основе; самая

лучшая подготовка к выполнению гражданских обязанностей — изучение общества на научной основе.

По тону «Наука и культура» — сочинение умеренное, по направленности — самое крайнее. Смысл его сводится к тому, что человеку полезнее знать свою среду, чем самого себя; что обобщенный, бесстрастный язык науки поведает ему об этике и человеческой природе гораздо лучше, нежели конкретный, взволнованный язык литературы; что наука уже сейчас дает больше гуманитарных знаний, чем сами гуманитарные дисциплины; что для западного общества классическая литература ни особой ясностью мысли, ни стратегически решающим положением не отличается.

Ответ Арнольда был достаточно красноречив. Выступив перед американской аудиторией в 1883 году на тему «Литература и наука», он отметил, что ученые имеют склонность не принимать в расчет человеческую природу. Они не соотносят знания с нашим чувством меры, чувством прекрасного. Они, по правде сказать, едва ли даже ощущают в этом надобность. Дарвину было довольно своей биологии и своих семейных привязанностей, а Фарадей пробавлялся сектантским благочестием. И все же не формулами едиными жив человек. Арнольд пошел дальше: он утверждал, будто волосатое четвероногое, которое, по теории Дарвина, со временем превратилось в человека, помимо «хвоста и ушей торчком», было еще наделено изначальной, непреходящей потребностью в греческом языке. В наши дни даже самые ревностные поборники классического образования едва ли отважатся так твердо на этом настаивать. Возможно, мудрость была на стороне Арнольда — будущее было за Гекслі[237].

Гексли прекрасно отдавал себе отчет в том, что, если Англия собирается тягаться с такими странами, как Германия и Соединенные Штаты, ей нужна не только армия отлично подготовленных ученых, но и несметное войско технических специалистов. В 1877 году выступлением в «Институте и клубе для рабочих» он начал кампанию за техническое образование[238].

Речь «О техническом образовании» являет собой еще одно откровение тонкого политика. В ней сказано мало, но это немногое сказано с большим искусством и хитрым расчетом. Целью Гексли было, естественно, убедить рабочих, что им необходима какая-то научная подготовка. Он начинает с того, что все они, в сущности, ученые, а все ученые, в том числе и он сам, в сущности, ремесленники и кустари. И потому вынуждены терпеть высокомерное презрение знатоков изящной словесности и кабинетных мыслителей — тут он без зазрения совести нещадно

ломает кости философии колесом практической пользы, чтобы такой ценой приобрести для науки малую толику демократических симпатий: «низменные потрошители обезьян и тараканов <вряд ли> могут надеяться войти в заоблачное царство чистой мысли». Он, как ни удивительно, умудряется к тому же завербовать английскую подозрительность по отношению к разуму на службу этому самому разуму. Большинству учащихся не следует позволять заниматься сверх меры, но есть среди них считанные единицы, для которых, сколько ни занимайся, все мало. Грубо говоря, на миллион человек приходится один гений, причем это может быть с равным успехом выходец и из рабочей среды, и из высших сословий. Такой человек для нации бесценен. Система образования должна быть построена по принципу политики духовного «laissez faire», дабы ничто не мешало гению проложить себе путь вперед. Само собой разумеется, что каждый паренек из рабочей семьи таскает в школьном ранце свой пробный камень.

Ну кто мог устоять перед такими речами? Движение за техническое образование неизбежно должно было разворачиваться вокруг Гексли. Он был вдохновителем и зачинщиком в правительственном ведомстве по науке и искусствам, которое уже проводило техническое обучение. Теперь он получил от богатой компании суконщиков предложение составить план дальнейших действий. Вскоре под его руководством был основан Институт Сити и Гильдий, который тратил двадцать пять тысяч фунтов в год, чтобы обеспечить людям надлежащее знакомство с основами наук, близких к тому или иному ремеслу. Как президент Королевского общества, Гексли с 1883 по 1885 год был членом Комитета гильдий и на этом посту снова оказывал мудрое и широкое влияние на созданный его руками институт.

Столь многочисленные и неисчерпаемые проявления политических способностей побудили еще одного человека — на сей раз члена парламента Джорджа Хауэлла — послать Гексли письмо с увещеваниями посвятить себя государственной деятельности. И опять Гексли ответил, что сможет добиться большего, оставаясь в стороне от политики, что его истинное стремление — содействовать науке и помогать людям помогать самим себе.

Последующие работы Гексли о вопросах образования почти целиком посвящены профессиональной и технической его стороне. Выступление «О связи биологических наук с медициной» (1881 год) представляет собой сжатый очерк истории медицинской мысли, в котором прослеживается, как над

анимизмом, слепым продуктом метода проб и ошибок, постепенно восторжествовал своеобразный механизм. В его «Государстве и медицинской профессии» (1884 год) предлагаются нововведения, ряженные в старое платье, иными словами, в рамках уже действующих учебных заведений, построенных на старой основе, предлагается осуществить кое-какие новые, радикальные практические меры. Здесь, же между строк читается нежелание Гексли вверить образование государству в то время, как его может осуществлять независимая частная организация. Последнее его высказывание по этому поводу — речь о техническом образовании, с которой он выступил в 1887 году, — касается тех суровых обстоятельств, под нажимом которых совершается переворот в обучении. Тем, что Англия производит на собственной земле, ей не прокормиться. Следовательно, ей остается либо производить как можно более эффективно и продавать дешево, либо погибнуть. У нее нет иной надежды, кроме превосходства в технических и научных знаниях, и по мере того, как возрастает численность ее населения, должен возрастать и уровень этих знаний. У врат рая классического дилетантизма и идиллической неискушенности грозным стражем стоят с огненным мечом Мальтус. Лишь тот народ, который вооружен наукой, сможет выжить в подчиненном науке будущем.

17
ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ

Осенью 1876 года Гексли представил миру последнее, решающее доказательство своих талантов и своего свободомыслия: он открыл Америку. Немногим из выдающихся европейцев, которые сделали то же самое, это открытие принесло так мало разочарований: Гексли был предельно вежлив, настроен сочувственно и, пожалуй, не слишком заинтересован. Для его внука, писателя Хаксли, знакомство с Америкой стало возможностью заглянуть в страшное будущее, для маститого деда оно стало лишь поводом к легкому изумлению и вылилось в подлинный триумф. Америка, со своей стороны, давно открыла Гексли. Неутомимый ратоборец правды и прогресса, живое воплощение рациональной энергии и нравственной силы, он был не просто великий европеец, а во сто крат лучше. Он был великий европеец с достоинствами американца, он был зеркалом, в котором американцы могли лицезреть себя в самом лестном освещении, и, надо сказать, пока он гостил у них, они были так поглощены собственным отражением, что почти не обращали внимания на свойства самого стекла. Он еще не доплыл до их берегов, а весь континент уже содрогался от грома приветственных рукоплесканий. Гексли был поражен и искренне тронут. Он ответил тем, что держался в точности так, как положено держаться знаменитости: говорил полные блеска речи, выражал признательность за горячий прием, произносил достопамятные слова по случаю достопамятных событий, а главное — был чужд этого непонятного, неблагодарного, этого извращенного обыкновения заезжих англичан изливать хулу,

какая обнаружилась при созерцании Америки у Диккенса и миссис Троллоп[239].

Под натиском «радушия по-американски» со временем выявилось, что силы Гексли имеют предел. Так что если бы он и поддался уговорам посвятить себя политике, то, может статься, потерпел бы на этом поприще неудачу за неимением луженого желудка — во всяком случае, так утверждал Грант-Дафф.

Сперва Гексли задумал просто съездить повидаться с Лиззи, своей старшей сестрой и наперсницей своих юных лет, — она с мужем обосновалась в Теннесси. Но за несколько месяцев до его отъезда один американец, который назвал своего сына Томасом Гексли, прислал через Фредерика Гаррисона настораживающее известие: «Вся страна наэлектризована сообщением, что осенью нас посетит профессор Гексли. У нас ему окажут такой прием, какой не снился принцу Уэльскому со всеми его лордами, герцогами и прочей свитой». А вскоре после этого американское поклонение выразилось в весьма осязаемой форме: Гексли предложили сто фунтов за то, чтобы он выступил на торжественном открытии Университета Джонса Гопкинса.

После некоторых колебаний Гексли согласился выступить, но отверг вознаграждение. Будущий ректор университета, Дэниел Койт-Гилман, ему уже был знаком: им довелось встречаться у сэра Лодера Брайтона и еще на одном из веселых обедов серьезных членов «Икс-клуба». То был один из дальновидных янки, которые, вооружась твердой решимостью и миллионами, скупали в Европе самые светлые молодые умы. Гилман обратился к Гексли с просьбой указать ему подходящего биолога, и тот рекомендовал бывшего своего ассистента Г. У. Мартина, который впоследствии добился блестящих успехов, основав первую в Соединенных Штатах биологическую лабораторию и насаждая в ней методы своего патрона.

О том, чтобы предпринять путешествие всем семейством, не могло быть и речи, и потому, оставив тех своих чад, что еще не женились и не вышли замуж, в Крейг-сайде на попечении сэра Уильяма Армстронга и леди Армстронг, Гексли с женой отправились вдвоем, чтобы провести за океаном, как любил выражаться Гексли, свой «второй медовый месяц». В те дни, как и теперь, Америка была не просто огромным домом из стекла, но домом из увеличительного стекла. Когда «Германик» вошел в гавань, на борту появилась толпа репортеров. Лондонский корреспондент газеты «Нью-Йорк трибюн» мистер Смолли писал, что знаменитый ученый, стоя на палубе, вполне насладился «великолепными очертаниями Нью-Йорка на фоне неба: ведь он всегда умел быть накоротке с Природой и ценить совместные

творения Природы и Человека». Когда они стали подходить ближе к городу, «он спросил, что это за высокая башня и большое здание с куполом — в те дни они первыми бросались в глаза».

— Это редакция газеты «Трибюн» и телеграфная компания «Уэстерн юнион», — ответил Смолли.

— А-а, вот это интересно, — сказал Гексли, — это Америка. В Старом Свете первое, что видишь, подъезжая к большому городу, это церковные шпили, а здесь первыми предстают взгляду центры культуры.

Конечно, в ту минуту мистера Смолли так распирало от гордости, что у него едва не отлетели пуговицы на жилете. И конечно, же, он принес молчаливую присягу на верность науке в ее борьбе с религией.

Вслед за высокими зданиями внимание Гексли привлекли деловитые буксиры. Он долго, пристально за ними наблюдал и наконец сказал:

— Если б я не был человеком, я бы, наверное, хотел стать буксирным судном.

Мистер Смолли приводит на этот счет несколько наукообразное объяснение: «Это потому, что буксир ему представлялся конденсированным воплощением энергии и силы, которые составляли его наслаждение».

Встреча, оказанная чете Гексли, была сердечной, искренней, пышной и утомительной. Тут же, на берегу, ими завладел издатель Эпплтон и умчал их в Ривердейл, в свой загородный дом. Отсюда миссис Гексли спешно препроводили на фешенебельный курорт под Саратогой, а Гексли повезли в Йельский университет. Здесь его сопровождал профессор О. Ч. Марш — прелестный образчик джентльмена старой закваски, выходец из Новой Англии, сочетавший в себе ученого и первопроходца; ради того чтобы установить родословную лошади, он много раз рисковал оставить свой скальп индейцам. Верный условностям, немного робеющий перед великим англичанином, Марш по заведенному обычаю предложил ему осмотреть учебные корпуса. И получил уверенный ответ, дошедший прямо сквозь американские церемонии до еще одного американского сердца.

— Вы мне покажите, что там у вас внутри, — сказал Гексли, — а на кирпичи и на известку я и дома могу наглядеться.

Марш бодро повел его к коллекциям ископаемых.

Ах, что это были за ископаемые! «Бронтотерии, птеродактили, мозазавры и плезиозавры… парнокопытные, непарнокопытные», — взахлеб перечисляет «Наука Америки за столетие». Наконец-то Гексли тоже вошел в свою нью-йоркскую гавань. Было немножко странно убедиться воочию, как

бесконечно стар Новый Свет. «В жизни не видел ничего более замечательного!» — писал он своей жене. А между тем уклониться от пресловутого «радушия по-американски» явно не представлялось возможным, да он, по правде, сказать, и не хотел уклоняться. Водворясь, в роскошных покоях «миллионера Пибоди», дяди Марша, он тут же удостоился чести принять губернатора города и дал интервью репортеру, который не без удивления отметил, как мало в заезжем госте от «выспреннего» философа и как много от «бизнесмена или коммерсанта». Марш знакомил его с местными светилами, возил по званым обедам, рассказывал случаи из жизни Дикого Запада и катал туда-сюда по Ньюхейвену — величавые улицы, обсаженные раскидистыми высокими вязами, очень нравились Гексли. «Ты не представляешь себе, как со мною носятся, — игриво и довольно писал он миссис Гексли, — я-то думал, это только моя женушка такая глупая…»

Впрочем, носиться с ним дозволялось лишь в свободные часы. А с девяти до шести он ежедневно занимался неотложными делами более чем стотысячелетней давности.

К своим ископаемым лошадям Марш его подпустил лишь после некоторых сомнений, ибо данные о них не вязались с общеизвестными теориями Гексли. Но Гексли скоро предстояло выступить в Нью-Йорке с докладом на эту тему, он должен был знать факты. И факты пришлись ему по вкусу. Шаг за шагом, переходя от одной косточки к другой, спорщики погружались все глубже в лошадиную историю. И тут апостол научного метода получил от своего коллеги-провинциала урок методологии. Вновь и вновь Гексли требовал доказательств, и каждый раз Марш только просил ассистента принести ящик номер такой-то или такой-то. И всегда нужная кость иллюстрировала нужное положение.

— Да вы просто чародей какой-то! — вскричал наконец Гексли. — Что ни пожелаешь, все у вас тотчас является, словно по волшебству.

Через два дня он капитулировал. Лошадь, о которой в Новом Свете ничего не знали, когда на берег сошел Колумб, в действительности оказалась родом скорей отсюда, чем из Старого Света. Крупное копытное животное, какою мы знаем ее сегодня, она произошла от низкорослого четырехпалого предка[240]. Впрочем, Марш в своих письмах изображает дело таким образом, будто не то замечательно, что он совершил открытия, а то, что у Гексли хватило великодушия их признать.

А Гексли благодаря Маршу выиграл не только в познавательном, но и в нравственном отношении: наконец-то он мог исповедовать эволюцию с чистой совестью — у него в руках

были те решающие доказательства, которых так долго требовала его скрупулезно щепетильная душа. «Ни одна из существующих коллекций, — писал он вскоре после того, — не сравнится с коллекцией профессора Марша по завершенности той цепочки данных, которою некоторые из ныне существующих млекопитающих связаны со своими предшественниками третичного периода». Он покидал Йельский университет с сожалением.

Соединившись вновь, супруги Гексли посетили Бостон, беседовали с дочерьми Лонгфелло и Готорна, побывали на научном заседании в Буффало, а потом, как подобает дважды молодоженам, прожили неделю у Ниагары. Водопад на первых порах разочаровал Гексли, но, когда он понаблюдал его снизу и прошел за стеною воды в Пещеру Ветров, он поддался очарованию этого громко-кипящего проявления природной энергии. Ему нравилось вечерами сидеть и слушать глухой за ревом воды, но все же отчетливый скрежет огромных валунов у подножия водопада.

От Ниагары двинулись дальше в Теннесси, где в городе Нашвилле их ждала у своего сына старшая сестра Гексли миссис Скотт. Поезд подошел к станции, и Генриетта вмиг узнала в толпе старушку по явному семейному сходству, особенно по пронзительным черным глазам. «Тóму» перевалило за пятьдесят: очки, бакенбарды, громкая известность, богатый опыт и привычка повелевать и вершить дела. «Лиззи» минуло шестьдесят два: глубокие морщины, седая голова и воспоминания о жестокой гражданской войне, на которой сражались и потерпели поражение ее сыновья. Что чувствовали и думали эти двое, о чем они говорили друг с другом? Эту сугубо личную тему Гексли, как и во многих других случаях, обходит в своих письмах молчанием.

Впрочем, сказать по правде, на то, чтобы чувствовать, думать и говорить, времени у него оставалось в обрез, потому что в Нашвилле он впервые в полной мере изведал весь беспощадный гнет гостеприимства. Даже дрессированный птеродактиль или ручной динозавр едва ли мог бы возбудить такое неодолимое любопытство у жителей Нашвилла, как великий мыслитель и эволюционист из Англии. Его выставляли напоказ и разглядывали при каждом удобном случае, каждый его вздох, каждое движение подхватывали газеты. И уж на этот раз — никаких ископаемых в прохладной тиши лабораторий. По влажной и душной жаре южного лета он ездил осматривать государственную школу, новый Университет Вандербильта, сенат штата. Он разговаривал на улице с детьми и обменивался тяжеловесными остротами с ректором духовной семинарии. А дома, у племянника, его быстро

уморил и загнал в отведенную ему комнату нескончаемый поток гостей. Потом к нему явилась делегация с просьбой либо выступить с речью, либо поехать на торжественный обед, либо «изложить свои взгляды» — надо полагать, газетному репортеру. Прижатый к стенке, Гексли выбрал наименьшее зло: решил выступить с речью и, предоставив своей жене принимать остальных посетителей, уединился почти на весь день, чтобы подготовить кое-какие записи по геологии Теннесси. Из-за жары выступление состоялось вечером.

«Вчера вечером профессор, Гексли встретился с лучшими людьми Нашвилла, — писала на другое утро газета «Дейли американ», — специалисты в разных областях, солидные бизнесмены, прелестные дамы, блестящие господа и просто любопытные собрались, чтобы почтить великого ученого, чья слава, достигла нас ранее его самого. Мало сказать, что здесь собралась избранная публика. Здесь произошла публичная демонстрация глубокого интереса к достижениям современной научной мысли, который испытывают все классы общества».

Ну что же, лучшим людям Нашвилла, хотели они того или нет, предоставили прекрасную возможность вкусить от плодов современной научной мысли. Гексли был совершенно измучен и почти охрип, но все-таки, говоря о постепенных, геологических сдвигах, примером которых может служить Ниагарский водопад, он не преминул ввернуть вызывающим шепотом:

«За этот громадный срок население Земли претерпевало медленные, непрерывные и постепенные изменения, один вид уступал место другому… Едва ли нужно говорить, что такой взгляд на историю планеты резко отличается от общепринятого. Отличается настолько, что никакая общность, никакое соответствие и уж тем более никакое примирение между ними невозможны. Один из двух должен быть верен. Другой неверен».

Более он не касался сего щекотливого предмета, и, когда кончил говорить, собравшиеся наградили его бешеными рукоплесканиями. Может быть, они думали, что ручному динозавру вполне естественно высказывать странные суждения. А может быть, даже решили, что в этой эволюции, пожалуй, что-то есть — а иначе с чего бы в одной передовице появились многообещающие строки: «…взгляды Дарвина и Гексли разделяют такие благочестивые католики, как профессор Джером Кокрен из Мобиля, и такие выдающиеся геологи-пресвитериане, как Аткинсон из штата Виргиния». Но, как видно, в своем бурном порыве к прогрессу и просвещению Нашвиллу не удалось увлечь за собою, остальную часть Теннесси — во всяком случае, прошло лет пятьдесят дальнейшего прогресса и просвещения, и некоего

мистера Скоупса на громком судебном процессе признали виновным в нарушении-закона штата, запрещающего преподавать эволюцию в школах[241]…

Из Нашвилла путешественники отправились в Цинциннати, а оттуда наконец в Балтимор, где Гексли предстояло выступить на открытии Университета Джонса Гопкинса. По-видимому, доходы Огайо-Балтиморской железной дороги воплотили наяву некую утопию разума. Университет Гопкинса был задуман не как клуб, не как мавзолей или выставка последних причуд архитектуры, но как место, где учат и учатся, университет, в котором хозяева — педагоги и студенты. Половина немалых средств, которыми он располагал, шла на больницу; остальное предназначалось на выплату жалованья преподавателям и научную работу.

Да, здесь было от чего загореться такому человеку, как Гексли! Беда только, что огонь этот отчаянно задувало неистовым шквалом гостеприимства. За день до выступления он ездил осматривать Вашингтон, вернулся очень усталый, а тут ему объявили, что вечером его ждет официальный прием и банкет.

— Не знаю, как я это выдержу! — воскликнул он.

Часа два он все-таки отдохнул, запершись в своей комнате, но до того, как ехать на банкет, нужно было еще продиктовать свой завтрашний доклад. Он-то рассчитывал говорить по своим черновым заметкам, однако репортеры объяснили, что в таком случае им придется записывать текст на свой страх и риск и сразу передать по телеграфу в Ассошиейтед Пресс, чтобы наутро он появился в нью-йоркских газетах. Гексли живо вообразил, какими чудовищными искажениями это чревато, и принял новое, на сей раз героически незаметное, мученичество во имя истины: «В холодном, гнетущем уединении продиктовал стенографистке речь, которую собирался сказать перед восприимчивой и радушной аудиторией». Стенографистка обещала рано утром отдать ему перепечатанный экземпляр, но Гексли получил его буквально в последнюю минуту перед началом торжества. По пути в лекционный зал он взглянул и с ужасом обнаружил, что текст напечатан на папиросной бумаге и в нем толком ничего не разберешь. Он благоразумно предпочел и на сей раз говорить экспромтом, в чем преуспел как нельзя лучше, хотя то, что было записано со слуха и напечатано в Балтиморе, естественно, отличалось от того, что напечатали по предварительному тексту в Нью-Йорке. Гексли потом любил говорить, что, хотя слова докладчика есть и здесь и там, будущий историк сможет с полным основанием объявить тот и другой вариант фальшивкой и заключить, что на самом деле никакого доклада вообще не было.

Окончательный текст «Университетского образования» несколько разочаровывает. Как видно, Новый Свет принес автору очень мало новых озарений, или, может быть, из-за крайней усталости ему в те минуты ничто не могло их принести. Он ограничивается преимущественно образованием, подчеркивая важность теории для народа, слишком склонного к практической деятельности. Показательно, что он — пусть с оговорками — во многом сочувственно относится к той направленности, которая преобладает ныне в американских университетах. Он не одобряет вступительных испытаний, предпочитает общим экзаменам по предмету курсовые и утверждает, что научную работу лучше всего сочетать с преподаванием. Касаясь медицинского образования, он настаивает на том, что оно должно быть строго профессиональным, без всяких гуманитарных приправ. Врачу надо знать то, что принесет пользу его больным, а не то, что скрасит и обогатит его собственную жизнь. Гексли очень хвалит Университет Гопкинса, где в почете не архитектура, а мозги, и в выражениях, которые, должно быть, совершенно пленили аудиторию, рекомендует университетскому совету позаботиться о пышной отделке фасада лишь лет через сто, когда будет обеспечено все, что нужно для обучения и для исследовательской работы.

Только в самом конце своего выступления Гексли обращается к более широкому вопросу — о самих Соединенных Штатах. Он начинает с лестной похвалы:

«Грандиозной представляется англичанину картина будущего, когда, впервые ступив на ваши берега, он проезжает сотни миль через огромные благоустроенные города, видит, как баснословны ваши реальные и как несметны скрытые богатства во всем их разнообразии, как неисчерпаемы энергия и способности, которые используют эти богатства вам на благо».

Но дальше, вставив в один глаз стеклышко из Ар-нольдовых очков, а в другой — из Мальтусовых, он окидывает будущее Америки долгим и испытующим взглядом:

«Не скажу, чтобы меня хоть в малейшей степени поразили ваши масштабы и материальные ресурсы как таковые. Размах еще не есть величие, а территория не есть государство. Главный вопрос, определяющий и подлинное величие, и грозное, темное будущее, — как вы всем этим намерены распорядиться?.. Сорок миллионов американцев празднуют ныне первую свою столетнюю годовщину, и разумно предположить, что вторую Штаты встретят с населением в двести миллионов человек; говорящие на английском языке и занимающие площадь, по величине равную Европе, они будут отличаться друг от друга и по интересам, и по

климатическим условиям своего существования, как отличаются друг от друга жители Испании и Скандинавии, Англии и России. От вас и ваших потомков зависит, не распадется ли такая махина при республиканской форме правления и деспотической реальности всеобщего избирательного права; выстоят ли суверенные права Штатов против централизации без их отделения; одержит ли верх сама централизация без явной или замаскированной монархии; что лучше: прочные бюрократические порядки или превратности коррупции… И по мере того как будет возрастать в ваших огромных городах плотность населения и ощутительней станет бремя нужды, меж вами зашагает костлявый призрак нищеты и возвысят свой голос социализм и коммунизм… Для вас есть один залог успеха, одна надежная броня — это нравственная полноценность и ясность мышления каждого отдельного гражданина».

Когда были сказаны эти слова, огромный зал, где были представлены, как обычно, «красота, богатство и разум большого американского города», настороженно притих. Великий эволюционист поставил самонадеянных американцев лицом к лицу с чуждыми Америке возможностями эволюции. Дальше этого он не пошел, закончив свою речь мимолетным, но многообещающим взглядом в будущее самого университета, когда «студенты будут стекаться сюда со всех концов земли, как в былые времена они стекались в Болонью, Париж или Оксфорд». Рукоплесканиям не было конца — отчасти, может быть, от чувства облегчения. Значит, он все-таки не хотел их осудить!

Благословение Гексли не очень-то пошло впрок новому университету. В одном из религиозных еженедельников Нью-Йорка появилось сенсационное письмо с жалобой на то, что на открытии Университета Гопкинса выступление Гексли в торжество включили, а вот молебен включить не позаботились. В другом письме, направленном ректору Гилману, суть дела излагалась еще более недвусмысленно: «Несчастная мысль — пригласить Гексли. Уместней было бы призвать бога. Звать того и другого было бы нелепо». И не один еще год потом состоявшееся выступление и несостоявшийся молебен двумя черными тучами застилали будущее университета.

В неведении, а может быть, в небрежении к вызванным им богословским громам и молниям Гексли проследовал в Нью-Йорк, где ему предстояло прочесть три лекции об эволюции. Три вечера подряд он был в центре всеобщего внимания. Сама Женни Линд[242] не собрала бы в Чикеринг-Холле столько народу. Невиданное столпотворение, писала «Нью-Йорк трибюн», однако «столпотворение в высшей степени благоприличное». В первый

вечер ровно в восемь часов на сцене под гром аплодисментов появился профессор Гексли. «Он положил на кафедру „Потерянный рай“ Мильтона — больше ничего, ни рукописи, ни хотя бы заметок». Чуть подавшись вперед всем телом, он заговорил размеренно и негромко. Он не жестикулировал, только иногда, ухватясь обеими руками за край кафедры, низко нагибался над нею. В зале царила глубокая тишина.

По сжатости изложения, а также использованию полемических приемов «Лекции об эволюции» можно считать образцовыми. С достойным Вольтера искусством в расположении и подаче материала Гексли одной рукою рушит Пятикнижие, а другой воздвигает на его обломках новое евангелие эволюции. В первой лекции он приводит три гипотезы земной истории: либо нынешние условия существовали извечно, либо тысяч пять лет назад были сотворены преднамеренно (примеры Гексли охотней приводил не из Моисея, а из Мильтона), либо, наконец, они сложились постепенно, в естественном ходе развития. В двух следующих лекциях он опровергает первую и вторую гипотезы, показывая, что лишь третья находится в соответствии с фактами науки, а затем, раскрыв противоречие между нравственностью и ортодоксальностью, твердо заявляет, что на первом месте должна быть верность истине, а не религия. Выступая против христианских устоев, он вербует в поддержку себе национальную гордость американцев, громит космогонию Древней Иудеи на основе данных о природе Нового Света. Свидетельства геологии о прошлом Америки уже тем подрывают и опровергают свидетельства Ветхого завета, что превосходят их и по масштабам, и по возрасту. Коннектикутский песчаник, например, — это великая летопись, в которую занесены события, в сотни и сотни раз более древние, чем древнейшие из событий, записанных в библии. А Ниагарский водопад, словно гигантские водяные часы, отмерил тридцать тысяч лет, которые пролегли между нами и неким невзрачным панцирным существом, чьи останки находят в окрестностях водопада.

Во второй и третьей лекциях рассматриваются недавние открытия, которые заполнили два значительных пробела в геологической летописи, — это развитие птиц из пресмыкающихся, а также длинная и сложная история лошади. В значительной степени это факты, установленные Маршем и изложенные в стиле Гексли. Лекции были горячо приняты и публикой, и всеми газетами, кроме «Сан», которая усердствовала в передержках и злопыхательстве. Первая, лекция, на ее взгляд, была слишком уж несмелой. «Вместо того чтобы нападать на Моисея, прикрываясь Джоном Мильтоном, взять бы ему да

сразиться с Моисеем в открытую, лицом к лицу». Вторая лекция была якобы чересчур азбучна. «Профессор Гексли… определенно считает, что его аудитория ровным счетом ничего не смыслит в науке». На самом же деле «Лекции», подготовленные, по-видимому, во время пребывания Гексли в Соединенных Штатах, можно счесть изрядным комплиментом аудитории. Он явно полагал, что Америка вполне достойна стать надежным оплотом дарвинизма. Но одно дело уважать собеседника и слушателя, а другое — понимать его, интересоваться им. Недаром Гексли очень уж много, даже для ученого, рассказывал о вымерших животных Америки и совсем мало — о живых людях, ее населяющих.

В Англию он вернулся с твердой верой в палеонтологическое значение орогиппуса и гесперорниса регалиса, а также с насмешливым и отчасти горестным сознанием того, как далек от совершенства типичный американский репортер.

— Я очень славно, съездил в Янкляндию, — сказал он профессору Бэнсу, — но значительную долю того, о чем писали репортеры, отнюдь не говорил.

Разумеется, он немедля раструбил в Лондоне про орогиппуса и гесперорниса и вскоре написал Маршу: снова поблагодарил его и поздравил с последним его открытием — еще более отдаленным прародителем лошади, названным эогиппусом.

Отныне вся жизнь Гексли стала сплошным триумфальным шествием в мире славы и успеха. В 1877 году он напечатал свои «Американские выступления», «Физиографию» и «Руководство к анатомии беспозвоночных животных», а в 1878-м — своего «Юма» и «Введение к серии первоначальных учебников». В том же 1878 году он стал президентом новой Ассоциации свободомыслящих и, как бы для контраста, попечителем Итонского колледжа. И тогда же — всего через два года после того, как он отчитывал Кембридж в связи с присуждением докторской степени Дарвину, — он сам получил в Кембридже почетную степень доктора права. Ортодоксия склоняла голову перед еретиком. «Я обнаружил, что пятьдесят три года — возраст очень молодой, — немного спустя писал он Дорну. — Никогда еще я так прекрасно не чувствовал себя физически и не работал так много умственно, как за последний год».

В 1881 году, когда Горное училище было поглощено новой Нормальной школой в Кенсингтоне, Гексли стал в ней деканом и профессором биологии. Бремя новых обязанностей он принял на себя с неистребимою бодростью духа и немало потешался над своим новым титулом. «Меня удивляет, как это Вы не знаете, что

письмо декану следует адресовать: „Его преподобию“, — писал он своему ближайшему начальнику по Ведомству просвещения сэру Джону Доннелли. — Я обыкновенно не очень придерживаюсь церемоний, но всему есть предел, когда дело касается моей священной особы».

Деловая жизнь его, протекавшая до той поры в сутолоке и тесноте бойкой, шумливой Джермин-стрит, переместилась теперь в просторное, только что отстроенное здание великолепной Нормальной школы, известной с 1890 года как Имперский научный колледж. Огромное учебное здание на краю Кенсингтонского ботанического сада — этот ошеломляющий символ союза меж викторианским богатством и викторианской наукой, это страшилище, в те дни не виданное еще никем, кроме его зодчих, — едва только начинало разворачиваться во всей своей дикой и разностильной пышности. И вот уже вознесся кирпичный, украшенный богатой мозаикой, нарядный готический шпиль памятника принцу Альберту, в котором романтичность времен короля Артура сплеталась с вычурностью сказок «Тысячи и одной ночи», а с английскою строгой чопорностью таинственным образом уживалась индийская роскошь. И уже раскинулся во всю свою необъятную ширь приземистый, округлый, в георгианском стиле Альберт-Холл, где освистывали Вагнера и рукоплескали Брайту. И здесь же, разрастаясь с каждым годом, высился сам Имперский колледж: дремучие кирпичные дебри, пять этажей в стиле викторианских пригородов, а на шестом — вершины башенок Камелота и минаретов Багдада. Тут корпус Гексли, построенный сравнительно скромно, в соответствии с его назначением, наводит на сравнение с богатой протестантской церковью, над которой высится не то венецианский дворец, не то аркада Альгамбры. Там вздымает свои полосатые, облицованные плитами желто-бурых тонов стены Музей естественной истории с густым лесом ранненормандских шпилей, среди которых разместился целый зоопарк стражей — львов и волков.

Вот в этой викторианской Ниневии и читал свои лекции Гексли, принимал экзамены и вершил все мудрые и важные дела, какие полагается вершить деканам. По его письмам не заметишь ничего необычного: ни возбуждения, ни замешательства от встречи с подобной архитектурой, ни изъявлений оскорбленного чувства прекрасного. Он просто принял эти здания, как принимал мастодонта и эму.

Живо рисуется нашему воображению Гексли в это почти легендарное время. Нет, он отнюдь не потерялся средь окружающей его пышности. Глазам любопытных посетителей и

случайных почитателей, задерганных ассистентов и благоговеющих студентов декан Научного колледжа, должно быть, представлялся по меньшей мере столь же внушительным, как фасад Музея естественной истории, и подчас столь же неприветливым. Оливеру Лоджу[243] на всю жизнь запомнилось, каким холодным взглядом окинул его Гексли, к которому он, тогда еще юноша, отважился обратиться с какими-то дружескими словами, имея на то вполне веские, основания. Над многими относительно безобидными событиями в жизни колледжа декан нависал, как снежная глыба, готовая в любой миг, сметая прочь все и всяческие атрибуты обходительности, лавиной обрушиться на голову какого-нибудь мелкого нарушителя правил. Там, где было столько непогрешимости, дисциплины и самоотверженности, не могло быть особого снисхождения к слабости, особой уклончивости в применении наказаний. Честно говоря, такой уклончивости не было вовсе. Когда Дункан Даррок, — судя по всему, искренне радея о деле, — написал ему, что профессор Франкленд никогда не показывается в химической лаборатории, и уполномочил адресата распорядиться своим письмом как ему заблагорассудится, Гексли отвечал: «Пользуясь предоставленным мне правом, я передам это письмо доктору Франкленду». А когда зять Гексли Джозеф Б. Хисорн написал, что, разбирая бумаги своего отца, нашел записку, в которой тот завещал старшему сыну Гексли золотые часы, Гексли отозвался: «Со времени смерти Вашего батюшки прошло столько лет, что пусть лучше его неосуществленные желания — по крайней мере те, которые касаются моего сына, — так и останутся неосуществленными, а потому простите, но я вынужден от имени сына отказаться от этих часов». Интересно, что скрывалось за этой потребностью так беспощадно приносить обыкновенных людей на алтарь своих высоких принципов?..

О том, какое впечатление Гексли производил в эту пору, любопытно рассказывает Беатрис Поттер, будущая миссис Уэбб. Ей понадобилось с ним встретиться, так как ее хотел назначить своею литературной душеприказчицей Герберт Спенсер. 6 мая 1886 года она записала у себя в дневнике:

«На всем протяжении нашего разговора мне интересно было не то, что Гексли думает а Спенсере, а что он думает о самом себе… Я узнала, как еще в молодости, не имея определенной жизненной цели, он ощутил в себе силу, был уверен, что в своей области станет вождем. Да, это и выражает сущность Гексли: он вождь среди людей. Сомневаюсь, чтобы по складу ума он был предназначен исключительно для науки. Он правдолюб, и его любовь к истине более удовлетворяется разрушением, нежели

созиданием. Во все, за что бы он ни брался, он вкладывает без остатка свою мысль, свои чувства, свою волю. Он не хранит в памяти свои думы и ощущения: ранние его годы были полны горестей, и он сдерживал в себе стремление оглядываться на прошлое и смотреть в будущее. Когда он говорит с мужчиной, с женщиной, с ребенком, кажется, будто он весь внимание и обладает, вернее — обладал, способностью целиком проникнуться мыслями и чувствами другого и откликнуться на них. А между тем все они для него лишь тени: он тут же выбрасывает их из головы и вновь погружается в тот воображаемый мир, которым живет. Ибо Томаса Гексли, когда он не работает, тревожат странные видения, и он подолгу ведет беседы с безвестными людьми, которые обитают в его воображении. В нем есть какая-то сумасшедшинка; уныние и тоска омрачили всю его жизнь.

„Я всегда знал, что успех — не более как прах и тлен. Достигнутое никогда не приносило мне удовлетворения“.

Никакой увлеченности тем, что ему дано, никакого молчаливого упорства в постижении фактов, скорее — жадный натиск победного разума, которому сама победа милей того, что завоевано. И в результате его достижения далеко отстают от его возможностей. Гексли более значителен как личность, а не как мыслитель-ученый. Прямо противоположное можно было бы сказать про Герберта Спенсера».

Возможно, он показался Беатрис Поттер несколько более загадочным, чем был на самом деле. Возможно, в присутствии молодой и обаятельной женщины он и был несколько более загадочным, чем при членах городской управы или лесничих. И все-таки в этом отрывке многое сказано и многое подразумевается. Особенно обращает на себя внимание печаль, которой отмечены годы его молодости, отсутствие жизненной цели в сочетании с ощущением своей силы, стремление оглядываться назад и смотреть в будущее, потребность рушить и разить во имя истины. Ясно, что были обстоятельства, которым он не осмеливался взглянуть в лицо. Вопреки его добросовестному оптимизму, вопреки его стремлениям показать, что в мире существует безупречная целесообразность, в нем угадывалось глубоко запрятанное чувство, что вселенная ему враждебна. Дарвинизм дал этому чувству разумное обоснование, которое Гексли в таких работах, как «Борьба за существование», начал уже развивать. А теперь ему вторили и другие. «Батлерова „Аналогия“ неопровержима, — писал он Дарвину, и в догмах богословия нет ничего более противоречащего нашему нравственному чувству, чем то, что мы находим в явлениях природы». Невольно приходит

в голову уверенный и властный полубог, написавший «Науку и образование», и его грозные слова, что «удачный ход природы» есть истребление.

Как знать, быть может, Гексли было страшно взглянуть в лицо и самому себе. Для него не отыскалось в жизни ни полноценной созидательной задачи, ни такого заветного дела, общечеловеческого или связанного с наукой, которое без остатка поглотило бы и ум его и душу. Однако жить в этой зияющей пустоте было невозможно. И он посвящал себя разрушению, и вступал в гладиаторские бои, и хватался за каждое президентское место, какое подвернется, — за все, что сулило мир и покой, но постоянно оборачивалось «не более как прахом и тленом». Не мог он в изощренной своей гордыне быть доволен собой и в нравственном отношении. Какое-то ощущение вины или, может статься, греховности — не на это ли намекает его знаменитое письмо к Кингсли?[244] — не давало ему хотя бы на миг сбросить с себя узду самодисциплины. Человеческая натура как она есть не устраивала его ни в себе, ни в других. «Главное на этом свете, — пожалуй, не добиваться счастья, а обрести душевный покой и самоуважение», — писал он своему сыну Леонарду, когда тому исполнилось восемнадцать лет. Сколько трудов за свою жизнь он положил на то, чтобы их обрести. И с каждым годом его триумфальное шествие все более напоминало бегство от действительности…

Ну а мир, разумеется, видел в декане колледжа «вождя среди людей». При Гексли, как пишет профессор Т. Джеффри Паркер, «…избрана была бесспорно наилучшая линия поведения, какая только возможна для главы факультета. С новым подчиненным „Генерал“, как его неизменно величали, был строг и требователен, но, как только убеждался, что на работника можно положиться, предоставлял ему действовать по собственному усмотрению, никогда не вмешивался в мелочи, с величайшей любезностью и благорасположением прислушивался к его мнению и в трудную минуту был готов поддержать епо шуткой и добрым словом. Я как-то разворчался о том, какое мученье вести работы в лаборатории во время затяжных ноябрьских туманов, когда „многие дни не было ни солнца, ни звезд“.

— Ничего, Паркер, — мгновенно подхватил он, — бросайте с кормы четыре якоря и ожидайте дня[245]».

На занятиях Гексли был четок, точен, суховат, но красноречив, не прочь при случае блеснуть острым словцом или колючим юмором, но без единого намека на ту игривую и дешевую веселость, какую позволяют себе иные лекторы. «Слушая его, вы начинали ощущать, что сравнительной анатомии

действительно стоит посвятить всю, жизнь, — писал Джеффри Паркер, — а решить морфологическую проблему не меньшая доблесть, чем выиграть сражение». В лаборатории, куда он в последние годы заглядывал нечасто, его внезапное появление вызывало немалый трепет, хотя подчас освещалось и юмором, и даже задушевностью. Профессор Г. Ф. Осборн вспоминал, как однажды Гексли словно вырос за спиной у некоего студента-ирландца, снискавшего печальную известность своими акварельными зарисовками по анатомии. Листая его альбом, Гексли помедлил над большим, расплывчатым пятном с аккуратной подписью: «Печень овцы».

— Приятно узнать, что это печень, — заметил он с мягкой усмешкой, — а то, признаться, как две капли воды похоже на Кельнский собор в туманный день.

В другой раз на экзамене он поставил удовлетворительную оценку юноше из глуши, который заявил, что митральный клапан расположен в правой стороне сердца.

— Жалко беднягу! — воскликнул Гексли. — Я и сам никак не мог это усвоить, пока не рассудил, что митру носит епископ, а уже он-то *прав* не бывает.

Было в Гексли при всей его суровости нечто такое, что наполняло разум восхищением, а душу преданностью. Он проходил — и оставлял за собою растревоженные и изумленные сердца. Извозчики не хотели брать с него денег за проезд, посыльные просили его подарить им конверт с его подписью. Отцы, потерявшие сыновей, писали ему, как много он значил в жизни их мальчика; а когда умер он сам, его прежняя жертва, Сент-Джордж Майварт, почел за честь посвятить ему хвалебные воспоминания. Его ассистенты — сухари и придиры, очерствевшие в повседневных занятиях, — при мысли о нем ударялись в поэзию. Профессор Э. Рей Ланкэстер писал:

«Не было на моем жизненном пути мужчины или женщины, которых я так любил и уважал, как его, и оскудел, измельчал ныне для меня мир, лишенный его пленительного присутствия, его могучего духа. С малых лет он был моим кумиром и героем».

А пока что старший сын Гексли Леонард, восемнадцатилетний студент из Сент-Эндрюса, получил стипендию в Оксфорде. И, как один педагогический монарх другому, его отец написал письмо Бенджамину Джоуетту. Для желторотых оксфордцев и для многих важных персон, в прошлом тоже желторотых оксфордцев, глава колледжа Бэллиола был чем-то вроде Дельфийского оракула. В сущности же, то был лишь голос человека, исходивший из грозного безмолвия, спрятанного за «крутизною лба» и «младенческой улыбкой». При нем терялись

вице-короли — ведь и вице-короли были когда-то его студентами, и не всегда наставнические беседы прекращались с окончанием университета. В известном смысле, как Дельфийский оракул был советчиком целой цивилизации, так Джоуетт был советчиком целой империи.

Как все непостижимое на этом свете, Джоуетт был полон противоречий. Он презирал ученость и исследовательскую работу, а сам познакомил Оксфорд с Гегелем, а Англию заново познакомил с Платоном своими изящными переводами. Он пренебрежительно именовал логику системой уверток, а сам хотел подвести под христианство прочную логическую и научную основу. Он, сколько можно судить, верил в бытие божье и в учение Христа, а между тем в своих сочинениях и публичных высказываниях придерживался таких широких и вольных для духовной особы взглядов, что, по мнению агностиков, подобных Лесли Стивену, ему следовало снять с себя и стихарь, и попечения о колледже. В первую голову Джоуетт был учителем. И поучая, прибегал к методу Сократа. Задавая, подобно Сократу, наводящие вопросы, он добивался у своих учеников прежде всего ясности мысли, ну а в конечном счете — их преуспеяния в мирских делах. Слишком робкий вопреки своему менторскому обличью, слишком застенчивый, чтобы самому пуститься в широкий мир, Джоуетт побуждал к этому своих студентов и принимал их успехи так же близко к сердцу, как дела своего колледжа.

С дамами и с талантливыми людьми этот своеобразный и страшноватый университетский бог делался смирен и задушевен. Теннисону он был в меру уважительный поклонник, Броунингу — чудесный сотрапезник за воскресными завтраками; и, несмотря на привычку украдкой читать нравоучения, для миссис Гексли он был премилый холостяк, лукаво отвечавший на ее лукавые приглашения в гости. Для самого Гексли он был отчасти благоговейный почитатель, отчасти же проницательный и ненавязчивый наставник. И еще товарищ по оружию.

«Я пытаюсь внедрить — вернее, убедить других внедрить в университетскую программу больше физических наук, — писал он Гексли в 1877 году. — Я склонен считать, что некоторого знания их, как знания арифметики, следует требовать от всякого, получающего диплом. Кое-кто из ученых, кажется, настроен возражать мне на том оснований, что это-де принизит характер занятий. Не могу с ними согласиться, да и к тому же при общих занятиях со студентами нельзя достигнуть очень высокого уровня. В то же время такое нововведение может принести студентам немало пользы, да и от них, в свою очередь, позволит

что-то получить взамен».

Такому человеку Гексли мог смело довериться. Когда Леонард в 1880 году поступил в Оксфорд, Джоуетт взял на себя заботы о его будущности. Тонкий знаток человеческих характеров и еще более тонкий знаток возможностей человека, он быстро определил, что Леонарду, с его ясной, холодной головой, прямой смысл стать адвокатом. Но Леонард хотел жениться. «А к этому счастью, — желчно писал Джоуетт миссис Гексли, — самый короткий путь — сделаться школьным учителем». Оказалось, что ясная, холодная голова не главное. Леонард сделался школьным учителем и женился.

Джоуетта между тем занимал Гексли-старший.

«Славная штука — побывать президентом Королевского общества, — писал он в 1885 году, — а какая славная штука сложить с себя президентские обязанности и посвятить остаток своих дней занятиям и раздумьям! Всему прошлому можно подвести итог за это время, и нет никаких оснований бояться, что нам изменит способность размышлять. Я как-то верю, что последние десять лет жизни, если только ничто нас не тревожит, могут оказаться лучшими, самыми безмятежными и мудрыми, самыми полными в смысле находок, открытий, созидания — самыми свободными от обманчивых надежд».

Джоуетт пытался повернуть по-своему последние десять лет жизни Гексли. Разумеется, он всегда соблюдал должную обходительность и не навязывал своих советов. Шутка сказать, какая трудная и деликатная задача направить на творческую стезю «логическую машину» подобной мощности и размаха. «Ах, какой же он потрясающий полемист! — с невольным содроганием писал Джоуетт миссис Гексли. — Что за сокрушительные удары! Меня, существо трусливое и мирное, приводят в восхищение героические черты его личности, однако еще хотелось бы вне всякой полемики услышать, что он скажет по поводу тех или иных этических и философских проблем нашего времени». Где полунамеком, где лестным замечанием, где мягким порицанием или доверительным внушением через миссис Гексли он старался отвлечь «логическую машину» от расправы с инакомыслящими и украшения своею особой президентских кресел и опять настроить на новые открытия, не только научные, но также философские и этические. «При нынешнем положении в мире, — как бы вскользь замечает он в конце одного нравоучительного рассуждения, — разрушительный процесс происходит, как правило, достаточно быстро, а создается до смешного мало». Немного странно, быть может, что он возлагал такие надежды на созидательную деятельность Гексли. Однако его отношение лишь свидетельство

все более суеверного поклонения науке, свойственного тому времени. Раз наука оказалась способна творить чудеса в материальной сфере, отчего бы ей не творить их в нравственной?

«Мне отрадно… — писал Джоуетт, — что Вы не окончательно отвергаете мое предложение. Кажется, Вам тоже приходило на ум, что теперь, когда нравственность вот-вот окажется погребена под физикой, Вам следовало бы попытаться найти для нее новое основание. Нет другого предмета, которым так естественно было бы заняться на склоне лет, как, кстати, нет предмета, которым так необходимо заняться в настоящее время. Люди спрашивают, где тот принцип, на котором им строить теперь свою жизнь, и желают получить ответ, не связанный с традиционным богословием, — не придете ли Вы им на помощь? У меня такое впечатление, что Ваш ответ прозвучит более убедительно, чем ответ любого богослова».

Позже — пожалуй, слишком поздно — Гексли стал заниматься тем, чего хотелось Джоуетту. Проживи он немного дольше, он, может быть, даже всерьез последовал бы его советам.

В передовой стране сама косность не что иное, как либерализм, немного отстающий от века. В 1881 году Оксфорд обратил свои взоры на Гексли с намерением предложить ему две самые важные должности. Исподволь выведывали о его согласии сперва стать профессором физиологии в колледже Линакра, потом возглавить Университетский колледж. Гексли был ошеломлен таким признанием своей благопристойности. «Я начинаю думать, что еще, может быть, угожу в епископы», — писал он Леонарду. На оба предложения он ответил отказом. Гексли в Оксфорде — это значит Гексли днем и ночью на войне. Легче всю Англию сдвинуть с места, чем Оксфорд.

Зато когда ему предложили стать инспектором Комиссии рыбных промыслов, он тут же согласился, не отказываясь, впрочем, ни от одной из других своих должностей. В стране было всего два таких инспектора, и на Гексли, помимо практических обязанностей, лежали еще и научные. Нужно было изучать рыб и их болезни, обследовать запруды и нерестилища лососей, улаживать споры, проводить в жизнь постановления местных властей и писать отчеты. Ветеран нескольких кампаний комиссии, главный автор одного из «самых дельных и исчерпывающих» докладов, какие были когда-либо представлены в парламент, Гексли в два счета освоился с новой работой и бодро предвкушал, как будет сочетать два своих излюбленных удовольствия: открывать новые научные истины и «вбивать их в тупые головы». Ну что же, ему удалось выяснить цикличность болезни сапролегнии у лососей, собрать массу ценных сведений о

сельди и треске. Ему удалось также где убеждением, а где и принуждением вбить эти — и, несомненно, многие другие — истины в головы политиков и рыболовов. Однако прежний задор иссяк. При известных достоинствах, как, например, возможность совершать частые прогулки на свежем воздухе, новая должность имела недостатки: плотные обеды и нескончаемые разбирательства. Сначала он терпел. Благосклонно отнесся к праздничной выставке рыбы и рыболовной снасти. «После был обильный dejeuner[246] в Сент-Эндрюс Холле, — писал он, — отменная старинная постройка до сих пор в наилучшем виде. Я сидел как раз напротив принцессы и невольно с изумлением на нее поглядывал. Какой у нее свежий, юный вид! Потом она ко мне подошла и заговорила, очень мило и просто». Но куда чаще приходилось иметь дело не с принцессами крови, а с дородными олдерменами да болтливыми браконьерами. За несколько месяцев Гексли опостылели обеды и осточертели заседания. «Нет, Вы скажите, какое все это имеет отношение к делу, которым мне полагалось бы заниматься на этом свете, — писал он Флауерсу, — и почему я должей транжирить на подобную чушь последние остатки и без того неразумно растраченной жизни?»

И правда: за внешним величием тактических и ораторских побед его жизнь все стремительней превращалась в трагедию из-за неумолимых сроков и парализующей несбыточности задуманного. Ему редко хватало времени что-то закончить — и это в первую очередь относилось к его научной работе, которая после 1870 года стала и лихорадочнее и бесплодней. По иронии судьбы именно в то время, когда из-за многочисленных административных забот он был лишен возможности сделать что-то значительное, его способность к умственному сосредоточению, по-видимому, достигла наивысшего предела. Когда он изучал раков, он думал о них во сне и наяву. В 1878 году он был так поглощен замысловатостями редкостной беспозвоночной твари, именуемой спирула, что, когда кто-то из ассистентов сунулся к нему с вопросом, касающимся мозга трески, Гексли поднял на него отсутствующий взгляд и ответил:

— Треска? Это, кажется, что-то позвоночное? Спросите недельки через две, тогда подумаем.

Но всякий раз не одно, так другое отрывало его от работы. Шли месяцы, годы, а он все никак не мог закончить исследование.

Помехи возникали не всегда в связи с официальными обязанностями. В 1878 году к нему в дом нагрянул дифтерит, и одна из дочерей, Мэдж, была в таком тяжелом состоянии, что бедному отцу ее при всей его выдержке ничто не шло на ум. Посреди какого-то, послеобеденного спича он впервые в жизни

запнулся на полуслове и несколько мгновений мучительно вспоминал, что ему нужно сказать.

Всякая прочность, всякое постоянство уходили из его жизни. В 1882 году он лишился сразу и учителя и ученика. В апреле умер в Дауне Дарвин, а летом, поднимаясь на одну из вершин Монблана, сорвался в пропасть Френсис Бальфур. И тот и другой удар был тяжел, но Дарвин прожил полную жизнь, сделал свое дело, а Бальфур едва только начинал. Больше того, он должен был стать преемником Гексли, его вторым «я», которому предстояло завершить начатый труд. Теперь, быть может, трудам суждено было так и остаться незаконченными. «Работа. 1879 года „Об особенностях строения таза…“ содержит много плодотворных мыслей, — говорит сэр Майкл Фостер, — но по ее заключительным страницам можно понять, что… осуществить эти идеи должны другие».

С тех пор как погиб Бальфур, Гексли удвоил свои усилия. Нередко после затянувшегося вечернего заседания он выкраивал полчасика для работы в лаборатории и только потом ехал домой. И все-таки в 1883 году, когда представилась возможность, он стал временным — а в 1884-м и законно избранным президентом Королевского общества. Без сомнения, он был слишком перегружен, а может быть, уже и слишком болен, чтобы взваливать на себя дополнительное бремя. Но заслужить регалии высшей административной власти в науке и потом от них отказаться?.. Нет, в этом смысле ничто человеческое Гексли не было чуждо: он обожал быть президентом.

Отныне разрыв между тем, что он хотел и что должен был делать, и даже между тем, что он был должен и что в силах был сделать, становился все шире. Он был измотан физически и душевно. Все менее разумной ему представлялась вселенная, все менее устойчивой и осмысленной жизнь. Неудивительно, если он ловил себя на том, что тоскует о бессмертии, от которого так твердо отрекался в былые годы.

«Любопытная вещь, — писал он Морли, — чем я делаюсь старше, чем ближе конец пути, тем несносней мне думать, что меня не станет.

То и дело каким-то неизъяснимым ужасом меня пронизывает мысль, что в 1900 году я, очевидно, буду знать о том, что происходит на свете, не более, чем знал в 1800-м Я бы с гораздо большим удовольствием согласился попасть в ад — во всяком случае, в тот его круг, что повыше, где и климат помягче, и общество подходящее».

С затаенной, неотступной грустью глядит с поздних портретов его твердое, живое лицо.

Одна за другой одолевали его болезни. «В ответ на Ваше письмо имею честь Вас уведомить, — писал он Доннелли, — … что а) мне выдернули все зубы, б) я вывихнул большой палец на правой руке, в) все время погибаю от жары и г) не могу курить в свое удовольствие». А еще он ничего не мог есть, кроме овсянки, жаловался на печень; его рука как будто налилась свинцом, так что он с трудом удерживал в ней скальпель. И самое скверное, он был до того изможден, что утром его чуть ли не мутило при мысли о предстоящей работе. Единственным его утешением было сопротивление Гордона[247] суданцам. «Мне бы хотелось увидеть, как он всыплет Махди[248] по первое число до того, как подоспеет Вулсли», — объявил он. Силы его таяли, он несколько раз пробовал делать себе передышки, но без всякого прока. Наконец сэр Эндрю Кларк предупредил его, что, если он не устроит себе длительный отдых, ему угрожает настоящее нервное расстройство.

Убежденный в том, что бросает на произвол судьбы Южный Кенсингтон и предает Королевское общество, что подвергает Англию опасности гражданской войны между рыцарями удочки и рыцарями невода, а самого себя в зените своих служебных достижений обрекает на забвение, Гексли отправился в Италию. На Лондонском вокзале его настигла весть о том, что на его дочь Марион напал какой-то ползучий, коварный недуг, которому, как справедливо опасался ее отец, суждено было стать роковым. «Я достаточно крепкий орешек, — писал он потом, — и научился многое переносить не сетуя, но эти сутки от Лондона до Люцерна показали, что стойкости мне еще учиться и учиться». То было его второе изгнание во имя здоровья, и оно затянулось намного дольше, чем первое. Болезнь его по всем признакам более всего напоминала ту беспросветную меланхолию, какую он в молодости пережил на борту «Рэттлснейка». Его одолевали одновременно убийственная вялость и нервная раздражительность, жажда забиться куда-нибудь подальше от людей и неодолимое отвращение ко всем с первой минуты. И опять, как встарь, он искал средства рассеяться в чтении. Он даже возобновил свои занятия итальянским языком и открыл для себя «Жизнь Бенвенуто Челлини». Что касается науки, самая мысль о ней была ему ненавистна.

Полный тяжких опасений за свою дочь, Гексли усердно дышал воздухом Лидо, вытерпел Верону, осаждал закрытые из-за холеры отели Неаполя. Замечательным местечком оказалась Равенна: «убийственное оживление, гробница на гробнице». Она служила доказательством тому, что эволюция существует и в искусстве, и воплощала в себе, такой маленькой, одну великую

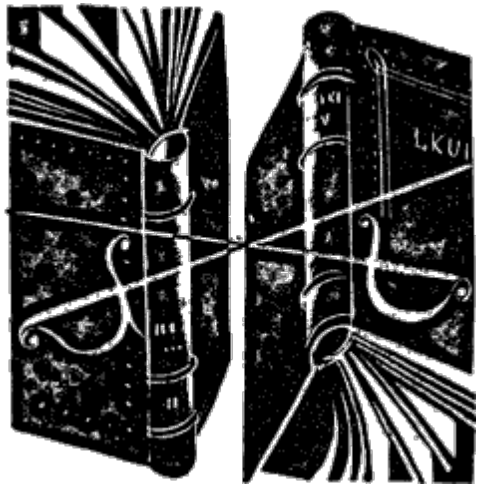
ступень этой эволюции. Рим он разглядывал как легендарную полуразвалину, не утратившую очарования, несмотря на тени долгого и зловещего прошлого. Впрочем, как раз средь теней этого прошлого он сделал первые шаги к исцелению и к науке. Началось с того, что он стал подпускать пуританские шпильки по поводу церковных обрядов римских католиков, не скупясь на язвительные рассуждения о «выставке мужских головных уборов» и «разряженных куклах». С эстетической точки зрения он разрушил бы все, что построено после IV века, кроме базилики Сан-Паоло фуор ле. Муре. Зато в катакомбах он чувствовал себя как рыба в воде. Катакомбы отвечали его настроению и темпераменту. Постепенно он заинтересовался языческим Римом, а там — первый признак того, что ему стало лучше, — и геологией этих мест и древнейшей историей. Прошел месяц, и он уже писал предисловие к новому изданию «Уроков элементарной физиологии», которые выпустил совместно с сэром Майклом Фостером.

Все время, кроме первых трех недель, в странствиях его сопровождала жена. Ранней весной 1885 года они двинулись на север. «Обогатились духовно, но обессилели физически» в картинных галереях Флоренции, продрогли в Венеции и отогрелись в Сен-Ремо и наконец 8 апреля высадились на родную землю в Фолкстоне.

До выздоровления было еще очень далеко. Самое простое дело требовало от него несметных трудов. Откуда-то возникло «поразительное умение делать из мухи слона». После нескольких попыток пересилить себя, следствием которых немедленно явились упадок сил и хандра, Гексли отказался от обязанностей профессора, декана и, наконец, президента Королевского общества.

В разгар переговоров, связанных с его уходом, он получил известие о том, что Оксфорд присуждает ему степень доктора гражданского права. «Это будет некий апофеоз, — писал он, — совпадающий с моею официальной кончиной, а она не за горами. В сущности, я уже мертв, просто Харон из Казначейства еще не определил, на каких условиях переправить меня на ту сторону». Чтобы добиться для него пенсии, потребовался примерно такой же нажим на тайные ведомственные пружины, как в свое время для того, чтобы субсидировать его ранние работы о медузах. Кончилось тем, что Гексли остался в колледже на правах профессора и почетного декана с пенсией, равной его жалованью, — полторы тысячи фунтов — и без каких-либо иных обязанностей, кроме общего руководства научной работой.

18
МИЛОЕ ДЕЛО — ВОЙНА!



В конце концов Гексли вновь обрел утраченное здоровье, но не под солнцем Италии, не в кабинете врача, а читая страницы журнала. В передовой статье ноябрьского номера «Девятнадцатого века» за 1885 год Гладстон темной и грозной тенью надвинулся на научный труд доктора Ревиля «Пролегомены к истории религии». Пытаясь навести тень на ясный день, великий старец высказался в пользу всего на свете — он был и за науку, и за религию, за пророка Моисея и за Дарвина. В то же время при всем его почтении к высоко интеллектуальной деятельности, связанной с наукой, она, на его взгляд, мало в чем преуспела сверх того, что снабдила некоторыми пояснениями текст Книги бытия. Начальные стихи Книги бытия не что иное, как сжатое и поэтическое изложение небулярной гипотезы, а также биологических и палеонтологических данных, полученных наукой за время вплоть до смерти Кювье. В заключение Гладстон сделал церемонный, но крайне рискованный комплимент Дарвину — так можно в пылу парламентской схватки отвесить учтивый поклон ненадежному союзнику, рассчитывая заручиться его принужденным, но удобным для полемиста молчанием.

Однако на сей раз удобного молчания не последовало. Гексли шумно захлопнул «Девятнадцатый век» и забегал по дому, изрыгая проклятья с таким жаром и страстью, что его семейство взяла оторопь. И чем больше разгоралась в нем злоба, тем он себя лучше чувствовал. Гладстон как бы подверг его электрическому шоку, который наконец-то сгустил облако меланхолии в тучу, вызвав громы и молнии великолепной полемической грозы.

Гроза бушевала более пяти лет. Есть в столь затяжном неистовстве нечто героическое, а Гексли по своей отваге и дерзновенности, по значительности того, что он отстаивал и что разил, по прочим своим достоинствам — здравому смыслу, готовности к действию, энергии и учености — как раз и был, пожалуй, не всегда блестящим, но героическим полемистом.

Возможно, уразуметь статью Гладстона до конца не было дано никому. Гексли, во всяком случае, ее до конца не уразумел, но понял достаточно, чтобы увидеть, что Гладстон бессовестно обкорнал и искорежил науку, стремясь, подогнать ее под ортодоксальную мерку. То, что крупнейший политический деятель своего времени позволил себе так небрежно подходить к самой блистательной эпохе в истории биологической науки, Гексли счел вопиющим безобразием. Великий Старец оказался на поверку Великим Анахронизмом. Сладострастно и злорадно потирая руки, Гексли решил чуточку приблизить его к современности. Недаром он никогда не разделял дарвиновского преклонения перед Гладстоном. Он уважал способность этого человека добиваться успеха, но отнюдь не те способности, которые приводили его к успеху. Иногда в своих оценках Гексли бывал резок до грубости: «Я смотрю, Гладстон прямо в лепешку расшибается в Уитби, — еще много лет назад писал он Гукеру. — Того и гляди вывернется наизнанку, точно гидра какая-нибудь, и, надо думать, будет витийствовать в этом состоянии нисколько не хуже, чем обычно».

Статья «Толкователи Книги бытия и исследователи природы» появилась в декабрьском номере «Девятнадцатого века». «Почитайте-ка, убедитесь, хорошо ли я отделал Великого Старца, — писал Гексли Спенсеру. — Горжусь этой статьей как научной работой и доказательством того, что вулкан еще не потух». Что ж, как свидетельство о состоянии здоровья статья и вправду производит впечатление, но для литературного сочинения она довольно-таки многословна и скучновата. Вежливо, но твердо и настойчиво Гексли объясняет, что и научные теории, и изречения Книги бытия не настолько растяжимы, чтобы их можно было шутя привести в соответствие.

«Не религии враждебна наука, — заключает он, — а тем языческим пережиткам и дурной философии, которые нередко грозят раздавить саму религию. Что же касается меня, я верю, что вражда эта не прекратится никогда и до скончания веков подлинная наука будет осуществлять одно из самых своих благодетельных назначений, а именно — высвобождать человека из-под бремени лженауки, которую ему навязывают во имя

религии».

Гладстон был в эту пору премьер-министром и готовился внести в парламент первый свой билль о гомруле[249]. Ирландцы вели себя безрассудно как никогда, консерваторы — как никогда, более вероломно. Может быть, престарелый государственный муж и не работал за десятерых, как бывало, но за пятерых он, во всяком случае, работал. Тем не менее у него нашлось время наскоро сочинить ответ Гексли, каковой и появился в январском номере «Девятнадцатого века» за 1886 год. С непоколебимой учтивостью он перечислил все наиболее ощутимые выпады Гексли и, величаво подставив противнику другую щеку, принялся примирять Книгу бытия не только с Кювье, но и с авторами новейших учебников по геологии и палеонтологии. Если в каких-то незначащих подробностях автор Моисеева пятикнижия не всегда сходится со столпами современной науки, так ведь он писал во исполнение недвусмысленного промысла господня, состоящего не в том, чтобы наставлять род людской в науках, а в том, чтобы просвещать его в нравственности и религии. К тому же, с голубиного кротостью закончил Гладстон, религия — предмет несколько более серьезный, чем, судя по всему, представляется профессору Гексли.

Нетрудно вообразить, какое действие произвела на Гексли эта исполненная достоинства увертка. Никогда еще так прекрасно не работало его пищеварение, никогда еще не был нрав его так ужасен. Он понимал, что сказать ему по этому поводу больше нечего, а не ответить тоже нельзя. Он и ответил, не пожалев при этом слов. Редактор журнала в тревоге прислал ему рукопись обратно. «Нынче утром битых три часа укрощал своего дикого кота, — писал о переработке статьи Гексли. — Теперь он у меня охолощен, клыки подпилены, когти подрезаны, рычать его научили так, чтобы получалось „мяу“, плевать — как откашливаться, и теперь, когда его выпустят из мешка, Вы не отличите его от ручного кролика». Но, говоря точнее, Гексли стал диким котом в кроличьей шкуре. Он пишет, что великий парламентарий «напустил туману своими доводами». Гладстон, говорит он, не везде согласен с самим собой, кое-где не согласен со священным писанием и нигде, по существу, не согласен с теми столпами современной науки, которых он так уверенно цитирует. И еще Гексли изъявлял желание узнать, что у небулярной гипотезы общего с такими, например, утверждениями, как «…И Дух Божий носился над водою».

Теперь в дело вступили борцы более легкого веса; вновь и вновь оглашались ратными кликами небывалой протяженности страницы «Девятнадцатого века». Гексли же, сняв с себя после

второй статьи воинские доспехи, подобно кентавру Хирону, вознесся в звездные выси научной беспристрастности: в своей работе «Эволюция теологии, опыт антропологического анализа» (1886 год) он рассматривает религию как «естественный продукт деятельности человеческого разума». Библия — это не книга, а целая литература, «многослойные (нередко беспорядочные и даже расположенные в обратной последовательности) отложения потока духовной и нравственной жизни израильского народа, накопившиеся за много столетий». Разбирая религиозные верования Книги судей, а также Первой и Второй Книг царств, он относит их к ступени монолатрии, иначе — поклонения племенному божеству, находящемуся на полпути между чистым единобожием пророков, в которое ему суждено было перейти в дальнейшем, и присущим всем первобытным культурам анемизмом, из которого монолатрия, без сомнения, возникла.

Но Гексли как раз тогда и был опасней всего, когда разил врагов с позиций науки. «Эволюция теологии» — это прямое продолжение «Места человека в природе», ее верней было бы назвать «Место теологии в природе». Гексли низводит религию к ее истокам, как ранее низвел человека к его истокам, и разоблачает идею сверхъестественных причин, показывая, что на их месте с равным успехом могли действовать естественные. В заключение он рисует широкую картину того, как становление иудаизма определялось влиянием Египта и Вавилона, а становление христианства — влиянием философии и науки. Одно из назначений науки — очистить религию от теологии, ибо религия тем прогрессивнее и возвышенней, чем она ближе к чистой этике, тем примитивнее и низменней, чем более она облекается в догмы и обряды.

Как ни упоительно было избиение Гладстона, но и оно не вполне исцелило меланхолию воинственного команча. В ближайшие два года Гексли спасался от хандры в Йоркшире, в Борнемуте и даже в Альпах, где за одно воистину счастливое лето провел ценные исследования растения горечавки. Когда он бывал бодр, он занимался наукой. Когда хандрил, «жалил» богословие. Вообще же, он убедился, что, пока есть возможность пройти пешком миль десять в день или же закусить иной раз незадачливым политиком или философом, сносное настроение ему обеспечено.

Хитрый Спенсер в промежутке между частями автобиографии, которые он присылал Гексли на отзыв, подкинул ему философа. Обратил ли Гексли внимание, что в ноябрьском номере «Двухнедельного обозрения» за 1886 год У. С. Лилли напечатал статью «Материализм и нравственность», в которой,

понятное дело, доказывает, что Спенсер и Гексли, как материалисты, далеки от нравственности? Гексли прочел — и уступил велениям своей натуры.

Итогом явилась «Наука и нравственность», опубликованная в следующем номере «Обозрения». В этом очерке не сказано ничего нового, но все, что сказано, преподносится с небывалым искусством. Это, по сути дела, пример того, как можно превратить апологетику в способ нападения. Гексли предстает перед читателями во власянице с главою, посыпанной пеплом научного скептицизма, и удаляется в той же власянице, но уже удивительно похожей на папскую мантию, облекающую самый твердокаменный догматизм. Начинает он с мягкого возражения против режущего слух слова «материализм». Материализм, по Бюхнеру[250], толкует вселенную в понятиях материи и силы. Но ведь наука не пытается свести сознание к материи и силе. Мало того, она признает, что материя и сила сами нематериальны и загадочны. Как может неделимый атом занимать пространство? Как он может воздействовать на другие атомы силою, заключенной ни в чем?

С другой стороны, рассуждает Гексли, разум, несомненно, зависит от физических причин. Изменениям в сознании определенно предшествуют изменения физиологические, как движению руки предшествует сокращение мышц. Он вновь подтверждает свою веру в «детерминизм», ибо противоположность детерминизму есть самопроизвольность, а верить в самопроизвольность — значит верить в полный хаос. И все-таки, на его взгляд, он не более детерминист, чем Фома Аквинский и епископ Беркли, и, хоть он материалист, не менее их волен верить в разумное божество. Лилли, наверное, читал эту статью в некотором недоумении, тем более что Гексли нигде не допускает, что духовные явления могут по-настоящему влиять на явления физические. Заканчивает он знаменитой метафорой, в которой наука представлена Золушкой, а теология и философия — ее злыми сестрицами:

«Она топит печку, подметает дом, готовит обед, а ей в благодарность говорят, что она убогое существо, поглощенное низменными, материальными заботами. Зато там, на чердаке, ее посещают волшебные видения, недоступные двум сварливым тупицам, которые грызутся внизу…

Она знает, что оплот нравственности… — подлинная жизненная вера в твердый порядок, заведенный в природе, по которому безнравственность с такою же неизбежностью влечет за собой разброд в обществе, с какой плотские излишества влекут за собой телесные недуги».

Издатель «Двухнедельного обозрения» заявил, что без этой статьи «просто не состоялся бы декабрьский номер».

В споры с теологией Гексли оказался втянут снова из-за проповеди, произнесенной каноником Лиддоном. Маститый проповедник утверждал, будто катаклизмы — в особенности катаклизмы священные — суть случаи замены действия природных законов низшего порядка действием законов высших. Гексли в «Псевдонаучном реализме» поясняет, что такой образ мыслей — очевидный пережиток средневекового реализма, которому универсалии представлялись существующими в действительности. А между тем физические законы — это не силы, которые действуют сами по себе. Они никоим образом не сковывают природу и не способны противодействовать друг другу или друг друга замещать. Это просто обобщенные выводы из опыта и, таким образом — средство, при помощи которого можно с высокой степенью вероятности предсказать будущее.

По своему размаху, по выразительности это замечательное сочинение. Скупыми мазками Гексли рисует историю метафизической мысли; чтобы разделаться со средневековым представлением о космосе, ему, например, достаточно одной фразы:

«Средоточием этого мира была Божественная Троица. Окруженная иерархическим сонмом ангелов и святых, она взирала с высоты на подвластный ей ничтожный мирок разумных существ. Там, на краю преисподней, где затаилось вечное проклятие, денно и нощно барахтались людские душонки, придавленные низменностью своего телесного воплощения, непрестанно одолеваемые, на свою погибель, столь же многочисленным и едва ли не столь же всесильным сонмом дьяволов».

Он не отказывает философам-схоластам в человечности, даже в наличии ума: ведь они не давали угаснуть мысли — только мыслили они о ерунде.

Гексли выпустил стрелу в каноника Лиддона, но охнул герцог Аргайльский. Его статья «Власть закона», полная метафизической мути и нравоучительной укоризны, занимает страниц двадцать мартовского «Обозрения». Герцогу больно, но это еще не все: герцог разгневан и потому, вполне естественно, приписывает себе бесстрастность Гексли, а всю свою злость — противнику. Итак, «профессор» в целом прав, но он позволил себе непристойный и злопыхательский выпад против церковной кафедры. И герцог принимается объяснять, что имел в виду каноник и как следует понимать слова профессора, и в конце концов становится уже совсем неясно, кто что хотел сказать. А в результате оказывается,

что из-за непреложности дарвиновского авторитета в науке установился «режим террора», против которого, как предрекали их светлость, взбунтуется со временем сам Гексли.

Гексли живо смекнул — а изучив статью герцога, удостоверился окончательно, — что высокородный автор статьи, защищая каноника, отстаивает собственные путаные взгляды. В ответ ему Гексли в статье «Наука и лженаука» четко проследил, что вкладывали в понятие «естественный закон» от Бэкона до современности, показав, например, что закон сохранения энергии повсеместно, в органической и неорганической природе, характеризует единообразие последовательности событий, которое не оставляет места никаким перетасовкам «высших» и «низших» законов. Напоследок он бранит герцога за его самонадеянное невежество и безнадежный сумбур в голове, которые вынудили Гексли, по его словам, тратить время на писанину по поводу совершенно очевидных вещей.

Гексли рассчитывал, что герцог оробеет и умолкнет. А вышло, что тот, напротив, взвился до небес. В статье «Прекрасный урок», напечатанной в сентябрьском номере «Двухнедельного обозрения», он высокопарно излагает сперва дарвиновскую теорию коралловых рифов, а затем — противоположную, разработанную Джоном Мэрреем во время экспедиции на «Чэлленджере». Стало быть, Дарвин тоже способен заблуждаться, однако перед ним так благоговеют, что Мэррей под влиянием других ученых целых два года не решался опубликовать свои данные.

На сей раз Гексли не удостоил герцога персональным ответом, а только указал в конце своей «Епископальной трилогии», что Мэррей вовсе не доказал ошибки Дарвина насчет коралловых рифов. Американец Дана[251], например, после исчерпывающих исследований сделал вывод, что наилучшим образом все факты объясняет все-таки теория Дарвина.

Работа «Епископальная трилогия», напечатанная в ноябрьском номере «Обозрения» за 1887 год, посвящена главным образом выступлениям трех просвещенных епископов на одной из сессий Британской ассоциации. Гексли соглашается с ними, что наука и религия по природе своей не противоречат друг другу. Духовную сущность христианства можно было бы сохранить нетронутой, надо только отбросить прочь всю вздорную болтовню о чудесах. Язык автора исполнен великодушия: он понимает, он идет на уступки. Он допускает, что молитва может бесспорно быть действенным средством в психологическом и даже практическом смысле. Он признает, что над учеными «в полной мере тяготеет первородный грех». Астрономия не возвышает их

души, а микробиология не учит смирению. Но когда разговор заходит о достижениях науки, его истинные чувства становятся ясней:

«Поборникам теологии, утверждающим, будто с уничтожением их догм исчезнет и нравственность, не мешало бы принять в расчет, что, скажем, в таком вопросе, как стремление к достоверности, наука уже намного опередила все вероучения и в этом частном отношении оказывает на человечество воспитательное воздействие, на какое церковь показала себя решительно неспособной».

Вернулась хандра и вновь погнала его на чужбину, заставив скитаться по отелям Йоркшира и Швейцарии. Он сделался привычной фигурой в каких-то кафе за границей и в провинции — человек с громкой славой и грустным взглядом, с седеющими баками. Безвестные медики провожали его горящими влюбленными глазами, богобоязненные старые девы — змеиным ненавидящим шелестом. Гексли был так погружен в свои мысли, что не замечал, какой он возбуждает интерес. В последнее время стала прихварывать Генриетта, а в 1887 году умерла от пневмонии его вторая дочь Марион, в замужестве миссис Кольер. Перед этим она проболела три года. Гексли то надеялся, то терял надежду.

«Честно говоря… я опасался, как бы все это постепенно не перешло в слабоумие… — признается он Гукеру в письме, которым сказано многое. — Это была блестяще одаренная натура, с такими способностями к искусству, какие, по словам некоторых крупных мастеров, можно смело назвать выдающимся талантом; она была совершенно счастлива в браке — ее муж с начала и до конца выказывал по отношению к ней самую безграничную преданность — казалось, весь мир… открыт этому молодому существу. Но более трех лет назад, вслед за рождением ее последнего ребенка, у нее началась черная меланхолия (в самой жестокой форме)».

Должно быть, Гексли усматривал здесь одно из страшных, неотвратимых проявлений наследственности. К счастью, ему пришлось почти сразу же пуститься в дорогу за четыреста миль, чтобы выступить в душном, жарком, переполненном зале с речью о техническом образовании. Едва ли это его утешило, но все-таки он вернулся приободренный.

Вообще, это были невеселые годы. Он жаловался, что всякий раз, как сбежит от тоски в Йоркшир или Швейцарию, приехав обратно, не застает в живых кого-нибудь из старых друзей. В 1888 году умер в ливерпульском отеле Мэтью Арнольд. Невольно Гексли приходили на ум мысли о собственной кончине. «Смерть

бедняги Арнольда меня потрясла — и не столько из-за него самого, сколько из-за его жены… — писал он Фостеру. — Я всегда считал, что для человека самое лучшее умереть внезапно… но для тех, кто его переживет, это пытка.

Арнольд еще много лет тому назад говорил, что у него больное сердце». И как раз в это время Гексли узнал, что у него тоже неладно с сердцем. «Слабость и некоторое расширение левого желудочка». Хорошо, что клапаны были в порядке. «Полагаю, что мне едва ли грозит скоропостижная смерть. Иначе я не уезжал бы за границу. Подумать, какой ужас обречь свою жену всем тяготам, а самому быстро и легко умереть где-нибудь в швейцарском отеле!»

«Икс-клуб», некогда место встреч веселых заговорщиков, вершителей судеб науки, выродился к этому времени в кружок немощных, замученных работой стариков, которые чуточку друг другу надоели и, пожалуй, чуточку страдали от грубоватой пищи.

«Мне давно уже более чем ясно, — писал Гексли Гукеру еще в 1883 году, — что отношения у нас в „Иксе“ кое у кого очень натянуты. Я замечаю, что сильные люди к старости приобретают черты поразительного сходства с обезьянами и, чуть что не по ним, приходят в ярость и норовят сцепиться друг с другом. Я это ощущаю по себе. Эта склонность мне отвратительна, и, когда бывает время подумать, я стараюсь подавить ее любой ценой».

В 1888 году Гексли поместил в «Трудах Королевского общества» некролог, посвященный Чарлзу Дарвину. Сочинять некролог, надо полагать, в любом случае занятие не из приятных, а тут еще автор был скорей настроен оплакивать не Дарвина, а самого себя. Правда, он располагал превосходным материалом: были богатые личные впечатления о старом друге; был такой ценный источник, как собственноручная дарвиновская «Автобиография»; была, наконец, только что опубликованная Френсисом Дарвином «Жизнь и переписка», его отца. Гексли затратил пропасть усилий, но, верный благочестивым традициям своего времени, сотворил лишь то же шаблонное чудо, что и другие биографы викторианской эпохи: Пигмалионово превращение в обратном порядке. Живой друг превращен в мраморное изваяние — а верней, в некий монументальный камень для оттачивания моральных секир. Так, равнодушие Дарвина к учению в молодые годы, оказывается, свидетельствует о том, что обычное классическое образование не способно возбудить интерес глубокого ума. В личных письмах того же времени Гексли высказывался куда более живо и ярко.

«Изложение никак не назовешь сильной стороною Дарвина, — делился он со своим молодым коллегой Фостером, —

да и язык у него подчас такой, что диву даешься. И все-таки ему присуща какая-то неизреченная и чудесная умудренность — словно у умного пса из сказки, — и путями неисповедимыми, как язычник-китаец, он все-таки приходит к истине».

В 1888 году, через год после его старого друга Гукера, Королевское общество наградило Гексли Коплеевской медалью. И он, кому так часто случалось сиживать на торжественных обедах зримым и громогласным наместником Дарвина, вкушая яства, которые Дарвину есть было нельзя, теперь не мог угоститься на банкете, устроенном в честь его самого. Он получил медаль на предварительном заседании и уехал. А той же осенью он вышел из совета попечителей Итонского колледжа. За последние полтора года ему ни разу не удалось выбраться на совещание.

Стремительно настигали его мелкие неприятности, уготованные людям под старость: появился шум в ушах, пришлось носить кашне, тяжелую шубу. Довелось столкнуться и с последствиями собственной широты взглядов. Он не раз утверждал, что простой здравый смысл дает право вдовцу жениться на сестре своей жены. А в январе 1889 года он узнал, что его младшая дочь Этель собирается замуж за Джона Колльера, овдовевшего после смерти Марион. Гексли вдруг понял: он всегда надеялся, что никто из его собственных дочерей этот разумный шаг не предпримет. Впрочем, сообщил он Гукеру, «какие бы неловкости и комариные укусы их ни ждали, я не знаю человека, который обратит на них меньше внимания, чем Этель».

Викторианцы были народ серьезный, и, чтобы задеть их за живое, хорошую книгу писать не требовалось. Достаточно было написать серьезную. «Роберт Элсмер» был серьезен донельзя; автор, миссис Уорд, сумела перевести на шаблонный язык современной нравоучительной мелодрамы «Литературу и догму» своего дядюшки Мэтью Арнольда. В уединенную долину Уэстморленда приезжает отдохнуть после Оксфорда и лихорадки Роберт Элсмер. Это молодой священник, которому его добродетели придают не меньше романтического очарования, чем герою более привычного образца — его бицепсы. Здесь Роберт Элсмер влюбляется в прекрасную и безгрешную Кэтрин Лейберн, а она при всей возвышенности своих христианских устремлений все-таки дева достаточно земная, чтобы ответить на его любовь. Он получает приход в Суррее. Влюбленные женятся, нянчат ребенка и живут припеваючи, пока Роберт не заводит дружбу с неким зловещим сквайром, который, вместо того чтобы запирать на чердаке свою помешанную жену, сидит в библиотеке, почитывая Гиббона и Юма. Сквайр заводит речь о святых чудесах,

и вера Роберта рушится как карточный домик. Он отказывается от обязанностей христианского пастыря, едет с женою в Лондон, основывает новую веру, исповедующую человеколюбие, и принимает мученическую смерть в благих трудах, питая сирот и утешая страждущих.

Нельзя сказать, чтобы роман миссис Уорд произвел переворот, скорей он возвестил переворот, который уже совершился. Любители романов, никогда не державшие в руках книжек вроде «Происхождения видов» и «Литературы и догмы», приняли заключенные в них идеи как откровение. Гладстон, пожалуй, «Происхождения» читать и не думал, зато «Роберта Элсмера», конечно, прочел и посвятил ему одну из самых глубоких своих статей. Цель книги, отмечает он, «исключить из христианства элемент сверхъестественного, разрушить его догматический костяк, сохранив в неприкосновенности нравственные и духовные его плоды». История показывает, что религия не способна надолго пережить исповедуемое ею божество, а тип личности — религиозные догматы, на которых он формировался. Что же касается чудес, они заложены в самой основе христианства. Они неотделимы, с одной стороны, от чудотворного жития, удостоверяющего божественную природу Христа, а с другой — от догматов, предписывающих, каким образом эту божественность чтить. Без этой христианской схемы христианский склад личности сохранится едва ли.

«Роберт Элсмер» привлек внимание не только государства, но и церкви. Церковный собор, созванный осенью 1888 года, усмотрел в нем последний симптом застарелого недуга; и на одном из вечерних заседаний, специально посвященных этому вопросу, довольно-таки опрометчиво употреблялось новомодное словцо «агностицизм». Епископ Питерборосский под крики одобрения осудил «трусливый агностицизм», а ректор Королевского колледжа доктор Уэйс воскликнул, что агностик — это человек, который под тем предлогом, что о невидимом мире не имеется-де научных сведений, не желает признавать Иисуса Христа. Истинное имя ему — неверный.

Разумеется, Гексли прочел «Официальный отчет о церковном соборе». В февральском номере «Девятнадцатого века» за 1889 год он отозвался на это событие большой поучительной и довольно ядовитой статьей «Агностицизм». Ему не представляется, что слова «агностик» и «неверный» равнозначны. Доктор Уэйс, например, не признает пророка Магомета. Значит, магометане сочтут его неверным — как бы истово он ни исповедовал собственную религию. Короче говоря, его толкование слова «агностик» выражает скорей не принцип, а

предубеждение. Но разве его верность христианской религии не такое же предубеждение?

Сознательная вера, по словам автора «Роберта Элсмера», основывается на достоверности фактов. Ну а, скажем, библейская история с гергесинскими свиньями зиждется на весьма сомнительных данных. Во-первых, как и многое другое в Новом завете, она в разных евангелиях излагается далеко не одинаково. Кроме того, уничтожение ценного домашнего скота говорит о легкомыслии, недостойном Иисуса и несвойственном ему. Опять-таки изгнание бесов из людей и вселение их в свиней связано с суеверием, распространенным среди всех народов на ступени варварства, и влечет за собою грубейшие заблуждения и жестокости. Неужели Иисус разделял это суеверие, а если разделял — как это вяжется с его божественной природой? И наконец, христианство не представляет собою стройного единства, признанного всеми христианами. Доктора Уэйса, к примеру, сочли бы неверным не только буддист и магометанин, но также современный католик и древний назареянин. В то же время агностиком его не сочтет никто.

«Агностицизм — это, собственно, не вероучение, а метод, сущность которого сводится к строгому применению единого принципа. Принцип этот существует с глубокой древности, со времен Сократа; он стар, как изречение апостола: „Все испытывайте, хорошего держитесь“; этот принцип — основа Реформации, а она просто иллюстрация к той аксиоме, что каждый человек должен иметь возможность дать объяснение живущей в нем вере; это великий принцип Декарта; это коренная аксиома современной науки. Позитивно этот принцип можно было бы выразить так: „В сфере умственной деятельности, не считаясь ни с какими иными соображениями, следуйте за вашим рассудком, куда бы он вас ни завел“. А негативно так: „В сфере умственной деятельности не делайте вид, будто какие-то выводы верны, если они не доказаны или недоказуемы“».

Агностик — в том смысле, в каком впервые применил это слово Гексли во времена «Метафизического общества», — действительно следовал за рассудком, но утверждал, что даже рассудок не может увести его очень далеко, что — подлинная реальность, которая кроется за внешней видимостью, непознаваема. Ради того, чтобы разом привлечь на свою сторону и Сократа, и Лютера, и Декарта и подчеркнуть древность свободного исследования, от которого и ведется агностицизм, Гексли явно нанес ущерб ценному термину.

Статью завершает отступление, посвященное «Будущему агностицизма» Фредерика Гаррисона, напечатанному в январском

номере «Двухнедельного обозрения». Гексли превзошел самого себя в галантности, восхищаясь глубиною гаррисоновского ума вообще и наглядно показывая, что за безмозглое бревно этот Гаррисон в частности. Однако сквозь россыпи его полемических фейерверков снова проглядывает хмурая даль печали.

«Я не знаю более удручающего предмета исследования, чем эволюция человечества, какою она представлена в анналах истории. Из тьмы доисторических времен человек выступает, отмеченный неизгладимой печатью своего низменного происхождения. Он зверь, только сообразительней, чем остальное зверье, слепое орудие страстей, которые достаточно часто приводят его к гибели; жертва бессчетных иллюзий, превращающих душевную жизнь его в страшное и тяжкое бремя, наполняющих его физическое существование бесплодным трудом и борением. При благоприятных условиях на равнинах Месопотамии или Египта он устраивается с известной долей удобства и разрабатывает более или менее приемлемую теорию жизни, а потом тысячи и тысячи лет средь неисчислимых зол, кровопролитий и страданий с переменным успехом борется за то, чтобы удержаться на этом уровне существования вопреки алчным вожделениям своих же собратьев, людей. Человек ставит себе за правило убивать и подвергать гонениям всякого, кто первым пытается сдвинуть его с места, а если все-таки сдвинется хоть на шаг, вопреки здравому смыслу возводит свою жертву после смерти в божественное достоинство… А лучшие из людей в лучшие времена — просто те, кто совершает меньше всего ошибок и грехов».

Одним словом, история в целом не более как совокупность убедительных проявлений первородного греха. Она отражает постепенное отступление самобытного в человеке, извечную трагедию бунтаря и зачинателя нового. Редко встретишь столь красноречивое и мрачное изложение рационалистически-протестантского взгляда на вещи.

«Агностицизм» вызвал ответное нападение двуглавой гидры, представленной доктором Уэйсом и епископом Питеборосским. Епископ расправил плечи и засучил рукава лишь затем, чтобы рассыпаться в изысканнейших полемических любезностях, зато доктор Уэйс нежданно обнаружил твердость и логики и характера. Нимало не оробев, он спокойно разъяснил свои отправные позиции и смысл возражений Гексли, так что первые стали выглядеть вполне здравыми, а вторые — достаточно вздорными. Он прекрасно отдает себе отчет в том, что «неверный» — термин относительный, и именно так его употребил. Ему известно, что свидетельства, на которых основывается

христианская религия, представляют собою сложную проблему и что одни места Нового завета менее достоверны, чем другие. Он даже позволяет себе поправить Гексли относительно кое-каких тонкостей, в коих расходятся крупнейшие критики священного писания. Что касается истории с гергесинскими свиньями, достоверна она или нет, эта история не очень существенна для христианской веры. Существенны Страсти Христовы, «Отче наш» и Нагорная проповедь. В них-то и заложена высшая — не научная, а нравственная — достоверность, которая не может не снискать признания чутких и благочестивых душ.

Длинным и отнюдь не Платоновым диалогом под названием «Новая реформация» Уэйсу косвенно ответила миссис Уорд. Ее воображение поразили терпеливые и смелые исследования немецких критиков библии, великолепный драматизм описываемых в ней событий, так светло проступивших из дремучей тьмы разночтений. Немцы открыли в Христе человеческое начало, а в чудесах и теологии — человеческую историю. Они показали, что история созрела для пришествия Иисуса задолго до его рождения, оттого-то он и оказался способен так долго после смерти творить ее по-своему; что, в сущности, он явился редкостно счастливым сочетанием l'homme, le moment et le milieu[252]. Одним словом, миссис Уорд доказывала, что высшая нравственная достоверность, о которой толкует доктор Уэйс, возникла в ходе исторического процесса.

Естественно, Гексли встретил статью миссис Уорд самым горячим одобрением. Подобно тому как он утверждал, что жизнь во всех ее проявлениях едина, так она утверждала, что «едина вся история». Более того, она показала, что союз науки и религии уже состоялся, и снабдила его превосходным определением — «Новая реформация». «Если бы мне только удалось оказать скромное содействие „Новой реформации“, — писал Гексли Ноулсу, — я счел бы, что совсем не напрасно потратил жалкий остаток своих дней».

Его статья «Агностицизм; возражение критикам», несомненно, являет собою нечто куда более внушительное и воинственное, чем «скромное содействие». Доктор Уэйс утверждал, будто ядром христианского учения являются Нагорная проповедь и «Отче наш». Прекрасно; Гексли принялся дробить это ядро: в евангелиях по-настоящему не существует единого мнения ни об «Отче наш», ни о Нагорной проповеди.

В этой полемике, как и во всем прочем, Гексли выступает как детерминист. Рядом с величием исторических сил для человеческого — или сверхчеловеческого — величия не остается места.

В то же время растущая неприязнь к сентиментализму в политике и в богословии побудила его высказать сдержанное одобрение кальвинизму старомодного образца.

«Учения о предопределении, о первородном грехе, о прирожденной греховности человека и погибели, уготованной большей части рода людского; о первенствующей роли лукавого в мирских делах, об изначальной низменности земного, о злокозненном Демиурге, подвластном всеблагому и всемогущему господу, лишь недавно себя явившему, — при всем своем несовершенстве все эти учения, по-моему, значительно ближе к истине, чем общераспространенные „либеральные“ измышления, будто все младенцы рождаются на свет хорошими, а ежели таковыми не вырастают, виной тому дурной пример растленного общества; будто достичь этического идеала дано всякому, стоит лишь постараться; будто любое частное зло служит всеобщему благу, — и прочие радужные выдумки наподобие той, что рядит „провидение“ в тогу отеческого человеколюбия и велит нам верить, будто в конце концов все образуется (соответственно нашему пониманию).»

Этот отрывок дает представление, до каких высот полемического искусства способен был подняться Гексли, когда ему удавалось отрешиться от рассуждений о гергесинских свиньях. Современные веяния романтизма он воспринимал особенно остро — видно, не зря он изучал в это время Руссо.

В 1890 году пришлось снова разнести в пух и в прах каноника Лиддона, который отстаивал божественную непреложность Ветхого завета лишь на том основании, что он-де — неотъемлемая основа системы христианства. В статье «Светочи церкви и светоч науки» Гексли признает, что, к несчастью, известная часть того, о чем повествуется в Ветхом завете, действительно неотъемлема от христианского богословия. И затем открывает огонь по измышлению насчет всемирного потопа сперва из своих испытанных научных орудий, а потом с помощью великолепной, новенькой, тщательно замаскированной батареи из арсенала археологических данных о Вавилоне. Последнюю часть статьи он посвятил доказательству того, что о потопе, будь он всемирным или хотя бы местным, не может быть речи, а если так, то долой его с церковной кафедры и из христианских учебников и энциклопедий[253].

В ту осень Гладстон объединил свои статьи о библии в книгу и издал под названием «Несокрушимая твердыня священного писания». Всякий критический разбор библии он расценивал как нечто не относящееся к сути дела, все свои прежние аргументы выдвинул вновь как нечто неопровержимое, предсказал быстрый

закат скептицизма и под конец отпустил колкость по адресу Гексли, которому после двух тысячелетий разнотолков выпало на долю, исследовав случай с гергесянскими свиньями, вывести господа бога на чистую воду как «обыкновенного злоумышленника и нарушителя законов». Гладстон объяснил, что страна Гергесинская принадлежала иудеям. Свинопасам ни к чему было разводить свиней: они не имели права употреблять в пищу свинину. Значит, Иисус имел все основания уничтожить их добро. Определенно в части несокрушимости ни одна твердыня не могла бы поспорить с черепом Великого Старца.

Перспектива вновь скрестить мечи с Гладстоном привела Гексли в такой восторг, что, ему в пору было чуть ли не благодарить за оскорбление. Очерк «Ревнители истины о свином стаде» так и брызжет веселостью, изобилуя метафорами, острыми, как нож, которым снимают скальпы, разящими, как томагавк, и мудрыми, как трубка мира. Лишь написав несколько страниц, автор исполняется серьезности, подобающей при осуждении коварства и невежества. Вслед за тем, как нетрудно догадаться, он доказывает, что страна Гергесинская принадлежала грекам и что оспаривать истинность какого-то случая, описанного в Новом завете, еще не значит бросать тень на личность Иисуса.

Однако уже настало время, когда стратегия Гексли — разить христианство в самое слабое место — стала оборачиваться против него самого. Демонология в евангелиях представляет собой достаточно важный вопрос, личность Иисуса — очень важный. И все же, когда два знаменитых человека без конца пререкаются о свиньях, они рискуют оказаться в смешном положении. Уже было отмечено в печати, что в таком возрасте можно бы найти более подходящее занятие. Гексли был склонен с этим согласиться, но перебранка тем не менее продолжалась. В «Девятнадцатом веке» за февраль 1891 года Гладстон принес ему извинения за свои выпады, но так высокомерно, что Гексли, поразмыслив на досуге, решил, что этого нельзя стерпеть, и разразился возмущенной статьей о «Полемических приемах мистера Гладстона». Как ни прискорбно, ему и тут не удалось обойтись без пресловутых свиней. Под конец он сделал отчаянную попытку придать им философское значение. Религия, этика, прогресс — все было поставлено в зависимость от того, как люди отнесутся к гергесинским свиньям. А людям гергесинские свиньи надоели. Полемика иссякла, пав жертвой собственной нелепости.

Создается такое впечатление, что, чем сильней одолевали Гексли годы и усталость, тем ожесточенней он воевал. Во всяком случае, в это же время он вел яростные словесные бои против «Армии спасения». Какая-то дама собралась пожертвовать тысячу

фунтов на осуществление программы генерала Бутса[254], изложенной в «Беспросветной Англии», но спохватилась и решила сначала узнать, как на это посмотрит Гексли. Гексли бросил взгляд на Армию спасения, потом на работу Бутса «Беспросветная Англия и выход из положения» и внезапно с содроганием убедился, что им открыто грозное национальное бедствие. Религиозное рвение в сочетании с культом Кибелы — скверная штука. Но во сто крат хуже религиозный фанатизм с военной организацией. Свои соображения он изложил на страницах «Таймс» в письмах, полных убедительных предостережений и ссылок на развращенность францисканцев и козни иезуитов.

На собственную роль в подобных схватках он склонен был смотреть не без сентиментальности.

«Может показаться, что выступать против „Армии спасения“ — значит пуститься на заведомо гиблое дело, — писал он своему сыну Леонарду, — но, если уж известный тебе старый пес во что-нибудь или в кого-нибудь запустит зубы, он челюстей не разожмет; такое у него всегда было правило, и менять его он не собирается. А тут самое главное — вцепиться мертвой хваткой…

Кстати, и „Таймс“ держится молодцом. Мир этот, в общем, не слишком приятное местечко, и все-таки в сокровенной глубине его, как проповедовал старик Карлейль, заложена правда, и она непременно выйдет наружу, надо только набраться терпения».

На этот раз предпринятая им кампания получилась и бесцветной и безуспешной. Письма, на первых порах яркие и живые, написанные в порыве обличительного азарта, скоро завязли в мелочной трясине голословных утверждений и опровержений. Несколько раз Гексли порывался под благовидным предлогом ретироваться, и, как назло, в утреннем выпуске непременно объявлялся новый противник. А тем временем «Армия спасения» благоденствовала как ни в чем не бывало, и генерал Бутс еще дожил до таких времен, что был официально приглашен на коронацию Эдуарда VII.

В литературном отношении статьи вроде «Агностицизма», «Агностицизма и христианства» по насыщенности, по блеску, по непреходящей злободневности уступают более ранним, не столь полемичным сочинениям, таким, как «Кусок мела» или «Гуманитарное образование».

Однако разрушение всегда выглядит эффектно, а войне с силами небесными — как бы небрежно и наспех она ни велась — всегда присуще нечто сатанински величественное. И потому оказалось, что Гексли — пожирателя епископов — знают больше, хоть, правда, читают меньше, чем Гексли — просветителя и сановника от науки.

Полемика, безусловно, — искусство в высшей степени тленное. Разногласия большею частью решает история, и так бесповоротно, что все споры начинают казаться не в меру затянутыми и склочными. Но бывает, что разногласия возникают вновь, и тогда в какой-то миг находится великий человек, чтобы их разъяснить, что, впрочем, не мешает потомкам пребывать все в тех же заблуждениях. Всякий полемист должен печься об истине и представлять себе не только за что, но и против чего он ратует. Но если вполне справедливым ему быть невозможно, то очень пристрастным он быть обязан. Обязан обладать терпеливо взлелеянным злорадством, видением, обостренным ненавистью, виртуозным мастерством обличения, живою способностью чувствовать остроту столкновения умов и характеров, обращающей полемику в драму. В споре интересней всего аргументация ad hominem[255], полемист-виртуоз имеет целью не истреблять, а, скорей наоборот, вызывать к жизни. Известны случаи, когда полемист одним уже накалом и красноречивостью своей ненависти обессмертил противника. Батлер сотворил себе Дарвина, какого ему было по плечу разоблачить и повергнуть ниц. Бывают, конечно, единицы вроде Берка, непревзойденные мастера, которые владеют не только литературными, но и интеллектуальными тонкостями своего ремесла и понимают противника так же глубоко, как ненавидят его, — эти будут отстаивать свое кровное с искусством и негодованием, достойными правого дела, которому они служат.

Гексли же недоставало и воображения, и восприимчивости к чужим суждениям. Он не настолько разбирался в людях, чтобы поддаться соблазну личных выпадов, и, уж во всяком случае, слишком чтил викторианские приличия, чтобы позволить себе безудержное злопыхательство. Он никогда не нападал на слабости — лишь на заблуждения; в этом смысле из всех его противников особняком стоит только Гладстон. Опять-таки в отношении религии и в других важных вопросах Гексли был часто свойствен негативный подход к предмету. Главное, он верил, что, если заставить всех всегда говорить правду, многие проблемы решатся сами собой. Что ж, спору нет, перемена была бы поразительная. Только, думается, едва ли настигнешь истину, гоняясь с полицейской дубинкой за заблуждением. Нужно гнаться за самою истиной.

И все же в лучшем, что им сделано, его отличает ясность мысли, логичность, широта познаний, живость, а часто и блеск ума. Он подмечал нелепость в самом ее корне, как в том случае, когда сказал, что учение Конта есть «католицизм *без* христианства». Им восхищаешься, когда он сжато, четко, внятно

строит свои рассуждения, — как в «Физических основах жизни», где идеализм мутнеет и расплывается в прозрачности материализма; или когда он пускает в ход свою могучую, разностороннюю эрудицию, — как в «Критиках мастера Дарвина», где он прибегает к доводам Майварта, чтобы опровергнуть идеи Майварта; или когда он в нужный момент ловко использует всю гамму возможностей сложной обстановки, как в «Науке и культуре», где он ухитрился дать отповедь всем своим противникам разом.

19
«IL FAUT CULTIVER NOTRE JARDIN» [256]

Итак, Гексли продолжал воевать, но теперь, по крайней мере на время, он нашел для себя новое поле битвы. Этим полем стала политика.

В 1886 году своими попытками провести через парламент гомруль для Ирландии Гладстон расколол партию либералов. В образовавшуюся брешь хлынули мятежные силы. Джон Стюарт Милль, этот новоявленный пророк, воспринявший власть Моисея-Бентама[257], уже провел утилитаристов через пустыдю компромисса, от индивидуалистического невмешательства к чему-то напоминающему социализм фабианского образца[258]. Уже переросла из достопримечательности Гайд-парка в нечто большее «Демократическая ассоциация рабочих», обратив в своего единомышленника Уильяма Морриса[259]. Уже провел свою пламенную кампанию за единый земельный налог Генри Джордж, обратив в своего единомышленника Уоллеса. В 1889 году начали выпускать свои «Очерки» фабианцы. В 1892 году предстояло родиться партии лейбористов.

Если в религии Гексли был сторонником крайних мер, то в политике он проявлял чрезвычайную осторожность. Мыслитель утилитаристского толка, он твердо верил в демократическую систему правления и превыше всего ценил свободу слова и свободу совести. В то же время, равно восхищаясь Гоббсом и Локком, он с недоверием относился к массам и терпеть не мог беспредметной и прочувствованной риторики, рассчитанной на то, чтобы их всколыхнуть. А пуще всего терпеть не мог политиков. Как ученый, он стоял за сильную власть, ибо стоял за расширение

здравоохранения, научной работы, образования, за то, чтобы людям науки предоставлялось больше должностей в науке. При этом он оставался полномочным представителем совершенно особого метода, используя антропологию, чтобы подрывать теорию общественного договора, а биологию — чтобы опровергать трудовую теорию стоимости.

Официально Гексли держался в стороне от политических пристрастий, сознавая, что от этого лишь более веско прозвучит его слово в защиту науки; однако в личных письмах он изъявлял и свое презрение к Гладстону, и отчаяние по поводу самоуправления в Ирландии, которое, на его взгляд, непоправимо ослабило бы способность Англии к обороне, посягнуло на земельные владения англичан в Ирландии и, наконец, вовлекло бы бедный и невежественный народ в опасную авантюру. По-видимому, он стоял не только за сильное правительство, но и за сильную империю и при случае — всегда умеренно и сдержанно — выражал одобрение таким консерваторам, как Солсбери, Чемберлен и из старшего поколения — Шафтсбери.

Свое вмешательство в политику Гексли начал в 1888 году с «Борьбы за существование в человеческом обществе», социологического примечания к «Происхождению видов». Гексли не усматривает особой справедливости в естественном отборе. Этот отбор означает прогресс, и он же знаменует смерть; но прогресс — дело долгое, а до смерти рукой подать. «Как-то неясно, что за утешение эогиппусу после всех его невзгод, если через столько-то миллионов лет какой-нибудь его потомок станет победителем на скачках». Цивилизация кладет борьбе человека за существование определенный предел, но каков этот предел и в какой мере дарвинизм распространяется на человеческое общество, Гексли не объясняет сам и не ссылается на посвященные этому вопросу книги вроде «Природы и политики» Бейджота.

Между тем он проводит как раз основную идею Бейджота, правда, в сугубо практическом и узком плане — естественный отбор происходит и среди человеческих общностей. Человек — существо цивилизованное, и тем не менее ему связывает руки природа. Когда он размножается, не сообразуясь с тем, хватит ли на всех пищи — а так бывает почти всегда, — он обречен на борьбу за существование, а значит, на нищету. И это относится не только к отдельным людям, но и к народам. Особенно остро и отчаянно эта борьба протекает для Англии, которая, чтобы покупать себе пропитание, вынуждена продавать свои товары по более низким ценам, чем ее конкуренты. Задача Англии — не проиграв в конкурентной борьбе, сохранять высокий жизненный и

культурный уровень. Решение задачи Гексли видит, во-первых, как и прежде, в техническом образовании и, во-вторых, в государственных учреждениях и государственных субсидиях. «Борьба за существование» определенно ведет к «Эволюции и этике».

Работа «Эволюция и этика» повлекла за собою ссору со Спенсером, а ссора, в свою очередь, косвенно побудила Гексли написать в 1890 году четыре политические статьи. Спенсеру, при всех его «неприятных ощущениях в голове» и привычке смотреть на себя как на тяжелого инвалида, были свойственны необычайная общительность и способность развлекаться.

«Час тому назад заезжал Спенсер, чирикал как воробушек, — сообщал Гукеру Гексли, очередной раз сосланный в Борнемут для поправления здоровья. — Во вторник едет обратно в Лондон, чтобы ринуться в пучину столичных увеселений». В промежутках между учеными размышлениями и подбором мудрёных слов, в которые их следовало облечь, голова философа бывала занята планами прогулок и пикников. Отчего бы, скажем, не поехать кататься на яхте? «Возьмем миссис Тиндаль, Вашу жену, Беатрис Поттер (разумеется, если это не повлечет за собою каких-нибудь домашних неурядиц!) и составим, мне кажется, премилое общество… Я думаю, достаточно будет лишь обмолвиться об этой затее, и Валентин Смит, наверное, предоставит в наше распоряжение свою паровую яхту». Дружба Гексли со Спенсером была похожа на веселую войну, в которой они сражались с церковниками и идеалистами из-за главного, а друг с другом — из-за частностей.

Но война не может постоянно способствовать согласию. Читая «Борьбу за существование в человеческом обществе», Спенсер обнаружил в ней собственные мысли, частью заимствованные, частью опровергаемые, о чем и уведомил своего старого друга в письме. Гексли пришел к этим мыслям слишком поздно и к тому же воспользовался ими не лучшим образом. Несмотря на борьбу за существование, Спенсер отрицал, что бедность все еще составляет для Англии проблему, а если бы и составляла, то он считал, что ее не решить содействием государства. Он, собственно, предпочел бы ответить на это сочинение в печати, однако воздержался — во-первых, чтобы сберечь силы (сколько можно понять, для более важной работы), а во-вторых, чтобы не испортить отношений с Гексли.

Неприятным и обидным по тону было все письмо; но Гексли, разборчивый как истый полемист, вышел из себя лишь от скрытого намека, будто его способна вывести из себя критика. «Мне вовсе не улыбается слышать, что меня избегают критиковать

из опасения, как бы я не стал косо смотреть на критика. Не так уж я мало ценю старую дружбу, и самая жестокая критика не подействовала бы на меня столь тягостно, как признание в подобного рода соображениях». Присмирев на время, Спенсер объяснился в более мягком тоне, и был заключен шаткий мир. Не прошло, однако, двух лет, как этот мир был нарушен: Спенсер бесцеремонно предложил прислать Гексли вторую половину рукописи своей «Автобиографии» с каким-то посторонним человеком, и Гексли обиделся. Последовала сухая записка от Спенсера, величественно-холодный ответ от Гексли и затем на несколько недель молчание с обеих сторон. Тем временем Гексли в поддержку Спенсера принял участие в долгой дискуссии о национализации земель на страницах газеты «Таймс». По какому-то поводу он шутливо заметил, что его старый друг, вероятно, взялся бы лечить людей от холеры дедукцией. В ответ на это Спенсер написал Гукеру, что намерен выйти из «Икс-клуба». «Мало того что по милости Гексли у меня вновь серьезно пошатнулось здоровье, — жаловался он, — мне нанесли непоправимый урон, выставив меня дураком перед сотней тысяч читателей». После кое-каких посреднических шагов со стороны Гукера Гексли написал Спенсеру:

«Прошу Вас понять: когда я писал письма, на которые Вы сетуете, я не имел ни малейшего желания выставлять Вас на посмешище своею остротой — кстати, Вы сами часто смеялись над гораздо более злыми шутками — или проявлять более враждебное отношение к Вашим взглядам, чем то, какое всегда проявлял в частных беседах с Вами и, по крайней мере, раз десять при других».

Такая непогрешимость прощается трудно даже людьми ровными и рассудительными. А Спенсер — как напоминали Гексли их общие друзья, пока тянулась эта размолвка, — ни рассудительностью, ни ровным нравом не отличался. Впрочем, по-видимому, он и на сей раз склонился перед нравственным превосходством обидчика: сердечность в их письмах стала несколько натянутой, но переписка все-таки продолжалась.

Последнее — и достаточно пространное — слово Гексли о национализации земель прозвучало с почтенных страниц «Девятнадцатого века». С точки зрения Гексли подобная социалистическая мера, равно как и всякая другая, относится к области утопических иллюзий, опасных при существующих масштабах жестокой нужды. Очевидно, ни Маркса, ни фабианцев он не читал — во всяком случае, наиболее значительным из современных провозвестников революции ему представлялся

Генри Джордж. «Вам не случалось читать книгу Генри Джорджа „Прогресс и бедность“? — спрашивал он Ноулса. — Чушь несусветная, хуже, чем бредни бедняги Руссо. И подумать только, каким эта книжка пользуется успехом». Спасение неимущих, на взгляд Гексли, дело рук самих неимущих, государству же отводится вспомогательная роль: обеспечить для них основательное начальное образование и еще, пожалуй, возможность извлечь из него определенную выгоду в дальнейшем. Осудив в свое время как нигилизм крайние проявления политики «laisser faire», Гексли сейчас выступал в поддержку частного предпринимательства, как существенного условия подлинной справедливости и здоровой инициативы.

В «Естественном неравенстве человека» Гексли судит о современных революционерах, возвращаясь к архиреволюционеру и борцу за равенство Руссо. Из «Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства между людьми» следует, что, отменив частную собственность, цивилизованный человек может вновь обрести ту полноту свободы и равенства, какую знали его первобытные предки в «естественном состоянии». К этому «естественному состоянию», на котором и строит свои рассуждения Руссо, Гексли относится со всем пренебрежением, на какое способен ученый. Непохоже, кстати, чтобы в него верил и сам автор «Рассуждения». Недаром у него сказано, что, если подобного состояния никогда не существовало, ему бы следовало существовать. Гексли здесь усматривает, помимо интеллектуальной беспомощности, неуклюжую попытку создать идеальный шаблон. С этого места его работа сама становится «Рассуждением о неравенстве», каким его надлежало бы написать. Вслед за Генри Мэном Гексли возводит теорию «естественного состояния» еще к элементам философии стоиков в римском праве, где понятия естественной свободы и равенства служат удобными правовыми ширмами. Больше, как считает автор, они никогда ничем и не были. Новорожденные младенцы вовсе не свободны, а равны лишь в смысле отсутствия условий для неравенства. Мало того, есть все основания полагать, что землею первоначально владели лишь отчасти сообща, отчасти же единолично. По мере развития человеческого общества совместную форму владения вытеснила частная, как более отвечающая условиям жизни и потребностям цивилизованной, пристрастившейся к труду человеческой личности. А с ростом народонаселения земля вообще не может принадлежать всем, потому что на всех ее не хватит. И она не может принадлежать человечеству, ибо принадлежит отдельным народам.

Достоинства, которыми снискал себе влияние Руссо, Гексли

презирает. Он полагает, что стоит опровергнуть утверждения Руссо, как от него ничего не останется. Он, по существу, отрицает не только способность простых людей к политике, но и значение их в политической жизни. Он рационалист, только не благожелательно-умиленный, а властно-непререкаемый. В нынешнее время политика неразумна — стало быть, нужно, не откладывая, сделать ее разумной. Каким образом? Жреческая каста, ученых по Конту Гексли не устраивает. От демократии он берет лишь свободу, отвергая ее глупость и безрассудство.

Когда «Естественное неравенство человека» вышло в свет, Гексли подняли на смех за то, что он прикончил мертвого революционера. Что ж, он тут же вознамерился прикончить живого. Его жертвой стал Генри Джордж — руссоист, как отмечал Гексли, по своему абстрактному, априорному подходу, по склонности смешивать «естественные права» с политическими. Естественные права позволяют человеку или животному делать решительно все, что способствует собственной его пользе или собственному удовольствию. Политические же права позволяют человеку делать лишь то, что не вредит его собратьям по обществу. За естественными правами стоит борьба за существование, за политическими — государственное устройство, предполагающее известную степень справедливости и сотрудничества. На этом различии Гексли настаивает образно и неистово. «Общепризнано, что тигр имеет естественное право сожрать человека; но если можно сожрать одного, значит, можно и другого, и, таким образом, тигр цолучает естественное право собственности на всех людей как потенциальную тигриную пищу». Определенно за эти годы Гексли успел исследовать несправедливость в природе со многих точек зрения.

«Семейные радости». Набросок Гексли.

Возражения Гексли против экономических взглядов Генри Джорджа достаточно легковесны. Проводя резкое различие меж богатством, созданным трудом, и богатством, полученным от земли или щедрот природы, Джордж утверждает, будто частной собственностью человек имеет право считать лишь то, что сам непосредственно производит. Гексли в ответ заявляет, что на плоды своих собственных трудов человек тоже имеет право лишь частично: ведь те умственные и физические способности, благодаря которым совершаются эти труды, добыты не им — а значит, вклад природы и вклад человека практически неразделимы. Гексли сердито отрицает какие бы то ни было основания облагать налогом «нетрудовые доходы» от частной собственности. Он и на сей раз пытается лишь опровергнуть революцию, не вникая в ее сущность[260].

В следующей своей статье «Правление — анархия или ограничение?» Гексли осуждает как одну из этих крайностей, так и другую, прослеживая историю обеих. Ограничение, отождествляемое в нынешнее время с социализмом, идет от Гоббса, а наиболее действенное и типическое выражение находит в «Общественном договоре» Руссо. (Похоже, что после Руссо ничего нового или значительного в теории социализма Гексли не отыскал.) Индивидуализм идет от Локка к физиократам и последователям Бентама, а кончается анархизмом Бакунина. Обе эти философские школы безнадежно априорны, обе выводят правила жизни в условиях цивилизации из некоего естественного состояния, которое, как показывает антропология, от начала и до

конца надуманно. Обе не принимают в расчет неограниченную способность человека размножаться. Социалисты, по мнению автора статьи, не видят, что производство никогда не будет поспевать за ростом населения; индивидуалисты не желают видеть, что под натиском перенаселенности любой вид соперничества неизбежно обернется яростной борьбой за существование. Чрезмерное ограничение, как считает Гексли, душит инициативу; чрезмерный индивидуализм порождает склад личности, мало подходящий для жизни в условиях цивилизации. Из сравнения с порядками внутри семьи следует, что правительствам надлежит вводить не слишком жесткие, но и не слишком мягкие ограничения. Перед выбором между беспощадностью капиталистов и бессилием политиков Гексли останавливается в нерешительности. Что касается проблемы бедности, он не видит возможности практического ее решения, ибо не существует приемлемого с человеческой точки зрения способа ограничить прирост населения.

В 1889 году в сопровождении своего младшего сына Гарри, который только что кончил медицинский колледж и вскоре собирался жениться, Гексли побывал на Канарских островах, повторив начало путешествия, в которое он пустился в 1846 году помощником судового врача. Упоминаний о былых временах в его письмах почти нет, если не считать иронического замечания о «португальских достижениях», навеянного пребыванием на Мадейре после перерыва в сорок четыре года. Гексли ездил верхом, ходил пешком миль по пятнадцать в день, изнывал без писем и вернулся домой черный от загара и до смерти изголодавшийся по полемическим схваткам. За время его отсутствия ему присудили Линнеевскую медаль.

Когда-то он не мог жить вне Лондона, а теперь то, что манило его сюда, сделалось невыносимым. Сюда вели все пути, здесь все слишком будоражило, дразнило и влекло. После недолгих поисков Гексли купил участок земли в Истборне, построил дом и в декабре 1890 года туда переехал. Дом представлял собой весьма умеренный образчик пышного архитектурного стиля той поры: большой, кирпичный, с островерхой кровлей, с крохотной, в нормандском духе, пристройкой для книг по одну сторону, бревенчатой некрашеной оранжереей для горечавок — по другую и низенькой шестиугольной романской башенкой на крыше. Сад широкой террасой сбегал по крутому склону и выглядел довольно неуютно, наподобие городского сквера. В Истборне домам давали имена, и Гексли назвал свой «Годесли» — так примерно звучала бы на языке древних англосаксов фамилия «Гексли». Этим

словом, в котором современная филология перекликается с отголосками стародавней сельской глуши, помечено большинство его последних писем.

Горечавки сделали из Гексли ботаника; Годесли заставил его стать садовником. Копаясь понемножку в саду каждый день, он с изумлением открыл, что такая нехитрая штука, как жизнь и рост деревьев и цветов, может оказаться страшно увлекательной. Он выращивал камнеломки, радовался своей теплице, с нетерпением ждал открытия цветочных выставок, находил глубокий смысл в Вольтеровом «il faut cultiver notre jardin» и вел споры со своим садовником.

— Книжки, говорите? В этих книжках чего хочешь напишут, — важно изрекал садовник и все время, пока седовласый мудрец со шлангом в руках обходил сад, брюзжал о том, что за дурацкая затея у ученых людей — поливать цветы во всякую погоду.

Гексли. Шуточный автопортрет.

«Тут у меня есть растеньице, которое чудесно приживается даже на сухих камнях заброшенной ограды, так что Вам, я думаю, оно как раз подойдет», — шутил Гукер. В ответ Гексли посылал ему сводки своих достижений. Вплоть до последней хмурой весны его жизни цветы и ползучие растения служили ему утехой и отрадой.

То и дело наезжали в «Годесли» дети и внуки. Нет сомнений, что Гексли был достаточно строгий родитель. «При нем все наши маленькие хитрости, шитые белыми нитками, вылезали наружу, — пишет Леонард, — непогрешимость его моральных суждений внушала нам такое беззаветное доверие, что становилось даже страшновато». Что ж, по крайней мере, они

питали к нему доверие. Трогало и подкупало страстное желание Гексли завоевать привязанность своих детей и внуков. Он не только не требовал, чтобы дети воспитывали в себе добродетели, угодные родителям, но, наоборот, восхищался непокорством. «Нравится мне этот мальчишка! — пишет он про своего внучонка Джулиана. — Нравится, как он глядит вам прямо в лицо и не слушается». Пытаясь покорить свою маленькую внучку, он наплел ей такую невообразимую чепуху, что под конец в безмерном удивлении она убежденно произнесла:

— Ой, до чего же ты чудной старичок, я таких никогда не видала.

Когда Джулиан читал сказку Кингсли «Водяные детки», он обнаружил, что среди знатоков этих восхитительных созданий назван его дед. И решил не откладывая расследовать этот вопрос.

«Милый дедушка!

Ты правда видел Водяную Детку? Ты ее посадил в бутылку? А она не пробовала вылезти? Можно, я на нее когда-нибудь посмотрю?

Любящий тебя Джулиан».

Ответ пришел незамедлительно, аккуратно выведенный печатными буквами и, слава богу, разборчивый.

«Дорогой Джулиан!

У меня до сих пор нет полной ясности насчет этих водяных деток. Видел я деток в воде, видывал и деток в бутылке, только детка в воде не сидела в бутылке, а детка в бутылке не сидела в воде.

Мой друг, который написал историю про водяных деток, был человек очень добрый и очень умный. Может быть, он думал, что я умею видеть в воде столько же, сколько видит он, потому что там, где одним людям видно очень много, другие видят очень мало.

Когда вырастешь большой, ты наверное, будешь из тех людей, кому видно очень много, и там, где другие не увидят ничего, ты разглядишь чудеса почище водяных деток.

Сердечный поклон от меня папе и маме — бабуля чувствует себя получше, но пока не встает.

С неизменной любовью, твой дед».

Неутомимый лицедей, Гексли умел так заворожить детей, расписывая им устно и в картинках приключения какого-нибудь бультерьера, что Леонард, который однажды вечером нечаянно

заснул в самом начале рассказа, считал это одной из самых невозвратимых потерь своего детства. Когда дети болели, Гексли рисовал им подходящие к случаю картинки и рассказывал подходящие к случаю сказки, а когда с осовелыми глазами и тугими животами они сидели за столом после рождественского, обеда, он каждый год вырезал им на удивление диковинных зверюшек из апельсиновых корок — чаще всего поросят. Поросячий обряд соблюдался свято, и, когда Джесси была вынуждена его пропустить из-за собственной свадьбы, отец написал ей:

«Прилагаемый образчик — в раззолоченном саване и с остатками последнего обеда в надлежащем месте — послужит тебе доказательством того, до каких высот способна воспарить творческая мощь истинного художника. Называется он „Свинтус, или гармония в оранжевом и белом“.

Храни его, дорогое дитя мое, как свидетельство родительского таланта, когда те мимолетные, неосязаемые плоды этого таланта, что таятся в философских и иных трудах, будут забыты».

По-видимому, Гексли-родитель не так уж сильно отличался от Гексли-иконоборца и Гексли-епископоеда[261] и всю жизнь оказывал на этих двух, более грозных Гексли смягчающее и умиротворяющее влияние.

В 1892 году Гексли издал свои статьи об агностицизме и христианстве под общим заглавием «Дискуссионные вопросы» (впоследствии книга получила название «Наука и христианское учение»). Бесспорно, лучшим в сборнике как по форме, так и по содержанию, является «Пролог» — после него, пожалуй, в самой книге уже отпадает необходимость. Он представляет собой вдумчивую и добросовестную попытку, когда прошел угар и пыл сражений, установить и разобраться, из-за чего же, собственно, сражались — по крайней мере, с его точки зрения. «Никогда еще небольшая работа не стоила мне такого времени и труда», — писал Гексли одному своему другу. Наука и религия, заявляет он, были искони враждебны друг другу. Первая исследует естественные процессы и ведет к прогрессу. Вторая занимается изучением сверхъестественного и ведет к неразберихе и невежеству. Прогресс, по сути дела, прямо пропорционален торжеству естественного — иными словами, натурализма — над сверхъестественным, или супранатурализмом. Затем Гексли делает блистательный и краткий экскурс в историю протестантизма от XIV века до своих дней. Опираясь на непогрешимую истинность священного писания, протестанты воззвали к критическому разуму, дабы опровергнуть папство.

Однако разум, единожды вызванный к жизни, уже не мог пробавляться непогрешимостью какого-то одного священного писания или даже совокупности священных писаний. Он мог постоянно основываться лишь на подлинных фактах природы.

Что же это за факты природы, открытые научной мыслью? Они, говорит Гексли, слагаются в великую истину эволюции. Впервые наметившийся в астрономии солнечной системы, четко определившийся потом в эмбриологии и палеонтологии, принцип развития прослеживается теперь и в химии и, несомненно, представляет собой основополагающий принцип в изучении земной жизни во всех ее проявлениях — жизни, которая во многих случаях шла от очень простых форм ко все более сложным, порождая на своем пути такие нежданные ценности, как сознание, рассудок, нравственность. Каких высот могло достигнуть где-нибудь это развитие, науке, конечно, неизвестно. И отрицает она не самую возможность существования сверхъестественного, а то, что это существование было когда-либо доказано.

«При строго научном подходе к вопросу не только необоснованным, но попросту неуместным выглядит предположение, что среди мириадов рассеянных в бесконечном пространстве миров нет ни одного, где оказалось бы существо, превосходящее по разуму человека, как человек превосходит таракана; существо, чья способность влиять на процессы, протекающие в природе, превышает человеческую, как человеческая превышает способность улитки».

Примечательно, что пространство здесь имеется в виду физическое. Гексли, в сущности, отказывается признавать существование какой бы то ни было действительности вне материи, правомочность какого бы то ни было метода, помимо научного. Пока что сверхъестественное невыводимо из явлений природы. А значит, для честного исследователя иного прибежища, кроме агностицизма, не имеется.

Если бы люди чистосердечно признавались в своем невежестве и стали по-настоящему правдивы во всех своих отношениях друг с другом, «свершились бы такие преобразования, каких еще не видел свет, наступило бы некое подобие золотого века». Видимо, правдивость способствовала бы и беспристрастному, научному подходу к вопросам этики. «Правила поведения… подобно другим так называемым законам природы — могут быть открыты путем наблюдении и опытов, и никак иначе», — писал он в то время в одном из своих частных писем. А в 1894 году писал в другом: письме:

«Крайне необходимо, чтобы кто-нибудь совершил в области,

расплывчато именуемой „этика“, то самое, что сделано в политической экономии: решил бы вопрос, что произойдет, если в случае тех или иных побуждений будет отсутствовать сдерживающее начало, — и представил бы для последующего рассмотрения проблему „чему надлежит произойти“…

Нам требуется наука „эубиотика“; пусть она скажет нам, что именно случится, если человеческие существа будут движимы исключительно стремлением к благополучию в обычном смысле этого слова. Разумеется, утилитаристы уже заложили основы такой науки, а любитель давать гениальному клички тут же ее окрестил „свинской философией“, попав пальцем в небо точно так же, как и в тот раз, когда назвал политическую экономию „угрюмой наукой“.

Возможно, „умеренное благополучие“ имеет не больше оснований называться наидостойнейшей жизненной целью, нежели богатство. Однако, если это лучшее, что нам может предложить наш удивительный мир, пожалуй, ради него стоит потрудиться».

В 1892 году Гексли занял последнее в своей жизни президентское кресло. Начиная с 1887 года стало ясно ощущаться, что многочисленные колледжи, разбросанные по столице, следует объединить Лондонскому университету, доныне, существовавшему лишь как экзаменационное, а не учебное заведение. Все сходились на том, что единение необходимо, вопрос был только — какого рода единение. Гексли старался держаться в стороне, но, понятно, имел по этому поводу собственное мнение, и, понятное дело, его просили это мнение высказать. Он считал, что медицинскими заведениями не должны заправлять ученые, которые стремятся использовать их для вербовки себе пополнения, а научными заведениями не должны заправлять литераторы, которые вообще никак не могут их использовать. Он считал, что нужны школы искусства и литературы, и преподавателям-литераторам следует преподавать не филологию, а литературу. Тех же взглядов, судя по всему, придерживались и в ассоциации по реформе образования. А раз так, он в нее вступил. А раз вступил, его избрали президентом. Он повел дело смело и энергично, но, по-видимому, всему движению — как это нередко случается в академическом мире — повредил избыток просвещенности. Слишком много было светлых голов, слишком много светлых идей в этих головах, а Лондонский университет пока что так и жил себе по старинке.

Кстати, в это же время Гексли увенчал здание своей практической деятельности скромным куполом.

«Был я тут как-то в тесном кругу ученых, — писал лорду

Спенсеру непосредственный начальник Гексли Доннелли, — там Гексли… спросили, не слышал ли он, предлагали Дарвину от престола какие-нибудь почести при жизни или нет. Гексли сказал, что никаких предложений подобного рода Дарвину не делали, он в этом уверен и прибавил, что лет через пятьдесят или сто людям покажется совершенно непостижимым, что небывалые заслуги этого человека перед наукой не получили никакого признания у государства…

Потом посмеялись над бешеными усилиями кое-каких известных нам лиц добыть для себя обрезки ленточек, и Гексли сказал:

— Что ж, я согласен назвать ту единственную почесть, которая мне, как человеку науки, доставила бы удовольствие — все равно нет ни малейшей опасности, что мне ее предложат, — стать членом Тайного совета. Здесь, пожалуй, была бы известная сообразность: вас, так сказать, приглашают в созданный государством совет, дабы представлять в нем науку.

Так вот, я обращаюсь к Вашему Превосходительству с просьбой подумать, действительно ли подобного рода почесть так уж категорически невозможна».

Оказалось, что невозможного тут нет. Надлежащим порядком имя Гексли появилось в списке новых назначений ее величества. Гексли ворчал, что приходится извлекать на свет божий старый придворный костюм и тащиться в Осборн, но на самом деле был очень доволен. Обряд «целования руки» он описал своей жене, смакуя каждую подробность, как человек, сознающий свое интеллектуальное превосходство:

«Потом нас провели в приемный зал, где у стола сидела королева. Мы преклонили колена, как будто собрались помолиться, держа в руках по одной библии на двоих, и секретарь совета прочел текст присяги — я, надо сказать, не расслышал ни слова. Затем каждый подходил к королеве, становился на колени и целовал ей руку, отходил на место, и его снова приводили к присяге (какие я там опять давал клятвы и обеты — одному богу известно). После этого мы обменялись рукопожатиями со всеми членами Совета, при сем присутствовавшими, включая лорда Лорна, и тем же порядком удалились. Все было очень занятно».

Стоя на коленях, он поднял глаза, чтобы рассмотреть королеву вблизи. Она в упор глядела на него. Наверно, тоже решила воспользоваться представившейся возможностью.

А тем временем исчез неугомонный странник, мятущийся в погоне за исцелением, и на его место явился хилый старец, которого вне стен его кабинета подстерегали и осаждали холодные западные ветры, ночной промозглый воздух и иные

грозные превратности погоды. Обед в «Икс-клубе» сделался рискованным предприятием, на какое пустишься лишь после долгих и тревожных сомнений: стоит ли ради веселого застолья подвергать себя опасности подхватить инфлюэнцу? Старая дружба с Гукером порой выражалась лишь в том, что от постели одного болящего к постели другого посылались записки со скупыми строчками о симптомах болезни. То и дело хоронили кого-нибудь из старых друзей. «Мы с Вами не имеем права идти на самоубийство ради чисто внешнего, в конце концов, проявления любви к нашему старому другу, которую нам нет надобности доказывать, — урезонивал он Гукера накануне похорон Герста, — а очень вероятно, что полчаса в холодной часовне и потом у могилы, да еще в такую погодку, нас прикончат».

На похороны Теннисона он все-таки поехал. Кто согласился бы пропустить битву при Ватерлоо или подписание капитуляции в Седане? К тому же Гексли ценил Теннисона как самого «научного» поэта своего времени. Похороны были точно ожившие страницы викторианской истории и Теннисоновой автобиографии. Торжественная музыка, строгое величие Вестминстерского аббатства, британский флаг на гробе, солдаты легкой кавалерийской бригады в нефе, вид гроба, в котором покоился усопший викторианский поэт, так глубоко взволновали Гексли, что он в первый и единственный раз за прозаические годы своей зрелости написал стихи. Стихотворение получилось не из лучших. Оно только выдает его патриотизм, его высоконравственность и его преклонение перед немецкой литературой. Короткие строчки начальных строф напоминают Гёте; повторяющаяся строка — перепев шиллеровской «Gib diesen Todten mir heraus»[262].

Мне верните почивших!
Созидателей здания
Славы твоей,
Великобритания,
Кормчих тех кораблей,
Океан бороздивших,
Чьи пути пролегли
По просторам Земли, —
Всех, кто мудр и не лжив,
Всех, кто в памяти жив.[263]

Стихотворение завершается словами:

…и повсюду
Вокруг молчание, и ближе мрак скользит,
И шепчет тихо: пусть все спит.

Вскоре за Теннисоном последовали два старинных друга и один заклятый враг. Заклятый враг был сэр Ричард Оуэн. И Гексли убедился, что всякая вражда уже давным-давно позабыта, и даже при большом стечении народа поддержал предложение поставить Оуэну памятник. Случай был не лишен иронии, что, естественно, лишь подстегнуло Гексли, и он так прочувствованно ратовал за Оуэна, что внук покойного обратился к нему с просьбой записать для «Жизни Ричарда Оуэна» раздел по анатомии. Гексли согласился. Написанное им являет собою образец такта и великодушия. «Есть все основания полагать, — писал он, — что в истории сравнительной анатомии и палеонтологии Оуэна всегда будут ставить рядом с Кювье и, полагаю, не ниже его, хотя Кювье был, в сущности, создателем этих наук в их современном виде». Корпя над очерком, он не без удивления писал Гукеру: «Меня больше всего поражает, как все-таки и он, и я, и все, из-за чего мы с ним ломали копья, безнадежно устарело. Просто неприлично как-то навязывать вниманию сегодняшнего мира такую обветшалую старину».

Впрочем, «обветшалая старина» безудержно рассыпалась в прах. «Знаете, Джоуетт при смерти, а может быть, уже умер», — писал Гукеру Гексли. Чуть ли не до последнего дня пророк в мантии наставника безмятежно поучал знаменитостей, принимал бывших учеников, сочинял галантные записки замужним дамам, издавал Платона, изрекал сквозь дрему эпиграммы и руководил строительством в Бэллиоле. Перед долгожданной поездкой за город к друзьям он тяжело заболел. Врач не хотел его отпускать, но как станешь перечить Учителю — и через несколько недель Джоуетт с превеликим смирением отошел в лучший мир, пав жертвой утех холостяцкой жизни. Последние связные слова его были сказаны в ободрение одному из любимых учеников. Последняя попытка «нажать на пружины» предпринята с тем, чтобы побудить Теннисона разрешить все философские и религиозные противоречия современности всеобщей поэтической молитвой.

Но самой тяжелой утратой была для Гексли смерть Тиндаля. В 1875 году, почти уже заправским старым холостяком, этот глубокомысленный ирландец посватался к дочери лорда Клода Гамильтона, прелестной особе и умнице, лет на двадцать его моложе. При мысли о том, что суженой Тиндаля надо будет

приручать мужа и приспосабливать его к основательности и размеренности семейной жизни, его друзей охватывали недобрые предчувствия. Тиндаль и сам был неспокоен. «Вы не знаете, какими мрачными красками расписывал я себя, пока с уст этой храброй девушки еще не сорвалось слово, которое могло бы ее связать, — писал он Гексли. — Помимо всего прочего, ей предстояло взвесить и принять такое неумолимое обстоятельство, как мой возраст». Его избранница, однако, не вняла его нареканиям на самого себя, и они зажили счастливо в трудах и научных занятиях, вместе путешествовали, вместе лазили по горам и совершали геологические экскурсии. Их лекционное турне по Америке прошло с не меньшим блеском, чем поездка Гексли. Совсем недавно Тиндаль был вынужден по болезни оставить место директора Королевского института и, окруженный неусыпными заботами жены, потихоньку сдавался на милость прозаическим немощам старости. Уже много лет он изо дня в день пичкал себя лекарствами — от головной боли, от бессонницы, от желудочных колик. Как-то раз в декабре 1893 года он проснулся поздней ночью от отчаянных болей в животе и послал жену за магнезией. Плохо соображая со сна и с перепугу, она по ошибке дала ему хлоралгидрат. Ошибку обнаружили слишком поздно, и через несколько часов Тиндаль умер.

Газеты с бездушной обстоятельностью описывали подробности его смерти. Гексли тревожился за леди Тиндаль. «Она, бедная, по-моему, находилась в довольно опасном состоянии — взвинчена горем, а за этим, вероятно, последует внезапный срыв». Он написал некролог — отчасти чтобы облегчить ей бремя ее вины. Некролог был полон грустных воспоминаний о минувших днях. На похороны в холодный декабрьский день их пришло четверо — тех, кто еще оставался в живых: Гукер, Гексли, Леббок и Франкленд. «Вчетвером мы стояли на днях на Хейзлмирском кладбище — стояли и думали о многом». Так в последний раз собрались вместе члены «Икс-клуба».

Употребив почти целую жизнь на размышления о проблеме религии, Дж. Дж. Роменс в 1892 году основал в Оксфорде ежегодные чтения с целью подвинуть других людей на размышления обо всем прочем, исключая политику. Любопытно, что при подобном условии первую лекцию попросили прочесть Гладстона, а вторую — на следующий год — Гексли. Отказаться, когда приглашают выступить с лекцией, было для Гексли всегда нелегко. Отказаться, когда приглашают выступить после Гладстона, было просто невозможно. Великий Старец, в свою

очередь, тоже не отказался читать первым. Облаченный в багряное великолепие своей докторской мантии, он высказался на такую сравнительно безобидную тему, как «Одиссея», выкушал обильный завтрак, молодецки отобедал и укатил в кудрявых клубах собственного замечательного красноречия. Гексли, настроенный не менее браво, предложил прочесть свою лекцию на будущий год в придворном платье. Называться она будет «Эволюция и этика», о чем он сообщил Роменсу, и при этом, несмотря на обещание не вдаваться в злободневную религиозную полемику, по-видимому, со свойственным ему азартом наметил такие хлесткие и леденящие кровь иносказания, что Роменс переполошился, написал тревожное письмо, и его пришлось срочно успокаивать. Текст лекции Гексли послал ему заранее. Миссис Роменс и миссис Гексли сошлись на том, что ересью в ней даже не пахнет.

Весь 1892 год Гексли читал, раздумывал, писал, переписывал, сокращал, исправлял. Его занимало одно неоконченное дело, одна проблема, давняя и хорошо знакомая и ему, и его веку: каково взаимоотношение природы с моралью и справедливостью? В XVIII столетии природа большею частью воспринималась как хитроумный механизм, созданный творцом небесным с благою целью способствовать удобству и самоуважению человека. Для епископа Батлера она была даже не столько устройством, в котором нужно разобраться, сколько тайной, которую надлежит смиренно уважать, приемля многое, что бедному разуму человека представляется жестоким или несуразным. В XIX веке решили, что природа — это бескрайняя, божественным вдохновением созданная картинная галерея, где нескончаемо звучит музыка и где человек, вырвавшись из тисков городской жизни, может упоенно и мечтательно в одиночестве сообщаться с богом и обретать первозданную чистоту свободы и непосредственности. А ближе к середине XIX века Теннисон под влиянием Ляйелла и тяжких личных бед обнаружил, что картинная галерея находится в склепе, а музыка звучит в могиле.

В 1859 году Дарвин установил, естественно, что склеп на самом деле — не склеп, а фабрика прогресса. Оптимисты середины века были рады-радешеньки, что природа, оказывается, движется вперед, основываясь на здравой и деловой политике «laissez faire». Вопрос о справедливости тут, очевидно, не имеет значения. Правда, для Дарвина он обрел очень важное значение, а тем более для его ученика Роменса, чьим пером водил беспросветный скептицизм и кто, зная о жестокостях природы, не мог в отличие от своего учителя утешиться ни волнением первооткрывателя, ни уверенностью, что они ведут к истинному

прогрессу. После миллионов лет эволюции «…мы убеждаемся, что более половины видов, которые выжили в непрестанной борьбе, по своему образу жизни паразитичны, причем низшие и бесчувственные формы жизни кормятся за счет высших и тонко чувствующих; мы видим клыки и когти, отточенные, чтобы убивать; щупальца и присоски, устроенные так, чтобы истязать. Повсюду царят страх, голод, болезни, повсюду льется кровь, содрогаются тела, с хрипом обрывается дыхание и затуманенные глаза безвинных смыкает зверская, мучительная смерть».

В сознании гуманиста зерно дарвиновского учения неизбежно должно было дать росток пессимизма. Правда, Роменс в своем «Беспристрастном исследовании теизма» (1876) многое почерпнул и из посмертных «Трех опытов о религии» Милля (1873), в которых совсем не по-дарвиновски сведены воедино возражения против взгляда на природу как на образец нравственности и как на довод в пользу теизма.

Когда-то, в 1860 году, вскоре после того как внезапный недуг свел в могилу его старшего сына, Гексли утверждал, будто в природе строго и неукоснительно блюдется справедливость. Он и потом не раз повторял то же самое, но уже в 1871 году в своем «Административном нигилизме» стал утверждать обратное и, безусловно, укрепился в этой мысли не без содействия таких сочинений, как «In Memoriam» Теннисона и «Аналогия» Батлера, которые считал превосходными.

В лекции на учрежденных Роменсом чтениях пессимизм Гексли находит свое крайнее выражение. Лектор по обыкновению исполнен беззаветной решимости и отваги и преподносит свою новоявленную и безотрадную истину такой голой и неприкрашенной, что еще немного — и ее не отличить от заблуждения. Процесс, который совершается в мире, говорит он, есть хаос безостановочных изменений, а для одушевленных существ — поле битвы, мучений и смертей. Процесс этический — по крайней мере отчасти — заменяет сотрудничество и умеряет страдания. Человек научился жить в относительном согласии с себе подобными и стал, таким образом, господином среди животных Земли. Однако он освободился от пут естества лишь частично. Он все еще испытывает боль, все еще силится победить в самом себе обезьяну и кровожадного тигра. И неудивительно, если он задается вопросом, существует ли для его мук какое-то изначальное оправдание, какая-то первопричина. Иудейская культура отвечает на это призывом к смирению, греческая — сводом нравственных правил, находящихся в ведении богов и богинь; индийская культура — учением о «карме», по которому посредством переселения душ всякое живое существо в том или

ином воплощении в конце концов пожнет то, что им посеяно.

Гексли привлекает позитивная и критическая направленность индийской философии. Он подчеркивает, что учение о переселении душ, подобно эволюционному учению, «…уходит корнями в мир действительного… Совокупность наклонностей поступать именно так, а не иначе, именуемая нами „характером“, нередко прослеживается по длинной линии прямого родства и по боковым его ответвлениям. Можно с основанием говорить, что „характер“ — эта нравственная и духовная сущность человека — и вправду переходит из одной телесной оболочки в другую».

«Сверхъестественное в нашем понимании этого слова» было из индийской системы «полностью исключено. Никакой внешней силы, способной нарушить последовательную цепь причин и следствий, порождающую карму, ничего, кроме воли носителя кармы, которая одна только в состоянии положить карме конец». Будда открыл в скептицизме возможности, о каких не догадывался даже сам Беркли. Как нельзя доказать, что существует материя, так же точно нельзя доказать, что существует сознание. И поэтому для Будды вселенная «не более как поток ощущений, переживаний, волеизъявлений и мыслей», в котором действительностью является лишь карма. Вполне отдавая должное почти научному методу подхода Будды к нравственным вопросам, Гексли не может сочувствовать духу отрицания, которым насквозь пронизана его система. Что жизнь — это сон, что целью человека должно быть стремление оборвать этот сон, умертвив в себе все и всякие желания и чувства, — этого никакой уважающий себя викторианец допустить не мог. С индийским мистицизмом как руководством в жизни Гексли обходится крайне сурово. «Никогда больше ни одной монашеской философии не удавалось в такой мере низвести сознание человека до бесстрастного, мнимо-сомнамбулического состояния, какое, если б не общепризнанная его святость, чего доброго, сочли бы разновидностью слабоумия».

Далее, продолжая свой обзор философских учений, Гексли отвергает стоицизм — а значит, убеждения, очень близкие тем, с которыми он когда-то начинал свою деятельность. В строках, перекликающихся с «Тремя опытами» Милля, он указывает, что стоицизм попросту не признает зла в природе.

«Что „нет худа без добра“ — неоспоримо, и ни один разумный человек не станет отрицать дисциплинирующего воздействия боли и скорби. Однако и эти соображения все-таки не дают нам ответа на вопрос о том, зачем должна мучиться тьма живых существ, ни в чем не повинных и неспособных извлечь никакой пользы от этого дисциплинирующего воздействия, и

почему из бесчисленных возможностей — в том числе возможности безгрешного, счастливого существования — всемогущему потребовалось избрать такую, в которой преобладают зло и страдания».

Трагедия человека состоит в том, что он находит этическое величие в отрицании. «На берегах Тибра, как и на берегах Ганга, человек, стремящийся к этическому идеалу, вынужден признать, что он бессилен пред лицом вселенной, и, оборвав аскетическим воздержанием всякие нити, связывающие его с нею, ищет спасения в полнейшем отречении от нее».

Решение, найденное Гексли, предполагает новое и героическое напряжение воли и ума. Оно состоит в том, чтобы «противопоставить макрокосму микрокосм».

«Можно не сомневаться, что до скончания времен нравственному естеству человека придется иметь дело с упорным и сильным врагом. С другой стороны, однако, если разум и воля, объединенные в общем усилии, будут руководствоваться здравыми научными принципами, я не вижу предела их способности изменять условия существования на протяжении времени, превышающем то, которое засвидетельствовано ныне историей».

Короче говоря, с помощью науки человек может надеяться усовершенствовать собственную природу и свое непосредственное социальное и физическое окружение таким образом, чтобы в недрах враждебной и неразумно устроенной вселенной создать дружественный себе и разумный мир.

Что в этой работе существенно? Здесь выделяется мысль об изменчивости, которая в некоторых местах низводит природу чуть ли не до иллюзии и в сочетании с мыслью о духовной сущности нравственного опыта отдает мистицизмом. Здесь ощущается также — несмотря на отрицание стоицизма — присущий стоикам мрачный взгляд на настоящее и присущее им упование на будущее. Здесь, наконец, есть и свойственная Гарди неприязнь к мирозданию как к юдоли страданий и убийств. Все эти особенности в большей или меньшей степени отличают как самого Гексли, так и Zeitgeist[264]. А то, что все они присутствуют в одной и той же его работе, возможно, свидетельствует о новом озарении или взлете ума. Под старость иной раз прозрение наступает быстро.

Гексли боялся, как бы его лекцию не поняли превратно. А случилось так, что ее почти не расслышали. Незадолго до выступления он побывал на встрече врачей, которая, как оказалось, могла бы с еще большим основанием считаться встречей с микробами инфлюэнцы. Микробы отняли у Гексли

голос, посадили ему на нос прыщи, наградили свирепым насморком и до того. раздули и воспламенили весь его лик, что он сделался похож на какого-нибудь сугубо малопочтенного капитана Костигана[265]. Мало-помалу капитан Костиган все же принял очертания, обычные для профессора Гексли, и, когда в своем алом одеянии он поднялся на Кафедру в битком набитом зале Шелдонского театра — высокий, седовласый, с резкими, воинственными чертами лица, подернутыми инеем бледности и глубокомыслия, свойственного его летам, — это был тот самый легендарный ратоборец, который тридцать три года тому назад в этом же университете одержал великолепную победу над епископом Уилберфорсом. Но, увы, трибун оказался безгласен. Всю первую Головину лекции он говорил так тихо, что слышались выкрики «Громче!» и студенты стали пробиваться с галереи вниз. Кончил он более звучным голосом, но, в общем, так и остался неслышимым дивом. Зал наградил героя дня несколько неуверенными рукоплесканиями, и затем его повели на торжественный завтрак.

Сам Гексли называл свою лекцию «танец на льду». Это и вправду было не только крайне искусное, но и вызывающее известное недоумение лавирование между скользкими местами и умолчаниями. В ней было много рассуждений об индийском мистицизме и много горечи по поводу жестокости эволюции. В ней проводилось резкое противопоставление этического процесса процессу развития вселенной и в то же время не было достаточно четкого определения, в чем, собственно, состоит этический процесс. Неудивительно, что она подвергалась самым неверным истолкованиям. Майварт ждал, что Гексли обратится в католичество. Спенсер не знал, чего ждать, однако был вполне уверен, что все ошибочное в этой, лекции Гексли придумал сам, а все, что в ней правильно, лет сорок тому назад открыл Герберт Спенсер. Не исключено также, что он подозревал, будто Гексли под прикрытием своей алой мантии просто продолжает выпады, начатые на страницах «Таймс». В статье, озаглавленной «Эволюционная этика», Спенсер не поскупился на выдержки из своих ранних работ, дабы показать, как давно он подчеркивал, что лишь этический процесс ведет к прогрессу и выживанию «наилучших». С другой стороны, этический процесс является частью общих процессов, протекающих во вселенной, а если так, то «как же можно противопоставлять их друг другу?». Кое-кто думает, писал Спенсер, что профессор вознамерился прочесть мне поучение, однако «трудно представить себе, чтобы он сознательно поставил себе целью обучить меня моим же собственным

положениям». Из самых лучших чувств он послал экземпляр статьи с автографом своему старому другу и был «совершенно обескуражен», получив после этого ледяное письмо, в котором о нем говорилось в третьем лице.

— Можно подумать, что это не он тридцать лет присваивал мои мысли! — фыркал Гексли.

Вообще непонятно, как он столько времени терпел этого «многоречивого педанта и тщеславного брюзгу». Но ответ Спенсера был полон такого трогательного и недоуменного огорчения, что через несколько дней Гексли помимо воли уже писал утешительное послание.

В печати, однако, все же не следовало оставлять места для кривотолков. Было ясно, что к лекции потребуется предисловие. Предисловие, названное им «Пролегомены», получилось длиннее самой лекции. Этический процесс, утверждал Гексли, несомненно, является частью общего процесса развития вселенной и тем не менее ему противостоит. Он досконально объяснил это на удачном примере из области садоводства. В естественном состоянии отбор растений происходит в ходе борьбы за существование — борьбы каждого против всех. Выживают те, что лучше других приспособлены к естественным условиям. В саду растения — многие из них, быть может, совершенные чужаки для здешних мест — отобраны садовником соответственно его вкусу и его надобностям. Они живут и набираются сил потому, что его искусством и предусмотрительностью для них созданы благоприятные условия. Процесс садоводства является частью всемирного процесса и в то же время идет ему наперекор и может быть им вытеснен в случае, если садовник ослабит свои попечения.

Этический процесс зависит от победы «организованного и олицетворенного милосердия, именуемого совестью», над беспредельным самоутверждением. Подобно всякому другому виду организмов, цивилизованный человек склонен к избыточному заселению своей среды. Он мог бы усовершенствоваться как вид, но лишь путем безжалостного истребления социально неприспособленных. Но кто эти социально неприспособленные, он не знает, а если бы и знал, все равно истребление их подорвало и развалило бы все его общество. Собственно говоря, борется он не столько за существование, сколько за удовольствие. Он развивается скорее в плане социальной, а не биологической эволюции, создавая, подобно садовнику, условия, способствующие «свободному росту врожденных способностей гражданина». В конечном счете, таким образом, Гексли не слишком расходился в своих положениях с

Дарвином.

Очевидно, что «Пролегомены» не дают сколько-нибудь четкого и основательного разбора социальной эволюции. Цивилизованный человек, по словам Гексли, и охвачен и не охвачен борьбою за существование. Разумеется, как-то он должен быть ею охвачен, поскольку численность его растет быстрее, чем запасы пищи. Но как именно? В последние годы своей жизни Гексли, по-видимому, немало думал об этой проблеме. После смерти в его бумагах нашли две подборки замечаний по «Эволюции и этике». При цивилизации, утверждает он, борьба между отдельными особями в корне преобразована, а в значительной степени и заменена борьбою между обществами, в которой, как правило, выживают те, на чьей стороне этическое превосходство. «Этический процесс, как и все процессы в мире, протекает в соответствии, с внешними связями каждого общества».

Последнее слово все-таки осталось за микробами инфлюэнцы. Они взялись за дело с новой силой, и Гексли с одра болезни посылал Гукеру их шуточные изображения. Когда он поправился, он последний раз съездил на лето в Швейцарию, в Маджолу. Горы, синее озерко Сильс, узкая тропа вокруг него, хозяин отеля герр Вальтер, оксфордский профессор Кемпбелл с женой, приезжавшие сюда каждое лето, — все это были теперь старые друзья. И вновь быстрая ходьба и альпийский воздух исцелили Гексли, но уже не так чудодейственно, как когда-то. На другое лето путь в Маджолу оказался уже слишком далеким. «Пожалуйста, скажите герру Вальтеру, — писал он профессору Кемпбеллу, — что мы бы приехали в его отель снова, будь у нас только воздушный шар».

Но чтобы отправиться в Оксфорд на съезд Британской ассоциации, воздушного шара не требовалось. Ровно треть века минула со времени его — ныне легендарной — победы над епископом Уилберфорсом. Гексли справедливо полагал, что событие будет не лишено интереса. Снова жадная до исторических событий толпа запрудила Шелдонский театр. Снова весь в алом, убеленный сединами, в блеске почетных регалий и в ореоле преклонных лет восседал перед собравшимися Гексли. Вступительное слово произнес маркиз Солсбери, лидер консерваторов, бывший премьер-министр, ректор университета. Как лощеный политик, наторевший в обтекаемых речах и практических делах, лорд Солсбери меньше всего собирался ввязываться в кипучие споры о метафизических материях. Как просвещенный патриот, исправно восхваляющий успехи

англичан, он признавал надобность разделять мнение большинства и считать эволюцию, по Дарвину, прочно утвержденной среди основных законов строения вселенной. Однако как консерватор, изысканно-недоверчивый ко всяким новшествам и всяческому прогрессу, он видел в дарвинизме крайне неприятную форму либерализма и, значит, в существе своем все-таки вопрос, захватывающий борьбу партий. Витийствуя о достижениях науки, изящно переносясь от астрономии к физике и химии, он добрался в конце концов до биологии и эволюции — принципа, который ныне «не станет оспаривать ни один здравомыслящий человек». С тонкой иронией он задержался на этом утешительном словечке «эволюция», а затем коснулся текущей полемики о наследовании приобретенных признаков в таких выражениях, что как бы ставил под сомнение правомерность самой проблемы.

Нападение было искусно замаскировано — ну и, понятно, ректору, маркизу, да еще бывшему премьер-министру, ничего не стоило безнаказанно и по всем правилам парламентского искусства сделать выпад даже против законов вселенной. Пока лорд Солсбери разглагольствовал, многие в зале стали поглядывать на Гексли, и с особым вниманием Генри Осборн, профессор из Америки, бывший его ученик, который ехал сюда с ощущением, что покидает задворки истории и выходит на ее столбовую дорогу. Он заметил, что, хотя старческие черты не обнаруживают признаков гнева, Гексли глубже ушел в свое кресло и беспокойно постукивает ногой по подмосткам.

И в самом деле, положение у него сложилось не из легких. Облеченный по его же собственной просьбе ролью необременительной и скромной: поддержать предложение выразить ректору благодарность, он был заведомо вынужден хвалить. Задача состояла в том, как сделать, чтобы в хвале заключался укор. Конспект речи лорда Солсбери он прочел накануне и с тех пор пребывал в серьезном раздумье. И несомненно, постукивание ногою выдавало борьбу с искушением. Старый греховодник Адам, разумеется, нашептывал: «„Ну-ка разнеси в клочья это вступительное слово“ — а для меня не было бы ничего легче». Под вялые аплодисменты поднялся физик лорд Кельвин и, не сказав ни слова в возражение, предложил выразить председателю благодарность. Он, как видно, не испытывал никакого желания защищать вселенную от лорда Солсбери.

Встал Гексли. Ему хлопали бурно и с нескрываемой надеждой. Голосом, теперь уже чистым и звучным, он заговорил о соглашателях 20-х и 30-х годов, которые пытались «держать свои. научные убеждения и убеждения прочие в двух разных

логиконепроницаемых отсеках». Люди этого сорта не желали признавать за наукой права на широкие обобщения, предлагая ей только «лить воду на мельницу практической пользы». «Pax Baconiana»[266] кончился для соглашателей, и навсегда с выходом в свет «Происхождения видов». Вслед за тем со зловещей многозначительностью Гексли привел выдержки из речи ректора, в которых содержалось безоговорочное признание эволюционного принципа. В заключение он весьма подчеркнуто привел слова одного немецкого ученого о том, что споры вокруг дарвинизма никоим образом не ставят под сомнение существо дарвинизма. Разумеется, предстоит решить еще грандиозные проблемы эволюции, но ведь никогда еще ни один великий вопрос не был исчерпан за тридцать пять лет. Под новый шквал рукоплесканий он сел на место. История — пусть косвенным путем — повторилась.

Весь 1803 год и изрядную часть 1894-го Гексли был занят изданием своих «Избранных статей» в девяти томах и к каждому тому писал краткое предисловие. По этим предисловиям можно составить себе любопытное представление о нем самом и о том, за что он стоял. На особое мастерство изложения он не претендует. «Написанные большею частью урывками, среди неотложных дел или в дни болезни, эти статьи не лишены погрешностей — тут и ненужные повторения, и иные изъяны, которые постороннему взгляду будут, как я уверен, еще заметней, чем моему собственному». За ним всегда водился один порок: он делал слишком многое слишком поспешно. И еще он не умел писать иначе, как под непосредственным побуждением, возникшим в связи с каким-то частным случаем, и должен был закончить раньше, чем этот случай успеет утратить свою драматическую действенность. В расплату ему приходилось подлаживаться не к умудренному оку ученого потомка, а к туговатому уху современного рабочего или завсегдатая лекториев. «Излагать истины, постигнутые при непосредственном исследовании природы, в лаборатории, в музее, таким языком, чтобы, ни на йоту не нарушая научной достоверности, он в то же время оставался бы общедоступным, — эта задача требовала напряжения всех научных и литературных способностей, какими я обладаю».

Частью этой расплаты было и то, что он нисколько не обманывался относительно возможностей среднего слушателя. «Смею сомневаться, вынесет ли хотя бы один из десяти… правильное представление о том, что хотел сказать лектор». Сила же Гексли состояла в том, что он ни при каких обстоятельствах не сглаживал свои идеи до тоскливого однообразия. Он лишь вбивал

в них добротный клин ясности. Все его уступки касались лишь языка и формы: яркие, увлекательные примеры; краткие и простые фразы; доходчивые, привычные, доступные средства изложения.

Представлениям Гексли об идеальном слушателе более всего соответствовал мыслящий рабочий. К нему и в молодые годы, и в старости обращены были лучшие из выступлений Гексли — этому же слушателю предназначалась роль конечной апелляционной инстанции в полемике о священном писании. В последние годы жизни Гексли рассчитывал подвести итог научному изучению библии в цикле лекций для рабочих. Когда стало ясно, что о чтении лекций не может быть и речи, он стал думать о том, чтобы написать для юношества учебник или популярную книжку по истории. Однако время, отпущенное ему, было уже на исходе.

За несколько лет до того была учреждена Дарвиновская медаль, присуждаемая раз в два года за успехи в области биологии. Первым вполне заслуженно ее получил Уоллес, вторым — Гукер. Гексли и тот и другой выбор одобрил, но считал, что в будущем этой чести должны удостаиваться люди помоложе, которым она послужит стимулом в дальнейшей работе. И, несмотря на это, удостоился ее сам. Он попробовал было бранить повинных в том заговорщиков, но тщетно. «Под старость становится зябко, — писал он бывшему своему студенту Фостеру, — и очень приятно, когда вас неожиданно обогреют — пусть даже вопреки вашим собственным настояниям». Вручение медали состоялось на юбилейном банкете Королевского общества, на который Гексли поехал с трепетом душевным — и действительно поплатился за свою опрометчивость нездоровьем — и все-таки получил истинное удовольствие. Как раз на этом банкете он сказал одну из самых остроумных своих речей. Он заявил, что никак не может объяснить себе, за что ему присудили медаль. Его научные заслуги не идут ни в какое сравнение с заслугами Уоллеса или Гукера. А впрочем, «тот, кто поджидает в сторонке, тоже может кое на что пригодиться». Правда, он-то поджидал «довольно своеобразным манером». И он рассказал случай про одного квакера, который плыл пассажиром на судне. Напали на судно пираты, капитан дал квакеру в руки копье и велел идти сражаться. Квакер ответил, что сражаться ему нельзя, а вот постоять подождать у трапа — это пожалуйста. «И вот он встал с копьем в руках, поджидая, и, когда пираты взбирались на борт, он втыкал острие копья в каждого и приговаривал:

— Друг, оставался бы ты лучше на своей посудине.

Это и есть то толкование, какое я беру на себя смелость

придавать уже упомянутому мною принципу „поджидать в сторонке“».

Унылость холодного февраля 1895 года внезапно оживило достопримечательное событие. Некий политический деятель из консерваторов А. Дж. Бальфур[267]выпустил в свет сочинение по метафизике. Автор сочинения был воспитанный, тихий и весьма неглупый молодой человек, отличавшийся, однако, той непоколебимостью, которая всегда казалась подозрительной Дизраэли. Во времена Дизраэли сочинение по метафизике погубило бы самую блестящую политическую карьеру. Во времена Бальфура оно лишь произвело сенсацию. Правда, книга «Основания веры» трактовала о метафизике в духе, весьма свойственном политикам, — в сущности, она, подобно вылазке лорда Солсбери на сессии Британской ассоциации, походила на пространный запрос со скамей оппозиции, направленный против вошедшего в моду научно-утилитарного мироздания и предлагающий взамен мироздание консерваторов. Достопочтенный автор не позволял себе откровенно поносить критическое направление ума, зато весьма искусно изощрял собственный ум, дабы показать, что ум не следует изощрять слишком усердно или слишком критически. Когда люди думают слишком много, это якобы разобщает их в практической области и доводит до абсурда в области умозрительной. Одними своими усилиями человеческий разум не способен постигнуть собственную изначальную сущность. Ему надлежит с осторожностью основываться на данных, которыми его снабжают предания и общепринятые представления.

Наиболее сильные страницы книги наносят удар натуралистическим или агностическим воззрениям: натурализм непоследователен сам по себе и в своих представлениях о месте, которое человек практически занимает в мироздании. Ученый-натуралист утверждает: «Мы можем познавать лишь „явления“ и связующие их закономерности» — и в то же время ставит это познание в эфемерную зависимость от длинной цепи причин, уходящей одним концом в непознанный, по сути дела, внешний мир, а другим — в «черную бездну», отделяющую изменения в нервных клетках от сознательного мышления. Он рассуждает так, будто верует в детерминизм, а действует, подобно всем прочим, — словно верует в свободу воли. Он фанатично отстаивает христианскую мораль и при этом создает огромную, механистическую, в сущности, иррациональную вселенную, где нет места христианскому богу и христианству. Не называя имен, Бальфур с особым усердием язвит таких ученых поборников нравственной силы, как Гексли:

«В своей духовной жизни они подобны паразитам: они прикрываются убеждениями, принадлежащими не им, а обществу, неотторжимой частью которого являются сами; они черпают пищу для ума в процессах, в которых сами не участвуют. А когда убеждения эти сгинут, когда процессы эти остановятся, едва ли люди пойдут по пути, избранному этими отщепенцами».

Когда Бальфур писал эти строки, его предсказания уже начали сбываться.

Поистине он дал Гексли достаточно поводов для полемики. Уилфред Уорд — некогда доброжелательный противник Гексли по «Метафизическому обществу», а ныне его милейший сосед по Истборну — понял это отлично и в один прекрасный день, когда Гексли в наилучшем настроении зашел к нему потолковать об Эразме Роттердамском, коварно предложил ему почитать «Основания веры».

— Можете не давать мне эту книгу, — сказал Гексли, приходя в чрезвычайное волнение. — Я уже изрядное время изощрял над ней свой ум. Мистеру Бальфуру следовало хотя бы ознакомиться со взглядами тех, на кого он нападает. Противник, понимающий нашу точку зрения, принес бы пользу нам всем — и мне в том числе. Но ведь никто на свете не придерживается взглядов, которые он именует «натурализмом». А вести спор он умеет. Он знает цену словам. Слово «натурализм» неблагозвучно и вызывает дурные ассоциации. Оно повредило бы нам в палате общин и, несомненно, повредит в глазах читателей.

Подозревая, что его речи не встречают сочувствия, Гексли не изъявил желания углубляться в подробности, но мало-помалу его заставили разговориться.

— Бальфур употребляет слово «явление», — утверждал он, — только применительно к внешнему миру, но не к миру внутреннему. Выпады его справедливы лишь по отношению к последователям Конта, которые не считают психологию наукой… Все эмпирики от Локка и до наших дней наблюдают явления, относящиеся к мышлению как таковому, вне всякой связи с анализом ощущения как такового. Ни одному человеку в здравом уме не придет в голову, разумеется, что чувство красоты или религиозное чувство, — тут он церемонно поклонился священнику, — или чувство нравственного долга можно объяснить посредством ощущений или постичь через ощущения.

— Но ведь мистер Бальфур, — возразил на это Уорд, — без сомнения, излагает не столько то, что натуралисты думают, сколько то, что им логически полагалось бы думать. В наш век Милль едва ли не единственный среди них честно подошел к этому вопросу и вынужден был ограничить человеческое

познание лишь тем, *что* «существуют постоянные возможности ощущений».

Гексли преспокойно ответил, что эмпирики вовсе не обязаны безоговорочно принимать все теории Милля; По его мнению, книге Бальфура нельзя отказать в литературных достоинствах, но «никакого толку в главных спорных вопросах от нее нет — одно разочарование».

— И все же никто еще не дал ему достойной отповеди, — с невинным видом ввернул Уорд.

— Правильно! — зловеще сказал Гексли. — *Но за этим дело не станет.*

По просьбе. Ноулса Гексли уже взялся писать ответ. Он подступил к «Основаниям» более или менее уважительно, надеясь, по-видимому, показать, что просвещенный консерватор в душе агностик; но чем дальше он читал книгу, тем больше обнаруживал в ней пороков. Бальфур просто-напросто являл собой лишнее доказательство того, что политики по природе своей тупицы. «Я склонен думать, — писал Гексли Ноулсу, — что методы, коими пользуются политические лидеры, губят их интеллект, и он становится не пригоден ни на что серьезное».

Холода тем временем затягивались, и в Истборне началась инфлюэнца. Гексли сидел у камина, ежился, ожидая, когда инфлюэнца пожалует и к нему, и обнаруживал в книге Бальфура такое множество ошибок, что ему пришлось разделить свой ответ на две части. Он уже отослал первую, почти закончил вторую и тут все-таки слег.

Первая часть «Нападок мистера Бальфура на агностицизм» надлежащим порядком появилась в «Девятнадцатом веке» за март 1895 года. По сути дела, Гексли приводил здесь старые доводы в защиту против довольно-таки новых нападок. Натурализм Бальфура, утверждал он, не имеет ничего общего ни с агностицизмом автора статьи, ни с эмпиризмом Локка. Агностицизм вовсе не отрицает возможность существования сверхъестественного мира. Он отрицает лишь наличие в настоящее время достоверных сведений об этом мире. Эмпиризм вовсе не ограничивается изучением материальных явлений. Он рассматривает также явления духовные, и, стало быть, таким образом, может в конечном счете подвести научную основу под нравственную жизнь. Итак, нападкам подверглись наиболее догматические воззрения Гексли, но он опять вывернулся, подчеркивая свой скептицизм.

Эту свою первую статью он весьма метко охарактеризовал как «кавалерийскую атаку». Вторая статья должна была ввести в бой штыки и тяжелую артиллерию. Правда, она увидела свет только в

1932 году, когда Хустон Питерсон опубликовал ее — в виде чернового незаконченного наброска — как приложение к своей книге «Гексли — пророк науки». Нетрудно понять, что разумел Гексли под штыками и тяжелой артиллерией. Одно за другим он громит общие положения Бальфура, направленные против натурализма. Он разбирает едва ли не каждое слово, каждую мысль, так что в конце концов от них не остается камня на камне. Гексли отрицает, что агностики считают вселенную неразумно устроенной. Так, например, головастик — разумно устроенный организм, разумно приспособленный к среде, окружающей его в мире. Следовательно, силы, создавшие и его и вселенную, разумны. И опять-таки, утверждает Гексли, агностики верят в нравственные законы. Эти законы нерушимы до тех пор, пока не изменятся человеческая природа и социальные условия. Но социальные условия — и человеческие идеи — уже сейчас производят революционные перемены в нравственных законах. Гексли опровергает Бальфура, не вполне постигнув смысл его книги.

В заключение Гексли, что с ним бывало не часто, критикует христианство как нравственный идеал:

«Верить вопреки велениям здравого смысла; отвергать сердечные побуждения, несущие на себе греховный отпечаток, и принципы, порожденные сознанием правоты; отрекаться от всех человеческих интересов, подавлять желания и исповедовать квиетизм, покорясь промыслу Святого Духа, — вот пути к совершенству, которые большинство христиан приемлют теоретически, хотя, по счастью, в той или иной мере попирают на практике».

И далее: «Они видят для себя и других единственную цель — спасение души; во имя этого они готовы презреть все — и патриотизм, и заботы об общественном благе». Заодно он воспользовался случаем изложить сущность своих расхождений со Спенсером: он не одобряет априорный метод Спенсера, его формулировку эволюционного принципа, а равно и этические и политические выводы, которые тот делает из этого принципа.

Гексли становилось все хуже. Он следил за течением своей болезни с кислым любопытством, почти с безразличием. Вначале доктор нашел у него «легкую форму» инфлюэнцы. Гексли невольно подумалось, какова же в таком случае должна быть тяжелая форма. «„Легкость“, на мой взгляд, несколько странная: кашляю по четырнадцать часов кряду». И все же он выдержал и инфлюэнцу, и ее осложнение — бронхит. Но теперь сдали сердце и почки. Доктор встревожился. «Меня всякий день кладут под

навесом в саду, — писал больной Гукеру, — и я как можно больше времени провожу на свежем воздухе». Когда его сын Леонард спросил, как он себя чувствует, он нетерпеливо отмахнулся:

— Труп трупом, только доставляю заботы другим.

Леонард нашел, что он исхудал, но загорел, бодр, оживлен. До последнего дня он жадно интересовался своим садом и, когда уже не мог там бывать, каждый день справлялся о цветах, о саженцах.

Он понимал серьезность своего состояния и все же не собирался сдаваться. Он сказал сиделке, что врачи, несомненно, ошибаются, не может быть, что это болезнь почек; будь они правы, он бы уже агонизировал. Между прочим, врачи действительно удивлялись, почему этого не происходит. Дрожащей рукой он написал Гукеру, что газеты зря бьют тревогу. Через три дня у него стало плохо с сердцем, а вечером 29 июня 1895 года в возрасте семидесяти лет он тихо скончался.

Похоронили его в Финчли, рядом с сыном Ноэлем. Обе могилы приютились под сенью статного молодого дуба. Тридцать пять лет назад, когда, оглушенный горем, он стоял у могилы Ноэля, дубок был совсем еще тоненький. По желанию Гексли на его надгробной плите были высечены три строки из стихотворения, написанного его женою:

Сердца, что ждут, рыдая, — не страшитесь:
Любимым чадам сон господь дарует,
И если вечен этот сон, — тем лучше.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Нужна была большая смелость, чтобы снова после многих предшественников писать биографии Дарвина и Гексли, совершивших в XIX веке «революцию в кабинете ученого». Автор биографии, Уильям Ирвин, профессор одного из крупнейших в США, Стенфордского университета, создал себе имя как специальными исследованиями викторианской эпохи, так и трудами по истории науки. Книга «Обезьяны, ангелы и викторианцы» — драгоценный опыт яркого и увлекательного описания творческой деятельности.

Ирвин опирается не только на главные произведения Дарвина и Гексли и многих их современников — биологов, философов, историков, физиков, юристов, писателей. Он тщательно изучает все эпистолярное наследие Дарвина и Гексли, в том числе неопубликованное, стремясь проникнуть в «лабораторию мысли» ученых. В книге объективно резюмируется содержание «Происхождения видов» и других главных произведений Дарвина, причем это сопровождается оригинальными комментариями.

Важным достоинством книги Ирвина является изображение главных действующих лиц на фоне широко и точно обрисованной исторической и социальной обстановки, перипетий идейной борьбы в конкретных ситуациях. Книга хорошо осведомляет, воспроизводя достойные того основные дискуссии прошлого во всей их остроте и убедительно показывая их социально-культурное обрамление. Она свободна от апологетики и прямо указывает немало непоследовательного в наследии и общественной жизни двух английских биологов. Но это правда, и два героя борьбы с островными пуританскими псевдодобродетелями предстают не юбилейно, не в монументах, а живыми. Поражает отсутствие мелочей, как правило, переполняющих биографии великих и канонически мудрых.

Главное в фабуле — от первой до последней страницы — наблюдение и описание творчества вообще. Первый план занят панорамой черновой работы — тщательным, усидчивым изучением отдельных, порой однообразных деталей, но эта «мастерская» освещена гармонией возникающих обобщений, первыми мгновениями рождающихся новых понятий, разными плоскостями эмпирических рабочих подходов. Ирвин не умалчивает ни о разочарованиях, ни об ошибках, ни о тяжелых минутах, когда ученые узнают, что их открытия или мысли уже имеют предшественников и надо отказываться от первородства. Именно в этом Дарвин и Гексли показали образцы

справедливости и благородства, расставаясь с приоритетами или щедро их разделяя.

Нет ни одного заметного произведения Дарвина и Гексли, мимо которого прошел бы Ирвин: он не отделывается простым упоминанием, а ищет генезис поиска, логику, аргументацию и основные реакции на новые естественнонаучные воззрения. Можно не сомневаться, что даже специалисты, хорошо знающие Дарвина, вновь найдут повод перечитать немало страниц его произведений. Что же касается Гексли, то надо надеяться, что будут переведены некоторые неизвестные русскому читателю его статьи и книги.

Фигура Гексли вообще заслуживает более обстоятельного представления. Это не только второй после Дарвина творец теории видообразования, но без преувеличения английский народный герой. Мало того что он вел с демократических позиций острейшие споры по политическим проблемам со всеми главами и самыми видными членами кабинетов тори и вигов, он специально пользовался для этой цели трибуной самых торжественных, официальных и академических актов. Гексли боролся за коренную перестройку среднего и высшего образования своей страны, активно участвовал в обсуждении множества общественных проблем. Ирвин показывает, насколько разносторонней была его научная деятельность. Эта широта интересов опиралась на свойственное Гексли стремление к самым фундаментальным естественнонаучным обобщениям. Но такие обобщения он строит, оставаясь прежде всего естествоиспытателем даже тогда, когда обращается к философии.

В нашей популярной литературе Гексли-философ известен по преимуществу как агностик. Это, конечно, так. Гексли был и автором термина «агностицизм». И все же для оценки его философских работ одной этой квалификации, конечно, мало. Эпоха Дарвина и Гексли — это время господства в науке эмпиризма и индуктивизма, особенно значительного в английской традиции. Его влияния не избежали и многие крупные естествоиспытатели. Но не надо думать, что эмпирическая ориентация таила в себе одни лишь опасности: научному знанию того и любого другого времени необходима прежде всего фактическая основа. Ирвин показывает, как по-разному отразилось это на характере творческой деятельности Дарвина и Гексли. Первый тщательнейшим образом перерывал груды фактов, прежде чем опубликовать работу, идейная схема которой была ему достаточно ясна уже в самом начале занятий его известной проблемой. Второй решительно ограничивал сферу объяснений философского характера тем, что может быть

безусловно обосновано имеющимися научными данными.

Конечно, и такой агностицизм требует критики. Но критика не должна упускать из виду ни конкретных особенностей этого агностицизма, ни условий и мотивов, под влиянием которых он возникал. В частности, в случае с Гекели надо помнить, что вся его деятельность пронизана убеждением в огромных возможностях научного знания.

В своей книге о Юме Гекели принимает главным образом детерминистскую сторону в учении Юма. Под безусловно материалистическим углом зрения им рассмотрены многие пункты теорий Локка, Гоббса, а также Декарта. Полностью забыта уничтожающая критика философов позитивистов и агностиков, например Конта, со стороны Гекели.

Недостатки гносеологической платформы Гекели нашли выражение в его длительной дискуссии-переписке с Дарвином по поводу гипотезы пангенезиса. По мнению автора «Происхождения видов», корпускулярная теория наследственности должна завершать объяснение аппарата естественного отбора, и наследственность необходима, таким образом, для видообразования.

В пору формирования гипотезы пангенезиса Дарвин встречает широкую поддержку со стороны естествоиспытателей с очень различными интересами — от Гукера и Уоллеса до Тиндаля, и принципиальные возражения со стороны своего главного сподвижника — Гекели. Правда, и здесь Гекели оказал помощь своей замечательной эрудицией, указав на неизвестную Дарвину концепцию Бюффона. После многих лет вынашивания Дарвином его «временной гипотезы пангенезиса» Гекели, оставаясь оппозиционным, наконец пишет: «Я не хочу, чтобы потомство сказало, что старый осел Гекели помешал Дарвину опубликовать второе великое произведение».

В дни векового юбилея открытия Менделя мне разрешили ознакомиться с принадлежавшими ему несколькими томами главных произведений Дарвина. Из них можно убедиться в том, что Мендель не пропустил ни, одной строки, касающейся наследственности в «Происхождении видов», а изложение пангенезиса в другом крупном творении Дарвина буквально испещрено подчеркиваниями и пометками. Мендель, как потом и де Фриз, разделяет Дарвинову философскую идею вещественности наследственного аппарата и опускает то в ней, что, по определению самого Дарвина, преходяще. Гекели написал замечательную книгу «Материальные основы жизни», но агностицизм помешал ему перенять от Дарвина философскую идею дискретных материальных основ наследственности.

(Подробнее об этом см.: «Прометей», № 7, стр. 420, 1969 г.)

Несколько необычным и вместе с тем чрезвычайно убедительным образом Ирвину удалось показать, каким множеством нитей его герои были связаны с важнейшими общественными событиями викторианской эпохи. В частности, громадная переписка и Дарвиновы «заметки для себя», цитируемые в книге, показывают, что он не только был сторонником освобождения негров и противником конфедератов в период борьбы за независимость в США. Он также отвечал на многие другие события, происходившие за границей, и занял мужественную гражданскую позицию в ответ на расстрелы восставших негров губернатором английской колонии Ямайки. Дарвин выступил против тори, деятелей англиканской церкви и поклонников «героизма» колонизаторов. Еще более страстную гражданскую позицию в связи с ямайскими событиями занял Гексли.

Еще одна заслуга Ирвина — в сообщении многих неизвестных большинству читателей этой книги данных из писем Дарвина и Гексли, где они обосновывают научный атеизм, но не мирятся с атеизмом вульгарным. В первом издании «Происхождения видов» бог не упоминается. В последующих изданиях Дарвин дипломатически уступил настояниям Ляйелла, который испугался огромного масштаба идейного взрыва, вызванного «Происхождением».

Фигуры Дарвина и Гексли не идеализированы. Ирвин не скрывает, в чем убеждения их были ошибочны, в чем они оставались на среднем уровне викторианского времени. Гексли как антрополог делает некоторые ошибки в расовой проблеме, а по поводу участия своего американского племянника в войне на стороне конфедератов пишет сестре: «Головой я… на стороне северян, но сердцем с южанами». Он не свободен от предрассудков по вопросу о женском образовании, и от этого пострадали его дочери. У Дарвина в переписке иногда встречаются слишком резкие характеристики отдельных современников, которые совсем того не заслуживают, и т. д.

Не свободна от некоторых недостатков и сама книга Ирвина, но это не касается главного ее содержания — показа творческой лаборатории двух гениальных биологов, их последовательного, благородного и мужественного движения на пути к истине. Поэтому книга в целом, без сомнения, интересна и полезна. Она проливает новый свет на творческий портрет Дарвина и открывает много нового в обаятельной и цельной личности Гексли.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1) ЧАРЛЗА ДАРВИНА

1809 год, 12 февраля — В английском городе Шрусбери в семье врача Роберта Дарвина родился Чарлз Роберт Дарвин.

1818 год — Поступает в начальную школу.

1825 год — Поступает на медицинское отделение Эдинбургского университета.

1828 год — Чарлз оставляет Эдинбург и поступает в Кембриджский университет, чтобы подготовиться к деятельности священника.

1831 год — Окончание университета.

1831–1836 годы — Плавание к берегам Южной Америки на судне «Бигль».

1837 год — Первые записи об изменяемости видов.

1839 год, 29 января — Женится на Эмме Веджвуд.

1839 год — Выходит в свет «Дневник изысканий», или «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле „Бигль“».

1842 год, весна — семейство Дарвинов переезжает из Лондона в имение Даун, где Дарвин проживет до конца своей жизни.

1842 год — Выходит в свет работа «Строение и распределение коралловых рифов». Первый черновой набросок работы о происхождении видов.

1844 год — Выходит в свет работа «Геологические наблюдения над вулканическими островами». Дарвин пишет изложение первой части «Происхождения видов».

1846 год — Дарвин завершает свой «Дневник изысканий» третьей их частью под названием «Геологические наблюдения над Южной Америкой».

1853 год, 13 ноября — Чарлзу Дарвину — присуждена медаль Королевского общества.

1858 год — Дарвин получает от Уоллеса знаменитую статью об эволюции видов, повторяющую его собственные идеи.

18 июля — Ляйелл и Гукер докладывают на Королевском обществе очерк Дарвина совместно со статьей Уоллеса.

1859 год, 24 ноября — Выходит в свет «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранения благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь».

1862 год — Выходит в свет работа «Различные приспособления, при помощи которых орхидеи оплодотворяются насекомыми».

1864 год, 30 ноября — Королевское общество присуждает Дарвину высшую в Англии награду для естествоиспытателей — Коплеевскую медаль.

1864 год — Печатает работу «О движении и повадках лазящих растений» (выходит отдельной книгой в 1875 году).

1866 год, 30 января — Выходит в свет двухтомный труд Дарвина «Изменения животных и растений под влиянием одомашнивания».

1871 год, февраль — Закончена и напечатана работа «Происхождение человека и половой отбор».

1875 год — Появляется сочинение «Насекомоядные растения».

1876 год, август — Дарвин начал свою «Автобиографию».

1876 год — «Результаты самоопыления и перекрестного опыления», начатые в 1866 году, выходят в свет.

1877 год — «Формы цветов» — переработанные и дополненные варианты работ, опубликованных в 60-х годах. 18 ноября — Кембриджский университет присуждает Дарвину степень доктора права.

1881 год — Закончена и издана «Автобиография», выходит в свет работа «Дождевые черви».

1882 год, 19 апреля — Дарвин скончался.

2) ТОМАСА ГЕКСЛИ

1825 год, 4 мая — В английском городке Илинге в семье школьного учителя родился Томас Генри Гексли.

1841 год — Семья Гексли переезжает в Лондон, Том получает серебряную медаль на публичном конкурсе по ботанике, затем — стипендию в госпитале Черинг-Кросс.

1846–1850 — Участвует в качестве военного врача в экспедиции на северо-восток Австралии на судне «Рэттлснейк».

1849 год — Выходит в свет первая работа Гексли — «О строении и родстве семейства медузовых».

1850 год — Избирается членом Королевского общества.

1854 год — Гексли становится профессором естественной истории и палеонтологии в Горном училище.

1855 год, июль — Женится на Генриетте Хисорн.

1856–1858 годы — Читает курс лекций в Королевском институте.

1860 год, июнь — Сессия Британской ассоциации в Оксфорде, схватка Гексли с епископом Уилберфорсом.

1862 год — Гексли становится профессором Хирургического колледжа. Начинает цикл лекций «Отношение человека к остальному животному царству».

1863 год — Выходит в свет «Место человека в природе».

1864 год — Основан «Икс-клуб».

1868 год — Знаменитая лекция «О куске мела», статья «Физические основы жизни».

1869–1880 годы — Член «Метафизического общества».

1871 год — Секретарь, с 1883 по 1885 год — Председатель лондонского Королевского общества.

1875–1876 годы — Гексли — член Королевской комиссии по вопросу о вивисекции.

1878 год — Выходит в свет «Юм».

1895 год, 29 июня — Кончина Гексли.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Дарвин Ч., Сочинения. М., АН СССР, 1935–1959.

Дарвин Ч., Избранные письма. Сост. и прим. А. Е. Гайсиновича, под ред. Н. И. Фейгисона. М., ИЛ, 1950.

Бляхер Л. Я., Проблема наследования приобретенных признаков. История априорных и эмпирических попыток ее решения, М., 1971.

Некрасов А. Д., Чарлз Дарвин. М., 1957.

Волькенштейн М. В., Перекрестки науки. М., изд-во «Наука», 1972.

Азимов А., Краткая история биологии. М., 1967.

Мечников И. И., Избранные работы по дарвинизму. М., Изд-во Московского университета, 1958.

Роменс Дж., Теория Чарлза Дарвина и важнейшие из ее применений. Пер. с англ. Н. К. Кольцова, под ред. и с пред. *М. А. Мензбира.* 1899.

Шмальгаузен И. И., Проблемы дарвинизма. 2-е изд., Л., «Наука», 1969.

Тимирязев К. А., Дарвин и его учение. Соч., т. 7, 1919.

Тимирязев К. А., Статьи по истории науки и о научных деятелях. Биографические очерки и воспоминания. Соч., т. 8, 1939.

Гексли Т. Г., О причинах явлений в органическом мире. 6 лекций, читанных рабочим. М. — Л., Гос. изд., 1927.

Гексли Т. Г., О положении человека в ряду органических существ. Под ред. А. Бекетова. Спб., 1864.

Гексли Т. Г., Об университетском воспитании. Речь при открытии университета Джонса Гопкинса в Балтиморе. Спб., 1876.

Гексли Т. Г., Уроки элементарной физиологии. Спб., 1876.

История биологии с древнейших времен до наших дней. Т. 1. С древнейших времен до начала XX века. Под ред. С. Р. Микулинского. 1972.

Rostand Jean, Charles Darwin. Paris, 1947.

Darwin Francis, ред., Life and letters of Charles Darwin. Lond., 1897.

Darwin Francis and Seward A. C., More letters of Charles Darwin. New. York, 1903.

Huxley Leonard, Life and letters of Thomas Huxley. Lond., 1900.

Huxley Julian, A new judgment. Lond., 1945.

Jrwine William, Thomas Henry Huxley. Lond., 1960.

notes

Примечания

1

Дизраэли Бенджамин, граф Биконсфилд (1804–1881) — английский государственный деятель, лидер и идеолог консерваторов, премьер-министр Англии в 1868 и 1874–1880-годах, писатель. Дизраэли идеализирует аристократию, демагогически изображая ее в своих литературных произведениях защитником трудящихся. Провел ограниченную избирательную реформу, отменил некоторые устаревшие антирабочие законы, в то же время был одним из инициаторов расправы с рабочими демонстрантами в Гайд-парке в 1867 году.

2

Трактарианство (трактарианизм) — направление в религиозном движении в Англии, связанное главным образом с именем Ньюмена. Это направление получило свое название от выходивших в Оксфорде с 1833 по 1841 год при активном участии Ньюмена памфлетов под заглавием Tracts for the Times, в которых отстаивался ряд догматов, отвергаемых англиканской церковью. Памфлеты перестали выходить в связи с чрезвычайным давлением англиканской церкви на Ньюмена и его сторонников. *Ньюмен Джон Генри* (1801–1890) — лидер нового католического движения в Англии. Выдающийся проповедник, один из авторов памфлетов, направленных против англиканской церкви. Завоевал популярность в народе благодаря своей деятельности во время холеры 1848 года.

3

Гукер Джозеф Долтон (1817–1911) — крупнейший английский ботаник (систематик растений), директор Ботанического сада в Кью.

4

Ляйелл Чарлз (1797–1875) — крупнейший английский геолог, ввел в геологию принципы эволюционизма.

5

Оуэн Ричард (1804–1892) — английский зоолог и палеонтолог.

6

Чеймберс Роберт (1802–1871) — английский издатель, ученый, литератор. Основал ряд получивших широкое распространение биографических и толковых словарей и энциклопедий. В 1844 году анонимно опубликовал сочинение «Следы естественной истории творения», в котором развивал идеи эволюции животных и растений.

7

Дрэпер Джон Уильям (1811–1882) — ученый, философ, автор многочисленных трудов по физиологии, химии, физике, истории. Автор «Истории умственного развития Европы» (русский перевод 1866 г.), «Истории отношений между католицизмом и наукой» (русский перевод 1876 г.).

8

Леббок Джон, лорд Эйвбери (1834–1913) — английский естествоиспытатель, археолог, политический деятель. Выдающийся популяризатор науки.

9

Уэбстер Ной (1758–1841) — американский языковед. В 16 лет сражался волонтером за американскую независимость. Вел активную публицистическую и политическую деятельность. Издал несколько брошюр об американской конституции, издатель ряда газет и журналов, член законодательного собрания штата Коннектикут. Известность за пределами Американского континента зиждется на его капитальном 20-томном труде — превосходном словаре английского языка.

10

Эмерсон Ралф Уолдо (1803–1882) — американский философ, публицист и поэт. Вокруг Эмерсона группировались «трансценденталисты» ([161]): Торо, Фуллер, Рипли и др. В своем мировоззрении исходил из принципа морального самоусовершенствования, сближения с природой. В своих морально-философских трактатах с романтических позиций критиковал капиталистическое общество.

11

Викторианский — эпитет, используемый применительно к английскому искусству, быту, нравам XIX века. Образован от имени королевы Виктории (1819–1901). Это было время расцвета торгово-промышленной гегемонии Великобритании во всем мире и создания обширной Британской колониальной империи. В английской буржуазной литературе имя Виктории приобрело символический смысл, олицетворяя буржуазное преуспеяние.

12

Маколей Томас Барнеби (1800–1859) — английский историк, публицист, политический деятель. В 1830 году был избран в парламент. В 1839–1841 годах — военный министр. Выступал как противник всеобщего избирательного права. Автор «Истории Англии от восшествия на престол Якова V».

13

Хеттон Джемс (1726–1797) — шотландский натуралист, геолог. Историю Земли он представлял как бесконечное повторение циклов с периодической сменой разрушения и возникновения континентов.

14

Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787–1874) — французский государственный деятель, историк. С 1840 года фактически руководил политикой июльской монархии. В 1847–1848 годах — премьер-министр. Гизо — один из создателей теории классовой борьбы. Гизо считал, что классовая борьба — главный двигатель исторических событий.

15

Гамильтон Уильям (1788–1856) — английский философ, логик, профессор Эдинбургского университета, поздний представитель шотландской школы философии «здравого смысла», соединявший ее идеи с идеями Канта. Согласно учению Гамильтона предметом познания является только обусловленное и ограниченное, тогда как безусловное (т. е. абсолютное и бесконечное) составляет предмет веры. В 1829 году появилась его статья «Рассуждение о безусловном», доставившая ему известность в Европе.

16

Вторая половина знаменитого изречения Лютера: «На том стою я и не могу иначе. Да поможет мне бог!» *(нем.)*. Здесь и далее пояснения к неанглийским словам, сделаны переводчиком.

17

Карлейль Томас (1795–1881) — английский публицист, философ, историк. Карлейль возвеличивал роль «сильной личности», «вождя» («Герои и героическое в истории», 1841). Большую известность получила его «История французской революции» (1837). Некоторое время был близок к чартистам.

18

Гумбольдт Александр Фридрих Вильгельм (1769–1859) — немецкий естествоиспытатель и путешественник, один из основоположников современной географии растений, геофизики, гидрографии. Стихийный материалист. Замечательный популяризатор научных знаний.

19

Геккель Эрнст (1834–1919) — немецкий естествоиспытатель, профессор кафедры зоологии Иенского университета, автор ряда оригинальных исследований по зоологии беспозвоночных, филогенезу растений и животных; особенно известны его монографии «О радиоляриях», «Об известковых губках», «О медузах» и др. Наибольшую известность принесли ему книги и статьи, обобщающие и популяризирующие новейшие достижения естествознания, в особенности эволюционной теории. Геккель сформулировал и обосновал биогенетический закон, согласно которому живые существа в течение своего индивидуального развития (особенно зародышевого) повторяют главнейшие этапы развития всего ряда предковых форм.

20

Макджилливрей Уильям (1796–1852) — зоолог, хранитель Музея естественной истории в то время, когда Дарвин учился в Эдинбурге.

21

Бюффоновы «Suites» — многотомное издание, выходившее после смерти Бюффона под названием «Suite a Buffon», по сути дела, не содержит ничего от Бюффона. Это сочинение по преимуществу систематическое: в нем приводятся новые по тому времени данные по систематике.

22

Мюллер Иоганнес Петер (1801–1888) — немецкий естествоиспытатель. Известен трудами по анатомии, эмбриологии и гистологии.

23

Остин Джейн (1775–1817) — английская романистка.

24

Госпожой профессоршей *(нем.)*.

25

Конрад Джозеф (настоящее имя — Юзеф Теодор Конрад Коженевский, 1857–1924) — английский писатель. Сын польского повстанца, сосланного в Вологду. Моряк, а затем капитан английского торгового флота, в дальнейшем посвящает себя целиком литературной деятельности. В русском переводе издавалось большинство его романов, в частности «Каприз Олмейера», «Негр с „Нарцисса“», «Рассказы о непокое», «Лорд Джим», «Ностромо», «Тайный агент», «Зеркало морей» и др. Здесь приводятся слова из его повести «Сердце тьмы».

26

Форбс Эдвард (1815–1854) — английский естествоиспытатель, автор работ в различных областях биологии и геологии.

27

Кювье Жорж (1769–1832) — выдающийся французский естествоиспытатель, известный своими трудами в области сравнительной анатомии, палеонтологии и систематики животных, член Парижской академии наук. Основой исследований Кювье послужил открытый им принцип «корреляции частей организма». Согласно этому принципу каждая форма животного организма есть замкнутая система, части которой взаимно соответствуют как по своему строению (закон соподчинения органов), так и по функциям (закон соподчинения функций), причем изменение одной части неизбежно влечет за собой соответствующее изменение другой части организма. Таким образом, знакомство с одной частью позволяет судить о целом организме. Кювье полагал, что все существа сотворены богом, и считал принцип конечных причин единственным основанием для естественных наук, а приспособленность организма к среде рассматривал с телеологических, идеалистических позиций. Установил понятие о типах в зоологии, впервые объединил млекопитающих, амфибий и рыб в один тип позвоночных. Принцип корреляций органов позволил Кювье реконструировать ископаемые организмы по отдельным частям, найденным при раскопках. Описал новые формы ископаемых животных и, что особенно ценно, установил связь между этими формами и слоями земной коры, в которых они были найдены, показав, что при переходе от древних пластов к более молодым ископаемые формы усложняются, а в древнейших слоях ископаемые совсем отсутствуют. Все эти данные подводили фундамент под эволюционную теорию. Однако, пытаясь привести все эти открытия в соответствие со своими метафизическими представлениями, Кювье выдвинул теорию катастроф, или катаклизмов, доказывавшую отсутствие преемственности между сменяющими друг друга формами живого.

28

Тиндаль Джон (1820–1893) — английский физик, член Лондонского королевского общества. Труды Тиндаля посвящены исследованию явления диамагнетизма, поглощения тепловых лучей газами и акустике. Занимался также проблемой рассеяния света — в частности, в мутных средах. Изучал строение и движение ледников в Альпах. Блестящий лектор и экспериментатор. Деятельность Тиндаля как популяризатора науки сыграла большую роль в распространении научных знаний. Был сотрудником Фарадея.

29

Спенсер Герберт (1820–1903) — английский буржуазный философ, один из родоначальников позитивизма, пытавшийся построить систему философии и социологии на основе учения о всеобщей эволюции, которое, однако, трактовалось им слишком прямолинейно. Благодаря общедоступной форме философия Спенсера была очень популярна среди естествоиспытателей во второй половине XIX века, однако дальнейшее развитие естествознания, обнаружившее несостоятельность установок позитивизма, привело к быстрому падению влияния спенсерианства.

30

Элиот Джордж (псевдоним Мэри Энн Эванс) (1819–1880) — английская писательница.

31

Вот это муж! *(франц.)*.

32

Годы ученичества *(нем.)*.

33

Годы учительства *(нем.)*.

34

Гладстон Уильям Юарт (1809–1898) — английский государственный деятель, лидер либеральной партии. В разное время занимал пост премьер-министра Англии.

35

Тридцать девять догматов — основные догматы англиканской церкви.

36

Фоконер Хью (1809–1865) — английский палеонтолог и ботаник, известен своими исследованиями третичной фауны млекопитающих из Сиваликских холмов в Индии.

37

Грей Аза (1810–1888) — крупный американский ботаник, профессор Гарвардского колледжа в Нью-Кембридже. Написал несколько работ по флоре Северной Америки.

38

Пейли Уильям (1743–1805) — английский теолог, сочинения которого долго служили основными учебниками теологии в английских университетах. Способствовал распространению в Англии так называемой «натуральной философии», которая исходит из того, что целесообразность в строении организмов и их приспособленность к среде есть выражение премудрости божьей.

39

Макинтош Джеймс (1765–1832) — английский государственный деятель и историк.

40

Генсло Джон Стивенс (1796–1861) — английский натуралист, ботаник по преимуществу.

41

Седжвик Адам (1785–1873) — английский геолог, профессор Кембриджского университета.

42

Бейджот Уолтер (1826–1877) — английский экономист и публицист; с 1859 года редактор еженедельника «Экономист». Автор исследований «Английская конституция». В книге «Природа и политика» применил теорию Дарвина к происхождению политических организаций.

43

Эразм Дарвин (1731–1803) — английский врач, натуралист, поэт. Развивал натурфилософское представление об эволюции жизни. В своем труде «Зоономия или законы органической жизни» во многом предвосхищает учение Ламарка, а отчасти и Дарвина.

44

Броун Роберт (1773–1858) — выдающийся английский ботаник, систематик и морфолог. Первый описал ядро растительной клетки (1831). Ему принадлежит открытие броуновского движения частиц, взвешенных в жидкости или газе.

45

Грот Джордж (1794–1871) — английский историк античности, автор 12-томной «Истории Греции». Исследовал преимущественно политическую историю Древней Греции (с древнейших времен до 301 г. до н. э.), крайне идеализируя афинскую демократию.

46

Граф Стенхоуп — отец известного государственного деятеля и историка Стенхоупа Филиппа Генри, виконта Мэхона.

Quod erat demonstramdum — что и требовалось доказать *(латин.)*.

48

Сесили Кардью — героиня пьесы Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным».

49

Теннисон Альфред (1809–1892) — английский поэт. «Королева Мария» — драма-хроника Теннисона.

50

Креационизм (от латин. creatio — «создание») — идеалистическая теория, объяснявшая происхождение мира актом «божественного творения». Биологи-креационисты (Карл Линней, Жорж Кювье, Жак Агассис и др.) высказывали мысль о том, что все виды растений и животных созданы независимо друг от друга путем особых «актов творения», а не произошли естественным путем один от другого. Французский палеонтолог д'Орбиньи даже подсчитал, что на Земле было 27 таких «актов творения», сопровождавших такое же число геологических катастроф.

51

Булвер-Литтон Эдвард Джордж (1803–1873) — английский писатель. Видный деятель либеральной, затем консервативной партии, в 1858-м — министр колоний, с 1866-го — член палаты лордов. Ранние романы — «Пелэм», «Поль Клиффорд», «Юджин Эрам». Лучший роман — «Кенелм Чиллингли». Из пьес наиболее известны исторические драмы «Герцогиня де ля Вальер», «Ришелье».

Бакленд Уильям (1784–1856) — английский геолог.

53

Мурчисон Родерик Импи (1792–1871) — английский геолог, представитель школы «катастрофистов». Совместно с русскими геологами создал обобщающий труд по геологии европейской части России и Урала.

54

Севинье Мари де Рабютен-Шанталь (1626–1696) — французская писательница. Знаменита своими письмами к дочери, в которых рассказывала о жизни в Париже и Версале, о политических событиях, о трудах философов, о театральной жизни. С большим остроумием критиковала режим абсолютной монархии, лицемерие двора, обременительные для государства войны. Превосходный стилист, довела до совершенства эпистолярное искусство.

55

Батлер Сэмюэл (1835–1902) — английский писатель, сын священника. По окончании университета принял духовный сан, но в дальнейшем отказался от карьеры священника. Религиозные сомнения привели его к разрыву с семьей. Занимался музыкой, живописью, переводил Гомера, писал по естественнонаучным и теологическим вопросам. Скептическое отношение Батлера к буржуазной морали проявилось в его сатире «Едгин» (анаграмма слова «Нигде»; «Erehwon» (1872) и в ее продолжении — «Возвращение в Едгин», написанных в традициях Свифта. Известность его имя получило после смерти писателя, когда был опубликован его роман «Путь всякой плоти».

56

Барзен Жак (род. в 1907 г.) — американский литератор и университетский деятель, француз по происхождению. Автор сочинений «Французская раса» (1932), «Раса. Исследование современного предрассудка» (1937) и др.

57

Дронты (Raphidae) — вымершее в конце XVII века семейство голубиных птиц. Сейчас можно судить о них только по описаниям и рисункам, особенно по рисункам художника Р. Савери (1626), а также по сохранившимся скелетам.

58

Декандоль Альфонс (1806–1893) — ботаник, сын Огюстена Пирама Декандоля, крупного швейцарского ботаника, продолжил и дополнил фундаментальный труд, начатый его отцом, по систематике растений (Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis), составивший эпоху в науке.

Роберт Чеймберс. *(Прим. переводчика.)*

60

Гераклит Эфесский (ок. 544–540 до н. э. — ок. 480 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист, представитель так называемой ионийской школы философии, один из основоположников диалектики.

61

Анаксимандр (ок. 610–546 до н. э.) — древнегреческий философ — материалист, представитель милетской школы, автор трактата «О природе» — первой философской работы на греческом языке. Первым ввел понятие о «начале» («архэ») всего сущего и определил это начало как «апейрон» (греч. aperion — «неопределенное»), неопределенную материю, находящуюся в бесконечном движении. Составил первую географическую карту.

62

Стоики — представители стоицизма, одного из главных философских учений эпохи эллинизма, возникшего в конце IV века до н. э. в Афинах. Основатели этого направления — Зенон из Китиона, Клеанф из Асса и Хрисипп Солский. Стоики впервые ввели строгое деление философии на логику, физику и этику. Ими же введен и сам термин «логика». Стоики считали, что одним из главных условий деятельности ума является искусство «диалектики», под которым они понимали безупречную логическую последовательность в умозаключениях.

63

Эпикурейцы — последователи *Эпикура*, создавшего материалистическую школу древнегреческой философии в Афинах около 309 года до н. э. Школу Эпикура посещали не только мужчины, но и женщины, а также рабы. В отличие от стоиков, признававших господство рока, эпикурейцы исходили из жизнеутверждающей этики и считали, что источником знания являются ощущения. Согласно учению эпикурейцев для достижения мудрости — главного условия избавления людей от душевных страданий — необходимо изучение философии, которое позволяет достичь атараксии, то есть безмятежности, включающей здоровье тела и спокойствие духа.

Лукреций, Тит Лукреций Кар (ок. 99 г. до н. э. — ок. 55 г. до н э.) — древнеримский философ, поэт. Автор книги «О природе вещей», написанной гекзаметром, в которой, основываясь на атомистической теории, доказывается, что мир существует благодаря действию законов природы. Утверждал, что душа материальна и смертна и что боги не вмешиваются в жизнь человека. Ему принадлежит изложение учения древнегреческого философа Эпикура (см. эпикурейцы) об атомах, которые, находясь в движении, рождают миры.

Лейбниц в XVII веке довел принципы множественности, непрерывности и линейной последовательности до их логического предела. Бог создал все возможное, что только способно сосуществовать — то есть, с точки зрения количества и разнообразия, лучший из всех возможных миров. Естественно, что бесконечное разнообразие его творений означало почти непрестанные столкновения и страдания. Вселенная, по Лейбницу, была не столько целесообразна оттого, что хороша, сколько хороша оттого, что целесообразна.

66

Бюффон Жорж Луи Леклерк, граф де (1707–1788) — французский естествоиспытатель. С 1739 года директор Ботанического сада в Париже. Занимался в отличие от Линнея не столько систематикой, сколько описанием животных и их биологией в естественной обстановке. Начал издавать при участии Л. Добантона «Естественную историю» (первые 36 томов с 1749 по 1788 год); закончена Ласепедом (тома 37–44). Признавал изменяемость видов.

То, что Дарвину и другим представлялось у Бюффона неустойчивостью воззрений, возможно, как восторженно утверждает Сэмюэл Батлер, было всего-навсего искусное и отважное лавирование в долгой и опасной игре с отцами Сорбонны, принудившими его, в конце концов, к публичному покаянию.

68

Франклин Бенджамин (1706–1790) — американский политический и общественный деятель, ученый-энциклопедист, естествоиспытатель и философ.

69

В пути *(франц.)*.

70

Гердер Иоганн Готфрид (1744–1803) — немецкий философ, идеолог немецкого просвещения. Высказал догадки (в сочинении «Идеи к философии истории человечества», 1784–1791) о самозарождении жизни и об эволюции живых организмов. Высшим принципом развития человечества считал осуществление гуманности.

71

Гиббон Эдуард (1737–1794) — английский историк-просветитель, автор 6-томной «Истории упадка и разрушения Римской империи» (русский перевод В. Н. Неведомского, 1883–1886), в которой на основе детального изучения источников излагается политическая история Римской империи и Византии до 1453 года.

72

Александр VI (Родриго Ленцуоли Борджиа) (1492–1503) — папа римский. Провел демаркационную линию между владениями Испании и Португалии.

73

Гарриет Мартино (1802–1876) — английская романистка. Одно время была дружна с Эразмом, братом Ч. Дарвина.

Дилювиалисты (от лат. diluvium — потоп) считали, что осадочные породы — это продукты разрушения кристаллических пород, отложившиеся при всемирном потопе. *Флювиалисты* (от лат. fluvius — река) полагали, что осадочные породы образуются в результате действия атмосферных факторов и текучих вод.

75

Герцог Веллингтон Артур Уэлсли (1769–1852) — английский полководец, государственный деятель, дипломат. В 1815 году — командующий союзной армией в сражении против Наполеона при Ватерлоо.

Штраус Давид Фридрих (1808–1874) — немецкий философ. Его книга «Жизнь Иисуса, критически переработанная» (русский перевод, 1907 г.) оказала большое влияние на развитие антирелигиозной мысли.

77

Милман Генри-Гарт (1791–1868) — английский историк, декан собора св. Павла в Лондоне.

78

Гельмгольц Герман Людвиг (1821–1894) — великий немецкий ученый математик, физик, физиолог, анатом, психолог.

79

Милль Джон Стюарт (1806–1873) — английский философ, логик, экономист, один из видных представителей позитивизма, сын Джемса Милля. Главные труды — «Система логики силлогистической и индуктивной» и «Обзор философии сэра Вильяма Гамильтона». По Миллю, единственный источник знания — опыт, понимаемый идеалистически, а единственно допустимый способ познания — индукция. Внешний мир для познания — не объективная реальность, предшествующая нашим ощущениям, но лишь постоянная возможность сходных ощущений. Милль считал, что все наше знание гипотетично и истинная суть явлений недоступна познанию.

80

Конт Огюст (1798–1857) — французский буржуазный философ и социолог, основоположник позитивизма. Согласно учению Конта познание проходит три стадии развития — теологическую, когда господствует религия, метафизическую, отмеченную господством философов и юристов, и позитивную, когда господствует позитивная наука, основанная исключительно на наблюдении и эксперименте. Ее девиз — «знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы избегать». Главная черта философии Конта — попытка отрицать роль философии, а в конечном счете — роль теоретического знания вообще.

81

Морис Ф. Д. — теолог, духовный вождь группы, к которой принадлежал Кингсли ([107]).

82

Мартино Джемс (1805–1900) — теолог, унитарист. Автор ряда философских работ, в том числе о Спинозе. Брат Гарриет Мартино.

83

Поуэлл Баден (1796–1860) — приходский священник. Профессор геометрии. Занимался также оптикой и тепловым излучением. Выступал как противник трактарианства.

84

Паттисон Марк (1813–1884) — ректор Линкольн-колледжа в Оксфорде, писатель. Писал на теологические и философские темы.

85

Выражение из апокалипсиса (17, 1 и 5): «Я покажу тебе суд над великою блудницей… на чем ее написано имя: тайна. Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям людским». Вавилонской блудницей Ирвин называет католическую церковь.

Мы пользуемся здесь шестым изданием «Происхождения видов», как наиболее полным. При этом, однако, в тексте или в примечаниях отмечаются любые отклонения от первоначального издания.

87

В первом издании возражениям отводится лишь одна глава (шестая), а всего глав четырнадцать. В шестом издании возражениям отводятся уже две главы из пятнадцати — шестая и седьмая, впрочем, по содержанию они очень близко повторяют друг друга.

88

Майварт Сент-Джордж-Джексон (1827–1900) — английский анатом и зоолог, профессор Лондонского университета.

89

Де Фриз Гуго (1848–1935) — голландский ботаник, основоположник мутационной теории.

Свершившийся факт *(франц.)*.

91

В первом издании, впрочем, упоминания о создателе отсутствуют.

92

Шеллинг Фридрих Вильгельм Иозеф (1775–1854) — один из выдающихся представителей немецкого классического идеализма. В ранний период творчества создал грандиозную систему натурфилософии, которая была попыткой философского обобщения (с сильными элементами диалектики) тенденций естествознания, его успехов в исследовании электричества и связей электричества с химическими процессами, а также достижений в изучении органической природы. Позднее перешел на позиции религиозной «философии откровения» и мистики.

93

«Laissez faire, laissez passe» *(франц. «*пусть все идет, как идет») — один из принципов буржуазной политэкономии эпохи домонополистического капитализма. Принцип этот основывается на вере во всемогущую регулирующую силу рынка.

Бентам Иеремия (1748–1832) — английский буржуазный философ права, этик. По его учению («утилитаризм») действия людей должны расцениваться по приносимой ими пользе.

95

Берк Эдмунд (1729–1797) — английский политический деятель и публицист, один из лидеров вигов. В книге «Размышления о Французской революции» отразил враждебное отношение к ней, характерное для господствующих классов Англии.

96

Менделизм — научное направление, получившее название по имени его основателя. Мендель Грегор Иоганн (1822–1884) — чешский ученый, открыл основные законы наследственности, составляющие фундамент современной генетики. Главный труд Менделя, увидевший свет в 1865 году, не был оценен современниками. Вторично законы Менделя были открыты в 1900 году сразу тремя учеными — Гуго де Фризом, Карлом Корренсом и Эриком Чермаком.

97

Фишер Рональд Эйлмер (1890–1963) — английский генетик. Речь идет о его известной работе «Генетическая теория естественного отбора» (1930). Следует отметить, по-видимому, неизвестное У. Ирвину обстоятельство. Замечательный советский генетик С. С. Четвериков за четыре года до Фишера дал генетическое обоснование теории естественного отбора в классическом труде «О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения эволюционной генетики» (1926).

Деятельный скепсис *(нем.)*.

99

Беркли Джордж (1684–1753) — английский философ, видный представитель субъективного идеализма, епископ англиканской церкви. Отождествляя материальные вещи, вызывающие ощущения, с самими ощущениями, Беркли утверждает, будто вещи не существуют независимо от сознания. По Беркли, вещь — это лишь совокупность наших ощущений, существующая только в воспринимающем «духе».

100

Юм Давид (1711–1776) — английский философ, психолог, историк и экономист. Юм выступает как основоположник современного агностицизма, предшественник позитивизма и крупнейший представитель английского эмпиризма. Согласно Юму мышление способно лишь связывать, переставлять и изменять в объеме материал, доставляемый чувствами и опытом (который толкуется у него как индивидуально-психологический опыт). Мы не можем, говорит Юм, логически доказать объективный характер причинности в природе; принцип причинности в естествознании основан на внетеоретической вере. Теория познания Юма строится вокруг проблемы соотношения элементов чувственного опыта — восприятий или впечатлений. Сложные идеи трактовались им на основе принципа ассоциирования. В учении о морали Юм стоит на позициях детерминизма. Опираясь на свой агностицизм, Юм выступал с развернутой критикой религии.

101

Уолластон Уильям Хайд (1766–1828) — английский химик и естествоиспытатель.

102

Бэр Карл Максимович (1792–1876) — русский академик, выдающийся натуралист XIX века. Славу Бэру создали его исследования зародышевого развития животных. В 1826 году открыл яйцо млекопитающих и человека. Основатель эмбриологии. Открыл спинную струну, проследил развитие оболочек плода, описал образование головного мозга из пузырей, развитие глаза, сердца и других органов. Установил, что в процессе эмбрионального развития сначала появляются самые общие признаки, в частности признаки типа, к которому относится животное, а затем последовательно обособляются признаки класса, отряда, семейства, рода, вида и, наконец, индивидуальные признаки. Отвергая теорию постоянства видов, Бэр возражал также против теории естественного отбора.

103

Гершель Джон (1792–1871) — английский астроном, сын Уильяма Гершеля. Продолжил после смерти отца исследования звездного неба методом «промеров», открыл свыше 3000 двойных звезд, составил одиннадцать каталогов двойных звезд и большой каталог туманностей. Работал также в области математики и оптики. Был одним из пионеров фотографии (обнаружил способность гипосульфита закреплять фотографическое изображение, ввел понятия «негатив» и «позитив»). Неоднократный президент Королевского астрономического общества. Его популярная книга «Очерки астрономии» переводилась на русский язык.

104

Уотсон Хьюэтт Котрелл (1804–1881) — английский ботаник, известен работами по флоре Британии.

105

Гальтон Френсис (1822–1911) — английский ученый, основоположник евгеники ([169]) и применения статистических методов в психологии, двоюродный брат Чарлза Дарвина. Наиболее значительное его произведение — «Исследования о человеческих способностях и их развитии».

106

Агассис Луи (1807–1873) — швейцарский зоолог и геолог. Известен своими исследованиями по ископаемым рыбам и иглокожим. Обосновал существование в истории Земли ледникового периода. Катастрофист и антиэволюционист, Агассис был противником Дарвина.

107

Кингсли Чарлз (1819–1875) — английский писатель, теолог, натуралист-любитель, представитель «христианского социализма».

108

Карпентер Уильям-Бенджамин (1813–1885), — английский врач, физиолог, сравнительный анатом, один из руководителей экспедиций по исследованию глубин океана, автор труда «Принципы общей и сравнительной физиологии».

«Флора Тасмании» *(латин.)*.

Так устрашающе *(нем.)*.

111

Строки из поэмы А. Теннисона «Джиневра» («Королевские идиллии»). Перевел В. Тихомиров.

112

Стивен Лесли (1832–1904) — английский критик и издатель.

113

«Сартор Резартус» (латин. «Заштопанный портной») — роман Т. Карлейля. Полное название: «Sartor Resartus. Жизнь и мнения профессора Тейфельсдрека». Русский перевод Н. Горбова вышел в 1902 и 1904 годах. В этом философско-публицистическом романе история человечества сатирически представлена как ряд переодеваний в новые одежды.

114

Главк (мифолог.) — один из союзников троянцев. В 6-й песне «Илиады» описана его встреча под Троей с Диомедом.

115

Диомед — царь Аргоса, легендарный герой Троянской войны. Доставил к Трое оружие Геракла. По преданию Диомед основал ряд итальянских городов.

116

Бэтс Генри Уолтер (1825–1892) — английский натуралист и путешественник, пионер в изучении явлений мимикрии, которой он дал научное объяснение. Собрал огромную коллекцию насекомых, в том числе 8000 новых видов.

117

Мор Поль Элмер (1864–1937) — Американский эссеист и критик.

118

Пиррон из Элиды (ок. 365–275 до н. э.) — древнегреческий философ, основатель школы скептицизма.

119

Например *(франц.)*.

Занимающие неопределенную позицию *(латин.)*.

121

Майер Юлиус Роберт (1814–1878) — выдающийся немецкий ученый, одним из первых открывший закон сохранения и превращения энергии (в трудах «О количественном и качественном определении сил», а также «Органическое движение в его связи с обменом веществ»). Определил механический эквивалент тепла. Впервые высказал идею, что излучение Солнца связано с потерей массы. Предположил, что аккумуляторами солнечной энергии на Земле служат растения.

122

Дюбуа-Реймон Эмиль (1818–1896) — немецкий физиолог. Студентом работал в лаборатории И. Мюллера ([22]). Непременный секретарь Берлинской академии наук (с 1867 года). Способствовал развитию электрофизиологии. Широко известен его труд «Исследования по животному электричеству».

123

Флауэр Уильям Генри (1831–1899) — английский зоолог и антрополог. Его работы касаются преимущественно сравнительной анатомии животных и человека. Считался лучшим знатоком китовых.

124

Фрер Джон (1740–1807) — археолог, член Королевского общества. Автор исследования «О кремневых орудиях в графстве Саффолк».

125

Буше де Перт Жак (1788–1868) — французский археолог. Один из первых утверждал, что человек, изготовлявший древнейшие каменные орудия, был современником мамонта и других вымерших животных, что противоречило господствовавшим в науке взглядам: считалось, что последняя катастрофа истребила мамонта и предшествовала появлению человека. Однако сам Буше де Перт верил в эту катастрофу — всемирный потоп — и считал, что им открыты следы допотопного человека. Находки Буше де Перта по заслугам оценили дарвинисты в 60-х годах XIX века.

Кельтские древности *(франц.)*.

127

Престуич Джозеф (1812—1896) — английский геолог, член Королевского общества (с 1853 года).

128

Кизс Артур (1866–1955) — шотландский анатом и антрополог.

129

Пигафетта Антонио (1490–1534) — итальянский путешественник, спутник Магеллана во время его первого кругосветного путешествия. Вел дневниковые записи путешествия. Написал книгу «Впервые вокруг света (путешествие Магеллана)» (русский перевод, 1950).

130

Пуркас Сэмюэль (1575—1626) — английский писатель. Его книги посвящены главным образом описанию путешествий.

Издание 1894 года по объему больше первого, в него включены еще три главы по этнографии, опубликованные в периодической печати за эти годы. В первой — «О методе и результатах» (1865) — рекомендуется определять расы по их физическим признакам, а не по языкам, развитию искусства и обычаям, которым свойственно претерпевать изменения и мигрировать. «Этнография Британии» (1871) замечательна широким использованием латинских литературных источников, маленькой, но очень поучительной отповедью любителям беспочвенных рассуждений о моральном превосходстве кельтской крови, а также некоторыми очень смелыми теоретическими заключениями насчет первобытных народностей и наречий Великобритании. В третьей, посвященной «Арийскому вопросу» (1890), вопреки прежним предосторожностям делается попытка связать арийский язык с расой арийцев.

132

Черепа коренных австралийцев действительно обнаруживают неандерталоидные черты. Однако считать, что они более всего напоминают черепа неандертальцев, не совсем верно. Неандертальцы — предшественники современного человека, и неандерталоидные черты свойственны не только черепам австралийских аборигенов.

133

Рустам и Зораб — герои эпической поэмы Фирдоуси (932—1021?) «Шах-Намэ» — «Книга царей». Рустам в поединке убивает Зораба и лишь потом узнает, что это его сын.

Истинная причина *(латин.)*.

135

Холлэм Генри (1777–1859) — английский историк. Известен также как торговец марками.

Дарвин вслед за Ляйеллом полагал, что материки и океаны всегда были примерно такими же, как теперь. В свете этого представления объяснить, как появились мыши на Галапагосских островах и грызуны в Австралии, составляло известные трудности. По современным представлениям Австралия и Галапагосские острова были в свое время соединены с сушей, в частности — Австралия с Мадагаскаром, Индостаном и Африкой.

137

Мимикрия (от греч. слова, означающего «подражаю») — защитное приспособление растений и животных, заключающееся в их сходстве с предметами окружающей природы или же с другими животными или растениями. Впервые это понятие было введено Бэтсом для случаев внешнего сходства между видами животных, принадлежащих к разным родам, семействам и даже отрядам.

138

Кёлликер Рудольф Альберт (1817–1905) — немецкий гистолог и эмбриолог. Результаты его исследований в области микроанатомий сохраняют свое значение и сейчас. Одним из первых принял клеточную теорию. Выступал в печати как противник Дарвина.

139

Флуранс Мари-Жан Пьер (1794–1867) — французский врач, физиолог, историк биологии. С 1840 года член Французской академии. Из его работ наиболее известны исследования по анатомии и физиологии головного мозга и нервной системы. В 1864 году вышла в свет его работа о Дарвине «Examen du livre de Darwin».

Идеологом *(франц.)*.

141

Альберт, принц Саксен-Кобургский, — супруг королевы Виктории английской.

В курсе дела *(франц.)*.

143

«Открытая тайна природы» *(нем.)*.

144

Шпренгель Христиан Конрад, (1750–1816) — немецкий ботаник. Его труд о строении и оплодотворении растений является замечательным достижением в области морфологии и физиологии растений.

145

Линдли Джон (1799–1865) — английский ботаник, профессор ботаники в Лондонском университете. Автор трудов «Естественная система ботаники», «Элементы ботаники», «Растительное царство», «Ископаемая флора Великобритании» и др.

146

Орхидные *(латин.)*.

Лорд Эйвбери — Джон Леббок ([8]).

148

Эренберг Христиан (1795–1876) — немецкий зоолог и палеонтолог, исследовавший современных и ископаемых инфузорий.

Берти — принц Альберт ([141]).

150

Незадолго до того Дарвин с удивлением узнал, что Гукер (вот чудак!) собирает веджвудский фарфор.

151

Echinocystis lobata.

152

Коленсо Джон Уильям (1814–1883) — английский епископ, перевел на язык зулу (зулусский язык) Новый завет, составил грамматику и словарь этого языка.

153

Перевод В. Тихомирова. Этих строк в поэме «Енох Арден» нет.

154

Тейлор Эдвард Барнет (1832–1917) — английский этнограф. Занимался сравнительной мифологией, изучением первобытной магии и вопросами происхождения мексиканцев.

155

Леки Уильям Эдвард Гартполь (1838–1903) — ирландский историк и эссеист, автор «Истории Англии в XVIII веке» (1878–1890).

156

Бокль Генри Томас (1821–1862) — английский историк и социолог. Основным фактором исторического развития считал географическую среду, определяющую психический склад народа. Главный труд «История цивилизации в Англии» (русский перевод Буйницкого, 1906).

157

В домашних туфлях *(франц.)*.

158

Гоббс Томас (1588–1679) — английский буржуазный философ-материалист и политический мыслитель. В 1651 году появилось (с разрешения Кромвеля, лорда-протектора Англии) самое важное произведение Гоббса — «Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского»; это антиклерикальное произведение было задумано как оправдание кромвелевской диктатуры.

159

Мэн Генри Джеймс (1822–1888) — английский юрист, философ права, социолог-эмпирик. В своих работах дает анализ социологических проблем, основываясь на философском позитивизме.

160

Савиньи Фридрих Карл (1779–1861) — немецкий юрист, глава реакционной школы права, считавший, что право как выявление «духа народа» не может быть реформировано с помощью законодательства.

161

Трансценденталисты — группа американских философов-идеалистов, основавших в 1836 году в Бостоне «Трансцендентальный клуб» (наиболее влиятельные его члены — Эмерсон, Торо, Дж. Рипли, М. Фуллер, Н. Хоторн). В противоположность сенсуализму, утверждавшему, что существует лишь то, что может быть воспринято, трансценденталисты выдвинули основное понятие трансцендентного, или «потустороннего», признавая под этим некую сверхчувственную «Верховную душу», или бога. Принимали тезис Карлейля о великих личностях как творцах истории. Большинство трансценденталистов выступали с резкой критикой капитализма.

Второе «я» *(латин.)*.

163

Джордж Генри (1839–1897) — американский публицист и экономист. Считал, что национализация земли буржуазным государством или высокий государственный налог на частную земельную собственность могут положить конец нищете масс в буржуазном обществе. Его важнейшие работы: «Прогресс и бедность» (русский перевод, 1896 г.), «Великая общественная реформа (Налог с ценности земель)» (русский перевод, 1901 г.) и «Что такое единый налог и почему мы его добиваемся» (русский перевод, 1907 г.)

Дарвинизм *(франц.)*.

165

Катрфаж де Брео Жан Луи Арман (1810–1892) — французский зоолог и антрополог, член Парижской академии наук. Выделял человека в отдельное «царство», отрицая его родство с миром животных.

166

Годри Альберт (1827–1908) — французский палеонтолог, академик. Известен трудами об ископаемых позвоночных. Эволюцию форм жизни интерпретировал как выражение божественного предназначения.

167

Для блага общества *(латин.)*.

168

Мак-Леннан Джон Фергюсон (1827–1881) — шотландский юрист, исследователь истории первобытного общества, главным образом истории брака и семьи. Автор труда «Первобытный брак, исследование о происхождении обряда похищения в свадебных церемониях» (1865) и «Исследований по древней истории», а также работы «Почитание растений и животных», в которой дал первое описание явлений тотемизма.

169

Евгеника (от греч. слов, означающих «истинный, хороший» и «род») — наука об улучшении человеческого рода. Термин введен Гальтоном ([105]) для обозначения изучения влияний, могущих улучшить наследственные качества будущих поколений. Положения евгеники были использованы в ряде стран для обоснования реакционных расистских теорий. В настоящее время содержанием евгеники стала разработка мероприятий, направленных на предотвращение браков между лицами, обладающими нежелательными наследственными особенностями, или на поощрение браков между лицами, обладающими выдающимися наследственными качествами. Первое направление тесно связано с медицинской генетикой, получившей в настоящее время широкое развитие.

Гласа народа *(латин.)*.

171

Радамант (мифолог.) — сын Зевса и Европы, славившийся своей справедливостью. Живет в Элизиуме, где судит души умерших. В переносном смысле — очень строгий и справедливый судья.

«Естественная теория мироздания» *(нем.)*.

173

Марк Аврелий Антоний (121–180) — римский император (161–180), последний крупный представитель античного стоицизма. Автор размышлений «Наедине с собой» (пер. С. Роговина. М., 1914).

174

Шафтсбери Антони Эшли Купер (1671–1713) — английский историк, эстетик, моралист, представитель деизма. По Шафтсбери, основу морали составляет равновесие между эгоизмом и альтруизмом — равновесие, основанное на гармонии между индивидуумом и обществом. Все его учение о нравственности основано на представлении о врожденном у человека «нравственном чувстве», предопределяющем естественное стремление к добру.

175

Здесь: прием *(франц.)*.

176

Фома Аквинский (1225?—1274) — крупнейший философ-схоласт европейского средневековья. Главное произведение — «Summa theologiae». После смерти причислен к лику святых римско-католической церкви.

177

Гексли пишет о своем сыне Леонарде.

178

Личфилд Р. Б. (1831–1903) — английский общественный деятель, педагог и музыкант, один из основателей и многолетний преподаватель Колледжа для рабочих. Муж дочери Дарвина Генриетты.

179

Улесс Уолтер Уильям (1848–1933) — английский портретист, известен портретами Дарвина и кардинала Ньюмена.

180

Гетеростилия (разностолбчатость) — приспособление у растений, предупреждающее самоопыление. Выражается в том, что разные экземпляры растений имеют цветки двух или более различных типов, с тычинками и столбиками разной длины. Известнейший пример гетеростилии — примула. У примулы имеются два типа цветков, каждый из которых контролируется одним геном, причем короткостолбчатость — доминантный признак, а длинностолбчатость — рецессивный.

181

Методология *(нем.)*.

182

Тислтон Дайер Уильям Тернер (1843–1928) — английский ботаник, заместитель директора Королевского ботанического сада в Кью. Занимался вопросами культивирования плодов какао на Цейлоне и каучука на Дальнем Востоке.

183

Визнер Юлий (1838–1916) — немецкий ботаник.

184

Мильтон Джон (1608–1674) — один из величайших поэтов Англии, выдающийся деятель английской буржуазной революции XVII века.

185

Вордсворт Уильям (1770–1850) — английский поэт романтической школы. Вместе с Саути и Кольриджем принадлежал к так называемой «озерной школе».

186

Морли Джон (1838–1923) — английский политический деятель, историк, публицист. Автор биографий Вольтера, Руссо, Дидро, Кромвеля, а также 3-томной биографии Гладстона.

187

Плейфер Лайон (1818–1898) — английский химик, общественный деятель. Перевел на английский язык Либиха. Член комиссии по санитарным условиям в городах, заложившей основы современного подхода к санитарно-гигиеническому благоустройству городов. Член парламента.

188

Томсон, лорд Кельвин Уильям (1824–1907) — английский физик, член Лондонского королевского общества. Научная деятельность касалась самых разных вопросов физики, математики и техники. Ему принадлежит одна из формулировок второго начала термодинамики. Он ввел в физику понятие об абсолютной температуре, установив абсолютную шкалу температур. Автор ряда важнейших изобретений.

189

«Дневник для Стеллы» — произведение Джонатана Свифта, замечательный образец эпистолярного жанра, в котором отражена политическая и литературная жизнь Англии того времени.

190

Стоунхендж — классическое место мегалитических построек типа кромлехов возле города Солсбери. Относятся к неолиту. Дарвин полагал, что глубина залегания в земле гигантских плит, из которых сооружены эти постройки, должна была сильно увеличиться из-за деятельности дождевых червей. Поездка была предпринята с целью выяснения этого предположения.

191

Геринг Эвальд (1834–1918) — немецкий физиолог; главные работы относятся к физиологии органов чувств, дыхания и мышц. Развил идею о памяти как о фундаментальном свойстве всего живого, лежащем, в частности, в основе таких явлений, как воспроизведение и наследственность живых существ.

192

Беск Джордж (1807–1886) — английский хирург, зоолог, палеонтолог.

193

Франкленд Эдвард (1825–1899) — крупный английский химик-органик. Его работы имели большое значение для развития современной химии. Положил основание учению о валентности.

Споттисвуд Уильям (1825–1883) — английский математик и физик, изучал, в частности, поляризацию света и электрические разряды в газах. Президент Королевского общества (1880–1883).

195

Юмэнс Эдвард Ливингстон (1821–1887) — американский писатель. Корреспондент и почитатель Герберта Спенсера, способствовал распространению его книг в США.

196

Лоу Роберт (1802–1874) — английский натуралист, известный в свое время работами по паукам, моллюскам, рыбам и растениям Мадейры.

197

Мэнсель Генри Лонгвилль (1820–1871) — английский философ, церковный писатель. Последователь Гамильтона.

198

Небулярная гипотеза (от латин. nebula — туман) — космогоническая гипотеза, сформулированная независимо друг от друга Лапласом и Кантом, согласно которой солнечная система возникла из разреженной туманности. Это понятие возникло в связи с гипотезой Лапласа о происхождении Солнца и планет из раскаленной газовой туманности.

199

Ямайка с середины 50-х годов XVII века была захвачена англичанами и вскоре стала одним из самых крупных центров работорговли. В 1865 году, уже после отмены рабства на Ямайке, здесь произошло крупное восстание негров, которое было жестоко подавлено.

200

Смит Голдвин (1823–1910) — английский историк и публицист. Главные труды: «Соединенное Королевство: политическая история» (1899), «Соединенные Штаты: очерк политической истории» (1893). В своих памфлетах выступал против рабства. Впоследствии переехал в США, был профессором Корнеллского университета.

201

Рёскин Джон (1819–1900) — крупный английский теоретик искусства, художественный критик, публицист. В своих работах резко критиковал капиталистическую цивилизацию, превращающую рабочего в придаток машины. Считал, что социальные уродства буржуазного общества можно преодолеть путем нравственного воспитания в духе «религии и красоты».

В 1866 году, когда еще не утихли ямайские страсти, Гексли стал свидетелем величайшего личного торжества Карлейля — вступления его в должность ректора Эдинбургского университета.

Однажды ранним утром Тиндаль заехал в Челси за сим желчным, закаленным в риторических схватках героем и, подождав, пока тот по обыкновению выпьет бренди с содовой и обнимет в последний раз на этом свете свою престарелую супругу, увез его в путешествие на север. Во Фрейстоне, где Тиндаль за пять часов вылечил друга от бессонницы ездою по грязи через поля, их встретил Гексли, и они продолжали путь втроем. В Эдинбурге Карлейль поверг шотландцев в замешательство тем, что не написал текста своей речи. До сих пор ректоры всегда писали свою речь заранее. Тиндаль опасался, как бы дряхлый старец накануне торжества не провел ночь без сна и не встал бессильный и бессловесный. А дома, в Лондоне, тревожилась миссис Карлейль о том, как бы при виде моря лиц он не свалился замертво от волнения. В начале церемонии Гексли, Тиндаля и других с помпой произвели в почетные доктора, а потом, нервно держась, за край стола и устремив на публику сосредоточенный взгляд, заговорил Карлейль:

— Мне тут сказали, что речь полагается написать заранее, и я из почтения к ученому совету попробовал это сделать — раз попробовал, два, три. Но все, что я писал, годилось лишь на растопку и было без долгих размышлений препровождено в камин. А потому придется вам слушать то, что я скажу прямо от души, и тем удовольствоваться.

И зал как зачарованный сидел все полтора часа, пока он с большой силой и гладко, как по писаному, говорил о своих излюбленных предметах.

Затем последовала чреда банкетов и увеселений, на какие способны одни лишь земляки Бернса. Только что вышла в свет книга Милля «Обзор философии сэра Уильяма Гамильтона», и лорд Нивс, озаренный счастливой, хоть и шальной, идеей, воспользовался этим малоподходящим материалом, чтобы сложить своего рода застольную песню. Тиндаль запомнил, как Карлейль, отбивая такт столовым ножом, дирижировал, а все подхватывали припев, который звучал так:

— Джона Стюарта признанья о материи и сознанье.

Обо всех этих происшествиях, полных таких щемящих отзвуков духовной жизни его ранних лет, изобилующих такими колоритными фигурами и памятными подробностями, у Гексли

нет ни слова. В театре великих событий он всегда был блестящим актером, но неважным зрителем.

203

Мэллок Уильям Харрел (1849–1923) — английский писатель. Автор книг «Новая республика», «Аристократия и эволюция», «Восстановление веры» и др.

Джоуетт Бенджамин (1817–1893) — английский теолог, крупный деятель в области образования, глава одного из колледжей в Оксфорде. Перевел «Диалоги» Платона, «Историю» Фукидида, «Политику» Аристотеля.

205

Люис Джордж Генри (1817–1878) — английский философ, писатель, литературный критик. К числу известных работ принадлежат «Жизнь и труды Гёте», «Исследование жизни животных», «Аристотель», «Проблемы жизни и разума».

206

Шафтсбери Энтони Эшли Купер (1801–1885) — политический деятель, филантроп. По его почину были учреждены школы для бедных. Внес в парламент законы о запрещении женского и детского труда в угольных шахтах и о 10-часовом рабочем дне для заводских рабочих.

207

Буквально: «бог из машины» *(латин.)*. Персонаж, который появляется неожиданно и спасает положение.

208

Шульце Макс Зигизмунд (1825–1874) — немецкий зоолог и гистолог. Пересмотрев представление о клетке, принятое со времен Шванна, дал новое определение: «Клетка есть комочек протоплазмы, внутри которой находится ядро». Это определение приводится в его статье «О мышечных тельцах и о том, что следует называть клеткой» (1861).

В «Физических основах» Гексли объявил, что контовский позитивизм есть «католицизм *без* христианства». Эта насмешка не замедлила вызвать страстный отклик со стороны главы английских последователей Конта доктора Конгрива; уверенный, что к Конту нельзя относиться враждебно иначе как по незнанию, он обвинил Гексли в том, что тот опровергает Учителя, не прочитав его сочинений. Трудно было сделать более опрометчивый шаг. В «Научных аспектах позитивизма», напечатанных в положенный срок в «Обозрении», Гексли со всею очевидностью показывает, что не только превосходно знаком с Контом лет уже шестнадцать, но читал его гораздо внимательней, чем сам доктор Конгрив. Гексли не видит оснований брать назад свои слова. Он еще раз прочно усаживает отца позитивизма на папский престол и вслед за тем отлучает его от науки. Конт, слишком слаб и в логике, и в самой науке, чтобы считаться достойным представителем этого преобразованного, обновленного братства разума. Ни его классификация наук, ни его знаменитый закон трех стадий не блещут последовательностью как с точки зрения фактов, так и сами по себе. Целью Гексли было истребить дух непререкаемости. Только проделывал он это с замашками, подозрительно напоминающими папские. «Папа Гексли» — так дерзнул немного спустя назвать его журнал «Спектейтор» после другого выступления в таком же роде.

210

Ноулс Джеймс Томас (1831–1908) — английский архитектор и издатель «Девятнадцатого века» (с 1877 по 1908-й).

211

Маннинг Генри Эдвард (1808–1892) — крупный церковный деятель, продолжатель традиций Ньюмена.

212

Уорд Уилфрид Филип (1856–1916) — английский теолог и философ, апологет католицизма.

213

Хеттон Ричард Холт (1826–1897) — английский теолог, писатель. Вместе с Бейджотом ([42]) издавал ежемесячник «Нейшнл ревью», а затем участвовал в издании «Спектейтора». Выступал как противник вивисекции.

Перевод В. Тихомирова.

215

Перевод В. Тихомирова.

«В память» *(латин.)*.

217

Уэтли Ричард (1787–1863) — английский философ, архиепископ Дублинский. В своей работе «Основания логики» изложил начала формальной логики.

218

Сиджвик Генри (1838–1900) — английский философ, известен своими работами в области этики. Выступал в защиту высшего образования для женщин. Главный его труд — «Методы этики».

219

Стивен Фицджеймс (1829–1894) — английский юрист, судья, историк. Старший брат Лесли Стивена ([112]).

220

Лурд — город во Франции. По легенде, в гроте Масавьель явилась богоматерь, там же есть источник, почитавшийся чудодейственным. Лурд служил местом стечения многочисленных паломников. В романе Золя «Лурд» раскрывается, как у истоков лурдских «чудес» стояла эксплуатация невежественной толпы.

221

Гедонизм (от греч. слова, означающего «наслаждение») — направление в этике, по которому удовольствие, наслаждение есть высшее благо, а стремление к нему — цель жизни. Эта теория первоначально связана с именем Аристиппа. Серьезные изменения в этику гедонизма внес Эпикур, который считал одним из основных условий счастья освобождение человека от страха смерти, и страха перед богами. Гедонизм получил дальнейшее развитие в эпоху раннего капитализма, а позднее в философии Гельвеция, Гольбаха и др., у которых гедонизм сочетался с признанием утилитарного принципа взаимной пользы. С утверждением буржуазного общества гедонизм превратился в плоскую и лицемерную моральную доктрину, приукрашивающую эксплуататорский строй.

222

Прагматизм (от греч. слова, означающего «действие») — одно из основных направлений современной буржуазной философии, разновидность субъективного идеализма. Ценность понятий и идей в прагматизме определяется их пользой для действия, их применимостью в определенных целях. Критерием истины для прагматизма служит «полезность в действии» тех или иных понятий и представлений, а не их соответствие объективной реальности. Основные положения прагматизма изложены в 1878 году американским философом Ч. Пирсом и получили дальнейшую разработку в сочинениях американских философов У. Джемса и Дж. Дьюи. Джемс находил бессмысленным отрицать понятие бога, «столь плодотворное в прагматическом отношении».

223

Пристли Джозеф (1733–1804) — выдающийся английский химик, философ-материалист, прогрессивный общественный деятель.

Ламетри Жюльен Офре (1709–1751) — выдающийся французский философ-материалист.

225

Локк Джон (1632–1704) — крупнейший английский философ, представитель материалистического эмпиризма. Разработал сенсуалистическую теорию познания, признающую единственным источником знания наши ощущения, дал детальное обоснование главному принципу Ф. Бэкона и Т. Гоббса — происхождению знаний и идей из чувственного опыта.

226

Хлебные законы (cornlaws) — законы о налоге на ввозимый хлеб, существовавшие в Англии с 1791 года и в особенности с 1815 по 1846 год, тяжесть которых ложилась непомерным бременем на народные массы! Даже во время подъема цен и оживления в сельскохозяйственном производстве эти законы оказывались выгодными только для крупных лендлордов. Окончательно отменены Гладстоном в 1869 году.

227

Дорн Антон (1840–1909) — немецкий зоолог, его труды посвящены главным образом проблеме происхождения позвоночных.

228

Арнольд Томас (1795–1842) — английский священник, глава одного из привилегированных высших учебных заведений — Регби; отец. Мэтью Арнольда ([236]).

229

Рив Генри (1813–1895) — английский писатель, сотрудник «Таймс», автор исторических эссе.

230

Во Вениамин (1839–1908) — английский общественный деятель, выступал в пользу законов, защищающих детей.

231

Дафф Маунстюарт Элфинстон Грант (1829–1906) — представитель британской администрации в Индии, в 1881–1886 гг. губернатор Мадраса. Автор «Заметок из дневника» — 14-томного сочинения, представляющего собой ценный общественно-исторический документ.

232

Брайт Джон (1811–1889) — английский политический деятель. В парламенте ратовал против парламентских привилегий землевладельческой аристократии и против хлебных пошлин. Организовал «Лигу борьбы против хлебных законов». Выступал против законодательного ограничения рабочего дня и против предоставления Ирландии самоуправления.

233

Хефрен (египетское Хафра) — египетский фараон (ок. 3-го тысячелетия до н. э.). Его пирамида, так называемая пирамида Великий Хафра, несколько ниже Хеопсовой. Рядом с ней находится гигантский сфинкс с телом льва и головой человека.

234

Гольц Фридрих Леопольд (1834–1902) — немецкий физиолог, профессор Страсбургского университета. Специалист по физиологии нервной системы.

235

Джемс Уильям (1811–1882) — американский психолог и философ, преподавал физиологию, анатомию и гигиену в Гарварде. Один из основоположников прагматизма. Автор «Принципов психологии», «Прагматизма» и др.

236

Арнольд Мэтью (1822–1888) — английский поэт и критик, проф. поэзии Оксфордского университета (с 1857). Автор поэм «Тристан и Изольда», «Зораб и Рустам» и др.

Очень может быть, что замечания Арнольда были высказаны кем-то еще до него, во всяком случае, Гексли в своем выступлении «О науке и искусстве в связи с образованием» (1882) горячо и чуть ли не слезно уверял, что он определенно и несомненно человек и ничто человеческое ему не чуждо и что любое, интересное яркое творение в искусстве или любой области знаний непременно привлечет его внимание уже тем, что оно ярко и интересно. При всем том в его критических высказываниях о жизни слишком много критики и маловато жизни, а система образования для него все-таки не что иное, как система производства ученых и «четких, бесстрастных логических машин».

238

Рабочие клубы, основанные в противовес пивнушкам и в поощрение самообразования и роста культуры, существовали с середины столетия.

239

Миссис Троллоп Френсес (1780–1863) — английская романистка. После пребывания в Америке опубликовала книгу «Нравы американцев» (1832), возбудившую неудовольствие в США. Автор романов «Замужняя вдова», «Вдова Барнеби» и др.

Орогиппуса. А вскоре Марш открыл и пятипалого — эогиппуса.

241

Речь идет о так называемом «обезьяньем процессе» — судебном процессе в городе Дейтоне (США, штат Теннесси) в июле 1925 года над учителем колледжа Д. Скоупсом. Он был привлечен к ответственности за изложение теории Дарвина о происхождении человека от обезьяноподобных предков. Скоупс был приговорен к денежному штрафу.

242

Линд Женни (1820–1887) — одна из самых прославленных певиц XIX века, лирико-колоратурное сопрано. Исполняла главные лирические и колоратурные партии в опере. С 1849 года выступала лишь как концертная певица с исполнением песен и популярных баллад.

243

Оливер Лодж (1851–1940) — английский физик. Занимался исследованием молнии, электромагнитных волн. Автор работ «Элементарная механика», «Современные представления об электричестве», «Атомы и лучи», «Эволюция и творение» и др. Пытался обосновать возможность общения между душами живых и умерших.

«Мальчуганом, без руководителя, без всякой подготовки — а может быть, еще хуже того, — меня швырнули в мир, и, признаюсь, к стыду своему, немного найдется людей, которым довелось бы глубже меня погрязнуть во всевозможных грехах». Понятно, что это преувеличение.

Паркер, и Гексли цитируют библию (Деяния апостолов, 27, 20 и 27, 29).

Завтрак *(франц.)*.

247

Гордон Чарлз Джордж (1833–1885) — английский генерал, в 1877–1879 губернатор Судана, руководил подавлением махдистского движения. Убит при штурме повстанцами Хартума.

248

Махди (от арабск. «ведомый истинным путем») — по религиозным представлениям мусульман, мессия, который якобы должен восстановить чистоту истинного ислама. Иногда именем Махди называли себя предводители народных восстаний, направленных против закабаления. Из них наиболее известен Махди Суданский — вождь восстания крестьян и кочевников в Восточном Судане, которое началось в 1881 году.

249

Гомруль — буржуазно-либеральная программа самоуправления Ирландии в рамках Британской империи. Был выдвинут в 1870 году. Весьма драматическая борьба за гомруль, как в парламентских рамках, так и в форме революционной борьбы народных масс, привела к тому, что в 1921 году был подписан англо-ирландский договор, предоставивший Южной Ирландии статус доминиона под названием «Ирландского свободного государства» (Эйре). В 1949 году вошел в силу закон об установлении Ирландской республики, который, однако, не ликвидировал расчленения страны и сохранил фактическую зависимость ее от Англии.

250

Бюхнер Фридрих Карл Христиан Людвиг (1824–1899) — немецкий физиолог. Главное произведение Бюхнера — «Сила и материя» (русский перевод, 1860 г.), в котором содержится изложение его мировоззрения и популяризация достижений естествознания. Его вульгарно-материалистические воззрения отличались крайней механистичностью в понимании явлений природы и идеализмом в истолковании общественных явлений.

251

Дана Джеймс Дуайт (1813–1895) — американский геолог и зоолог.

Личности, времени и обстановки *(франц.)*.

В другой статье — «Приключение Газизадры» (1890) — приводится дредневавилонская версия потопа, как она известна по глиняным табличкам из библиотеки Ассурбанипала. Гексли особо подчеркивает относительную сдержанность и правдоподобность этого изложения лишь затем, чтобы, обрушить на него объединенную мощь геологии, археологии и здравого смысла и, таким образом, нанести массированный удар не только по более богатой измышлениями древнееврейской версии, но и по тем заблудшим, которые обманывают себя, принимая на веру подобный вздор. Причем никто не обманывает себя так жестоко, как современный богослов-«примиритель», считающий чудо доказанным, если доказана лишь его возможность.

254

Бутс Уильям — английский проповедник, основатель и руководитель «Армии спасения», реакционной религиозно-филантропической организации (1865), которая существует и поныне. Общество организовано по военному образцу. Бутс в качестве генерала «армии» пользовался диктаторской властью по отношению к своим подчиненным.

С расчетом воздействовать на чувства *(латин.)*.

«Надо возделывать наш сад» *(франц.)*.

257

Бентам Иеремия (1748–1832) — английский философ и экономист, основатель теоретической концепции утилитаризма.

258

В 1884 году в Англии была основана реформистская организация, названная «Фабианским обществом». Это название происходит от имени Фабия Максима (римский государственный деятель, III в. до н. э.), который достиг успехов в борьбе с Ганнибалом своей выжидательной, медлительной тактикой. Общество состояло из представителей буржуазной интеллигенции, которые были сторонниками мирных, постепенных «социалистических» преобразований. После основания лейбористской партии «Фабианское общество» вошло в ее состав (1900 г.).

259

Морис Уильям (1834–1896) — английский писатель, художник, общественный деятель. Предтеча искусства модерна в Англии. В 80-х годах принял участие в английском рабочем движении, возглавлял вместе с Элеонорой Маркс-Эвелинг и ее мужем Социалистическую лигу.

260

В статье «Капитал — мать труда» Гексли продолжает свои нападки на Генри Джорджа за его толкование трудовой теории стоимости. Труд неизбежно зависит от капитала. Без пропитания и без материалов для обработки труженик не в состоянии изготовить полезный продукт. К тому же и продукты питания, и насущные средства производятся не только человеческим трудом, приложенным к земле, но трудом животных и растений, приложенным к капиталу, который накоплен природой.

261

«Episcopophagous» — термин изобретен самим Гексли.

262

«Верните мне моих мертвых».

263

Перевел В. Тихомиров.

Дух времени *(нем.)*.

265

Капитан Костиган — персонаж романа Теккерея (1811–1863) «История Пенденниса» (русский перевод, 1852).

«Мир, водворенный Бэконом» *(латин.)*.

267

Бальфур Артур Джемс (1848–1930) — английский государственный деятель, дипломат, один из лидеров консерваторов.